



Николай Гейнце

Современный  
САМОЗВАНЕЦ

ТОМ

2

Николай Эдуардович Гейнце Герой конца века, т.2 Современный  
самозванец //ООО «Остеон-Пресс», 2014  
ISBN: 978-5-85689-117-0  
FB2: "Chernov2 " <chernov@orel.ru >, 16.03.2016, version 1.0  
UUID: 47dd0f81-eb55-11e5-a7c6-0cc47a5203ba  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

## **Современный самозванец** (Герой конца века #2)

Мы продолжаем представлять творчество мастера старорусского исторического романа и детектива Николая Эдуардовича ГЕЙНЦЕ. Главный герой его двухтомника – мот, жуир и прощельга, отставной корнет Николай Савин, которого беспутный образ жизни приводит вначале в финансовую кабалу, затем на скамью подсудимых, а в итоге и побудил заняться финансовыми аферами. Книга написана на основе подлинных воспоминаний финансового афериста и самозванца, которые он передал полицейскому офицеру перед отправкой в Сибирь

# Содержание

Часть первая По тюрьмам . . . . .	0008
I Таинственный пассажир . . . . .	0008
II Сорвалось! . . . . .	0017
III В арестантском вагоне . . . . .	0026
IV Газетный фельетон . . . . .	0034
V Семиженец . . . . .	0041
VI Любовь погубила . . . . .	0050
VII В секретной . . . . .	0059
VIII В доме предварительного заключения . . . . .	0073
IX Опять женщина! . . . . .	0085
X Арест . . . . .	0096
XI Тюрьма святого Жиля . . . . .	0109
XII В тюрьме «Petit Carmes» . . . . .	0122
XIII Два адвоката . . . . .	0134
XIV План защиты . . . . .	0145
XV На суде . . . . .	0157
XVI Приговор . . . . .	0168
XVII Отъезд Мадлен . . . . .	0179
XVIII Выдача России . . . . .	0188
XIX Великосветский притон . . . . .	0198
XX Старый знакомый . . . . .	0212
XXI Метаморфоза . . . . .	0224
XXII Знакомые лица . . . . .	0239
XXIII В Отрадном . . . . .	0253

XXIV Яд жизни . . . . .	0266
XXV План драмы . . . . .	0278
Часть вторая В великосветском омуте . . . . .	0290
I В Болгарии . . . . .	0290
II От великого к смешному . . . . .	0305
III Жертва . . . . .	0316
IV Подруга . . . . .	0330
V У полковницы . . . . .	0341
VI Не опоздал ли? . . . . .	0353
VII Финансовый гений . . . . .	0365
VIII Командировка . . . . .	0372
IX Между двух огней . . . . .	0384
X Падение . . . . .	0394
XI В цепях прошлого . . . . .	0406
XII После свадьбы . . . . .	0418
XIII Дружба или любовь? . . . . .	0430
XIV В конторе . . . . .	0441
XV Первый шаг . . . . .	0453
XVI Два оправдания . . . . .	0465
XVII Злой дух . . . . .	0478
XVIII Тюрьма или гнездышко? . . . . .	0490
XIX Свидание . . . . .	0503
XX Бегство . . . . .	0517
XXI Арест кассира . . . . .	0529
XXII Тюрьма . . . . .	0542
XXIII Семейный совет . . . . .	0550
XXIV В Москве . . . . .	0562
XXV Медальон . . . . .	0575

XXVI Западня . . . . .	0587
XXVII Разрушенные козни . . . . .	0600
XXVIII Разбивающиеся мечты . . . . .	0615
XXIX С берегов Сены . . . . .	0627
XXX Сообщники . . . . .	0638
Часть третья Всякому свое . . . . .	0651
I На продажу . . . . .	0651
II В гостинице «Англия» . . . . .	0665
III Следствие . . . . .	0677
IV Он сбежал! . . . . .	0690
V Поединок . . . . .	0703
VI Мать и невеста . . . . .	0718
VII У адвоката . . . . .	0731
VIII Адвокат-праведник . . . . .	0745
IX Агент-доброволец . . . . .	0753
X За завтраком . . . . .	0765
XI Неожиданный помощник . . . . .	0779
XII В летнем саду . . . . .	0795
XIII С глазу на глаз . . . . .	0810
XIV На место . . . . .	0824
XV «Нечто, вроде ресторана» . . . . .	0837
XVI Старая газета . . . . .	0848
XVII Отклики прошлого . . . . .	0861
XXVIII Очная ставка . . . . .	0875
XIX Освобождение . . . . .	0889
XX Старый должник . . . . .	0903
XXI Публикация . . . . .	0916
XXII Новый роман . . . . .	0928

XXIII Под крылом друга . . . . .	0943
XXIV Беглянка . . . . .	0960
XXV Современная перикола . . . . .	0972
XXVI Две смерти . . . . .	0986
XXVII «Суженого конем не объедешь» . . . .	0999
XXVIII В Сибирь! . . . . .	1009

**Николай Эдуардович Гейнце**  
**Герой конца века, т.2**  
**Современный самозванец**

# Часть первая По тюрьмам

## I

### Таинственный пассажир

Стояло чудное утро половины мая 1887 года. В торговой гавани «южной Пальмиры» – Одессе – шла лихорадочная деятельность и господствовало необычное оживление: грузили и разгружали суда. Множество всевозможных форм пароходов, в металлической обшивке которых играло яркое смеющееся солнце, из труб там и сям поднимался легкий дымок к безоблачному небу, стояло правильными рядами на зеркальной поверхности Черного моря.

Самая людская работа, шедшая в гавани, вносила какую-то бросающуюся в глаза дисгармонию в поэтическую картину. Потные, почерневшие от угольного дыма и загара лица рабочих, их сторбленные под тяжестью нош спины, грубые резкие окрики, разносившиеся в прозрачном, как мечта, воздухе – все

говорило о хлебе и нужде, о грубости среди этих роскошных красот природы, под этим нежно голубым небом.

В гавань только что вошел пароход «Корнилов», совершавший прямые рейсы между Константинополем и Одессой, и остановился в ряду других пароходов.

На пароходе поднялась та суматоха, которая всегда сопровождает прибытие судна на конечную пристань. Пассажиры, которых было на этот раз очень много, собирали свои пожитки или же просто бесцельно слонялись взад и вперед, чтобы укоротить время до выпуска на землю, время, которое должно пройти в исполнении портовых формальностей.

Но кроме этого интереса, обычного для всех заграничных путешественников, пассажиры «Корнилова» были заинтересованы присутствием на их пароходе «невольного путешественника» в лице красивого, статного, атлетически сложенного и щегольски одетого пассажира, ехавшего из Константинополя в сопровождении каваса русского консульства – смуглого арнаута с ястребиным носом и необычайно длинными черными усами.

Пассажир занимал отдельную каюту, редко выходил на палубу, а если и появлялся там, то был молчалив и сосредоточен и никому из остальных пассажиров не пришлось с ним заговорить, если не считать нескольких пророненных им слов с некоторыми из его товарищей по путешествию.

Таинственный путешественник несколько более других говорил с капитаном парохода, но последний тоже не был из людей особенно общительных.

Говорили, что это русский, выдававший себя за границу за потомка Бурбонов и в этом качестве объявивший себя претендентом на болгарский престол, остававшийся вакантным после случившегося недавно не совсем добровольного отъезда из Болгарии принца Александра Баттенбергского.

Вопрос о том, действительно ли «красавчик» был русский или принятый за такового только по ошибке решен окончательно не был; мнения пассажиров разделились: дамы были на стороне признания его чистокровным французом, понятие о котором в дамском уме соединяется с идеалом галантного,

мужественного, сильного телом и духом красавца, а к такому идеалу, по мнению парходных дам, подходил «таинственный пассажир».

Беглый, совершенно чистый французский язык, которым говорил «красавчик», хотя при случае изъяснявшийся очень хорошо по-русски, подтверждал в глазах дам их мнение.

– Просто наши русские власти опростоволосились, – легкомысленно щебетали дочери Евы. – Везут бедного иностранца неведомо куда, а потом начнут перед ним же расшаркиваться и извиняться.

– Посмотрите, с каким величественным, молчаливым спокойствием переносит он свою тяжелую долю. Взглянуть на него, и не останется сомнения, что в его жилах течет королевская кровь. Разве что понимают в этом наши мужчины?

«Непонимающие» мужчины были другого мнения, они стояли на почве законности и не допускали ошибки в таком важном учреждении, как русское посольство в Константинополе.

– Должно быть, тонкая штука этот молод-

чик. Держит себя как настоящий принц крови. Чай, просто русский прогоревший барин, лопотать по-французскому сызмальства научили, а в науках не превзошел, да и на службе не годился. Дай-де заделаюсь принцем... и заделался.

Так с иронией относился к «невольному путешественнику» непрекрасный пол, но надо сознаться, что в этом отношении играло роль и ревнивое чувство, пробужденное слишком красноречивыми взглядами их жен, сестер и дочерей, бросаемыми на «красавчика».

– Куда-то теперь его повезут, бедняжку? – вздыхали дамы, когда пароход «Корнилов» уже стоял в гавани.

– Посадят молодчика за решетку! – злорадствовали мужчины.

Первой на пароходе появилась карантинная стража, которая, удостоверившись в благополучном санитарном состоянии на «Корнилове», дала надлежащее разрешение причаливать и высаживать пассажиров.

Пароход причалил к пристани, но выпуска еще не последовало. Предстоял еще жандарм-

ско-полицейский контроль.

Вскоре на пароход прибыл жандармский капитан с десятью нижними чинами и приступил к ревизии паспортов.

Эта процедура вследствие большого количества прибывших пассажиров продолжалась около двух часов, и до ее окончания никого с парохода не выпускали.

Ревизия паспортов происходила в кают-компании парохода, обращенной в канцелярию.

Пассажиры толпились в ней, и, несмотря на то, что каждый из них думал о скорейшем наступлении момента выпуска, взоры их все же от жандармов невольно переносились на сидевшего в углу кают-компании «таинственного пассажира», казалось, безучастно относившегося ко всему вокруг него происходящему.

Вдруг в толпе пассажиров пронесся шепот.

– Его превосходительство прибыл, его превосходительство!

Жандармский капитан и нижние чины подтянулись. Капитан парохода бросился встречать одесского градоначальника, явив-

шегося самолично на пароход.

– Это за ним! – вздыхали дамы.

– Должно, важная птица этот молодчик! – умозаключали мужчины.

Адмирал Зеленый вошел в сопровождении одесского полицмейстера и начальника порта.

– Где Савин? – задал он вопрос встретившему его капитану парохода.

Не успел капитан ответить, как таинственный пассажир встал и, медленно пробравшись сквозь толпу, подошел к адмиралу.

– Вы спрашиваете обо мне, ваше превосходительство?

– Это вы Савин?.. – спросил градоначальник, оглядывая его с головы до ног.

– Нет, я не Савин, а граф де Тулуз Лотрек, но по ошибке русского консула в Константинополе арестован и препровожден сюда под этим не принадлежащим мне именем, почему считаю нужным заявить об этом вашему превосходительству, прося рассмотреть идущие со мной документы, а по рассмотрении их меня освободить.

– Так значит вы отрицаете ваше тождество

с корнетом Савиным и требуете вашего освобождения?

По губам адмирала проскользнула ироническая улыбка.

– Я требую только справедливости.

– Справедливости!.. Может быть... Справедливость – хорошее слово. Но ее окажут вам другие. Я на это не уполномочен. Я должен поступить с вами, как мне поручено из Петербурга и пока принужден отправить вас в тюрьму.

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице «таинственного пассажира». Он молча, с достоинством поклонился.

– Полковник, – обратился адмирал Зеленый к стоявшему рядом с ним полицеймейстеру, – отвезите сейчас же под усиленным конвоем «его сиятельство» в тюремный замок и поступайте с ним, как я уже вам говорил.

Градоначальник особенно подчеркнул титул «пассажира», а затем, повернувшись, стал разговаривать с жандармским капитаном.

– Поедемте, – обратился к «таинственному пассажиру» вполголоса полицеймейстер, – я уже приказал ваши вещи снести в карету.

Пассажир спокойной, уверенной походкой, с гордо поднятой головой последовал за полицейским офицером.

При выходе с пристани его усадили с двумя околоточными надзирателями в карету, по бокам которой ехали два полицейских верхами; полицеймейстер же ехал впереди на своей паре.

Этот торжественный поезд, везший, если верить рассказам пассажиров парохода, «недавнего претендента на болгарский престол», проследовал через всю Одессу на Куликово поле, где, невдалеке от вокзала железной дороги, высились мрачные стены одесского тюремного замка.

Железные ворота замка открылись и поезд скрылся в них.

## II

### Сорвалось!

Сдав арестанта смотрителю замка, полицейский мастер уехал, а нового тюремного обитателя тотчас же отвели в секретную одиночную камеру, в отделение тюрьмы, предназначенное для политических преступников.

Это была тюрьма в тюрьме, которой специально заведовал старший помощник смотрителя, а обязанность надзирателей исполнялась жандармами.

Помещалось это отделение в самом конце тюремного двора и представляло из себя отдельный одноэтажный корпус, в котором было до двадцати одиночных камер.

В одну из них и заперли «претендента».

Мертвая тишина царила в этом тюремном каземате, и кроме двух жандармских унтер-офицеров, сменяющихся каждые шесть часов, заключенный не видал никого первые два дня.

Наконец на третий день к нему явился помощник смотрителя.

– Почему меня держат тут в отделении политических? – спросил его арестант. – Кажется, я ни в каких политических, преступлениях не обвиняюсь?

– Не знаю, – отвечал помощник смотрителя, – таково распоряжение градоначальника.

– На каком же основании вы меня содержите? По чьему постановлению?

– Никакого постановления на ваше содержание у нас нет, а держим вас потому, что вас привез полицеймейстер с приказом содержать вас в политическом отделении со всевозможной строгостью.

– Но это совершенно противозаконно, мне кажется, что с введением судебных уставов никто не может быть арестован без надлежащего постановления о том, исходящего от судебной власти, так что содержание мое в тюрьме я считаю совершенно противозаконным.

– Уж, право, не знаю, – заметил помощник смотрителя, – если вы недовольны и признаете себя неправильно арестованным, жалуйтесь прокурору.

– Конечно, мне ничего не остается делать,

как обратиться за защитой к прокурору, а потому и прошу вас дать мне бумаги и письменные принадлежности для написания этой жалобы.

В тот же вечер арестованный написал прошение прокурору одесского окружного суда, в котором изложил всю неправильность его ареста в Константинополе и содержания в тюрьме и просил его, сделав дознание, освободить его из-под стражи.

После подачи этого прошения прошло с неделю, и заключенный уже терял всякую надежду на какой-нибудь результат, как в одно прекрасное – если в тюрьме может быть что-нибудь прекрасное – утро дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя с каким-то господином, одетым в штатское платье.

Заключенный встал с железной кровати, на которой лежал.

– Я прокурор здешнего окружного суда, – отрекомендовался вошедший с помощником смотрителя. – Простите ваше я получил и счел своим долгом повидать вас. Вы находите ваше содержание под стражей незаконным?

– Совершенно верно, господин прокурор, меня содержат здесь по какому-то произволу административных властей, и я прошу вашего заступничества.

– Но вас принимают за некоего Савина, который разыскивается петербургским и калужским судами. Значит, на арест этого лица существует постановление судебных властей.

– Прекрасно, господин прокурор, на арест Савина, может быть, и есть законное основание, но отнюдь не на содержание под стражей графа де Тулуза Лотрек, а я именно и есть то самое лицо, каким себя именую.

– Чем вы докажете, что вы граф де Тулуз Лотрек, а не Савин? Можете ли вы указать на лиц, могущих это удостоверить?

– Здесь, в Одессе, я, никого не знаю, но в других местах, конечно, найдется масса лиц, знающих меня.

– Так укажите на этих лиц и места их жительства, а я распоряжусь вас немедленно отправить для удостоверения вашей личности.

– Мне кажется, что это совершенно лишнее, когда у меня есть все необходимые бумаги и формальный паспорт, удостоверяющие

кто я такой, и если желают проверить подлинность этих документов, то достаточно, мне думается, телеграфировать тем официальным лицам, которые их выдали, начиная с русского консула в Триесте господина Малейна, который меня лично знает и подтвердит не только подлинность выданного им мне паспорта, но и опишет мои приметы, что докажет, что я именно то лицо, за которое себя выдаю.

– Видите ли, граф, написать, даже телеграфировать консулу в Триест я могу, но это не приведет ни к чему. Что бы ни ответил мне консул, я не в праве вас освободить, так как вы арестованы не судебными властями одесского округа, а препровождаетесь только через Одессу в Петербург. Значит и освобождение ваше зависит от петербургских властей, предписавших арестовать вас в Константинополе. Если вы не Савин, то вас по прибытии в Петербург немедленно освободят, а поэтому мой вам совет, просить о скорейшем вашем туда отправлении.

После этого визита прокурора, лопнула последняя надежда Николая Герасимовича Са-

вина – это был действительно он – на освобождение, и ему оставалось терпеливо ждать отправки далее.

День этой отправки наконец настал.

До самой последней минуты от Николая Герасимовича ее почему-то держали в секрете. Он не знал, когда и каким образом его отправят, и на все его вопросы по этому поводу ему отвечали незнанием.

Какая была цель тюремного начальства скрывать от него это – неизвестно, но ему сказали, что он отправляется с отходящим этапом только за полчаса до его отправления.

Это было в последних числах мая. Савин уже спал, так как было около десяти часов вечера. Вдруг дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя.

– Вставайте, граф, и забирайте ваши вещи, сейчас вы отправляетесь.

– С кем, каким образом? – спросил его Николай Герасимович, протирая заспанные глаза.

– Этапным порядком, с партией, отправляющейся в Киев.

Уложив наскоро все имевшиеся при нем

вещи в маленький ручной чемодан, Савин отправился в контору.

Перед воротами, по лестнице, ведущей в контору, и в самой конторе толпилось человек до ста арестантов в длинных серых халатах, с узлами и мешками в руках и у ног.

Некоторые из них были в кандалах и с бритыми наполовину головами.

Николай Герасимович впервые видел вблизи такую массу арестантов, и на него произвело это зрелище крайне тяжелое впечатление.

В конторе, освещенной двумя керосиновыми лампами, толпились арестанты и солдаты.

За длинным столом сидели начальник тюрьмы, конвойный офицер, принимающий партию, и писарь.

Перед ними лежала кipa бумаг – статейных списков, по которым они вызывали арестантов.

Каждый арестант по вызову подходил к столу, где имя его и назначение, куда он следовал, проверялось по статейному списку, а затем унтер-офицер брал арестанта и, передавая его тут же стоявшему ефрейтору, кричал:

– Обыскать и наручники!

После этого несколько человек солдат тщательно обыскивали каждого переданного им арестанта, осматривали его вещи и затем накладывали на людей попарно наручники, так что правая рука одного была связана с левой рукой другого.

От этой последней меры освобождались все принадлежащие к привилегированному сословию, нижние чины, женщины и кандалышники.

На остальных же всех без исключения и разбора, независимо от того, за что и про что они арестованы и к какой категории принадлежат, то есть пересыльные или подследственные, надевались наручники.

Сидя в темном углу конторы, Николай Герасимович с немым ужасом глядел на эту тягостную картину, ожидая своей очереди.

Когда наконец партия была принята и все арестанты вышли из конторы, к нему подошел смотритель с конвойным офицером.

– Вас также надо принять, – сказал ему последний, – покажите мне ваши вещи.

Савин открыл ему свой чемоданчик.

– У вас ничего тут нет запрещенного?

– Кажется, ничего такого нет, но я не знаю, что вы называете запрещенным?

– Ножей, орудий, карт, водки, – сказал, улыбаясь, конвойный офицер.

– Нет, ничего подобного у меня нет.

– Записать: гвардии корнет Николай Савин, в Петербург, в своем платье, – сказал штабс-капитан писарю. – Мне поручено, – обратился он снова к Николаю Герасимовичу, – иметь строжайший надзор за вами, о чем я считаю долгом вас предупредить. Надеюсь, что вы как офицер, поймете меня и не заставите меня брать против вас какие-либо меры, которые были бы неприятны как для вас, так и для меня. Я вполне сознаю, что для вас такое положение крайне тяжело, но что же делать, надо подчиняться. С моей стороны я все сделаю, что от меня зависит, чтобы облегчить ваше положение, но прошу вас подчиняться уставным правилам.

С этими словами он пригласил Савина выйти из конторы и вышел вслед за ним сам в сопровождении смотрителя.

Партия была уже выстроена во дворе

тюрьмы, тускло освещенном двумя фонарями.

– Шашки вон, шагом марш! – скомандовал штабс-капитан.

Ворота растворились, и партия, звеня кандалами в ночной тишине, под темно-синим небом южной ночи, двинулась по направлению к вокзалу, находившемуся в нескольких шагах от тюрьмы.

### III

## В арестантском вагоне

Когда партия прибыла на вокзал, арестантские вагоны были уже поданы и арестантов немедленно рассадили по ним.

Для Николая Герасимовича Савина, по приказанию конвойного офицера, отвели отдельную лавку в вагоне, где помещалось офицерское отделение.

Арестантские вагоны своим устройством ничем не отличаются от обыкновенных вагонов третьего класса, и одни только железные решетки в окнах, да часовые, стоящие у дверей, показывают их назначение.

Товаро-пассажирский поезд, с которым отправлялась партия, уходил из Одессы в двенадцать часов ночи, так что ждать на станции пришлось около часу.

Этим временем воспользовались арестанты, чтобы достать кипятку и купить съестные припасы, после чего началось чаепитие.

В этом солдатики конвойной команды очень услужливы и не отказывают арестантам ходить на вокзал за покупками и кипятком.

Вообще русский солдат, несмотря на суровую, грубую внешность, имеет доброе сердце, и оно-то во многом облегчает участь тех несчастных, которые бывают ему вверены.

По размещении арестантов по вагонам, солдатики обращались с ними уже более гуманно: сняли наручники, услуживали чем могли и разговаривали без всякого принуждения, не изображая из себя начальства.

За чаепитием начались разговоры, рассказы, кто куда следует.

В вагоне, в котором находился Савин, помещались большей частью пересыльные арестанты.

Арестанты разделяются на категории: каторжных, бродяг, ссыльных и пересыльных.

К последней принадлежат все лица, пересылаемые по требованию судебных и административных властей, беспаспортные, а также приговоренные уже к наказанию и отсылаемые к месту заключения в тюрьмы или арестантские роты.

Как только поезд тронулся, в вагоне все преобразилось.

Сидевшие до тех пор чинно арестанты снимали с себя ужасные серые с бубновыми тузами халаты, растворили окна и стали весело и шумно разговаривать между собой.

Вот затянули песню, которую подхватили и солдатики.

Появился табак, водка, пронесенные украдкой и продаваемые арестантам по повышенным ценам. Так, восьмушка махорки, стоящая в продаже три копейки, продавалась по двугривенному, и полбутылки водки — шестьдесят копеек.

Конечно, этой контрабандой могли воспользоваться только имущие арестанты, большинству же приходилось с завистью

смотреть на этих счастливицев.

Кроме запрещенной торговли водкой и табаком, солдаты вели также торг и съестными припасами по ценам доступным для арестантов.

У них был большой запас бубликов, сельдей, вареной печенки и печеных яиц.

На этой торговле они наживали самые пустяки, только, как они выражались, «на табачишко».

Все это Николай Герасимович узнал от подсевшего к нему во время пути унтер-офицера.

Это был разбитной малый, земляк Савина – калужанин.

– Посудите сами, – говорил он, – как нам не промышлять с арестантами. Без этого мы бы без табаку и чаю насиделись, не говоря о том, что вечно и так бываем впроголодь. Чего купишь на шестнадцать копеек.

– Ну, а начальство как на это смотрит?

– Что начальство! Оно хотя и знает, да молчит, покуда все идет исправно... Есть у нас один офицер построже, ну, когда едем с ним, немного опасаемся насчет водки, про прочие

продукты и он ничего не говорит... При этом же офицере, что теперь ведет партию, что хошь тащи, только чтобы было всегда все исправно, да по прибытии на место в Киев, Одессу или Брест, чтобы ничего не было заметно, а в пути дебоширь сколько хочешь... Он сам тоже мухобой-то порядочный... Ключнет, да и спит всю дорогу... За его простоту не только мы, но и арестанты его ужас как любят.

– А вам часто приходится ездить с партиями?

– Да, почитай, мы все в разъездах... У нашей киевской конвойной команды три тракта: на Москву, на Одессу, да на Брест. Свезем партию в один конец, а на следующий день принимаем обратно на Киев; ну, в Киеве дня два или три отдыхаем, а затем снова в отправку.

– А всегда у вас такие большие этапы, как сегодня?

– Какой же это этап, сто двадцать человек! Бывают этапы в триста, четыреста арестантов, так что смен не хватает на посты к вагонам, и приходится солдатикам стоять бес-

сменно всю дорогу на посту. Тяжелая наша служба! – вздохнул унтер-офицер.

– Почему же вся эта служба лежит на киевской команде, а не на одесской, брестской и других?

– В Одессе конвойной команды совсем нет, ну, а брестская и московская имеют свои тракты. Брестская в нашу сторону и не ходит, она препровождает на Вильну и Белосток; московская же сдает нам этапы в Курске и принимает от нас этапы там же. Вот поедете дальше на Москву, так увидите.

– Значит и в Курске бывает пересадка?

– Нет, там мы сдаем прямо с вагонами, в Киеве же бывает отдых, и вам придется три дня дожидаться московского этапа.

– Из Киева, значит, мы с вами опять поедем до Курска?

– Да, с нашей же командой, но не с нами. Мы с теперешним офицером поедем днем раньше вас в Брест, а вы отправитесь с другим нашим же офицером, капитаном Ивановым.

Болтая таким образом, Николай Герасимович напился с унтер-офицером чаю и закусил,

угостив его настоящими турецкими папиросами, имевшимися у него из Константинополя.

Куренье ему было разрешено, как в одесской тюрьме, так и конвойным офицером, и у него, к счастью, еще был запас прекрасных египетских папирос.

Именно, к счастью, потому что не будь их, Савину нечего было бы курить, так как денег при нем почти никаких не было.

При аресте его в Константинополе, у него были отобраны все документы, ценные вещи и деньги и все это было опечатано и отправлено в Петербург.

Когда же перед отъездом он стал просить консула Логовского дать ему денег на дорогу, тот ответил:

– Вам деньги ни к чему, повезут вас на казенный счет и вам все будет, об этом уже сделано распоряжение.

Действительно, распоряжение было сделано.

С Савина за перевозку денег не спрашивали, но отправили по этапу, выдавая ему на харчи «дворянский порцион», то есть пятна-

дцать копеек в день.

В консульстве, однако, отбирая у него деньги, оставили ему мелочь, бывшую в жилетном кармане.

Этой мелочи было: три меджидие и несколько пиастров, которые Николай Герасимович и разменял у буфетчика на «Корнилове», за что получил семь рублей двадцать копеек.

На эти деньги он мог купить себе в Одессе чаю, сахару, жестяной арестантский чайник и стакан, да пользовался улучшенной пищей во время его двухнедельного пребывания в одесской тюрьме прибавляя к получаемому им порциону по пятнадцати копеек день.

Эти расходы истощили и без того тощий его капиталец, так, что при отправке его из одесской тюрьмы Савину выдали на руки только всего рубль двадцать копеек его собственных денег, да на три дня вперед порциону – сорок пять копеек.

Вот все, что было у него в кармане при отправлении его этапом в дальний путь.

Понятно, что он не мог роскошничать, а должен был удовольствоваться покупкою яиц

и бубликов у солдат, запивая дешевеньким чайком вприкуску.

## IV

### Газетный фельетон

**В** том же вагоне, где находился Николай Герасимович, ехал еще один арестант из привилегированных, некий дворянин Лизаро, с которым Савин вскоре познакомился.

Сначала он не обратил на него внимания, так как Лизаро был одет в арестантский халат, но когда он снял с себя его и оказался в весьма потертом пиджаке, то этот туалет, редкий между арестантами из простых, бросился в глаза Николаю Герасимовичу, и он спросил унтер-офицера, указывая на арестанта в пиджаке:

– Кто это такой?

– А это дворянин Лизаро, тот, знаете, который на семи женах женат.

– Как на семи женат?

– Да вы разве не читали в ведомостях? Его уже судили в трех местах за это, а теперь везут еще в остальные места судить.

Конечно, такие слова унтер-офицера заинтересовали Николая Герасимовича, и он познакомился с этим семиженцем.

Лизаро был еще молодой человек лет двадцати пяти, брюнет небольшого роста, худой, с красивым, но крайне изможденным лицом.

Одет он был, как уже сказано, в очень поношенное платье, но и в этом костюме держался очень прилично: видно было, что он когда-то принадлежал к хорошему кругу.

– А я уже давно собирался к вам подойти, господин Савин, – сказал он Николаю Герасимовичу, когда тот обратился к нему с каким-то незначительным вопросом, – но советился и боялся вас беспокоить. В одесском замке многие вами интересовались, да уж держали вас там больно строго.

– Почему же мною интересовались?

– Да как же не интересоваться вами... Уж слишком много писали об вас в газетах за последнее время.

– Что же писали?

– Чего только не писали! И молодец же вы, господин Савин, Стамбулова и того провели!

– Так здорово меня прохватывали в газе-

тах?

– В некоторых, не скрою, вас порядочно-таки продернули, но зато в других восхваляли и жалели, что вам не дали достигнуть задуманного. Немного еще, и вы были бы болгарским князем. Жаль, что сорвалось! Да вот у меня есть «Новороссийский телеграф», в котором говорится о вас.

Лизаро вынул из кармана засаленный номер газеты и подал его Николаю Герасимовичу.

– Тут, в фельетоне... – указал он, когда Савин развернул газету.

Николай Герасимович, давно не читавший русских газет, впился с жадностью в печатные строки.

«Еще одно последнее сказанье, – писал фельетонист, – и летопись окончена моя, но это последнее сказанье стоит всех предыдущих вместе, и вот почему я оставил его „pour la bonne bouche“ – как говорят французы. Чтобы быть знаменитостью, надо чем-нибудь выделиться из массы, умом ли, красноречием ли, хотя бы даже особо длинной фамилией, как был знаменит этим один благородный ги-

дальго, которого звали Лаперузо-Суза-Танти-Кванти-Аликванти-Конте-Понте-Делеспонте-Вериго-дель-Компостельо. Но герой моего рассказа не отличается этим, он не обладал такой звучной и неудобно натошак произносимой фамилией, его зовут коротко и ясно – корнет Савин.

И вот этого-то Савина, имеющего какие-то счеты с нашими судебными властями и бежавшего несколько месяцев тому назад в Варшаве при транспортировании его из Бельгии в Петербург, вдруг мысль великая осенила и графом де Тулуз Лотреком назвала. Достав себе надлежащий паспорт, денег и окруженный целой свитой, новый представитель старинного рода месяц спустя вынырнул в Софии. Прибыл он туда не как турист-парижанин, а как капиталист, представитель крупных парижских банкирских фирм с предложением дать болгарским воротилам – excusez du peu – двадцать миллионов. Такое неожиданное предложение со стороны блестящего графа, конечно, пленило сердца сидящих без гроша Стамбулова и его банды. За графом ухаживали, не зная как и чем его чествовать. Умный,

обходительный, он сумел вскоре расположить всех к себе, а главное, подружился со Стамбуловым настолько, что тот души в нем не чаял. Дружба эта скрепилась еще более после крестин родившейся у Стамбулова дочки, приемником которой был, конечно, не кто иной, как „блестящий граф“.

Вскоре после этих крестин Стамбулов обратился к своему высокопоставленному куму с предложением – с каким вы думаете? – быть кандидатом на болгарский престол. Неожиданное, но крайне лестное предложение было, конечно, принято, и воображаемый французский граф де Тулуз Лотрек – ага Савин – уехал в Константинополь, чтобы хлопотать и заручиться симпатиями великого визиря и влиятельных лиц, близко стоящих к будущему его сюзерену-падишаху.

Там, в Константинополе, продолжая разыгрывать роль французского миллионера, он сумел втереться к французскому послу графу де Монтебелло и настолько расположить его к себе, что тот ввел его в высшее дипломатическое общество и представил не только великому визирю, но и самому султану.

В это время Стамбулов орудовал в Болгарии: интриги, обещания, угрозы и даже знаменитые угревые шкуры подготовляли тырновское народное собрание, на котором, в силу берлинского трактата, должен быть избран болгарский князь волею народа.

Но по воле судеб и неожиданного случая сиятельный граф был узнан, и кем же?

Далеко не сиятельным человеком, своим бывшим куафером из Москвы. Эта неожиданная встреча нанесла страшный удар и разбила не только блестящие планы сиятельного претендента, но и судьбу Болгарии. Графа, по требованию русского посольства, арестовали и увезли с надлежащим почетом в Россию. И теперь вместо того, чтобы восседать в княжеском замке на болгарском престоле, „его высочество“ находится хотя и в замке, но далеко не княжеском, а в здешнем тюремном, под замком, в ожидании отправки в Петербург. История, как видите, интересная и выходящая из ряда обыкновенных приключений, а потому наделавшая немало шуму.

Все газетные хроники переполнены самыми разнообразными комментариями в отно-

шении этого политического Хлестакова, а потому и не могу не высказать своего мнения. Хотя корнет Савин и Хлестаков, но Хлестаков, бесспорно, гениальный, и жаль, что ему не дали доделать задуманного, так как, во всяком случае, русские интересы на Балканском полуострове не пострадали от этого, а могли бы даже выиграть. Жаль, очень жаль, что Хлестаков-Савин не достиг своего рискованного, но гениального плана. Это бесспорно авантюрист, но авантюрист-гений».

Николай Герасимович кончил читать с самодовольной улыбкой.

– Ну что, каково? – спросил Лизаро.

– Наврал с три короба... – небрежно заметил Савин.

– Но вот, кто в дураках, так в дураках, этот ваш кум Стамбулов, – смеясь, продолжал Лизаро. – Как это он так опростоволосился? А, говорят, такой умный и хитрый человек.

– Да здесь ум не причина, разве он мог предполагать, что я не то лицо, за которое я себя выдаю, раз я был ему представлен французским консулом.

– Ну а документы ваши, паспорт были у

вас подложные?

– Нет, подлинные...

Лизаро с недоумением вытаращил глаза.

– Подлинные... Как же это? – с недоумением спросил он.

– Как бывают подлинные... Очень просто! – уклончиво отвечал Николай Герасимович.

## V

### Семиженец

– Да, ваши дела не опасны, не то что мои. – Да вот человек отпетый... – заметил со вздохом Лизаро.

– Вы уже осуждены?

– Да, уже тремя судами приговорен и еду судиться еще в четырех.

– Все по однородным делам?

– Почти так, шесть обвинений в многоженстве и одно в мошенничестве.

– Это очень интересно, расскажите, пожалуйста, – заметил Николай Герасимович.

– С удовольствием. Дайте только я распрощусь с одним товарищем, он выходит здесь скоро, на станции Бирзула.

С этими словами Лизаро ушел в другой конец вагона, где он сидел с худым, высоким, уже пожилым арестантом.

Поезд вскоре, действительно, стал уменьшать ход, подходя к станции.

Как только поезд после двадцатиминутной остановки на станции Бирзула тронулся в путь, к Савину снова подошел Лизаро и, садясь рядом, весело сказал:

– Ну, вот и я являюсь к вам со своим рассказом.

Николай Герасимович весь обратился в слух.

– Уроженец я Волынской губернии, – так начал свой рассказа Лизаро. – Родители мои были небогатые помещики. Сначала я воспитывался в Киеве, в гимназии, а потом поступил в мореходную школу в Николаеве. Окончив там курс с правом на штурмана, я около года прослужил в обществе пароходства и торговли, но затем, женившись на двадцать первом году на одной очень хорошенькой барышне в Одессе, я бросил морскую службу и поступил бухгалтером в одну частную контору. Сначала мы жили очень счастливо, но

вскоре пошли у нас частые ссоры.

Жена моя была страшная кокетка, а я ревновал ее, и кончилось все это тем, что в один прекрасный день она уехала из Одессы сухаживающим за нею гусарским офицером. Такая неудача в семейной жизни страшно подействовала на мою слабую, нравственно не окрепшую натуру. Я с горя запил, стал кутить, вследствие чего потерял службу. Пьянство, разгул и та среда, в которой я очутился, удручающе подействовали на меня и довели до совершеннейшего разорения и полнейшего нравственного падения. Мелкие обманы, шантажи и нечистая игра в карты служили мне единственными ресурсами к жизни в продолжение года.

В это время умер мой отец, и мне осталось после него небольшое имение в Кременном уезде Волынской губернии. Эта смерть отца и отъезд мой из Одессы меня немного отрезвили. Я понял, что возвращаться мне в Одессу и в ту среду, в которой я погряз, не следует, так что по ликвидации моих дел и продажи имения доставшегося мне от отца, я уехал жить в Киев. Но в Киеве вместо того,

чтобы остепениться и начать новую жизнь, я снова предался кутежам и разгулу, так что отцовского наследства хватило мне не на долго.

Вот в это-то время, когда я проживал последние деньги, познакомился с одним семейством, некими Курносовыми. Это был старуха-мать с двумя зрелыми дочерьми. Они приехали в Киев из Полтавской губернии, где у них было имение, искать женихов. Провинциалки-хохотушки, прожившие всю свою жизнь в глухой Малороссии, наивно рассказывали всем, кто только хотел их слушать, о цели своего приезда и заманивали к себе молодых людей. Таким образом попал к ним и я. После двух-трех визитов к ним, я узнал, что за каждой дочкой давалось приданого двадцать пять тысяч наличными деньгами, да в будущем имении в тысячу десятин земли.

Лизаро остановился, перевел дух и с наслаждением закурил предложенную ему Савиным египетскую папиросу.

– Сначала мне и на ум не приходило жениться, будучи женатым. Бывал же я у них просто так, от нечего делать, и если был у меня какой-либо замысел, то только призанять

у них денег и с этой-то целью я начал ухаживать за младшею дочерью Наденькой. Этой Наденьке было уже за тридцать лет и, конечно, мне было не трудно пленить ее сердце. Перезрелая хохлушка воспламенилась страстною любовью ко мне и сама стала мне намекать о браке. Будучи в крайне стеснительных денежных обстоятельствах, и, не видя другого исхода, я решился жениться на ней, конечно, только для того, чтобы получить ее приданое. Свадьба состоялась, я получил деньги и через несколько дней уехал из Киева под предлогом навестить умирающую тетку в Одессе. В Одессу я, конечно, не поехал, а отправился в Варшаву, думая оттуда пробраться за границу. Но неожиданный случай изменил все мои планы. По дороге, при пересадке на станции Казатин, сел я в купе первого класса, в котором ехал какой-то господин. Это был человек лет тридцати, но очень тучный. Эта тучность его страшно тяготила, он задыхался, пыхтел, как паровик, и страшно мучился от жары.

Познакомившись и разговорившись с ним, я узнал, что его зовут Эдуард Иванович Лейн и что он едет из Оренбурга в Брест-Литовск на

службу, куда он назначен судебным следователем. Болтая с ним, я узнал также, что он одинокий человек и никого в Бресте не знает. В купе кроме нас двоих никого не было, и вот вдруг ночью, в то время, как я уже спал, слышу сквозь сон стоны. Я открыл глаза. Смотрю, мой компаньон по купе мечется на своем диване. Я вскочил, чтобы узнать, что с ним. Гляжу, а на нем лица нет, весь побагровел, глаза налиты кровью, а у рта пена. Я испугался. Когда я взял его несколько минут спустя за руку, чтобы спросить, что с ним, рука оказалась холодной – он был мертв. Сначала я было бросился к двери, чтобы позвать кондуктора, но затем мне пришла вдруг блестящая мысль – заменить мертвеца собою. Я снял с него быстро дорожную сумку, вынул из кармана бумажник, взял из него все документы и оказавшиеся до двух тысяч рублей денег, а также железнодорожный билет и багажную квитанцию и вместо них вложил в него свой паспорт, мои визитные карточки, мой билет и квитанцию и несколько рублей денег и снова положил бумажник в его карман, после чего лег спать. Уснуть я, конечно, не был в состоя-

нии, но притворился спящим до прихода кондуктора.

Лизаро снова смолк, закурил потухшую папироску и, сделав продолжительную затяжку, продолжал:

– Томительно провел я эту страшную ночь в соседстве с мертвецом в ожидании кондуктора. Наконец, под утро дверь купе отворилась и вошел обер-кондуктор. «Ваши билеты, господа!» – сказал он громким голосом. Я вскочил и протер глаза, как будто только что проснулся, и спросил его: «Что такое?» – «Ваши билет позвольте?» – повторил он снова. Я подал ему билет, взятый мною в сумке умершего, выправленный до Бреста, и спросил его, когда мы приедем в Брест. «В девять часов», – отвечал он мне и, подойдя к толстяку, стал его дергать за рукав: «Позвольте ваш билет, господин». Но господин молчал, и когда кондуктор дотронулся до него, то отскочил от него и с ужасом произнес: «Да он умер?» – «Ужели умер!» – с деланным ужасом воскликнул я. Сбежались кондуктора, и по прибытии поезда на станцию тело покойного было вынесено из вагона и составлен протокол, в ко-

тором обозначено, что скоропостижно умер дворянин Александр Лизаро. В этом протоколе пришлось расписаться и мне, что я и сделал, подписав: «Судебный следователь второго участка города Брест-Литовска Эдуард Иванович Лейн».

С этого момента Лизаро-двоеженец умер.

Приехав в Брест, я явился по начальству, познакомился со всеми и принял свой участок. Не будучи юристом, мне было довольно трудно первое время; но когда я взял опытного письмоводителя и ознакомился с судебными уставами, дело пошло прекрасно. С первого же момента у меня созрел новый план действий послужить месяц-другой, а затем выйти в отставку и по получении таковой уехать жить в Петербург под именем отставного надворного советника Лейна. Но снова непредвиденное обстоятельство заставило меня поступить иначе. Оказалось, что у покойного Лейна была мать, живущая в Ревеле, которая, не получая писем от своего сына, стала прямо бомбардировать меня письмами, в которых удивлялась молчанию сына и, не понимая такового, писала, что собирается к нему прие-

хоть. Это-то обстоятельство и заставили меня поторопиться покинуть Брест. Но уезжать из Бреста и не извлечь пользы из такого положения, в каком я находился, было глупо, и я придумал, как извлечь эту пользу. В остроге сидели несколько богатых евреев, посаженных еще до меня моим предшественником, и вот я выпустил их всех, взяв с них тридцатитысяч рублей залогов и с этими деньгами уехал в Петербург. На берегах Невы я жил, конечно, не под именем Лейна, а под вымышленной фамилией графа Рамбелинского, на имя которого подделал себе вид. Имея деньги и втеревшись в хорошее общество, я там женился на богатой купчихе Овчинниковой, за которую взял в приданое несколько домов. Дома я эти, конечно, заложил, а с вырученными деньгами уехал в Москву под предлогом устройства там фабрики. Фабрики я, конечно, никакой не устраивал, а кутил на славу. Писал своей жене в Петербург нежные письма, и в то же время выдавал себя за холостяка и женился в Белокаменной на зрелой, но весьма богатой княжне Туркестановой. С этой новой женой я прожил всего две недели. Взять с нее я успел

только двадцать тысяч, так как приехала моя петербургская жена и нам угрожал большой скандал. Я, конечно, улепетнул.

— Однако, до сих пор вы все проделывали очень ловко... — заметил Николай Герасимович, когда Лизаро остановился. — Но что же дальше?

## VI

### Любовь погубила

— Сначала я хотел уехать за границу, но, не зная языков, решил остаться в России и отправился в Харьков. Там я жил по подложному документу на имя инженера Врасского и женился на вдове статского советника Рындиной. Эта жена была самая плохая, да и взял я за ней всего двенадцать тысяч. Из Харькова я направился на Волгу, жил в нескольких городах под разными фамилиями и наконец женился в Казани на дочери одного предводителя дворянства, фамилии которой я не назову, так как она через месяц после свадьбы умерла в то время, когда я жил с нею в деревне ее отца. Не умри она, я полу-

чил бы хороший куш, так как ее отец дал за нею большое имение, но я должен был дожидаться ее совершеннолетия, чтобы получить от нее доверенность на продажу и залог этого имения. Неожиданная смерть ее разрушила мои планы. Овдовев этой женой и получив от ее отца тысячонок пятнадцать, я уехал вниз по матушке по Волге и поселился под именем отставного флотского лейтенанта Новикова в Астрахани.

– Но неужели проживание под чужим именем и в России так легко? – удивился Савин.

– Легко, а главное безопасно. Если меня разыскивали мои многочисленные жены, а по их жалобам и судебные власти, то они искали разных Лейна, Рембелинского, Врасского и других, под чьими именами я прежде жил и был женат. Свежее имя меня очищало сразу, а чистый паспорт давал мне чистое поле к новой деятельности. Вам, как русскому, конечно, хорошо известны все приемы нашей полиции для розыска скрывшихся преступников и вообще разыскиваемых лиц. О розыске публикуется в «Сенатских объявле-

ниях» да в «Ведомостях» обеих столиц. Эти публикации положительно никем не читаются, и только в одном Петербурге ведется в полицейских участках алфавитный список разыскиваемых в империи лиц. Для облегчения работы все разыскиваемые лица вносятся в разные книги по званию своему, так что есть книги для военных, для чиновников, для дворян и разночинцев. По предъявлении паспортов для прописки в участок, фамилия владельца паспорта просматривается в соответствующей книге. При этом, якобы, образцовом способе петербургской полиции могут попадаться только неопытные люди да дураки. Кто же, имея, распри с Фемидой, пойдет совать свой паспорт для прописки? Не правда ли?

Лизаро вопросительно посмотрел на своего собеседника.

– Конечно, кому придет в голову такая глупость...

– То-то и оно-то... Но мой способ перемен при приезде в каждый новый город имени еще лучше. При нем вам нечего бояться и петербургской образцовой полиции с ее разыск-

НЫМИ КНИГАМИ.

– Но кто же вам доставлял эти паспорта?

– Никто, я их делал сам... Я выучился вырезать из резины печати и штампея и делал себе всевозможные удостоверения, свидетельства и тому подобные бумаги, необходимые в России для свободного проживания и спокойствия. Вы знаете, что в России для того, чтобы быть вполне полноправным гражданином, надо состоять из трех главных основных элементов: души, тела и паспорта. Раз эти три элемента налицо – все обстоит благополучно, хотя бы третий – паспорт и был фантастический. Полиция смотрит только на форму; выдан паспорт в установленном порядке, приложены печать и марки, значит паспорт действителен.

– А ответственность?

– Мне ее бояться было нечего... Семь бед – один ответ!.. Приехал я в Астрахань весной, ровно два года тому назад. Денег у меня было с лишком пятьдесят тысяч рублей и мне было не трудно втереться в лучшее общество города. Выдавая себя за моряка, и, будучи по профессии моряком, я вскоре сошелся с кружком

морских офицеров и судовладельцев и через их посредство поступил на службу в общество «Кавказ и Меркурий» помощником капитана парохода «Эльбрус», а три месяца спустя женился на дочери одного крупного рыбака Платонова, за которой взял приданого полтора-два тысяч.

– Это уж настоящий куш! – заметил Савин.

– Да, действительно, куш, – согласился Лизаро. – Такой блестящей женитьбы я еще ни разу не делал, не только в отношении денег, но также в отношении мною взятой жены. Это была молоденькая, семнадцатилетняя девушка, хорошенькая и воспитанная, и я невольно ею увлекся. Это-то увлечение и погубило меня. У человека, сделавшего из женитьбы преступное ремесло, увлечение и любовь не должны были иметь места. Это то же самое, как если бы вор, украв что-нибудь, настолько восхитился бы прелестью краденой вещи, что стал бы ее носить на память на виду у всех.

Вот, благодаря этому увлечению, я, вместо того, чтобы взять деньги и уехать с ними, как я это делал до сих пор, остался в Астрахани,

обзавелся домом и стал жить с молодой женой, как бы настоящий лейтенант Новиков. О туманенной этой новой жизнью я возмечтал о почестях и высшем положении и с помощью протекции моей новой родни добился места капитана на том же пароходе. Но при назначении на эту важную и ответственную должность правление общества обратилось за справками в морское министерство, которое ответило, что никакого отставного лейтенанта Новикова нет и указа об отставке за Нотким-то никогда выдаваемо не было. Эта справка, наведенная правлением общества в Петербурге, была сделана конфиденциально, и я ничего об этом не знал. И вот в один далеко не прекрасный день является ко мне полицеймейстер и просит меня отправиться с ним к прокурору, который меня и арестовал. Сначала я не сознавался, но когда меня уличили в составлении подложных документов, по которым я жил и женился, а также в том, что я уже был женат, пришлось волей-неволей мне сознаться и раскрыть мое настоящее имя. Следствие длилось около года, после того меня осудили к лишению всех особенных лично

и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житие в Иркутскую губернию, а потом повезли судить по другим городам, где мною совершены были остальные преступления. Не раскрытою осталась только моя женитьба в Казани.

В Одессу я попал для очной ставки с моей первой женой, да с одним находящимся теперь в Одессе евреем, которого я выпустил под залог из брест-литовской тюрьмы. Осудили меня пока только в Астрахани, Харькове, Киеве, остается еще мне судиться в Бресте, Москве и Петербурге.

– Но как же отнеслись к вам ваши жены? – спросил, после некоторого молчания, крайне заинтересованный рассказом Николай Герасимович.

– Кроме настоящей, все остальные ревут, как белуги. В особенности была комична моя киевская жена, хохлушка. Она даже просила суд не расторгать брак и разрешить ей ехать со мной в Сибирь, чего, конечно, суд не уважил.

– А вам их не жалко?

– По правде сказать, мне жалко только од-

ну последнюю мою астраханскую жену. Она такая была милая, и я сильно к ней привязался; жаль мне также ребенка, родившегося от этого брака! Такой славный мальчуган! Мне его привозила жена на прощанье, когда меня отправляли из Астрахани в Харьков.

– Куда же вас теперь везут?

– Теперь я буду судиться за судебного следователя, которого я изображал, и за роспуск жидов под залоги: это будет презабавное дело и открылось оно весьма оригинально. Вообразите себе, что меня узнал на киевском этапе один из моих подследственных жидов, которого я как судебный следователь выпустил под залог тысячи рублей. Потеха была здоровая, когда мой жид вцепился в меня, стал кричать «гевалт» и требовал, чтобы я возвратил ему «пепендзы». Для очной ставки с этим-то жидом меня и возили в Одессу – он там содержится в тюрьме за другие совершенные им проделки.

– А не из приятных, должно быть, была для вас эта встреча?

– Какое там неприятно, мне, в сущности, безразлично, за эту брестскую проделку нака-

зания меньше, чем за многоженство, всего только на житие в Сибирь.

– Да вы мне говорили, что вас присудили на житие в Иркутскую губернию?

– Да, но это вследствие снисхождения, данного мне судом, а могли закатить и с лишением всех прав состояния на поселение.

– А на поселение хуже?

– Один черт, разница только та, что нас, дворян, тогда отправляют в казенном арестантском платье, да и то, если есть протекция в губернском правлении, можно выхлопотать идти в своем. Там же, в Сибири, что поселенец, что сосланный на житие – безразлично.

С таким интересным попутчиком-собеседником, как Лизаро, дорога от Одессы до Киева промелькнула для Савина незаметно.

В два часа дня на вторые сутки поезд остановился у киевской станции.

Погода была ужасная. Дождь лил, как из ведра, и, несмотря на это, партию высадили и повели в тюрьму, находящуюся на противоположном конце города, версты за три от вокзала.

В то время, когда партия строилась и Николай Герасимович стоял с приставленным к нему унтер-офицером, к ним подошел начальник конвойной команды.

– Я велел нанять извозчика для вас, – сказал он Савину, – а то пока дойдем до тюрьмы, вы промокнете насквозь. Ишь ливень какой.

Поблагодарив его за любезность, Савин сел с его земляком унтер-офицером в крытую пролетку и поехал шагом вслед за партией.

## VII

### В секретной

По прибытии в тюремный замок, конвойный офицер снова выказал Николаю Герасимовичу свое внимание, поведя его с собой, не дожидаясь общей приемки партии, в контору и представил смотрителю.

– Вы меня извините, господин Савин, – сказал ему, однако, этот последний далеко не ласковым тоном, прочитав поданные ему конвойным писарем относящиеся к арестанту бумаги, – но я принужден буду вас тщательно обыскать и затем содержать в секрет-

ной камере; уж больно строго насчет вас предписание от одесского градоначальника.

Савину вывернули все карманы, заставили снять сапоги и провели в маленькую очень грязную одиночную камеру, носящую название «секретной».

В одесской тюрьме хотя его и содержали строго в отделении политических, но там камера была, по крайней мере, чистая, светлая и, наконец, в ней было все необходимое, начиная с кровати.

Здесь же, в киевской тюрьме, Николая Герасимовича посадили в какую-то грязную, вонючую камеру, где кроме нар никакой мебели не было.

Но что было всего ужаснее – это режим этой тюрьмы.

Савин не мог положительно добиться ничего купить на свои деньги, и на его требования ему было категорически объявлено, что выписка продуктов делается один раз в неделю, по субботам, а так как этап прибыл в понедельник, то ему предоставлялось ждать и голодать целых пять дней.

– Что же мне, умирать с голоду? – спросил

он оборванного хохла-надзирателя.

– Нет, с голоду не умрете... Мы вам дадим казенной пищи...

И действительно, на следующий день в обеденное время хохол принес Николаю Герасимовичу в деревянной миске крайне сомнительной чистоты «хлебово», как он называл жидкость, долженствующую из себя изображать суп.

«Голод не тетка» – говорит пословица, но тут и голод не помог, и Савин не в силах был съесть этого «хлебова» ни одной ложки.

– Проводите меня к смотрителю, в контору... – заявил надзирателю Николай Герасимович.

Хохол даже разинул рот от удивления и объявил, что из секретной камеры никого никуда не водят без особого разрешения начальства.

– Что же мне делать?

– Напишите прошение смотрителю, может быть, он сделает для вас исключение. Вот рядом в камере сидит «политик», так ему все полагается, свое получает...

Послушав совета надзирателя, Николай Ге-

расимович написал смотрителю заявление, в котором просил его разрешить ему купить необходимые продукты, но получил отказ. Этот необоснованный отказ страшно взбесил заключенного, и он написал письмо к прокурору киевского окружного суда Н. Г. Медишу, его старому знакомому, с которым он был еще в бытность его товарищем прокурора в Туле в самых лучших отношениях.

Зная Медиша за прекрасного человека, Савин был уверен, что Медиш не посмотрит на ту обстановку, в которой он теперь находится, и придет проведать его, а также, конечно, прикажет смотрителю обращаться с ним по-человечески.

Письмо это действительно произвело чудеса даже ранее, чем дошло по назначению.

В тюрьме поднялся целый переполох.

Не прошло и получасу, как Николай Герасимович передал его надзирателю, к нему явился смотритель.

– Вы жалуетесь на меня господину прокурору, что я вас будто бы притесняю и не даю ничего, – начал вкрадчивым голосом смотритель. – Чего же вы желаете, господин Савин?

– Я желаю, прежде всего, есть, так как сижу по милости вашей и ваших удивительных порядков уже второй день на пище святого Антония, и получая как дворянин пищу не натурой, а деньгами, я имею, мне кажется, право выписывать, что пожелаю.

– Так-то так, но у нас, видите ли, господин Савин, заведено, что выписка бывает раз в неделю, а потому я приказал вам давать не в счет вашего порциона казенный обед. Разве вы его не получали?

– Мне приносили какую-то бурду, но я есть ее не мог, так как к такой пище не привык... Вот почему я и написал Николаю. Григорьевичу, прося его, по старой дружбе, приехать проведать, меня и распорядиться о том, что вы считаете невозможным для меня сделать, то есть купить мне колбасы и белого хлеба.

– Хорошо, я сейчас распоряджусь, и вам все купят, а вы уж письмо к господину прокурору перепишите, не стоит его беспокоить по пустякам... – сказал, уходя, смотритель, оставив письмо на подоконнике.

После его ухода Николаю Герасимовичу вскоре принесли все, что он просил, и кроме

этого еще целую миску вкусного борща стовядиной, который ему послал змотритель от себя, что убедило наглядно Савина, что знакомство с прокурором в его положении, вещь далеко не бесполезная.

К счастью, в этой ужасной киевской тюрьме ему пришлось пробыть всего три дня, на четвертый уходил этап на Москву, с которым он и был отправлен.

От Киева до Курска дорога показалась ему очень скучной, так как в партии никого из интеллигентных и интересных не было и ему пришлось сидеть в обществе конвойных солдат.

В Курске принял этап московский конвой под начальством очень милого, совсем молоденького поручика.

При первом же обходе арестантов последний разговорился с Николаем Герасимовичем и был так любезен, что пригласил его в свое отделение, в котором он и доехал до Москвы.

Поручик оказался очень благовоспитанным и веселым человеком, но главное, человеком с душой, вникающим в положение людей.

Это последнее он доказал своим крайне гуманным отношением к Савину во время всего пути.

По приезде на Курский вокзал, поручик предложил Николая Герасимовичу находиться при нем и следовать за этапом стороной по тротуару, вместе с ним.

– Так меньше будет заметно ваше положение, – сказал он ему.

По прибытии в московскую центральную пересылочную тюрьму начались снова мытарства и все благодаря этому «строжайшему» предписанию одесского градоначальника, находящемуся при бумагах Николая Герасимовича.

Вместо того, чтобы посадить его в общую «дворянскую камеру», его засадили в «секретную», помещающуюся в одной из башен, куда сажают только политических преступников.

Савин протестовал, но, в конце концов, должен был подчиниться.

Здесь он пробыл в одиночестве четверо суток до отхода этапа в Петербург.

Этап в Петербург отходил из Москвы каж-

дый четверг и принимался петербургской конвойной командой, которая днем раньше прибывала с петербургским этапом в Москву.

В Петербург этапы бывают большею частью не велики, и тот, с которым отправили Савина, состоял всего из тридцати человек, в числе которых «привилегированный» был один он.

Офицера при этапе не было, и его заменял старший унтер-офицер.

Скучно было Николаю Герасимовичу во время этого суточного пути, и чем ближе подъезжали они к Петербургу, тем сильнее одолевала его эта томительная скука.

Легко понять всякому то удручающее впечатление, в котором он находился.

Разбитый физически и нравственно, омраченный настоящим его положением, наконец, усталый от всех перенесенных им тюремных и этапных мытарств за время этого двухнедельного путешествия от Одессы, ослабевший от голода и недостатка сна, он сделался страшно нервным.

При возбужденной же нервной системе человек становится чувствительным ко всему

переживаемому. Картины, одна печальнее другой, проносились в его голове.

Момент разрушенной надежды, когда он был почти у пристани, восставал перед ним. Он как-то странно, смутно припоминал, как он очутился на пароходе «Корнилов».

Он был до того потрясен, что по прибытии на пароход впал в какое-то бессознательное состояние.

Это был не обморок или потеря чувств физических, но полнейший нравственный столбняк.

Он помнит, что ходил по пароходу, пил, ел, отвечал на предлагаемые ему вопросы, но делал все это машинально, в полной бессознательности, не понимая, где он находится и что с ним делают.

В таком положении механического манекена пробыл он почти сутки.

Когда наконец он пришел в себя, то увидел, что сидит на палубе парохода, идущего на всех парах, по необозримому, сильно волнующемуся морю.

Оглядевшись кругом, как человек только что проснувшийся после долгого сна, он заме-

тил сидящего недалеко от него высокого, худого, с ястребиным носом и необычайно длинными, черными усами каваса русского консульства.

Присутствие этого смуглого арнаута заставило его вспомнить обо всем случившемся и понять его настоящее положение: он был арестован и препровождался в Россию.

Значит, все его надежды, все его мечты рухнули, разбились, как морская волна о прибрежные утесы, и он свалился с той высоты, на которую было с таким трудом поднялся.

Все было кончено!

Он был уже не блестящий французский граф, претендент на болгарский престол, а снова русский корнет Савин, узанный, уличенный, арестованный.

«Все кончено!» – сказал он себе.

Воздушные замки, грезы и мечты, лелеянные им, были разбиты и отошли уже в прошлое. В настоящем полная неопределенность – хотя с темной и ужасной перспективой.

Вот каково было его положение тогда. А что ожидало его в России? Мытарства тюрь-

мы и этапа, которые для него теперь уже близились к концу, а тогда стояли еще только зловещим призраком будущего.

Понятно, что у него появилась мысль бежать во что бы то ни стало.

Бежать, но когда?

Он хорошо понимал, что раз он ступит на русскую землю, там будут приняты самые строгие меры, чтобы довести его до Петербурга, а поэтому самое удобное было бежать теперь, с парохода.

С этой целью Николай Герасимович завел разговор с сидевшим рядом с ним за обедом капитаном парохода и стал его расспрашивать о курсе парохода, о заходах его в какие-либо порты, о близости берегов или каких-либо островов и так далее, и узнал от него, что «Корнилов» идет прямо до Одессы, не заходя ни в какие порты, и рейс его вдали от берегов. В одном только месте, близ устья Дуная, он проходит в недалеком расстоянии от румынского берега и единственного имеющегося в Черном море острова.

Узнал он также, что на этом острове есть маяк, который будет виден с «Корнилова»,

так как пароход пройдет всего в трех-четыре-х верстах от него, в первом часу ночи на вторые сутки пути.

Намотав все это себе на ус, Николай Герасимович стал обдумывать план бегства. Вышло, что оно, хотя и рискованно, но все-таки возможно.

Для этого нужно было взять один из многочисленных спасательных кругов, висевших на борту парохода, и надев его на себя, броситься в море во время прохода «Корнилова» близ этого румынского острова. Ночная темь должна скрыть бегство.

Будучи хорошим пловцом, доплыть расстояние в три версты он вполне надеялся, в особенности с помощью спасательного круга, да и не об этом была главная забота. Самым трудным в этом бегстве было обойти бдительность каваса, не отходившего от него, ни на шаг и могущего, конечно, помешать исполнить задуманный план.

Единственным местом, где он оставался один, без его назойливого общества, была каюта. В нее кавас не осмеливался проникать, довольствуясь охраной арестанта, стоя у две-

ри.

Из этой-то каюты и надо было найти способ удрать.

Осмотрев ее, Савин убедился, что это было весьма возможно.

Люк в каюте был настолько велик, что человек мог свободно пролезть в него, но надо было уж отказаться от спасательного круга, так как в каюте его не было, да он и не прошел бы в отверстие люка.

Конечно, он не посмотрел бы на это и решился бы все-таки исполнить задуманное, если бы к вечеру не усилился ветер и не взволновал бы до тех пор спокойное море.

В бурю решиться на такое бегство было бы безумием.

Это была бы верная гибель.

Он понял, что бежать ему не судьба и отдался на волю ожидающих его случайностей.

Он помнил теперь, что это решение как-то странно успокоило его и он неожиданно для себя крепко заснул на диване каюты.

Проснувшись ранним утром, он вышел на палубу.

Погода была восхитительная, буря стихла,

и пароход шел по зеркальной поверхности моря.

На горизонте виднелась черная полоса – это был русский берег. Сердце его томительно сжалось, его охватило гнетущее чувство страха неизвестности.

Черная полоса на горизонте становилась все явственнее, и вскоре можно было разглядеть молы и другие высокие постройки одесского порта.

Все это несло в воспоминаниях Савина, сидевшего в арестантском вагоне николаевской железной дороги.

## VIII

### В доме предварительного заключения

Петербург!

Как много в этом слове соединилось воспоминаний для Николая Герасимовича Савина!

Тут прошла его бурная юность! Тут жил предмет его первой настоящей любви – «божественная Маргарита Гранпа» – при воспоминании о которой до сих пор сжимается его сердце. Тут появилась в нем, как недуг разбитого сердца, жажда свободной любви, жажда искренней женской ласки, в погоне за которыми он изъездил Европу, наделал массу безумств, приведших его в конце концов в этот же самый Петербург, но... в арестантском вагоне. Дрожь пробежала по его телу, глаза наполнились невольными слезами.

Поезд в это время остановился у Николаевского вокзала.

Для избежания скандального шествия по городу, где на каждом шагу он мог встретить

знакомые лица, Николай Герасимович на последний оставшийся у него рубль нанял карету, в которой и доехал до Демидова переулка, где тогда помещалась пересыльная тюрьма.

Не успели еще затвориться тяжелые железные ворота за въехавшей вслед за этапной каретой, как у ее дверей появился старший надзиратель.

– Вы корнет Савин?

– К вашим услугам.

– Пожалуйте в контору...

– У меня есть уже распоряжение отправить вас немедленно в дом предварительного заключения... – сказал Николаю Герасимовичу при входе его в контору седой худощавый подполковник, оказавшийся начальником тюрьмы.

Через полчаса въехала во двор тюрьмы извозчичья карета, в которой и отправили Николая Герасимовича с двумя надзирателями в дом предварительного заключения.

Дом предварительного заключения! Само название этого учреждения звучит как-то мягче и нежнее, нежели тюрьма.

Так думал Савин и хотя знал, что его везут

туда не для развлечения, ему все-таки было как-то легче туда ехать, нежели в тюрьму.

В нем жила надежда, что с этим более мягким названием связано и более мягкое отношение к людям, находящимся, по воле судеб, в этом образцовом учреждении современной Фемиды.

И действительно, подъезжая по Шпалерной улице к этому «заведению», не заметишь ничего тюремного: дом, как дом, у ворот ни будки, ни часового, а дворник в красной рубашке и фартуке, с метлой в руках.

Карета въезжает во двор, подъезжает к подъезду.

Подъезд настезь, швейцар в ливрее, как в самом аристократическом доме, выбегает, отворяет дверцы кареты и при этом, спрашивает:

– Чемоданчик прикажете тоже мне захватить?

«Какая цивилизация в тюремном деле! – мелькало в голове Николая Герасимовича. – Это отель, а не тюрьма».

С этой мыслью он вошел в прекрасно меблированную комнатуг оказавшуюся конто-

рою.

Портрет Государя над письменным столом, за которым сидел толстенный лысоватый господин в военном сюртуке со жгутами, один оттенял официальность этого помещения.

Толстенный господин, оказавшийся помощником смотрителя, надел на нос золотое пенсне и очень любезно раскланялся с вошедшим, даже привстав.

– Вы корнет Савин? – спросил он мягким голосом.

– Точно так.

– О вашем прибытии мне уже сообщили по телефону, садитесь, пожалуйста.

Он любезно указал Савину на стоявший у письменного стола стул.

– Кто сообщил вам о моем прибытии? – удивленно сказал Николай Герасимович.

– Сначала мне сообщили со станции николаевской железной дороги о прибытии вашем с этапом, а затем, полчаса тому назад, еще из двух мест: от прокурора и из пересыльной тюрьмы, откуда вы были отправлены. Да мы и раньше знали, что вы к нам сего-

дня придете, во всех газетах было сообщение о вашем выезде из Москвы.

– Так вот как! Значит обо мне заботятся?

– Как же, как же... Почти ежедневно со дня вашего ареста в Константинополе что-нибудь о вас пишут, – сказал он, смеясь. – Не хотите ли курить?

Он любезно подал Савину свой серебряный портсигар.

– А это у вас разрешается?

– У нас все разрешается, кроме женщин и спиртных напитков, но и эти последние вы можете получить с разрешения врача.

– Да у вас настоящая гостиница! – заметил с улыбкою Николай Герасимович.

– Да, вот увидите! Наверное, после всех тюрем, которые вы прошли, теперь отдохнете у нас. Пойдемте, я вас отведу в вашу камеру.

Выйдя из конторы по парадному подъезду и поднявшись по нескольким ступеням, они подошли к тяжелой полированной двери.

На данный звонок дверь отворилась, и они вошли в достаточно светлый и очень широкий коридор.

По левой его стороне были расположены в

четыре этажа камеры с однообразными дубовыми дверьми и ярлыками, на которых были обозначены номера их. К ним вела железная, с такими же перилами лестница.

По другую сторону коридора были огромные, как бывают в мастерских художников, окна, но с матовыми стеклами, пропускавшими мягкий свет, но не позволявшими не только ничего видеть, что происходит на улице, но даже и железных решеток, которыми они были снабжены.

Поднявшись на третий этаж, Николай Герасимович и помощник смотрителя, в сопровождении старшего надзирателя, встретившего их еще при входе, вошли в одну из камер.

Аршин четырех ширины и шесть длины, камера эта, освещавшаяся четырехугольным окном, находящимся от пола на высоте трех аршин, была безукоризненной чистоты. Высота ее была три аршина.

Стены ее были выкрашены свежей масляной краской, асфальтовый пол был натерт воском, а железная кровать со всем необходимым, стол и табурет составляли ее убранство.

– Ну, вот и ваша квартира пока, – сказал Савину любезно помощник смотрителя, – располагайтесь и отдыхайте... Вы, наверно, устали с дороги... Если вам что-нибудь будет нужно, то позвоните.

Он указал на пуговку электрического звонка.

Раскланявшись и пожав руку Николая Герасимовича, он вышел.

Савин остался один.

Несомненно, что одиночное заключение не представляет особой прелести, оно, оставляя человека постоянно с его думами, очень тяжело, подчас даже невыносимо.

Но человек привыкает ко всему.

Николай Герасимович уже просидел достаточно времени в одиночных тюрьмах Западной Европы, чтобы привыкнуть.

Разница была, впрочем, та, что там он был при деньгах и, значит, мог пользоваться всеми удобствами, в дом же предварительного заключения он буквально прибыл без гроша и даже без табаку.

Последнюю египетскую папиросу он выкурил на станции Колпино.

Таким образом, он испытывал всю тяжесть положения человека, сидящего в тюрьме без всяких средств, но тут-то и сказалась сердечность начальства этого образцового тюремного учреждения.

Ничего подобного Савин не встречал ни в одной тюрьме Западной Европы.

Даже обыкновенная арестантская пища была более, чем порядочная, в особенности, если принять во внимание, что от казны отпускалось всего по шести копеек на человека, но положение Николая Герасимовича постарались улучшить отпуском ему лазаретной пищи и покупкой ему из каких-то пожертвований, имеющихся в распоряжении тюремного начальства, чаю, сахару и даже табаку.

За все это он впоследствии уплатил, но где же это сделали бы, в какой европейской тюрьме?

Дом предварительного заключения, конечно, тюрьма, и тюрьма, устроенная по образцу одиночных тюрем Западной Европы, даже с одинаковым с ними режимом, но благодаря русскому благодущию, той русской простоте, а главное, русскому сердцу, бьющемуся в гру-

ди даже у тюремщиков, с чисто русской теплотой, в эту одиночную, со строгим режимом, тюрьму внесена русская простота, душевность и жалостливость ко всякому несчастному.

Нет, действительно, людей более добрых и сердечных, как русские.

Эта душевность и сердечность есть как бы отличительное свойство, присущее лишь русскому народу, и нигде в мире, ни у одной нации нет столько чувствительности, столько сердечной теплоты, как в русском человеке.

Эти свойства проявляются везде и во всем и не могли не отразиться и не наложить благотворную печать даже на таком иноземном учреждении, как одиночная тюрьма.

Конечно, не обезьянничай мы перед Западом, не перенимай всего западно-европейского, наверное, мы даже бы не придумали своим умом, и это, несомненно, к нашей чести, такого милого современного инквизиционного заведения, как одиночная тюрьма.

Но по несчастью, со времени петровских реформ в России постоянно увлекались всем иностранным, а наш интеллигентный класс,

выбранный и одетый в европейский костюм Великим Петром, с палкою в руке, до того хопски вошел в свою роль, что, увлекаясь всем иностранным, стал одно время пренебрегать и чуждаться всего русского.

Заполонившие же в то самое время Россию немцы помогли нашим бритым и переряженным в европейцев интеллигентам довершить то, к чему они старались нас вести: убить все национальное и онемечить Россию.

К великому счастью для нашей родины, в последние годы русский дух снова воспрянул.

Мы стали понимать, что Западная Европа допекает свою песню, а Россия, полная молодой силы, только оживает.

Мы поняли, что нам нет надобности с завистью смотреть на заморские порядки, убедившись, что зачастую то, что там оказывается пригодным и хорошим, у нас никуда не годится.

У нас совершенно другие условия: наша жизнь, склад ума и потребности – все иное.

Из мощной русской груди раздался отрадный крик: «Не ей нас учить!»

К чему, действительно, нам благоговеть

перед Европой?

Наша русская жизнь сложилась иначе, наш русский народ не тупоумный, кропотливый немец, не легкомысленный француз, не торгош-кулак англичанин!

Это сердечный, смелый и великодушный народ, геройски перенесший монгольское иго, язву крепостного права, взяточничество бюрократии и, наконец, невежество, в котором его так долго держали!

И что же?

Проснувшись наконец, стряхнув с себя все эти цепи, он остался добр и младенчески незлобливо прощает тем, кого он имел бы право проклинать.

Герой и дитя – вот определение русского народа, и мы должны перед ним преклоняться до земли.

Если же мы, русские, были до сих пор так близоруки, что увлекались Западом, но этот самый Запад, мудрый, отживающий, хорошо видит и понимает силу и великую будущность России.

Эта сила кроется в характере, складе ума и душевных качествах Русского народа.

Такие или почти такие мысли пронеслись в голове Савина, заключенного в одной из камер русского заморского заведения, но чувствовавшего даже сквозь толстые стены одиночной тюрьмы биение пульса русской жизни, стонявшего, казалось, с этих стен их мрачность и суровость.

Николай Герасимович, оставленный волею закона наедине с самим собою, невольно предался воспоминаниям.

Перед ним одна за другой проходили картины его детства, юности – прошедшей в том самом Петербурге, которого он даже и не видел теперь, но чувствовал за этими стенами своей тюрьмы – заграничной жизни, привольной и сладкой жизни, перемены ощущений, подчас невзгод, но в общем надежд и мечтаний.

Он дошел наконец в своих воспоминаниях до момента приезда к нему в Брюссель любимой им и горячо его любящей женщины, блестящей львицы парижского полусвета – Мадлен де Межен, привезшей ему обрадовавшую его весть о распространившемся слухе о его смерти.

Он жил тогда в Бельгии под именем Сансака де Траверсе, и надежда возродиться к новой жизни, покончить с безумным прошлым, чудным цветком распустилась в его сердце.

Жизненный мороз скоро подкосил этот цветок.

Это было сравнительно еще так недавно... но лучше расскажем по порядку хотя часть томительных воспоминаний заключенного.

## IX

### Опять женщина!

Перенесемся и мы вместе с Николаем Герасимовичем Савиным года на два назад до описанных нами событий.

Мы застаем его в Брюсселе в тот момент, когда газеты всего мира оповестили о его смерти под колесами железнодорожного поезда и когда ему, после жизненных тревожных и скитальческой доли последнего времени, заблестела звезда надежды на возможность спокойной жизни под избранным им новым именем маркиза Сансака де Траверсе.

Эту надежду поддерживала и одухотворя-

ла любимая и любящая женщина Мадлен де Межен, променявшая свой роскошный отель шумного Парижа на скромную квартирку на уединенной улице тихого Брюсселя.

Кто не испытал разлуки, разлуки насильственной, тот не в силах будет понять страданий, которые переносят разлученные силою, не всякому будет легко представить себе ту радость, то счастье, которое испытал Николай Герасимович при приезде в Брюссель любимой женщины после этой долгой насильственной разлуки.

После первых порывов обоюдного восторга и нескончаемых ласк оба они первым делом стали обдумывать свое настоящее положение, соображаясь с их делами и надеждами.

Вопрос был для них слишком серьезен, от него зависела вся их жизнь, их счастье.

Мадлен де Межен сообщила Савину, что она все распродала в Париже, даже сдала их общую квартиру на Avenu Villier, оставив только необходимые вещи, и что по уплате долгов у нее осталось двадцать пять тысяч франков, которые она положила на текущий счет в «Лионский кредит».

Конечно, этих денег было слишком мало, чтобы ехать тотчас же в Америку, как они проектировали, и начать там что-нибудь серьезное.

Необходимо было дождаться денег из России, но где было их дожидаться?

Этот вопрос являлся, по отношению к безопасности Николая Герасимовича, самым животрепещущим.

По его мнению, в Бельгии представлялось менее риска, чем в какой-либо другой стране.

Хотя распространенное газетами известие о его смерти и должно было на первое время усыпить бдительность разыскивающих его полицейских агентов, но Савин понимал, что последние не особенно-то доверчивы к газетным сообщениям и их профессиональный нюх будет, напротив, крайне заинтересован отсутствием трупа раздавленного поездом человека, и найдутся даже чиновники-любители, которые по собственной инициативе займутся разьяснением этого дела.

В этом мнении утвердила Савина прочтенная в одной из парижских газет заметка, в которой было ясно выражено сомнение в смер-

ти «знаменитого Савина».

Предположение, чтобы русские власти разыскали его в Бельгии, да еще под громким именем маркиза де Траверсе, о принятии которого им не могло быть известно, казалось Николаю Герасимовичу невероятным.

Во Франции, Италии и других странах, где его хорошо знали, где все читали о его двух бегствах и вообще обо всем случившемся с ним, было, конечно, опаснее жить, чем в Брюсселе, в незнакомом городе, под прикрытием чужого имени и скромной уединенности.

В силу этих-то соображений он и Мадлен решили остаться в Брюсселе.

Скрывшемуся так французу или итальянцу в России, конечно, предосторожностей, принятых Савиным, было не вполне достаточно, но в Бельгии, одной из стран Западной Европы, где интересы других народов соблюдаются так же, как и свои собственные, надо было, как оказалось, быть осторожнее и скрываться еще тщательнее.

В России привыкли смотреть на вещи иначе, чем смотрят люди за границей, поэтому

русским и не приходит в голову, например, таких вещей, чтобы в Бельгии хлопотали об интересах Германии и Франции, как о своих собственных, а между тем то, чего русские почти не знают и не понимают, то есть международная солидарность, существует во всей Западной Европе.

Там между государствами, или точнее, между полицией разных государств тесная связь, о которой русские люди не имеют никакого представления.

Там достаточно телеграммы или письма какого-нибудь полицейского комиссара, или агента парижской, берлинской или миланской полиции к префекту или управлению другой иностранной полиции, в Брюсселе, Женеве или Вене, чтобы вся эта брюссельская, женевская и венская полиция была тотчас же поставлена на ноги по иностранному делу, как бы по своему собственному и заподозренные лица разысканы и арестованы до выяснения дела и присылки всей подробной о них переписки.

Эта-то международная солидарность и привела Николая Герасимовича к новым мы-

тарствам жертвы настойчивого полицейского розыска.

Розыски, разные публикации в специальных полицейских интернациональных газетах и листках, издаваемых в Лондоне, Берлине, Париже и Майнце на четырех языках (французском, немецком, английском и итальянском), – все это надвигалось на Савина грозными тучами.

Берлинские агенты ездили по его следам в Голландию, и весь инцидент, случившийся с ним в Скевеннинге, произошел вследствие приезда в Гаагу немецких сыщиков, так что если бы Николай Герасимович не убежал тогда, он, наверное, был бы арестован и выдан еще из Голландии.

Конечно, прусская полиция действовала только ввиду отместки, не будучи в праве требовать его выдачи, разыскивая его с целью направить на него русские власти в случае удачного розыска.

Ей было важно найти Савина, чтобы дать немедленно знать по телеграфу кому следует в Россию о месте его пребывания и смыть пятно, наложенное на ее полицейскую репу-

тацию его бегством.

Оказалось, что после его удачного бегства из «Hotel d'Orange» в Скевеннинге, немецкие сыщики, потеряв его след, вообразили, что он уехал в Париж, а потому обратились к парижской префектуре, прося ее следить за проживающей в Париже любовницей Савина Мадлен де Межен.

Эти-то наблюдения и привели ко всем неприятностям и аресту Николая Герасимовича в Брюсселе.

Парижская полиция, узнав об отъезде Мадлен де Межен в Брюссель, сообщила о том берлинской полиции, в силу все той же международной полицейской солидарности.

На основании этого сообщения в Брюссель не замедлило прийти такое же сообщение из Берлина с описанием примет Савина и приложением его фотографической карточки, полученной немецкой полицией из Парижа.

Конечно, этого было вполне достаточно, чтобы брюссельская полиция принялась немедленно за розыски Николая Герасимовича и нашла его.

Найти его было не трудно, особенно благо-

даря приезду Мадлен де Межен.

Ее красота, элегантность, туалеты и особый парижский шик, выделявшие ее из толпы, бросались в глаза.

Самый простенький, темный туалет имел в Мадлен всегда отпечаток особого тона и шика, что невольно притягивало взоры всякого встречного, а не только ищущих ее, а по ней Савина, брюссельских сбиров.

Кроме того, хотя никакой формальной прописки паспортов в Бельгии не существует, но есть другие меры, вполне заменяющие ее.

В силу полицейских правил, всякий хозяин дома, гостиницы и даже частных квартир, отдаваемых внаем, обязан доносить полиции о приезде всякого иностранца с обозначением данных им хозяину сведений о его имени, звании и национальности, и таким образом всякий иностранец, проживающий в Бельгии более трех дней, бывает внесен в негласные полицейские списки, о чем он даже не имеет никакого понятия, так как это делается не им, а его хозяином и даже без его ведома.

Такие негласные меры, предпринимаемые полицией, много существеннее для полиции

и опаснее для скрывающихся, чем все строгие прописки видов и другие формальности, которые всегда можно обойти и избежать, зная о них.

На эту-то удочку, на которую попадались уже многие, попался и Николай Герасимович Савин.

Дней через десять по приезде Мадлен де Межен в Брюссель, Савин поехал утром на почту и по возвращении домой Мадлен рассказала ему, что в его отсутствие приходил какой-то чиновник, желавший непременно его видеть, и так как она сказала ему, что не знает, когда он вернется, то посетитель стал ее расспрашивать о его имени, летах, месте его рождения и надолго ли он приехал в Бельгию, а также о том, законная ли она жена или нет и как ее зовут.

На вопросы ее, к чему все эти сведения, он ответил, что обо всех иностранцах, проживающих в Бельгии более продолжительное время, собираются сведения для статистической цели, и что он чиновник муниципального совета, которому поручено это дело.

Это сообщение Мадлен и визит незнаком-

да очень встревожили Николая Герасимовича, и он высказал свои опасения Мадлен.

– Это, голубушка моя, – сказал он ей, – не чиновник статистического комитета, а просто сыщик.

– Мне самой показались странными некоторые его вопросы, – отвечала она, – к чему непременно ему надо было знать для статистики Бельгии, жена ли я твоя или нет.

– Конечно, это, наверное, сыщик и визит его не предвещает ничего хорошего... Нет, моя милая, надо принять безотлагательно меры предосторожности и, по моему мнению, самое лучшее будет, если мы сегодня или завтра уедем из Брюсселя и даже из Бельгии.

– Странно-то, странно, – заметила Мадлен, – но я все же думаю, что ты преувеличиваешь опасность... Если даже это был полицейский сыщик, то нет основания после первого же его визита бежать без оглядки.

– Что же, дожидаться его второго визита? – с иронией спросил Савин.

– Отчего же и не дожидаться... По-моему, всего благоразумнее показаться равнодушными к этому визиту и спокойствием стараться

отвлечь всякие подозрения полиции. Поверь мне, если бы ты был узнан и о выдаче твоей было бы формальное требование из России, полиция не стала бы церемониться и арестовала бы тебя без всяких предварительных засылков своих агентов.

Доводы эти показались Николаю Герасимовичу довольно основательными, да и когда же доводы любимой женщины кажутся нам иными?

Но... «пуганная ворона куста боится», и Савин все-таки стал уговаривать и уговорил Мадлен поехать жить в Лондон.

Они стали собираться к отъезду.

Будь Николай Герасимович один и не подсмеивайся над его страхом Мадлен, он уехал бы, замаскировав свой отъезд и скрыв следы, но насмешки любимой женщины его стесняли и ему совестно было проявить перед ней трусость.

Таким образом было потеряно три дня.

Этой медлительностью он погубил себя и в этой гибели, как, и во всей его предшествовавшей жизни, была виновата женщина.

## Х

### Арест

Прошло три дня.

Однажды утром, часов около девяти, когда Савин и Мадлен еще покоились сладким сном, в их спальню торопливо вошла квартирная хозяйка госпожа Плесе.

– Маркиз, маркиз!.. – стала она расталкивать спавшего Николая Герасимовича.

– Что, что такое?.. – широко раскрыв глаза, спросил он.

– Там вас спрашивают какие-то два господина... – с видимым волнением и тревогой в голосе продолжала госпожа Плесе.

– Кто они и что им надо?

– Это опять, вероятно, они! – воскликнула проснувшаяся Мадлен.

– Да, маркиза, один из них, действительно, тот самый, который приходил сюда на днях, а другой – наш полицейский комиссар.

– Мы погибли!.. – побледнела Мадлен де Межен.

Действительно, для нее и для Савина не

оставалось сомнения, что эти господа пришли арестовать лицо, о котором один из них наводил такие подробные справки.

Первой мыслью Николая Герасимовича было бежать.

Как только хозяйка вышла из спальни, он вскочил с кровати и подбежал к окну, чтобы посмотреть, нет ли кого у подъезда.

Оказалось, однако, что комиссар принял все меры предосторожности, и у ворот дома стояли два полицейских сержанта в форме и два каких-то штатских господина, видимо, сыщики.

Никакой надежды на спасение не было, и Савину оставалось только отдаться в руки правосудия.

В нескольких словах он передал Мадлен тот образ действия, которого они должны были держаться, и те показания, которые она должна была дать, если ее спросят о нем.

– Голубчик, Мадлен, – спеша шепотом говорил он, – себя ты должна назвать своим настоящим именем, а не моей женой, как это было до сих пор. Про меня же – что я не Савин, а, действительно, маркиз Сансак де Тра-

версе.

Молодая женщина слушала, лежа в постели, бледная, вся дрожащая, и лишь наклоном головы соглашалась на просьбы Савина.

Видимо, страшное волнение мешало ей говорить.

– Впрочем, все это пустяки, – продолжал он, – и ты можешь успокоиться, меня, вероятно, подержат несколько дней, твои показания будут в мою пользу, против меня не будет никаких других доказательств, и они принуждены будут меня выпустить. Во всяком случае, умоляю тебя, не падай духом, возьми хорошего адвоката, чтобы он руководил тобой в моем деле.

Не успел Николай Герасимович окончить беседу с Мадлен, как в дверь раздался стук и, не дождавшись даже разрешения войти, ее отворили, и в комнате очутились два господина – полицейский комиссар, опоясанный своим официальным шарфом, и мнимый чиновник статистического бюро – сыщик.

Такое более чем бесцеремонное появление в спальне, где лежала еще в постели дама, взбесило Савина и он бросился к ним на-

встречу.

– Что вам угодно, и какое вы имеете право врываться в мою и моей жены спальню?..

– Входим мы сюда вследствие законного права, – ответил сухо комиссар, – я пришел именем закона вас арестовать, господин Савин.

– Меня зовут маркизом Сансаком де Траверсе, а не Савиным, и вы, должно быть, ошиблись, явившись сюда. Во всяком случае, прошу вас немедленно выйти отсюда, так как вы видите, что моя жена еще в постели и не одета.

– Все эти басни нам давно известны и не действуют на меня, господин Савин... – возразил комиссар. – Мы знаем, что вы русский офицер, а не французский маркиз, вследствие этого вы обвиняетесь в ношении чужой фамилии. Лежащая же в постели женщина не ваша жена, а парижская кокетка Мадлен де Межен.

– А вы сыщик и нахал! – воскликнул Николай Герасимович вне себя от бешенства. – Вон отсюда! Я у себя, а та, которую вы осмелились сейчас оскорбить, женщина, которую я люб-

лю и уважаю, и за которую я сумею постоять!..

С этими словами он схватил комиссара и его спутника и выгнал их в шею за дверь спальни, после чего запер за ними дверь на ключ.

Ошеломленный неожиданным отпором, комиссар, видимо, первые минуты не знал, что предпринять, и лишь затем, спохватившись, стал звать себе на помощь стоявших на улице полицейских сержантов и агентов, которых вскоре набрался полный дом.

Они шумели, ругались, неистово стучали в запертую дверь спальни, грозя ее сломать, если Николай Герасимович не отопрет.

Последний тоже им отвечал ругательствами и угрозами.

– Я застрелю первого, который осмелится войти в спальню раньше, нежели встанет и оденется моя жена! – заявлял он.

– Вам, господин комиссар, я объявляю, что права меня арестовать я за вами не признаю, я требую формального приказа от королевского прокурора, без которого не подчинюсь и не последую за вами.

Видя упорство Савина и совершенно законное его требование о предъявлении ему письменного постановления (mandat d'ammene) на его арест от судебной власти, комиссар поехал за этим постановлением к прокурору, оставив для охраны дверей спальни своих подчиненных.

Прошло около часа его отсутствия.

Этим временем Николай Герасимович воспользовался, чтобы успокоить совершенно убитую горем молодую женщину.

Она рыдала и винила себя во всем случившемся:

– Это я, я погубила тебя! Это я уговорила тебя не торопиться с отъездом в Англию. Я теперь вижу, что ты был прав. Надо было уехать без оглядки и не оставаться ни минуты в Брюсселе, после подозрительного визита этого статистика... – с рыданием говорила она.

– Ну, перестань плакать, теперь слезами не поможешь, да и ничего опасного для себя я не вижу в моем аресте, – старался успокоить ее Савин, – пока нет требования о выдаче меня от русской судебной власти. За ношение чу-

жого имени не Бог весть какое наказание: недели две ареста, так что я могу быть освобожден раньше, нежели что-нибудь придет из России.

В половине одиннадцатого вернулся комиссар и стал во имя закона требовать, чтобы ему отворили дверь, иначе он угрожая сломать ее, а Николая Герасимовича привлечь к ответственности за явное неповиновение закону и властям.

Так как Мадлен была уже одета, то Савин не нашел более препятствий исполнить его требование и отворил дверь.

Комиссар вошел не один, а с целой ватагой агентов и полицейских сержантов, которые всей гурьбой бросились к Николаю Герасимовичу и вцепились ему в руки, ноги и платье, как стая гончих собак в затравленного волка.

Не будучи в состоянии защищаться от такого множества необузданных полицейских, Савин только громко протестовал против такого насилия.

Мадлен де Межен вся в слезах также бросилась к комиссару.

– Господин комиссар, ради Бога, прекрати-

те это возмутительное насилие, уверяю вас, что он вполне подчинится вашему законному требованию и последует за вами без всякого сопротивления.

Грубый комиссар, вместо вежливого ответа, оттолкнул ее.

– Это не ваше дело, и если вы будете со-  
ваться, куда вас не спрашивают, я велю его  
связать, да арестую и вас! – крикнул он.

Эта наглость и дерзкое обращение до того возмутили без того страшно взволнованную Мадлен, что она в один миг превратилась из униженной, убитой горем женщины в рас-  
свирепевшую львицу.

– Так арестуйте же и меня вместе с марки-  
зом! – воскликнула она вне себя от негодова-  
ния и неожиданно для всех схватила стояв-  
шее близ умывальника фаянсовое ведро, пол-  
ное грязной воды, и вылила его на голову ко-  
миссара.

Как ни тяжело было в эту минуту Николаю Герасимовичу, как ни полно было его сердце скорбью о предстоящей разлуке с любимой женщиной, но он не мог удержаться от громкого смеха, видя эту трагикомическую сцену.

Озадаченный неожиданной выходкой молодой женщины сконфуженный комиссар, опоясанный своим официальным трехцветным шарфом с золотыми кистями, облитый с ног до головы грязной водой, стоял растерянный, ошеломленный.

– Теперь арестуйте и меня... Что же вы на меня не натравливаете вашей своры! – кричала рассвирепевшая Мадлен, гордо стоявшая перед комиссаром.

Придя немного в себя, однако охлажденный своеобразной ванной, комиссар наконец приказал оставить Савина в покое и, кое-как обтершись при помощи своих подчиненных, приказал проводить Николая Герасимовича и Мадлен де Межен в ожидавшую у подъезда карету и отвезти их в полицейское бюро, куда и отправился вслед за ними.

Там, в комиссариате, он прочел Савину приказ королевского прокурора об его аресте вследствие обвинения его в проживании под чужим именем, преступлении, за которое по закону Бельгии виновные подвергаются заключению в тюрьме до трех месяцев.

На основании этого приказа Николай Гера-

симович должен был быть немедленно арестован и доставлен к судебному следователю, от которого зависело дальнейшее распоряжение.

Прощаясь с Мадлен де Межен, Савин еще раз просил ее успокоиться и не падать духом.

– Если тебя арестуют, обратись за защитой к французскому консулу, наконец, представь залог, чтобы избежать предварительного заключения.

С этими словами он расстался с молодой женщиной и в сопровождении двух полицейских агентов поехал в суд, в камеру судебного следователя.

Здание суда в Брюсселе, так называемое «Palais de Justice», составляет одну из достопримечательностей столицы Бельгии и бесспорно может считаться самым большим и красивым зданием в Европе.

Оно было построено за несколько лет до описываемого нами времени и стоило шесть миллионов франков.

В этом «дворце правосудия», кроме камер судебных следователей и прокуроров всех инстанций, помещается суд исправительной по-

лиции, апелляционная палата бруссельского округа с многочисленными судебными залами и канцеляриями, а также высший кассационный суд Бельгии.

Здание это помещается на обширной площади в конце Королевской улицы.

В это-то великолепное здание суда и прибыл с двумя провожатыми Николай Герасимович Савин.

Все трое направились по широкому светлому коридору в камеру судебного следователя господина Велленса.

Последний был еще молодой человек, лет тридцати с небольшим, брюнет, весьма симпатичной наружности.

– Прошу садиться! – обратился он к подошедшему к его столу Савину, указав рукой на стоящий у стола стул.

Николай Герасимович сел. Допрос начался.

– Вас обвиняют в проживании под чужим именем и в оскорблении действием и словами полицейского комиссара и агенток полиции при вашем аресте, – сказал он, прочитав присланный комиссаром протокол. – Признаете ли вы себя виновным?

– Нет, не признаю... Я маркиз Сансак де Траверсе и никакого русского офицера Савина не знаю... Что же касается до оскорбления, нанесенного мной полицейскому комиссару и агентам полиции, то я был вынужден это сделать, вследствие их неприличного поведения и вторжения в спальню женщины, с которой я живу. Сначала я просил вошедшего комиссара очень вежливо выйти из комнаты, так как я был еще не одет, а моя сожительница лежала в постели, а когда он отказался это исполнить и назвал женщину, которую я уважаю, кокоткой, то я не выдержал и действительно вытолкнул его и его спутника из моей спальни. В этом моем действии я ничего преступного не нахожу и прошу вас освободить меня.

– Будь вы бельгийский подданный или хотя бы иностранец, но человек известный в Бельгии, – отвечал судебный следователь, – я согласился бы на ваше освобождение до суда... Но так как, по сообщенным мне полицейей сведениям, вы русский офицер Савин, преследуемый за разные уголовные дела в России и притом бежавший от немецких властей

во время следования в Россию, то до разъяснения всего этого или оправдания вас судом я обязан заключить вас в предварительную тюрьму. От вас, конечно, зависит ускорить это освобождение предъявлением доказательств о вашей личности.

– Вообще, – добавил он, – дело не может затянуться долго, так как я немедленно пошлю всюду, куда следует, телеграммы и допрошу всех лиц, знавших вас раньше, начиная с вашей подруги госпожи де Межен, чтобы разъяснить вашу личность.

Затем судебный следователь написал постановление о содержании именуемого себя маркизом Сансаком де Траверсе в предварительном заключении.

– Это мое постановление, – сказал он Савину, – по нашим законам имеет силу в течение недели, а по истечении этого срока содержание ваше под стражею будет зависеть от решения синдикальной камеры судебных следователей (*Chambre syndicale des juges d'instructions*), которая может продолжить ваше заключение или же освободить вас. К этому времени вы можете избрать себе защит-

ника или же явиться лично в синдикальную камеру для дачи объяснений.

Затем господин Велленс позвонил и явившимся полицейским агентам передал Николая Герасимовича и постановление об его аресте.

– На этих днях я еще раз вызову вас, а теперь можете идти, – сказал он Савину.

Полицейские агенты снова усадили его в ту же карету и повезли в тюрьму святого Жилия.

## XI

### Тюрьма святого Жилия

Тюрьма святого Жилия находится на окраине города, в предместье того же имени. Выстроена она только в 1884 году, стоила бельгийскому правительству десять миллионов и представляет, так сказать, шедевр тюремного дела.

Подъезжая к предместью святого Жилия, вы издали уже видите ее высокие с башнями стены и возвышающийся из их середины купол.

Подъехав к железным воротам тюрьмы,

Николай Герасимович со спутниками вышли из кареты, вошли через ворота во двор и прошли через него к большому подъезду, ведущему в контору тюрьмы.

Пока ничего тюремного не было видно.

Большая, весьма комфортабельная приемная комната была похожа скорее на банкирскую контору, чем на контору тюрьмы.

В ней занимались человек пятнадцать служащих.

Передав одному из них постановление следователя и получив квитанцию о приводе арестанта, полицейские агенты тотчас же ушли, оставив Савина в конторе.

После их ухода ему пришлось объяснить тому же служащему свое имя, фамилию, национальность, лета и прочее.

Все это было занесено в толстую книгу, после чего, позвонив, служащий передал Николая Герасимовича вошедшему тюремному служителю, с которым последний и пошел во внутрь тюрьмы.

Пройдя длинный коридор, они остановились у железной решетчатой двери, за которой стоял швейцар. Проводник Савина пере-

дал его ему вместе с каким-то принесенным им из конторы ярлыком.

Пройдя эту дверь, Николай Герасимович очутился в большом круглом зале, освещенном сверху стеклянным куполом.

Посреди этого зала был устроен род беседки, в которой помещалось распорядительное бюро. В этом бюро постоянно находились дежурные: помощник директора тюрьмы и старший надзиратель.

Расспросив арестанта о том же, о чем спрашивали в конторе; и записав все это в книгу, его поручили какому-то служащему, который повел его в назначенную ему камеру.

От центра идут лучеобразно пять галерей, каждая в три этажа, обозначенные под литерами.

Николай Герасимович попал в галерею под литерой «А» и был помещен в нижнем этаже в камере № 29.

Камеры по расположению, величине и устройству все одинаковы. В них пять метров длины и четыре ширины, высокие, светлые, стены выкрашены серой масляной краской, а полы паркетные. Чистота безукоризненная, а

меблировка состоит из стола, который ночью раскидывается в постель, дубового полированного стула, небольшого шкафа из такого же дерева для посуды и вешалки. Кроме того, в каждой камере проведена вода, устроен ватер-клозет и электрическое освещение.

На стенах в дубовых рамках висят тюремные правила, выписки из некоторых законов, необходимых для арестованных, список всех адвокатов, состоящих при брюссельской апелляционной палате, с их адресами, и прейскурант продуктов, продаваемых в тюрьме.

Вскоре после привода Савина в камеру, его навестил дежурный помощник директора, очень любезный человек, бывший офицер бельгийской армии.

Между прочими разъяснениями, он передал ему, что если он желает довольствоваться на собственный счет, то может это сделать и даже получить более комфортабельно меблированную комнату, так называемую «pistole», с платою по десяти сантимов в день, то есть три франка в месяц.

Николай Герасимович, конечно, просил

сейчас его перевести в такую комнату, что и было исполнено.

Эта камера была в сущности такая же, как и все остальные, но вместо складной кровати, убирающейся днем, была железная постоянная койка с хорошим пружинным матрацом, пуховой подушкой, байковым одеялом и чистым бельем, меняющимся каждые две недели.

Кроме кровати был также ясеневое дерево стол, мягкое кресло, шкаф для вещей и умывальник.

Такой комфорт в тюрьме весьма чувствителен и приятен для заключенного – им как бы сглаживается то ужасное тюремное тяготение, которое так чувствуется при простой тюремной обстановке, постоянно напоминающей заключенному, что он в тюрьме.

Кроме того, хорошая кровать располагает ко сну и позволяет несчастному арестанту забыть на более продолжительное время.

Для получения пищи было устроено таким образом.

Можно было обратиться к одному из ближайших к тюрьме ресторанов, через посред-

ство знакомых или комиссионера, находящегося при тюрьме, и просить хозяина ресторана зайти в контору тюрьмы, чтобы уговориться об условиях присылки пищи.

Таким образом поступил и Николай Герасимович.

В конторе ему рекомендовали ближайший местный ресторан «Gigot de mouton», куда он и послал на следующий же день за обедом и за хозяином, чтобы с ним сговориться о дальнейших присылках.

Хозяин ресторана не заставил себя долго ждать и пришел в тот же день.

Они договорились на том, чтобы Савину ежедневно присылать на утро – кофе, к обеду три блюда и к ужину – два, с бутылкой красного вина или двумя бутылками пива.

За все это была назначена плата в три франка в день, а если Николай Герасимович пробудет более месяца, то восемьдесят франков в месяц.

Цена была очень недорогая, и Николай Герасимович во все время его пребывания в тюрьме святого Жюль харчился в «Gigot de mouton» у госпожи Верлен и был им очень до-

волен.

Правда, что присылалось все это в корзине за один раз, так что Савин вынужден был купить спиртовую лампочку для разогревания кофе утром и ужина вечером, так как все присылалось к обеду в двенадцать часов, но это нисколько не затрудняло, а напротив, это своего рода стряпанье забавляло и прекрасно убивало время.

Таков был комфорт в современной тюрьме, все же остающейся тюрьмою.

Всякий пансионер этого современного образцового учреждения должен был строго подчиняться установленным правилам, и малейшее отступление влекло за собою наказание, предусмотренное тюремным кодексом и назначаемое тюремным начальством по приговору тюремного суда.

Этот суд состоял из директора тюрьмы и двух его помощников и собирался для суждения ежедневно в десять часов утра, после рапорта надзирателей.

Режим тюрьмы святого Жилия был следующий.

Вставали все по звонку в пять часов утра.

Одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере, конечно, в то время года, когда в пять часов еще темно.

Заклученный обязан был сейчас же встать, одеться, умыться и сложить свою кровать (за исключением платящих и имеющих постоянную кровать), вымести и натереть воском пол, с таким расчетом, чтобы все это было кончено к шести часам утра, ко времени раздачи кофе.

Кофе давали цикорный, с небольшим количеством молока, но без сахара. Сахар можно было покупать на свои деньги. Одновременно с кофе давали паек хлеба с фунт весом, на целый день.

С девяти часов утра начиналась отправка в суд и к следователю.

Те из заключенных, которые не вызывались из тюрьмы, шли гулять.

Прогулка делалась в специальных помещениях, куда шли заключенные один за другим цугом на расстоянии десяти шагов другот друга.

Это делалось для того, чтобы они не имели между собою никакого сообщения.

Видеть друг друга заключенные не могли, так как в коридорах им было строго запрещено оглядываться, да и кроме того, каждый из них до выхода из своей камеры, куда бы он ни выходил, обязан был надеть имеющуюся у каждого маску с капюшоном, закрывающим совершенно не только лицо, но и всю голову.

Прогулка происходила в саду, в специально устроенных для того помещениях, вроде небольших загонов или стойл без крыши, но окруженных со всех сторон каменными стенами.

В этом-то загоне каждый из заключенных гулял совершенно один в продолжение часа, а с разрешения доктора и дольше. Прогулка эта была обязательна для всех, и не ходить на нее заключенный мог только с разрешения доктора.

В двенадцать часов раздавали обед, состоящий из большой миски супу с говядиной и овощами пять раз в неделю, и два раза, по средам и пятницам, давали горох.

С часу до пяти происходил прием родственников и посетителей.

В шесть часов раздавался ужин, состоящий

из полной миски печеного или вареного картофеля, а в девять часов вечера звонок извещал всех, что надо ложиться спать.

Четверть часа спустя потухало везде электрическое освещение Тюрьма погружалась во мрак и действительно засыпала, чтобы на завтра начать новый день, похожий, как две капли воды, на вчерашний.

По воскресеньям и праздникам было обязательно для всех идти в церковь к обедне, где по окончании службы аббат говорил проповедь.

Церковь была устроена так, что все шестьсот заключенных, содержащихся в тюрьме, присутствовали при богослужении, находясь каждый в отдельном запертом помещении, и не могли видеть друг друга, что не мешало им прекрасно видеть алтарь, стоящий на возвышении, и слышать богослужение.

В тюрьме была очень большая и хорошая библиотека, и заключенным давались книги и журналы по их выбору и сколько пожелают. Давались также и работы, желающим заняться таковыми, за что полагалась плата по таксе.

Заработок зависел от категории, к которой принадлежал заключенный, так: 1) заключенные, находящиеся в предварительном заключении, получали всю плату заработка за исключением 10 %; 2) приговоренные по суду, для которых работы были уже обязательны, получали заработанные деньги в таком распределении: а) приговоренные к простому тюремному заключению –  $3/4$  заработка, б) усиленному тюремному заключению, так называемому «réclusion» –  $1/2$  заработка, и в) каторжные – всего  $1/4$  заработной платы.

Работы эти делались каждым в своей камере и сдавались заведующему работами, от которого и получался расчет каждую субботу.

Деньги, как свои, так и заработанные, хранились в кассе, а на расходы и выписку необходимого выдавалось заключенному на руки не более пяти франков за раз.

Из этих денег они платили за все ими покупаемое в тюремной лавочке дежурному надзирателю, разносившему выписываемые продукты и вещи каждое утро.

Куренье табака, вино и пиво были разрешены, спиртные же напитки строго воспре-

щены.

Все заключенные до года тюремного заключения имели право носить свое платье, все же остальные обязаны были носить казенное, заключающееся из темно-серой пиджачной пары, совершенно приличного покроя и хорошего сукна. Каторжники отличались только тем, что им брили усы и бороду и на брюках у них были нашиты широкие черные лампасы.

При этом все осужденные без исключения лишались права, по вступлении приговора в законную силу, кормиться на свой счет.

Доктор ежедневно обходил всех больных, заявлявших надзирателю желание видеть врача.

При первых же симптомах какого-либо заболевания больной немедленно переводился в тюремную больницу, которая находилась в саду, отдельно от главного здания тюрьмы.

Там больные, конечно, пользовались большим комфортом и удобством, но все были так же изолированы от других заключенных, как и в большом здании, и кроме доктора, фельдшера и тюремного персонала никого не виде-

ли.

За всякое нарушение тюремных правил или непослушание администрации заключенные подвергались строгим взысканиям в виде: 1) лишения чтения, 2) прогулки, 3) куренья, 4) свидания со знакомыми и родственниками и, наконец, 5) заключения в карцер от суток до трех.

Все эти наказания налагались тюремным судом.

По рапорту надзирателя, заметившего в чем-либо заключенного, вызывались на следующее же утро как обвинитель – надзиратель, так и обвиняемый – заключенный в центральное бюро.

Там заключенный снимал перед судом маску и отвечал на возводимое на него обвинение.

Рассматривали эти дела правильно, без всякого пристрастия, и при доказанной виновности, хотя бы в самом пустом проступке, виновный был непременно наказуем.

Решения этого суда были, конечно, безапелляционными и приводились немедленно в исполнение.

## XII

### В тюрьме «Petit Carmes»

Вскоре после отъезда Николая Герасимовича Савина из полицейского бюро в суд полицейский комиссар пригласил к себе в кабинет оставшуюся в бюро Мадлен де Межен.

В кабинете, рядом с комиссаром, сидел у письменного стола какой-то сухой, белокурый, с небольшой клинообразной бородкой господин.

– Здешний королевский прокурор! – представил его комиссар Мадлен.

Та поклонилась.

– Прошу вас садиться.

Молодая женщина села в стоявшее у стола кресло.

Начался допрос.

И прокурор, и комиссар стали по очереди задавать ей вопросы, касавшиеся Савина и ее отношений к нему.

Видя, что ответы ее не удовлетворяют их желаниям и почти не компрометируют арестованного, они переменили тон и стали го-

ворить молодой женщине о наказании, которое ее ожидает за тяжелое оскорбление власти в лице полицейского комиссара, которого она так бесцеремонно облила грязной водой.

– Будьте, главное, откровенны и правдивы, – заметил прокурор, – и тогда я постараюсь улучшить ваше положение, оставлю вас до суда на свободе, разрешу свидание с господином Савиным.

– Я не нуждаюсь в свидании с господином Савиным, так как такого не знаю, – отвечала молодая женщина, – повторяю вами что арестованный вами именно маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Вы ошиблись. Что же касается до оскорбления господина комиссара, то он сам довел меня до припадка бешенства своим поведением... Арестуйте меня или отпускайте на свободу – это ваше дело... Большого, чем я показала – я показать не могу, при всем моем желании...

– В таком случае, я прикажу отвезти вас к судебному следователю... – сухо сказал прокурор.

– Делайте, что хотите и что обязаны.

Мадлен де Межен посадили в карету и от-

везли в сопровождении полицейского агента в суд, к тому же господину Веленсу.

– Вы обвиняетесь в оскорблении действителем полицейского комиссара и в сопротивлении властям, – сказал ей судебный следователь, приглашая сесть, – признаете ли вы себя виновной?

– Властям я не сопротивлялась, а нахала-комиссара действительно чем-то облила, но он сам вызвал это своим неприличным и недостойным мужчины и чиновника поведением...

– Так-с... – задумчиво произнес судебный следователь. – А что вы скажете мне о господине Савине?

– Ничего положительно сказать не могу.

– Почему?

– Потому, что никакого я Савина не знаю...

– Да-а-а... Я говорю о том господине, который арестован вместе с вами.

– Так это маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Я повторяю и вам, что сказала комиссару и прокурору: «Вы ошиблись...»

Таким образом молодая женщина выдержала и вторую атаку опытных судебных.

Она знала, что ей грозит тюрьма, суд, скандал, но что могло все это значить в глазах любящей женщины, когда она надеялась этим спасти любимого человека.

– Вы настаиваете на этом объяснении? – сказал следователь.

– Какое же другое я могу дать? – вопросом отвечала Мадлен.

– В таком случае, мне придется подвергнуть вас личному задержанию до суда...

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице молодой женщины.

Судебный следователь написал постановление о содержании Французской гражданки Мадлен де Межен в женской тюрьме «Petit Cannes», куда ее тотчас же и отправили с тем же полицейским агентом.

Все случившееся в этот злосчастный день так удручающе подействовало на бедную Мадлен, так ошеломило ее, что она, в сущности, не могла усвоить для себя, понять хорошенько свое настоящее положение.

Она помнила только то, что говорил ей Савин, и старалась показывать то, чему он научил ее.

«Это его спасет!» – вот мысль, которая доминировала в ее голове.

О себе она совершенно забыла. Ее «я» как бы не существовала.

После же допроса следователя и объявления им ей о том, что он отправляет ее в тюрьму, на нее нашел какой-то столбняк.

Она впала с этого момента в какое-то забытье, обратилась в живого истукана, не понимая совершенно, что с ней делается, отвечая на вопросы как-то машинально и двигаясь только по закону инерции.

Очнулась она и пришла в себя только тогда, когда почувствовала какую-то особую перемену во всем ее окружающем.

Она сначала не могла понять, что с нею, куда она попала?

Она чувствовала, что дышит какой-то новой, неизвестной ей до сих пор атмосферой, что ее обдает чем-то затхлым, спертым.

Кругом ее все было как-то чуждо, незнакомо. Даже свет был как будто не тот, который она привыкла видеть до сих пор.

Прежде всего ее поразил именно этот странный, как будто исходящий сверху свет.

Она стала вглядываться и заметила высоко над собой окно какой-то маленькой, необычайной для ее глаз формы, с какими-то поперечными полосами.

От окна ее блуждающий взгляд перешел к чистым белым стенам, к деревянному столу и табуретке, к затворенной массивной двери.

Сама она лежала на какой-то жесткой постели.

Вглядываясь во всю эту странную, незнакомую обстановку, она стала как бы пробуждаться от сна, стала припоминать о случившемся.

Она с ужасом поняла, что она в тюрьме. Ее охватило отчаяние и она горько заплакала.

Слезы всегда действуют благотворно на потрясенный организм. Поплакав, человеку всегда становится легче на душе, возбужденные нервы успокаиваются и мысли проясняются.

Так случилось и с Мадлен.

Поплакав, она почувствовала облегчение и вспомнила ее последний разговор с Савиным, его надежды на благоприятный исход дела и его просьбу к ней быть энергичной и не падать духом.

Одновременно с этими, более спокойными мыслями, молодая женщина почувствовала страшную усталость, чего она до сих пор не чувствовала, ее охватило одно желание – отдохнуть, уснуть и Мадлен, действительно, вскоре уснула.

Какая благодетельная вещь сон для несчастных заключенных. Во время сна они не только отдыхают телом и душой, но и забывают все свои несчастья, все, что их мучает, главное, то ужасное положение, в котором они находятся.

Проснувшись Мадлен уже на другое утро, когда к ней вошла надзирательница, принесшая ей кружку кофе и булку.

Она ласково расспросила молодую женщину о деле, приведшем ее в тюрьму и, узнав подробности, воскликнула:

– Так это сущие пустяки!.. Вы не долго у нас погостите... Я даже думаю, что хороший адвокат может выхлопотать вам освобождение под залог до суда сейчас же...

Это напомнило Мадлен де Межен совет Савина обратиться немедленно к хорошему адвокату и к французскому консулу.

– Действительно, а я и позабыла, дайте мне бумаги, конвертов, чернила и перо, я тотчас же напишу адвокату и консулу. Да, кстати, кто у вас здесь лучший адвокат, к которому вы посоветовали бы мне обратиться?..

– Все для письма я вам доставлю сейчас, – ответила надзирательница, – но должна вас предупредить, что все письма, исключая писем к адвокату, должны быть распечатанными, так как их до отправки читает директриса тюрьмы. Только к адвокатам письма не читаются... Что же касается хороших адвокатов, то я могу назвать вам их несколько: Янсен, Фрик, сенатор Робер, Стоккарт, – все это знаменитости, но кто из них лучше, трудно сказать... Я знаю только, что берут они очень дорого и говорят на суде очень красноречиво.

С этими словами надзирательница вышла и вскоре возвратилась со всеми принадлежностями для письма.

Мадлен де Межен еще раз попросила назвать ей имена адвокатов, записала каждое имя на отдельной бумажке и, свернув их в трубочки, вынула одну из них.

На бумажке стояло имя Стоккарта.

Она написала ему и французскому консулу, а затем принялась за длинное и осторожное письмо к Николаю Герасимовичу, в котором старалась его успокоить насчет своего положения. Письмо она адресовала маркизу Сансак де Траверсе.

Эта корреспонденция рассеяла ее немного и сократила то нескончаемое время, которое так убийственно тянется в тюрьме.

Так прошло все утро, и когда она позвонила, чтобы передать надзирательнице письма, было уже обеденное время.

– Как вы желаете кушать, казенный обед или же выпишите из ресторана? – спросила ее надзирательница, взяв письмо.

Этот вопрос об обеде заставил вспомнить Мадлен, что она уже второй день ничего не ела, даже до принесенного кофе с булкой не дотронулась.

Аппетита у ней и теперь не было никакого, но все же нельзя было не есть и надо было разрешить вопрос об обеде.

Она попросила любезную надзирательницу послать за обедом в ресторан.

Час спустя та же надзирательница принес-

ла заказанный обед и бутылку красного вина.

– Покушайте-ка, моя милая, да пойдите погулять... У нас есть садик, и заключенные гуляют все вместе в продолжение двух часов. Там есть тоже порядочные дамы, можете с ними познакомиться и поговорить, это развлечет вас и рассеет.

Пообедав, Мадлен вышла из своей камеры, вместе с надзирательницей и отправилась на прогулку в сад.

Женская тюрьма «Petit Carmes» устроена в бывшем кармелитском монастыре, вследствие чего и носит это название и находится в центре Брюсселя.

Еще до окончания времени прогулки надзирательница пришла за Мадлен.

– Пожалуйте, к вам приехал адвокат.

– Стоккарт?

– Да.

Она проводила заключенную в комнату, предназначенную для свидания арестанток с их защитниками, и оставила ее с глазу а глаз с адвокатом.

Стоккарт был молодой человек, красивой наружности, элегантно одетый.

– Я только что получил от директрисы тюрьмы с нарочным ваше письмо и поспешил явиться, чтобы поскорее познакомиться с вами и успокоить вас, – сказал он Мадлен.

– Благодарю вас... Вам, конечно, надо рассказать, в чем дело.

– О, с делом я знаком, весь город говорит о нем, все газеты полны подробностями... Я, думая, что вам будет это интересно, захватил две газеты, в которых более талантливо, живо и подробно изложено ваше дело.

Он передал ей номера «L'Indépendance Belge» и «La Reforme».

– Что же будет нам за это? – спросила Мадлен.

– Да ничего страшного, – сказал Стоккарт, – особенно вам. Господину Савину, или маркизу де Траверсе, эта проделка обойдется дороже. К нему отнесутся строже, чем к вам, и его продержат, наверное, несколько месяцев в тюрьме, но вас я надеюсь оправдать...

Переговорив затем подробно обо всем и сделав нужные заметки Стоккарт перешел к вопросу вознаграждения.

За свою защиту он назначил тысячу фран-

ков с тем, чтобы половина была уплачена вперед.

Мадлен, конечно, согласилась и дала ему записку к хозяйке квартиры на улице Стасар, госпоже Плесе, в которой просила передать господину Стоккарту некоторые вещи, деньги и чековую книжку «Лионского кредита», находящиеся в сундуке.

Все это Стоккарт должен был привезти Мадлен и получить от нее чек на условленную сумму.

Она просила его также взяться за защиту Николая Герасимовича и, главное, устроить, чтобы его не выдали России.

Стоккарт обещал сделать все, что было в его силах, и дал слово на другой же день быть в тюрьме святого Жюлья, а после свидания с Савиным заехать к ней и сообщить ей обо всем.

### ХIII

## Два адвоката

Не зная, что Мадлен де Межен обратилась за советом к адвокату Стоккарту, Николай Герасимович со своей стороны написал адвокату Фрику.

Обратился он к нему потому, что узнал, что Фрик, кроме того, талантливый защитник, депутат палаты и принадлежит к крайней левой партии, то есть ультра-либерал и сотрудник оппозиционной газеты «Реформа».

Эта-то принадлежность Фрика к враждебной клерикальному правительству партии, могла быть очень полезна Савину.

В стране, где существует полная свобода печати и где каждый может критиковать в ней всякое неправильное действие правительства и его органов, Николаю Герасимовичу было далеко не дурно заручиться защитником, имеющим голос и влияние в либеральной прессе и могущим всегда громить правительство и возмущаться его неправильными действиями относительно его клиента.

Поэтому-то Савин считал Фрика самым подходящим для него в его положении защитником.

Кроме того, его рекомендовали Николаю Герасимовичу директор тюрьмы и тюремный священник – две совершенно противоположные личности, а между тем одинаково с уважением говорившие о Фрике.

Последний не заставил себя долго ждать и к вечеру того же дня, в который Савин послал ему письмо, ответил телеграммой, что будет в тюрьме на другой день утром.

В десять часов утра на следующий день он действительно явился.

Это был высокий, худой господин лет тридцати шести-семи, смуглый брюнет с довольно правильными чертами и весьма серьезным выражением лица.

– Я знаю кое-что о вашем деле из газет, – сказал он Савину, оставшись с ним наедине в комнате свиданий с заключенными, – но, конечно, нахожу это недостаточным, а потому прошу вас обстоятельно рассказать мне все дело.

Николай Герасимович подробно передал

ему весь инцидент с полицией во время его ареста, рассказал о бесцеремонности полицейского комиссара, ворвавшегося в спальню и позволившего себе назвать «кокоткой» женщину, вполне уважаемую и не давшую ему ни малейшего повода к ее оскорблению.

Насчет же главного обвинения его в ношении чужого имени Николай Герасимович объяснил, что считает это абсурдом и придиркой со стороны полиции и судебных властей, так как никто на него не жаловался и не указывал как на лицо, носящее чужое имя.

– По-моему, полиции не было никакого повода доискиваться кто я такой, раз я ничего не сделал противозаконного и наказуемого в пределах Бельгии, – заметил Савин.

– Так-то оно так, – отвечал Фрик, – но все-таки я советовал бы вам, если вы можете, достать какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность. Доказав, что полиция была не права в своих подозрениях, будет несравненно легче добиться оправдательного приговора по делу об оскорблении комиссара и агентов.

– Что же касается до госпожи де Межен, –

добавил он, – то я уверен в возможности освободить ее под залог. Я побываю у нее, а также у французского консула, с которым я знаком и содействие которого будет очень важно для дела.

– А сколько времени может продлиться следствие и, значит, мое предварительное заключение? – спросил Николай Герасима вич.

– Положительно ответить я вам на это не могу, но, по моему мнению, долго оно продлиться не может, так как дело, в сущности пустое. Во всяком случае, пройдет недели две-три, а до суда и все шесть.

– Однако...

– Бояться вам этого нечего, так как по нашим законам предварительное заключение засчитывается в наказание, так что в случае приговора, положим, на месяц, вы будете освобождены немедленно, так как срок наказания будет уже вами отбыт.

Это было хотя и плохое, но все же утешение.

– А ваши условия?

– Насчет гонорара я вам ничего не могу сказать, я назначу себе вознаграждение, гля-

дя по делу, я ведь не знаю еще, придется ли мне защищать вас одного или вместе с госпожей де Межен, в одной или в двух инстанциях. Я в этом отношении очень щепетилен, – добавил он – мое правило не обдирать клиентов, брать за свой труд, что следует по работе. Кроме того, я вижу, с кем имею дело, вы со мной, надеюсь, торговаться не будете, я не возьму с вас, поверьте мне, лишнего сантима.

На этом они расстались.

Адвокат произвел на Николая Герасимовича прекрасное впечатление.

Видно было, что это человек дела, а не пустой фразер, как большая часть адвокатов.

В душе Савина возникла сама собой какая-то уверенность, что имея его защитником, он будет оправдан, так как, наверное, суд смотрит на Фрика иначе, нежели на его коллег.

Вообще, Николай Герасимович был доволен, что обратился Фрику и встретил в нем такого серьезного и симпатичного человека.

В тот же вечер Савина посетил и Стоккарт.

Он привез ему записочку от Мадлен, которую она передает ему во время свидания.

Этот адвокат представлял из себя совершенно противоположный тип серьезному Фрику.

Он был чрезвычайно подвижный, живой, любезный господин, словом, «милый малый» и ничего больше.

Такое впечатление произвел он на Николая Герасимовича.

Наговорил он с три короба, обещал непременно оправдать Мадлен и выпустить ее на днях на свободу под поручительство.

Вообще заявил, что все уладит и даже устроит отказ бельгийского правительства на требование выдачи Савина России, если бы такое требование поступило со стороны русских властей.

– У меня большие связи в министерстве, – хвастливо заявил он, – министр юстиции мой короткий приятель... Для меня это будет делом получаса дружеской беседы.

Николай Герасимович любезно поблагодарил тароватого на обещания адвоката.

– Мне крайне жаль, – сказал он, – что защиту свою я не могу поручить вам, так как, не зная, что Мадлен обратилась к вам, я вызвал

господина Фрика, который был у меня сегодня и мы с ним кончили...

– Жаль, жаль... – проговорил Стоккарт.

– Но я чрезвычайно доволен, что Мадлен сделала такой удачный выбор и надеюсь, что вы не откажетесь употребить свое влияние в министерстве по вопросу о моей выдаче... Мы с Мадлен не останемся неблагодарными.

– О, конечно, вы можете быть покойны... – заявил Стоккарт. – Располагайте мной...

– Позвольте мне писать Мадлен через вас, чтобы мои письма не были читаны в тюрьмах.

– С величайшим удовольствием... Я даже посоветую госпоже де Межен посылать и свои письма к вам через меня.

– Я буду вам очень признателен за эту услугу... Кроме того, навещайте ее чаще и успокаивайте...

– Непременно, непременно... Но через несколько дней, ручаюсь вам, она будет на свободе... Я сделаю все возможное и даже невозможное.

С этими словами Стоккарт простился с Савинным и уехал.

Ровно через неделю после ареста Савина и Мадлен де Межен их снова повезли в здание суда.

Они должны были предстать перед синдикальной камерой судебных следователей, от власти которой зависело, по рассмотрении тяготеющих над ними улик, сохранить или отменить принятую судебным следователем меру пресечения уклоняться от следствия и суда.

Николай Герасимович знал заранее, что относительно его мера будет сохранена, но надеялся, что Мадлен выпустят, и эту надежду все время горячо поддерживал Стоккарт, уверявший, что непременно добьется ее освобождения.

Возили заключенных из тюрьмы в суд в больших тюремных каретах такой же формы неустройства, как парижские «râmegaî salade» – разница была только в цвете.

В Париже эти кареты желтые, а в Брюсселе – темнозеленые.

Для заключенных, имеющих средства, с особого разрешения директора допускалось исключение: позволялось брать извозчицы

карету на свой счет и ехать в суд в сопровождении жандарма.

Такое разрешение дано было и Савину, и он им пользовался во все время его содержания в Брюссельской тюрьме.

Уезжали все заключенные, требуемые в суд, в девять часов утра и находились там до шести часов вечера, то есть до окончания дела в суде и возвращения кареты в тюрьму.

Это делалось потому, что расстояние между тюрьмой святого Жилия и судом было очень велико, по крайней мере, четыре версты, и ездить по нескольку раз за арестованными было бы неудобно.

Вот почему их отвозили всех сразу, огульно, с утра.

Для заключенных это не только не представляло неудобств, а напротив, они были этому очень рады, так как в суде они находились все вместе, в большой светлой комнате, без всякого присмотра, кроме наружного, и могли болтать между собою и почылать, за чем хотели.

Жандармы, которым была поручена перевозка арестантов и охрана их в суде, были

прекрасные ребята, любезные, непридиличные и редко в чем отказывали заключенным; так, например, для лиц более приличных они отводили отдельную комнату, приносили из ресторана завтрак, обед, вино и пиво.

В эти-то поездки в суд Николай Герасимович и виделся с Мадлен де Межен, которую впускали в ту же комнату, где он находился, и где они прекрасно проводили время целый день.

Первый раз он увиделся с молодой женщиной после разбора дела в синдикальной камере судебных следователей.

Устроил это свидание Стоккарт, ходивший к следователю господину Веленс и получивший от него на это разрешение.

Мадлен была страшно взволнована и, увидев Савина, бросилась, рыдая, в его объятия.

Тяжело было ему видеть в таком положении ту, которую он так страстно любил, но он старался скрыть свое волнение и своим спокойствием ободрить и утешить ее.

Синдикальная камера утвердила постановление судебного следователя и отказала освободить их обоих от предварительно аре-

ста, основываясь на том, что они оба иностранцы и обвиняются в преступлениях, которые влекут за собою наказание свыше трех месяцев тюремного заключения.

Николай Герасимович был к этому подготовлен, но на Мадлен это произвело удручающее впечатление.

Радость свиданья, однако, взяла свое, и они вскоре утешили возможностью провести друг около друга несколько часов и забыть свое горе.

Стоккарт сильно возмущался постановлением камеры и продолжал уверять, что он все-таки добьется освобождения Мадлен, подав жалобу в апелляционную палату.

Он пришел вместе с Мадлен и начал было без умолку болтать и рисовать радужные картины будущего.

– У русских, – заметил ему, улыбаясь, Савин, – есть пословица: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». И я вас прошу, чем сулить освобождение из тюрьмы в будущем, освободите теперь нас от вашего присутствия... Мы так давно не были наедине.

– О, я понимаю, – воскликнул адвокат, –

желаю вам лучших минут в жизни.

Он простился и вышел.

Впоследствии, как и надо было ожидать, апелляционная палата не уважила жалобы Стоккарта, и Мадлен де Межен должна была пробывать в тюрьме до суда.

## XIV

### План защиты

**В**о время тех же поездок в суд Николай Герасимович Савин познакомился с двумя очень милыми людьми: депутатом бельгийской палаты Ван-Смиссенем, обвинявшемся в убийстве своей жены из ревности, и французом графом Дюплекс де Кадиньян – любовником этой убитой мужем женщины, который, увлекшись ею, наделал в Брюсселе более миллиона долгов, а после ее смерти уехал в Ниццу, не расплатившись со своими кредиторами и поднадув несколько простаков-бельгийцев, почему и был привлечен к суду за мошенничество.

Бежавшего из Брюсселя от долгов графа арестовали у рулетки в Монте-Карло, где он

спускал последние золотые, занятые у бельгийских ростовщиков.

Конечно, мужа убитой и ее любовника вместе не сводили, так как Ван-Смиссен был в состоянии задушить графа, или, по крайней мере, покуситься на его жизнь.

Николай Герасимович видел их обоих порознь, и оба были очень приятные собеседники.

Ван-Смиссен был очень умным и образованным человеком, известным депутатом палаты и принадлежал к клерикальной партии, которая сильно его поддерживала и добилась в конце концов после двух обвинительных приговоров присяжных кассации обоих их и третьего оправдательного приговора.

На третьем суде присяжные признали, что он совершил преступление в исступлении, доведенный до этого возмутительным поведением и распущенностью своей жены.

Это оправдание последовало уже после отъезда Савина из Бельки, и он узнал о нем из газет, но в то время, когда Николай Герасимович с ним встречался, он был приговорен к пятнадцатилетнему заключению в тюрьме и

дело его находилось по его кассационной жалобе в кассационном суде.

Насколько счастливо кончилось дело мужа, настолько несчастливо закончилось дело любовника.

Граф де Кадиньян был признан виновным в восемнадцати мошенничествах, а так как, по бельгийским законам, наказание полагается не одно по совокупности, как в России, а за каждое преступление полагается отдельное наказание, то бедный граф был приговорен к восемнадцати наказаниям, по три месяца одиночного заключения каждого, что составит весьма почтенную цифру в четыре с половиною года одиночного заключения.

Следствие между тем над Савиным и Мадлен де Межен шло своим порядком.

Надо заметить, что следствие в Бельгии ведется по французской системе, то есть следователь старается всячески запутать обвиняемого разными неожиданностями, вымышленными сведениями и даже запугиванием.

При этом следственное производство не предъявляется обвиняемому, так что до суда ему не известны ни показания свидетелей,

ни другие собранные сведения и материалы следствия.

Правда, что защитнику разрешается рассматривать документы и все относящиеся к делу во всякое время и брать из него копии, но все-таки такое сокрытие от обвиняемого подробностей следствия крайне неправильно и неблагоприятно для интересов обвиняемого.

Последний становится в полную зависимость от защитника и в суде играет роль совершенной пешки.

Также было и с делом Николая Герасимовича.

Вскоре после вручения Савину обвинительного акта он получил повестку о выезде в суд исправительной полиции, и в тот же день его посетил его защитник – Фрик.

Фрик привез с собою целую кипу разных документов и выписок, относящихся к делу, чтобы познакомить с ними Николая Герасимовича и установить план защиты.

Следствие обнаружило и установило разными допросами свидетелей и полицейских властей в Париже, Ницце, Берлине и Дусбур-

ге, которым была предъявлена фотографическая карточка Савина, что он, действительно, то лицо, которое проживало во Франции и Германии под именем русского офицера Николая Савина, который был арестован по требованию русских властей и впоследствии бежал.

Таким образом, отрицать тождество маркиза де Траверсе с Савиным было невозможно.

– Мой совет вам – сознаться откровенно и этим сознанием расположить судей в свою пользу, – сказал Фрик Николаю Герасимовичу.

Но Савин не согласился с этим мнением, он находил необходимость во что бы то ни стало доказать свою невиновность по обвинению в ношении чужого имени, так как от этого зависел весь дальнейший ход дела.

Самое важное для Николая Герасимовича было и чего он больше всего боялся, это его выдачи России, по поводу которой уже началась переписка между бельгийским правительством и русским посланником в Бельгии.

Из дела и собранного материала не было,

однако, ничего положительного о его личности из России. Даже посланная его фотографическая карточка в Петербург и Калугу не была никем узнана, и в бумаге, присланной из России, было сказано, что хотя в присланной фотографической карточке и есть что-то сходное с личностью Савина, но положительного никто ничего не мог определить.

Николай Герасимович находил, что этот ответ из России имел большое значение для защиты.

– Поставим лучше защиту на такую почву, – заметил он Фрику, – я скажу, что в Бельгии я ношу свое имя маркиза де Траверсе, а во Франции и Германии жил, действительно, под чужим именем Николая Савина. Причины, заставившие меня так поступить, – политические идеи моего отца и нежелание его, чтобы я служил в войсках республики. Этой неяской моей к призыву я поставил-де себя в нелегальное положение в моем отечестве – Франции – вследствие чего и не мог жить там под своим именем, что и заставило меня для поездки во Францию взять паспорт на имя одного моего приятеля русского офицера Сави-

на. Мне кажется, что такая защита имеет достаточно прочные основания, тем более, что у нас есть свидетель, в лице Мадлен, а у обвинения ничего нет положительного, чтобы разбить наши доводы и доказать, что я живу теперь под чужим именем.

Он остановился и посмотрел на Фрика.

Тот слушал его с большим вниманием, но молчал.

– Удайся нам убедить суд, – начал снова Николай Герасимович, – что я действительно проживал во Франции, а не в Бельгии под чужим именем, добейся я таким образом оправдательного приговора по обвинению в ношении чужого имени, тогда если я и буду обвинен по делу об оскорблении полиции, то под именем маркиза де Траверсе, а не Савина, и этот приговор суда будет мне служить самым лучшим доводом против требуемой Россией моей выдачи: требуют не маркиза де Траверсе, а Савина, с которым я в силу уже приговора бельгийского суда, ничего общего иметь не буду... Разве это не так?

– Так-то, пожалуй, и так... Я понимаю, что для вас такое решение очень важно и готов

построить защиту на этой почве, но должен предупредить вас, что она очень зыбка, и если защита не удастся, что очень возможно, суд вас не пощадит и присудит к высшей мере наказания... Примите в расчет и это.

– Или пан, или пропал, будь что будет... Я не отступлюсь от этого плана, а вас освобождаю от ответственности за решение суда... Вы меня предупредили.

– Да, главное, помните, что я вас предупредил... План очень остроумен, но, повторяю, и очень рискован.

– Кто не рискует, тот не выигрывает.

– Хорошо, так будем держаться этого плана.

Вскоре Фрик уехал.

Настал наконец день суда.

За несколько дней перед этим в нескольких брюссельских газетах появились коротенькие заметки, извещавшие публику, что в такой-то день назначено к слушанию в суде исправительной полиции дело о маркизе Сансак де Траверсе, он же Савин, и его любовнице Мадлен де Межен, причем, конечно, не было забыто прибавление разных пикантных

подробностей о личностях обвиняемых, а также говорилось, что по распоряжению судебных властей дело это, ввиду его интереса, будет разбираться в большом зале суда и что публика будет допускаться только по билетам.

Конечно, такого рода реклама привлекла в суд не мало желающих присутствовать на таком судебном бенефисе, и огромный зал суда был битком набит самой фешенебельной брюссельской публикой.

Особенно много было представительниц прекрасного пола, жадных, как известно, до такого рода представлений.

За полчаса до появления Савина и Мадлен перед судом, в комнату, где они оба находились, явились оба защитника, одетые уже в своих длинных тогах и круглых шапочках.

Пришли они, чтобы сделать, говоря театральным языком, генеральную репетицию.

Все их внимание, конечно, было обращено на усвоение Мадлен ее роли.

Они по очереди разъясняли ей все, что она должна была отвечать на вопросы, могущие ей быть предложенными судом и обвини-

тельною властью.

Когда наконец режиссер – судебный пристав – пришел за подсудимыми, то они уже были готовы для отражения всякой атаки со стороны их общего врага – прокурора – и спокойно, даже торжественно, вошли в зал заседания, где и заняли места впереди своих защитников.

Скамьи подсудимых, как у нас и во Франции, в Бельгии нет.

Там суд помещается на особой эстраде, немного возвышенной над остальной частью залы.

Эта эстрада отделена от публики решеткой, и за эту решетку входят только участвующие в деле лица, не исключая свидетелей, которые входят по одному, по вызову председателя суда.

Свидетели дают свои показания, сидя в кресле, стоящем напротив председательского места.

Стоя говорят только обвиняемые, их защитники и прокурор.

При входе в зал подсудимых взоры всей публики обратились, конечно, на Мадлен де

Межен, которая была удивительно хороша и эффектна в этот тяжелый для нее день.

На ней было черное шелковое платье без всякой отделки, прекрасно обрисовывавшее ее роскошные формы.

Ее золотистые волосы были высоко зачесаны вверх по последней моде а la Marie Antoinette, что придавало ей поразительное сходство с королевой-мученицей, на которую она и без того была очень похожа.

Об этом сходстве не раз писали парижские газеты в более счастливые для нее времена, и это не ускользнуло и теперь от собравшейся публики – в столь аналогичном положении молодой женщины с ее двойником, королевой.

Шепот восторга по ее адресу пронесся по залу.

В публике произошло движение.

Когда оно несколько успокоилось, председатель суда спросил, обращаясь к подсудимым:

– Признаете ли вы себя виновными в возводимых на вас поступках?

И Савин, и Мадлен де Межен отвечали от-

рицательно.

– Господин судебный пристав, пригласите свидетелей! – приказал председатель.

Свидетели были полицейский комиссар Жакобс и полицейские агенты, присутствовавшие при аресте обвиняемых.

Показания их относились только к факту оскорбления их подсудимыми, то есть к обвинению в неповиновении властям и оскорблении должностных лиц.

Что касается до обвинения Савина в ношении чужого имени, то по этому делу свидетелей никаких не было, а были прочитаны разные показания, данные официальными лицами во Франции и Германии.

Из этих показаний выяснилось тождество маркиза Сансака де Траверсе с проживавшим в этих странах арестованным и бежавшим русским офицером Николаем Герасимовичем Савиным.

Когда чтение этих показаний окончилось, председатель обратился к подсудимому:

– Не желаете ли вы что-нибудь объяснить по этому поводу?

– И даже очень много.

– Это ваше право.

В зале, переполненном публикой, наступила вдруг такая тишина, что можно было услышать полет мухи.

## XV

### На суде

– Я маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин, – начал среди торжественной тишины, воцарившейся в зале суда, Николай Герасимович свое объяснение, – но должен признаться суду, что, действительно, проживая долгое время во Франции под именем русского офицера Николая Савина, был выдан французским правительством России и бежал от французских и прусских властей. Так что я сам не думаю даже оспаривать мое тождество с господином Савиным и признаю совершенно правильными все данные во Франции и Германии показания, которые были только что прочтены, но при этом считаю своим долгом разъяснить суду те причины, которые меня заставили проживать под чужим именем во Франции.

Дед мой покинул Францию во время первой революции и эмигрировал в Россию. Там он женился на дочери тоже французского эмигранта, от которой у него родился в первых годах нынешнего столетия сын – мой отец. Он, как и дед мой, остался французом, хотя всю свою жизнь прожил в России. Женился он на француженке, умершей в момент моего появления на свет. Я, единственный его сын, воспитывался в России, но остался, как и отец мой, французским гражданином. Отец мой как ярый роялист не признает теперешнего французского правительства, а потому не позволил мне явиться к призыву и служить во французской армии. Это нарушение военных законов по воле моего отца поставило меня на нелегальную почву по отношению к Франции, и я как нарушитель этих законов подвергаюсь, если буду застигнут в пределах Франции, наказанию до двух лет тюрьмы и зачислению на законный срок службы в армию по отбытии наказания. Вот эта причина и заставила меня жить во Франции под чужим именем, уехал же я из России во Францию несколько лет тому назад потому, что

меня давно тянуло в эту дорогую моему сердцу страну. Я не мог удержаться от желания видеть эту милую Францию, родину моих предков. Но проживать под своим именем мне было невозможно, так как я наверно подвергся бы наказанию и этим самым убил бы старика-отца. Он даже согласился на мой отъезд только с тем, что я ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах не обнаружу во Франции мое настоящее имя. Вскоре я получил известие о его смерти, но данная мною клятва не была им разрешена. Вот причины, побудившие меня назваться и жить в продолжение нескольких лет под именем Савина. Взял я это имя и документы на жительство от моего школьного товарища и друга русского гвардейского офицера Савина. Нас обоих во Франции никто не знал, а лета и приметы его вполне подходили к моим.

Приехав во Францию, я скоро познакомился с некоторыми проживающими там русскими и благодаря моему знанию русского языка был введен ими всюду и представлен как их соотечественник, русский офицер Савин. Моя веселая, даже расточительная жизнь в Пари-

же и Ницце дала мне скоро некоторую известность, про меня часто писалось в газетах: о моих лошадях, выездах, об огромных выигрышах и проигрышах в карты и дуэлях.

Вот эта известность и сослужила мне дурную службу, довела меня до всех неприятностей, перенесенных мною, и того положения, в котором я теперь нахожусь. Дело в том, что в то время, когда я жуировал во Франции с господином Савиным, чье имя я носил, случилось несчастье: в России против него были возбуждены разные уголовные и политические преследования, ему пришлось покинуть родину и бежать в Америку. Об этом я знал из его писем ко мне, но не обратил должного внимания. Конечно, мне нужно было тогда же покинуть Францию и вернуться в Россию, но, увлеченный парижской жизнью, связанный делами и любовью, я этого не сделал. Несчастно сложившиеся обстоятельства бросили меня в тот омут, из которого я до сих пор не могу вынырнуть. Дело в том, что полтора года тому назад дела мои сильно пошатнулись вследствие проигрыша моего в карты более миллиона франков, пошли долги и дру-

гие неприятности.

В июне прошлого года я имел столкновение в Париже с полицией и, будучи в раздражении, побил полицейского комиссара, за что и был арестован.

Газеты разнесли эту весть по всей Европе. Об этом узнали, конечно, и в России. Русские власти, получив сведения об аресте в Париже того Савина, которого они давно уже искали, потребовали его выдачи. Что было мне делать? Заявить французским властям, что я не Савин, а французский маркиз де Траверсе, нарушивший французские военные законы, и тем избежать выдачи России? Но этим самым я отдавался добровольно в руки французского правосудия, не только по этому нарушению военного закона, но также и по другим преступлениям, вытекающим из моего проживания под чужим именем, как, например, подписи разных актов и долговых обязательств, что могло быть легко подведено под преступление «подлога» и, кроме того, изменить данной моему отцу клятве.

Вот на основании этих-то соображений я решился не только не противиться моей вы-

дачи из Франции, но даже старался ускорить ее. Я видел всю опасность моего фальшивого положения и мне нужно было во что бы то ни стало покинуть французскую территорию как можно скорее. В России мне бояться было нечего, так как не я был преследуем, а Савин. Так я думал первое время, а затем, поразмыслив, увидел, что обнаружение и в России ношения мне не принадлежащего имени, да еще лица, как оказалось потом, скомпрометированного, может повлечь за собою обвинение в соучастии и во всяком случае следствие, во время которого меня будут держать в русской тюрьме. Представление о последней только по наслышке бросало меня в жар и холод даже во время содержания в европейских тюрьмах. Это-то и побудило меня бежать, чтобы избежать страшной русской тюрьмы. Первое мое бегство было учинено мною во Франции, и я вскоре снова был арестован в Ницце и вторично выдан по требованию русского правительства. Второй раз я бежал от немцев в бытность мою в больнице в Дуйсбурге, после чего я и проехал через Голландию в Бельгию.

Здесь, в Брюсселе, не имея надобности скрываться и опасаться носить принадлежащую мне фамилию, я с радостью сбросил с себя чужое имя, которое наделало мне столько неприятностей. И вот теперь это законное присвоение принадлежащего мне имени приводит меня снова к ответственности и к новым неприятностям! Посудите сами, господа судьи, и вы поймете, что это очень грустно, но вместе с тем и очень смешно! Переходя затем к обвинению меня в неповиновении властям и в оскорблении их, я считаю, что так поступить я был вынужден неправильными действиями и грубостью со мною комиссара. Он был груб не только по отношению меня, но и по отношению к женщине, которую я люблю и уважаю и которая не подала ему ни малейшего повода к ее оскорблению. Разве благовоспитанный и порядочный человек позволит себе врываться в спальню женщины? Разве он позволит себе называть женщину кокоткой, да еще толкать ее? Правда, что это сделал полицейский чиновник, от которого можно все ожидать, но полицейский чиновник, поступающий так, должен всего ожи-

дать. Я не отрицаю факта оскорбления мной комиссара и его агентов, но надеюсь, что суд поймет, что я был вынужден на это гнусным поведением самой полиции. А потому прошу принять это во внимание и отнестись к ним с присущей вам справедливостью.

Савин кончил.

Речь его произвела видимое впечатление на публику, зажужжавшую как пчелиный рой; что же касается до судей, то на их беспристрастных лицах нельзя было прочесть ничего.

На губах прокурора играла саркастическая улыбка.

– Госпожа де Межен, не пожелаете ли дать суду свои объяснения? – обратился к Мадлен председатель.

Снова в зале все стихло.

– Я со своей стороны, – начала молодая женщина, – должна прежде всего подтвердить все то, что сейчас говорил маркиз де Траверсе. Все, что он сказал – чистейшая правда, и мне, как близкой ему женщине, уже в течение двух лет это было хорошо известно. По обвинению же меня в оскорблении комис-

сара я не отрицаю факта этого оскорбления и даже очень сожалею о моей горячности, но думаю, что менее виновата я, нежели тот, который довел меня до такого самозабвения и раздражения неприличным поведением по отношению ко мне как к женщине. Вы сами, господа судьи, мужчины, и я ни на минуту не сомневаюсь, что каждый из вас в душе осуждает такое отношение к женщине, кто бы она ни была. Вот все, что я имею вам сказать, господа судьи.

– Ваше слово, господин обвинитель, – обратился председатель к прокурору.

Последний, тот самый, который в день ареста допрашивал Мадлен в полицейском бюро, встал, откашлялся и, выпив глоток воды из стоявшего на его пюпитре стакана, начал:

– Господа судьи! Способ защиты, избранный подсудимым, именующим себя французским маркизом Сансаком де Траверсе, нельзя не признать весьма оригинальным, остроумным и даже очень удачным. Я, признаюсь откровенно, не ожидал такой постановки защиты, но, тем не менее, она меня не смущает, и я убежден, что сумею доказать всю неправдо-

подобность рассказа обвиняемого, а следовательно, и полную его виновность в возводимых на него преступлениях. Да и на самом деле. Вы, люди жизни и опыта, вы легко поймете, что человек, приберегающий чрезвычайно разумный, логический довод для своего оправдания к последней минуте, к заседанию суда, не имел, значит, его в своем распоряжении ранее. Этот довод – плод его ума, согласуясь, недюжинного, плод его тюремного досуга. Следовательно, он выдуман. Если бы предстоящий перед вами подсудимый действительно был маркиз де Траверсе, он, конечно, с самого начала следствия поспешил бы указать таких лиц, которые знали его до проживания по именем Савина, то есть лиц, знавших его не во Франции, а в России, где он родился и жил почти до тридцатилетнего возраста.

Для доказательства истины обвиняемому нечего было совеститься дать эти указания судебным властям, и если, как он говорит, он боялся скандала, то теперь этот скандал стал неизмеримо крупнее, чем был бы тогда, когда бельгийские власти послали бы через рус-

ские власти допросить его родственников и знакомых. Обвиняйся еще он в чем-нибудь, порочащем его честь и доброе имя – дело было бы другое, но он обвиняется в ношении чужого имени, что не представляет ничего позорного для чести и доброго имени, а потому он спокойно мог дать все эти указания судебному следователю. Теперь же на его словах, как не могущих быть проверенными, нельзя основать судебного решения, тем более, что свидетельские показания, данные во Франции и Германии разными лицами, знавшими его под именем Савина, достаточно удостоверяют, что он именно и есть русский офицер Савин, а не маркиз де Траверсе.

Я надеюсь, что суд в этом со мною согласится. Показаниям же госпожи де Межен не может быть дано веры, так как суду хорошо известны отношения к ней обвиняемого, его любовь и преданность ему. Что же касается обвинения обоих подсудимых в оскорблении словами и действиями полицейского комиссара и агентов полиции, а также в сопротивлении властям, то все это доказано и не отрицается самими обвиняемыми. О чем же тогда

говорить, как не о применении закона?

Я полагал бы назначить Николаю Савину наказание в высшей мере, так как он уже не впервые оказывает сопротивление властям и оскорбляет их, как в России, так и во Франции, что видно из приложенной к делу переписки. Относительно же Мадлен де Менен, в виду ее молодости и доказанного раздражения, я полагал бы возможным дать ей снисхождение.

Я кончил.

## XVI

### Приговор

**П**осле речи прокурора слово было представлено защитнику Николая Герасимовича – адвокату Фрику.

– Всякое обвинение, – начал он, – должно быть основано не на предположениях, а на фактах. Без этих фактов, доказывающих виновность обвиняемого, всякое обвинение падает и не может найти поддержку в глазах суда. Мой клиент обвиняется в ношении чужого имени, но чем это доказано и кто подтвер-

дит это? Из собранных доказательств и свидетельских показаний видно, что мой клиент проживал во Франции под именем Савина, но и сам обвиняемый не отрицает этого. Но это разве доказывает, что он действительно Савин? Вот этого-то доказательства обвинительная власть и не представляет, а потому суд не обязан ей безусловно верить на слово. Почему же нам не верить рассказу обвиняемого, по моему мнению, вполне правдивому? В этом рассказе нет ничего неправдоподобного и невозможного, и кроме того он вполне подтверждается показаниями госпожи де Межен. Господин прокурор, не имея в своем распоряжении ни одного подтверждающего его предположения доказательства, старается выбить у нас таковое.

Обвинитель говорит, что обвиняемой госпоже де Межен не может быть дано веры, так как она состоит к моему клиенту в известных отношениях. По моему мнению, отношение и любовь госпожи де Межен к маркизу де Траверсе не могут служить к опорочиванию ее показаний, тем более, что закон обязывает суд принимать в соображение все доказатель-

ства, клонящиеся к оправданию или вообще служащие в пользу подсудимого. Но кроме показаний госпожи де Межен у нас, к огорчению прокурора, еще один важный аргумент, аргумент документальный, свидетель, по счастливому выражению одного судебного оратора, не знающий лжи – это сообщение русских властей, не узнавших в посылаемом им портрете моего клиента – разыскиваемого ими Савина. Правда, в сообщении этом говорится, что в присланной фотография есть некоторое сходство с Савиным, но между сходством и утвердительным признанием личности целая пропасть, а мы не можем предположить, чтобы русские власти, разыскивающие и преследующие Савина, не знали бы его, или не нашли бы лиц, знающих его настолько, чтобы дать положительный ответ.

Будь еще господин Савин человек малоизвестный, уехавший давно из России, тогда дело было бы другое, но господин Савин был русским гвардейским офицером, имевшим множество знакомых, друзей и товарищей, могущих его узнать. При этом он покинул пределы своего отечества весьма недавно, так

что не мог уже настолько измениться, чтобы его не узнали в посылаемой фотографии. Все это, конечно, доказательства, служащие в пользу обвиняемого и разбивающие все необоснованные и шаткие доводы обвинителя. Повторяю, что суд при обвинении человека может только основываться на положительных фактах, а не на предположениях, а раз таких положительных данных против обвиняемого нет, то суд не может произнести обвинительного приговора, а потому я и прошу суд оправдать моего клиента по этому пункту обвинения. Что же касается до обвинения маркиза де Траверсе в оскорблении полицейского комиссара и сопротивлении властям, то я нахожу, что в данном случае полиция сама вынудила его к этому своими неправильными действиями и грубыми поступками. Обратись к обвиняемому со своими требованиями господин комиссар вежливо, предъяви он ему сразу приказ прокурора, без которого никто не может быть арестован, а главное, не позволь он себе врываться в его спальню и оскорблять ни в чем не повинную и вполне уважаемую женщину, то, конечно,

ничего бы не случилось. Но явное нарушение закона и приличий со стороны самого же представителя власти вызвало прискорбный инцидент, служащий ныне предметом судебного разбирательства. Это-то обстоятельство и позволяет мне поднять свой голос в защиту маркиза де Траверсе и если не требовать от суда полнейшего его оправдания по этому пункту обвинения, то ходатайствовать о снисхождении и о назначении ему наказания в низшей мере.

Последним встал Стоккарт.

– Господа судьи! – сказал он. – Не впервые вам приходится разбирать такого рода дела, в которых фигурирует оскорбленная полицейская власть. Наверное, не ускользнуло от вашего опытного судейского взгляда то обстоятельство, что большая часть таких дел была вызываема грубостью и какой-то особою, только одной полицией усвоенною наглостью. Не проявляй полиция в обхождении с людьми этой грубости и наглости, конечно, было бы устранено много скандалов и дел подобных настоящему. Когда же наконец полиция поймет, что такое поведение с ее стороны

не только предосудительно, но и противозаконно? Закон для всех один, и кому же он должен быть более известен, как не полиции. Она как блюстительница порядков и применения законов, конечно, обязана первая подчиняться ему. Этот пример уважения закона может только благотворно отразиться на массе и принесет, конечно, несравненно больше пользы, чем все наказания, налагаемые судом, в настоящем деле эта профессиональная наглость полицейских чиновников проявилась во всем ее блеске. Она прямо возмутительна.

Обвинитель говорит вам, что для него оскорбление властей и сопротивление им со стороны обвиняемых ясно доказано, но неужели не ясно доказано для него и возмутительное поведение самих якобы оскорбляемых? Я удивляюсь, как до сих пор виновный в грубости и наглости полицейский комиссар Жакобс не привлечен к ответственности! Во всех странах мира женщина пользуется особым уважением, и чем страна стоит на высшем уровне развития и цивилизации, тем это чувство уважения к женщине в ней развитее.

Оскорбление женщины мужчиной считается не только предосудительным, но даже низким, позорным и в некоторых случаях наказуемо очень строго. Если общественное мнение порицает и суд наказывает так строго за такого рода проступок частных лиц, то как же они должны порицать лиц официальных, настолько забывающихся, что позволяют себе во время исполнения своих служебных обязанностей оскорблять женщину, тем более, не давшую на это ни малейшего повода, как было в данном разбираемом нами случае.

Следствием установлено, что комиссар Жакобс, не удовольствовавшись тем, что вошел в спальню госпожи де Межен, которая в то время находилась в постели, но позволил себе назвать ее кокоткой. Будь она таковой и то он не имел бы права так выражаться, но госпожа де Межен никогда кокоткой не была — это вполне честная и порядочная женщина. Связь с маркизом де Траверсе не может служить ей упреком. Сколько мы видим в настоящем веке женщин, живущих честно и вполне безупречно, не будучи замужем. Теперь не те времена, когда смотрели на такую связь

неблаговидно и, конечно, жить с человеком и быть кокоткой – огромная разница. Таким образом, грубость комиссара была не только возмутительна, но и не основательна. Но это словесное оскорбление еще ничего в сравнении с таким гнусным поступком, который господин комиссар позволил себе в отношении обвиняемой. Когда он возвратился вторично в квартиру маркиза де Траверсе с приказом об его аресте, он потребовал, чтобы ему отворили дверь спальни, где находились в то время маркиз и госпожа де Межен, и это его требование было немедленно и беспрекословно исполнено.

Значит, ему не было никакой надобности прибегать к силе, что все-таки было им сделано. По его приказанию на маркиза напали до десяти полицейских и стали с ним грубо обращаться. Весьма понятно, что такое поведение полиции относительно любимого человека страшно возмутило и взволновало любящую женщину. Она в сильнейшем отчаянии, со слезами бросилась к комиссару, умоляла его освободить от такого насилия любимого человека, но он вместо вежливого отказа грубо и

бесчеловечно оттолкнул ее от себя. Тогда, не помня себя от негодования и горя, несчастная женщина в состоянии самозабвения схватила первую вещь, попавшуюся ей под руку, оказавшуюся ведром с грязной водой, и облила ею господина Жакобса. Эта прохладительная ванна, заменив отсутствие, видимо, весьма для него нужных начальственных головомоек, несколько осадил его полицейский нрав. Маркиза де Траверсе освободили от висящих у него на руках и ногах полицейских и отправили в полицейскую префектуру. Этот поступок госпожи де Межен, несомненно, наказуемый, но, принимая во внимание, что обвиняемая была вынуждена на это возмутительным поведением самого оскорбленного и что она находилась в состоянии самозабвения от нанесенного оскорбления, ей нельзя вменить в вину ее поступок, а тем более наказывать ее за него. А потому я убежден, что суд, приняв все мои доводы в соображение, вынесет французской гражданке Мадлен де Межен оправдательный приговор.

По окончании речи Стоккарта председатель обратился по очереди к обоим с вопро-

СОМ:

– Не имеете ли вы что-либо еще сказать в свое оправдание?

И Савин и Мадлен ответили отрицательно.

Суд удалился в совещательную комнату.

В зале все пришло в движение.

Несмолкаемый говор начался во всех ее концах. Дамы стали лорнировать Савина, мужчины Мадлен. Начались споры, догадки об исходе процесса, как это всегда бывает в эти томительные минуты для обвиняемых.

Совещание суда длилось часа полтора.

Наконец суд вышел и председатель громко, отчетливо прочитал следующий приговор:

«Рассмотрев дело русского подданного Николая Савина, именующего себя маркизом Сансаком де Траверсе и французской гражданки Мадлен де Межен, обвиняемых: первый в проживании под чужим именем и оба в оскорблении на словах и в действии полицейских властей и в неповиновении сим властям, – брюссельский суд исправительной полиции определил: Николая Савина подвергнуть заключению в тюрьме сроком на семь

месяцев и штрафу в пятьсот франков, а Мадлен де Межен подвергнуть тюремному заключению на два месяца и штрафу в двести франков, обоих же по отбытии наказания отвезти за границу, с запрещением возвращения и проживания в пределах Бельгийского королевства в продолжение одного года. В виду того, что Мадлен де Межен отбыла уже свое наказание временем, проведенным ею до суда в предварительном заключении, ее из-под стражи немедленно освободить, но обязать подпискою выехать из пределов Бельгии в течение суток, по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана».

– Госпожа де Межен, вы свободны! – добавил председатель, обращаясь к Мадлен.

Радостная улыбка разлилась по лицу Николая Герасимовича; он забыл о предстоящих ему месяцах тюрьмы, его радовало освобождение любимой им женщины.

Обвиняемых увели из зала суда.

Было около четырех часов дня, так что им оставалось еще два часа пробить вместе до отъезда в тюрьму, ему – дабы остаться там

еще долгое время, ей – чтобы исполнить формальности освобождения.

Эти два часа показались им мгновением.

## XVII

### Отъезд Мадлен

Конечно, Савин и Мадлен подали апелляционные жалобы на определение суда исправительной полиции.

Последняя, чтобы остаться в Брюсселе, а первый в надежде добиться оправдательного приговора по делу о ношении им чужого имени и во всяком случае уменьшения наказания, так как суд приговорил его к высшей мере, указанной в законе.

Выйдя из тюрьмы, Мадлен де Межен поселилась на старой их квартире, у госпожи Плессе.

Квартира эта была самая подходящая, так как улица Стассар находилась невдалеке от тюрьмы святого Жиля, и близость эта позволяла Мадлен часто бывать у Николая Герасимовича.

Этим частым свиданиям способствовал

добрейший директор тюрьмы, позволивший Мадлен бывать у Савина ежедневно и видеться наедине в запертой адвокатской приемной.

Конечно, при таких условиях эти свидания сильно обрадовали любящих друг друга людей и позволяли им излить всю нежность чувств, накопившуюся во время их разлуки и обоюдного заточения.

Но кроме нежностей и ласк, во время этих свиданий они также, конечно, обсуждали свое горькое положение.

Обманывать себя и льстить какими-нибудь несообразными надеждами было нечего.

Мадлен советовала ему подчиниться судьбе и в случае его выдачи из Бельгии в Россию, не стараться бежать, а сделать все, что от него зависело, чтобы скорей выпутаться из дел и доказать свою невиновность.

– Видно уж так суждено, ничего не поделаешь, – уговаривала она его, – повинуйся силе и закону, а я помогу тебе переносить твоё горе.

Савин вполне признавал справедливость суждений молодой женщины, но ему невыно-

симо тяжела была перспектива пребывания в России.

Надейся он по приезде туда быть свободным до окончания его дела, тогда бы вопрос был иной.

Но он наперед знал, что озлобленные против него судебные власти ни в каком случае не согласятся освободить его до суда и ему придется томиться еще долгое время в предварительном заключении, да еще в русской тюрьме.

Это-то и ужасало его и заставляло придумывать новые способы избавления.

В благополучном исходе его дела в России, то есть в его оправдании судом по всем возводимым на него обвинениям он не сомневался ни минуты, но до этого суда и дня его освобождения была целая бездна – долгие месяцы тюрьмы и связанная с ними разлука с той, в которой было все его блаженство, все его счастье, вся его жизнь.

Правда, Мадлен де Межен соглашалась, по приезде его в Россию, немедленно туда приехать и жить там в ожидании его освобождения.

Но что же это была за жизнь?

Видеть друг друга через решетку тюрьмы.

Николай Герасимович смотрел на вещи несколько иначе, чем Мадлен.

Его ничто не тянуло в Россию, ничто его более не связывало с ней.

К чему ему было томиться долгие месяцы в тюрьме, переносить новые испытания и мучения, не приводящие ни к какому положительному результату.

Приходило ему, конечно, на мысль, что если новое бегство не удастся, то волей-неволей ему придется покориться судьбе, но сделать этого добровольно он не решался.

Обсуждали они этот животрепещущий для них вопрос почти ежедневно, и это весьма понятно, потому что от него зависели вся их будущность и их счастье.

При этом Николай Герасимович считал нужным обсудить его заранее вместе с Мадлен, пока она была с ним до рассмотрения дела в апелляционной палате и ее тогда обязательного отъезда.

По правде сказать, Савин уже не надеялся на благоприятный исход их апелляционной

жалобы и заранее был уверен, что палата утвердит приговор суда первой инстанции.

Мадлен же наоборот, как неопытная и увлекающаяся женщина, под влиянием уверений пустозвона Стоккарта, возлагала большие надежды на палатское решение, рассчитывала даже на оправдание Савина и его освобождение.

Он не разбивал этих грез, но и не разделял их.

Прошло около месяца.

Дело было назначено в палате к слушанию в конце октября.

Газеты снова заговорили о Савине и Мадлен де Межен, и они стали готовиться к этому новому бенефису: Николай Герасимович к более убедительной защите перед палатой, Мадлен де Межен к тому, чтобы удивить брюссельскую публику своим туалетом.

Для женщины, особенно парижанки, туалет – все, и никакое положение не может заставить ее забыть о нем.

Хотя у Мадлен была пропасть вещей и туалетов с собою, но она не могла выдержать соблазна и не выписать себе от своей модист-

ки из Парижа m-me Veraux новую осеннюю шляпку специально ко дню суда.

Но ни парижская шляпка Мадлен, ни защита Савина, ни даже красноречивая речь Стоккарта не помогли. Палата утвердила приговор суда первой инстанции и им пришлось, скрепя сердце, подчиниться этому решению: Савину досиживать его срок, а Мадлен Де Межен на другой же день покинуть Бельгию.

Всякий хорошо поймет, как тяжело отозвалось в их сердцах это палатское решение.

Их снова разлучили, и впереди у них была туманная картина неизвестности.

Прощаясь, они не знали, на сколько времени они расставались, когда и где свидятся.

Эта-то неизвестность и была ужасна.

Мадлен уезжала обратно в Париж, но не думала там остаться, а хотела уехать к своей кузине, живущей в Нормандии, и жить в деревенской глуши, ожидая решения судьбы любимого ею человека.

При прощании она передала Николаю Герасимовичу банковый билет в пятьсот франков, который должен был оказать ему услугу в случае его нового бегства, но умоляла его

быть осторожнее, не рисковать жизнью и помнить, что она всегда останется его и придет всюду, где бы и в каком положении он ни находился, хотя бы и сосланным на поселение в сибирскую тундру.

Видя отчаяние Савина, молодая женщина старалась всячески утешить, поддержать его.

В эти тяжелые для них минуты, она находила не только силы для перенесения своей личной скорби, но и для поддержки падающего духом Николая Герасимовича.

Только любящая душа несет горе так, как несла его эта женщина, и одни женщины так выносят его.

В женской половине человеческого рода заключены великие силы, ворочающие миром.

И действительно, ее гордость действовала на Николая Герасимовича благотворно, пока она была с ним, но как только она уехала, чаша страдания его переполнилась.

Нестерпимо стало ему его томительное одиночество.

Всякие несуразные мысли лезли в голову и не давали покоя ни днем, ни ночью.

Все надежды, которые до сих пор его поддерживали и давали силу переносить все его несчастья, сразу как-то разрушились.

Он перестал в них верить: они стали ему казаться какой-то несообразной, неисполнимой химерой.

Перед ним предстала та ужасная картина разочарования жизнью, которая впервые зародила в нем мысль покончить с собою, оставить этот мир материальных забот и треволнений.

Будь у него в тот момент возможность добыть яду или револьвер, он, быть может, ни на минуту не задумался бы пустить их в ход.

Но эта невозможность добыть средства к своему собственному уничтожению оставила его в живых для перенесения новых и новых страданий.

Видно, такова была его судьба!

В это-то время, находясь постоянно один, сам с собою, под влиянием томящего его горя, он впервые стал вдумываться в философские и социальные вопросы.

До тех пор, по правде сказать, никогда подобные мысли не приходили ему в голову и

он не выходил за рамки тех эгоистических мыслей, которые более всего присущи каждому человеку.

Благодаря уединению и горьким испытаниям, в нем пробудились новые, совершенно ему не известные чувства.

Страдания научили его мыслить и заставили его забыть отчасти свое собственное «я», открыв ему глаза на ту мировую картину страдания и гниль европейского общественного устройства, которых он до тех пор не видел, которые в эгоистическом наслаждении жизнью его не интересовали.

Чем больше он вглядывался в эту грустную картину, тем сильнее развивалась в его уме мысль о злобах и невзгодах человеческой жизни.

Он стал предаваться этим возродившимся, совершенно новым для него мыслям с каким-то особенным увлечением.

По целым часам просиживал он в глубоком раздумье, доискиваясь причины недостатков человеческого общества и их устранения и, конечно, ничего не доискался.

Эти размышления были, однако, первыми

шагами к его самоперевоспитанию, и он стал смотреть на вещи совершенно другими глазами, чем прежде.

Его прежние взгляды во многом диаметрально изменились.

Конечно, эти доводы и размышления могли только подготовить благодарную почву для его далекого будущего, но не утешить в настоящем.

Это настоящее оставалось по-прежнему ужасным, ближайшее же будущее представлялось еще ужаснее.

## XVIII

### Выдача России

Вскоре после отъезда Мадлен де Межен Николая Герасимовича Савина снова вызвали в апелляционную палату.

Там был назначен разбор требования, предъявленного русскими властями к бельгийскому правительству о выдаче Савина России.

В Бельгии все такого рода требования о выдаче, предъявленные иностранными государ-

ствами, передаются сначала на рассмотрение апелляционной палаты, которая их рассматривает с юридической точки зрения.

В заседание вызываются стороны, то есть выслушивают заключение прокурора и возражения требуемого лица или его защитника, после чего палата определяет: следует ли согласиться на выдачу или нет.

Это определение палаты, основанное на законах страны и трактатах, заключенных с иностранными державами, предъявляющими свои требования, служит гласным основанием для дальнейшего решения высшего правительства, от которого зависит окончательное решение.

Но это решение всегда бывает в том смысле, как это мотивирует в своем решении палата.

Очевидно, что для Николая Герасимовича от этого решения зависело все, а потому адвокат последнего – Фрик – принял все меры, чтобы убедить палату отказать русской миссии в предъявленном требовании о выдаче Савина.

– В деле, – говорил Фрик перед палатою, –

отсутствует совершенно доказательство тождества требуемого лица. Русские судебные власти не потрудились их представить. Требуется Савин, а не маркиз Сансак де Траверсе, и кроме того, при требовании, присланном из России, нет точного описания примет Савина, а по фотографической карточке маркиза де Траверсе, посланной из Брюсселя в Россию, русские власти не узнали разыскиваемое ими лицо. Все это, по моему мнению, представляет достаточные основания, чтобы отказать в требовании о выдаче, тем более, что все дело разгорелось от несомненной ошибки бельгийской полиции, которая, будучи уверена, что нашла на след Савина, на том основании, что маркиз де Траверсе проживал под этим именем во Франции, сообщила о его аресте русским властям и этим самым побудила их просить о его выдаче. Русские власти таким образом были введены в ошибку и если и требовали выдачи Савина, то при этом полагались на полную компетентность бельгийских властей, как в вопросе о тождестве арестованного лица с разыскиваемым ими Савиным, так и в вопросе о самой выдаче. Русские вла-

сти не входят ни в какие подробности по этому делу и требуют выдачи именно того лица, которое они разыскивают, то есть Савина. На основании этого я считаю, что выдачей маркиза де Траверсе, лица не требуемого и не имеющего ничего общего с тем лицом, которого разыскивает Россия, будет оказана не услуга дружественному государству, а сделана только неприятность.

Выслушав речь защитника, палата удалась для совещания и после довольно продолжительного времени вынесла свое определение, по коему находила, что преступления, по которым Николай Савин обвиняется в России, входят в число тех преступлений, по которым, в силу имеющегося между Бельгией и Россией трактата, выдача должна состояться. По отношению тождества лиц, по мнению палаты, не может быть и речи, так как в силу решения бельгийского суда, вошедшего в законную силу, подлежащее выдаче лицо было признано за Николая Савина, а не за маркиза де Траверсе, а такое решение обязательно для всех бельгийских судов.

В силу этих соображений палата находила,

что Николай Савив должен быть выдан по требованию русских властей по отбытии им в Бельгии наказания, к которому он присужден.

После такого решения палаты Николаю Герасимовичу не оставалось ничего более, как дожидаться окончания срока его тюремного заключения.

Срок этот истекал в конце января, так как, в силу бельгийских законов, одиночное заключение как наказание более строгое дает скидку семи дней в месяц против обыкновенного тюремного заключения.

Таким образом, вместо семи месяцев, к которым он был приговорен, он освобождался по прошествии пяти месяцев и одиннадцати дней, считая и время, проведенное им в предварительном заключении.

Ко дню отбытия им наказания все формальности по отношению его выдачи были уже исполнены, и он должен был быть отвезен на германскую границу для передачи прусским властям, которые должны были отправить его далее в Россию без всякой задержки.

За два дня до отправки к Николаю Герасимовичу зашел директор тюрьмы, чтобы предупредить его об этом отъезде и кстати с ним проститься.

Савин в горячих выражениях поблагодарил господина Стевенса.

Отъезд Николая Герасимовича был назначен рано утром, и в этот день его пришли разбудить в четыре часа утра.

В конторе тюрьмы он застал несколько человек, которые тоже отправлялись на германскую границу.

Всех их посадили в развозную тюремную карету и отвезли на станцию железной дороги.

Там их уже ожидал вагон, в котором они были помещены.

От Брюсселя до прусской границы около четырех часов езды, и Николай Герасимович со своими невольными спутниками приехали на границу в десять часов утра.

При выходе арестантов из вагона их передали ожидавшим их прибытия прусским жандармам, которые повели их со станции в город, в полицейское управление, для соблю-

дения необходимых формальностей.

По опросе арестованных и по проверке их документов полицией, приехавших с Савиным, кого освободили, кого отправили в тюрьму, а его оставили в полицейском управлении до отхода вечернего поезда, с которым он должен был отправиться далее через Берлин в Россию.

Зная, что никакие его протесты не приведут ни к какому результату, он, по приезде на прусскую территорию, перестал именоваться чужим именем и стал для прусских жандармов тем же Herr Leitenant, каким был семь месяцев тому назад до его бегства из Дуйсбургской больницы.

Хотя Николай Герасимович и не любил пруссаков, но должен был отдать им полную справедливость, что хотя они хорошо знали, что он именно тот русский, который два раза уже бежал и последний раз бежал от них же, пруссаков, но никакой вражды или грубых действий по отношению к нему они не применили и были с ним безукоризненно вежливы, так что голландским и бельгийским полицейским властям хорошо бы поучиться веж-

ливости у этих по репутации «грубых» пруссаков.

Единственная мера строгости, принятая ими теперь против Савина, была посылка с ним вместо одного жандарма, как прежде, двух.

По дороге он разговорился и познакомился ближе со своими спутниками, жандармскими вахмистрами, Зюсом и Фингером.

Они кое-что уже знали об арестанте из газет и интересовались прежде всего узнать от него, правда ли, что он один из вожаков нигилистической партии в России.

Конечно, Николай Герасимович постарался их разубедить в этом, объяснив им, что это чистейшая газетная утка, что он никогда нигилистом не был, да и вообще нигилистов в России почти нет.

Затем у них завязался разговор о политике, об организации армий, как русской, так и германской, и о социальном вопросе, так сильно интересующем всех в Германии.

Николай Герасимович был просто поражен образованием этих двух прусских солдат, в особенности Фингера, изумлявшего его сво-

ими дельными суждениями и всесторонней начитанностью.

Встретить Савин этого человека в другой обстановке, никогда бы он не предположил, что это простой прусский солдат.

На другой день в четыре часа они прибыли в Берлин. Здесь им пришлось ждать отходящего поезда на Торн и Александрово до половины двенадцатого ночи. Николай Герасимович со своими спутниками воспользовались этим временем, чтобы сходить в баню и хорошо пообедать в ресторане недалеко от вокзала.

При отъезде из Берлина Савина и его провожатых снова поместили в отдельное купе, в котором они благополучно доехали до русской границы. Чем ближе подъезжали к Александрову, тем более Николая Герасимовича охватывало какое-то особое волнующее и томительное чувство.

Ему было тяжело, совестно находиться в таком положении и быть привезенным на родину прусскими жандармами.

На этом прервались воспоминания Николая Герасимовича, или лучше сказать, были

прерваны.

Он очнулся.

Ужасы русской тюрьмы и этапа уже были в прошедшем.

Камера дома предварительного заключения была не хуже брюссельской. Перед ним стоял смотритель и приглашал в контору.

– С вами желают видеться.

– Кто?

– Дама...

Сердце Николая Герасимовича тревожно забилось. «Уж не Мадлен ли?» – мелькнуло в его уме. Он поспешил за помощником смотрителя. При входе в контору он остановился пораженный.

Перед ним стояла Зиновия Николаевна Ястребова.

## ХІХ

### Великосветский притон

**П**олковница Капитолина Андреевна Усова была вдова.

Три года тому назад она приехала в Петербург и устроилась очень скромно.

Да и вообще, ее дела были тогда не блестящи.

Муж ее, стоявший все время с полком в глухой провинции, оставил ей только скромную пенсию и двух дочерей, из которых старшей было около семнадцати лет, а младшей едва минуло двенадцать.

Вскоре, однако, она заняла большой дом-особняк на Большом проспекте Васильевского острова, через несколько домов от дома, принадлежавшего покойному Аркадию Александровичу Колесину – горячему поклоннику несравненной Маргариты Гранпа, когда-то бывшей невесты Николая Герасимовича Савина, и участнику в первом возбужденном против последнего уголовном деле о разрывании векселя Соколова, предъявленного Вади-

мом Григорьевичем Мардарьевым.

Обстановка дома Усовой была роскошна, одевалась она с дочерьми по последней моде, и почти каждый вечер у нее были гости. Вообще по роду жизни она казалась женщиной очень богатой.

Года через полтора после разнесшейся по Петербургу вести о смерти Николая Герасимовича Савина под колесами железнодорожного поезда у бельгийской границы, в один из зимних вечеров к Капитолине Андреевне Усовой собрался небольшой кружок близких знакомых.

К парадному подъезду подкатили элегантные сани, из которых вышли два молодых человека и вошли в крытый подъезд дома.

Это были граф Петр Васильевич Вельский и его приятель Владимир Игнатьевич Неелов.

Молоденькая хорошенькая горничная открыла им дверь.

Поцелуй Неелова ее совсем не обидел.

– Никого еще нет? – спросил граф.

– Несхолько дам уже в гостиной, – ответила горничная, лукаво улыбаясь.

– Графа Стоцкого нет?

– Его, кажется, ждут.

Сняв верхнее платье, оба гостя вошли в залу, а затем и в гостиную.

Опытный глаз увидел бы сразу, что дамы, собравшиеся в этой комнате, не принадлежат к высшему обществу.

Хозяйка дома, высокая, худая женщина, лет тридцати пяти, сильная брюнетка, была еще интересна.

По ее манере было видно, что она умеет вращаться в порядочном кругу.

Ее соседка слева, которую Неелов назвал «ваше превосходительство», была немногими годами моложе.

По наружности она составляла полную противоположность хозяйке.

Это была блондинка с очень нежным цветом лица и голубыми глазами.

Полное, круглое лицо дышало здоровьем, а очень открытая шея, высокая грудь и круглые, белые руки дополняли картину этого возможного для человека здоровья.

Третья, сидевшая с работой в руках, была старшая дочь хозяйки, Екатерина Семеновна.

Она была высока и худа, как мать, но во

всем остальном ничуть на нее не походила.

Темнорусые волосы, искусно завитые, красивое, выразительное, немного смуглое лицо, дерзкий взгляд – в общем, во всем ее существе, было мало женственности, разве только маленький ротик с белыми, как слоновая кость, зубами, как бы созданный для поцелуев.

Около нее сидела красивая, миниатюрная молодая девушка лет семнадцати.

Когда вошли молодые люди, она, краснея, опустила глаза на работу и боязливо подняла их только тогда, когда Неелов взял ее за руку.

– Как мило с вашей стороны, дорогая Марья Петровна, что вы опять приехали. Я боялся, что выходка старого генерала вас так рассердила, что мы не будем иметь удовольствия вас видеть...

При воспоминании о генерале девушка снова покраснела.

– Увидим мы сегодня вашего обожателя, барона?

– Я его жду.

– А если он не придет, никого другого вы не осчастливите вашим вниманием? На вре-

мя, конечно?

Она взглянула на него, не то стыдливо, не то испуганно.

– С вами будет то же, что с генералом, – вмешалась хозяйка. – Вы поссоритесь с Музей.

– При чем тут я, я разве виноват, что барышня сегодня так хороша, что воспламенит коренного жителя Лапландии. Честное слово, Марья Павловна, вы очаровательны. Разрешите поцеловать вашу ручку и тем выразить вам мое поклонение.

Он наклонился к ее плечу.

– Владимир Игнатьевич, перестаньте!.. – воскликнула она, вне себя от гнева.

Никто не вступился за бедняжку.

Все смеялись над ее испугом, а полная блондинка даже заметила:

– Вы должны быть снисходительны, Владимир Игнатьевич, хорошему тону учатся постепенно.

– Теперь барон всецело владеет ее сердцем, – добавила хозяйка. – Но придет время – и для других окажется там местечко.

– Вы очень скоро заметите, что ваш воз-

любленный слишком холоден... – заметила Екатерина Семеновна.

– Слишком холоден? Это, пожалуй, еще хуже, чем слишком стар, – распространялась ее превосходительство. – Мне знакомо и то, и другое.

– Зачем же вы вышли замуж за такого старика? – спросила Екатерина Семеновна. – Вы должны были знать заранее, что его объятия не будут очень жарки.

Граф Вельский сел в кресло, не обращая ни малейшего внимания ни на этот в высшей степени странный разговор, ни на красоту дам, которые, видимо, старались нравиться.

Екатерина Семеновна подошла к нему, нежно отвела руку, которой он закрывал лицо, и спросила смеясь:

– Что с вами, граф? Вы сидите, точно молодой, который первый раз поссорился со своей женой.

– Вы попали не в бровь, а прямо в глаз! – воскликнул Неелов. – Супружество гнетет его! Отныне он должен быть занят только своей женой; прекрасные молодые девушки теперь больше не для него; разве только те, которые

играют в карты, могут еще интересовать его.

Все рассмеялись этой шутке.

Екатерина Семеновна своими огненными глазами вопросительно взглянула на графа и, наклонясь близко к его уху, прошептала:

– А я думала провести сегодняшний вечер с тобой, или я тебе надоела?

– Охота вам слушать чушь, которую несет Неелов! – отвечал громко граф. – Я очень озабочен одним делом, о котором не имею права говорить вам. Ну, да мы создадим веселое настроение! Нельзя ли вина? Екатерина Семеновна, не споете ли вы?

– Вот это дельно! – воскликнул Неелов. – Вино и песни веселят дух.

Молодая девушка села за рояль, а горничная вскоре принесла вина.

Раздался звонок.

– Слава Богу – это Сигизмунд! – воскликнул граф Вельский. Он не ошибся.

Горничная доложила, что приехал граф Стоцкий и барон Гемпель.

Глаза хорошенькой блондинки загорелись счастьем. Не успел граф Стоцкий поздороваться с дамами, как граф Вельский подошел

к нему, взял его под руку и отвел в сторону.

– Сигизмунд, – сказал он, – я в большом затруднении.

– Какого рода?

– Мне не хватает денег.

– Ведь ты получил на днях значительную сумму от своего отца, чтобы купить свадебный подарок невесте.

– Совершенно верно, но большую часть этих денег я проиграл вчера у Матильды.

– Скверно.

– Не придумаешь ли, где бы еще найти кредит? Ты ведь знаешь, что в день моей свадьбы я расплачусь со всеми.

– Так-то так, да везде уже много взято.

– Ну, приблизительно сколько?

– По меньшей мере, ты должен около ста тысяч...

– Постарайся достать еще десять тысяч. Я готов на всякие жертвы.

– Попытаюсь. Но, может быть, ты сегодня выиграешь; я сейчас устрою игру. Если ты вернешь проигрыш, то тебе не надо нового кредита, а если проиграешь, ну, тогда, я помогу тебе устроиться со свадебным подарком.

– О, мой дорогой друг, ты снова даешь мне надежду. Так я могу на тебя положиться?

– Не беспокойся. Как тебе нравится сегодня Катиш?

– Я был так занят до сих пор самим собою, что не обращал на нее внимания и только теперь вижу, что она очень мила... Она приглашала меня на свидание в своем будуаре, я, пожалуй, пойду.

– Почему это «пожалуй»?

– А потому, что с тех пор, как я увидел маленькую лесную нимфу, она не выходит у меня из головы; все прочие женщины, будь они настоящие Аспазии, для меня теперь безразличны.

Граф Стоцкий самодовольно улыбнулся.

– Может быть, мы скоро ее увидим здесь? Остальное устроится само собою. Будь нежен с Катей, это тебя рассеет... Иди к ней в будуар... Там уже, без сомнения, подан чай... Барон уже исчез давно со своей Муськой, следуй его примеру. Как только явится князь Асланбеков, я устрою игру и дам тебе знать.

– Хорошо, я иду.

Он направился к Екатерине Семеновне и

что-то шепнул ей на ухо.

Через минуту они исчезли из гостиной.

В то время, когда Сигизмунд Владиславович искал случая остаться наедине с хозяйкой, вошел князь Асланбеков.

Это был человек лет сорока пяти, сильный брюнет, коренастый и широкоплечий. На его лице, обросшем бородой, можно было разглядеть только черные глаза и толстый тупой нос.

«Генеральша» – так звала полковница Усова толстую блондинку – тотчас заняла его разговором.

Неелов что-то наигрывал на рояле.

Граф Стоцкий тем временем отвел в сторону хозяйку и о чем-то тихо с ней разговаривал.

– Четвертая улица Песков, дом 8... Вы не забудете номер?

– Нет, нет, – ответила Усова. – У кого она находится?

– У своего дяди – чиновника Костина.

– Я уже сделаю свое дело.

– Не забудьте, что дело это очень трудное...

Эта Клавдия – очень добродетельное дитя, и

ее родственники очень зорко следят за ней.

– Ничего... Не такие дела кончались хорошо...

– Если удастся, вы получите тысячу рублей, а если все пойдет хорошо, то сумма будет удвоена... За этим не постоим.

– Положитесь на меня... На днях она будет здесь... Я дам вам знать...

– Тсс... Вот генерал... Он, конечно, ищет вас.

Капитолина Андреевна поспешила на встречу новому гостю. Сигизмунд Владиславович подошел к роялю и облокотился на него, как бы слушая фантазии Неелова. На самом же деле голова его была занята совершенно иным.

Тот, которого Стоцкий назвал генералом, был старик лет семидесяти. Он был совершенно сед и держался сгорбившись, но походка была еще достаточно тверда, а темные глаза горели из-под густых седых бровей. Он рассчитывал прожить еще лет двадцать и очень горевал, что часто его не вовремя беспокоил кашель.

– А для меня здесь никого нет, моя доро-

гая? – спросил генерал, садясь возле хозяйки.

– Я жду каждую минуту даму, которая, клянусь вам, победит ваше сердце.

– Гм... Молода?.. Хороша?..

– Конечно! Я ведь знаю ваш изысканный вкус... Софи привезет молодую особу... Советую только одно...

– Что, моя дорогая?..

– Не набрасывайтесь опять, как сумасшедший! Марья Павловна все еще боится вас из-за прошлой сцены... Надо идти к цели постепенно. Рим построен не в один день, ни одно дерево не падает с первого удара топора. Заметьте это.

– Вы правы, любовь моя... Вы упомянули о маленькой Мусе. Разве она здесь?

– Конечно! Но она там, в кабинете, со своим поклонником. Подождите немного, когда она надоест барону, тогда вам будет легче, потому что, – тоном поучения сказала полковница, – от початого хлеба всегда легче отрезать, чем от целого.

Старик утвердительно кивнул головой.

– Вы всегда правы, моя дорогая, – сказал он, – но знаете, кто мне больше всех нравится

ся?

– И не подозреваю.

– Ваша младшая дочь! Она прелестна.

– Да, она будет красавица, – согласилась

Капитолина Андреевна с материнской гордостью.

– Вы не скоро еще введете ее в общество?

– Нет, ведь ей нет еще и пятнадцати лет, а кроме того, я обязана ее воспитанием...

Полковница наклонилась к уху генерала и что-то сказала шепотом.

– Зачем вы на это согласились?..

– Как зачем?! Я желаю как можно лучше устроить судьбу моей Верочки.

– Пустяки... Я тоже очень богат и устроил бы ее судьбу лучше...

Кашель помешал ему докончить, а хозяйка воспользовалась этой минутой и поспешила к князю Асланбекову, который начинал скучать.

– К черту, Неелов! Перестаньте барабанить, – ворчал князь. – Сегодня разве не будут играть? Я думаю, нам нечего стесняться, потому что в настоящую минуту нет ни одной интересной женщины.

– Терпенье, ваше сиятельство, – умило-  
стивляла его хозяйка, – мы ждем еще одну  
особу. Но если желаете играть, в маленькой  
гостиной столы готовы, и «генеральша», ко-  
нечно, пойдет с вами. Не желаете ли, Сигиз-  
мунд Владиславович? Прошу вас, Владимир  
Игнатьевич.

– Начинайте, господа, я сейчас, только со-  
общу остальным, – сказал граф Стоцкий.

Барону было нечего говорить, он входил в  
эту минуту в гостиную под руку с маленькой  
блондинкой.

Генерал рванулся было подойти, но ему не  
удалось.

Она простилась и ушла.

Барон проводил ее до передней.

– Жалко, дитя мое, что вы не можете  
остаться дольше. Теперь только начинается  
здесь веселье...

– Боже сохрани! Позже десяти часов. О, ес-  
ли бы знали мои родители!

– Так до свидания!

## Старый знакомый

— Если ты желаешь, — сказал через дверь Сигизмунд Владиславович, подойдя к будуару Екатерины Семеновны, где находился граф Вельский, — сейчас начнут играть.

Задвижка двери будуара щелкнула. Граф Стоцкий вошел.

— Пожалуйста, оставьте его еще здесь... — попросила молодая девушка.

— Это как он хочет.

Будуар Екатерины Семеновны был, разумеется, лучше, чем игорная зала.

Мебель была обита зеленым бархатом, мягкая кушетка так и манила к себе, запах шипра приятно щекотал нервы, свет зеленого фонаря так благотворно действовал на зрение, шаги по полу, покрытому пушистым ковром, были не слышны.

Менее страстному игроку и в голову не пришло бы покинуть это уютное гнездышко, даже если бы его не удерживали прекрасные глаза молодой девушки.

– Я вернусь, – сказал граф Петр Васильевич.

– Честное слово? – сказала она.

– Даю...

– Хорошо, тогда я буду вас ждать. Не заставляйте только меня скучать слишком долго.

– Сколько у тебя денег с собой? – спросил граф Стоцкий, когда они вышли из будуара.

– Полторы тысячи.

– Дай Бог, чтобы тебе посчастливилось.

Они вошли в игорную залу.

Неелов метал банк.

Хотя он вообще обладал талантом вести разговор, но тут он превзошел себя.

Они говорили много и с одушевлением. Его beaux-mots поддерживали непрерывную веселость в обществе.

Вообще, разговаривать во время игры не в правилах игроков, у них позволено говорить только то, что относится до игры.

Он же весьма остроумно касался всего и делал это, видимо, с целью отвлечь внимание своих партнеров от игры, за которой сам следил в высшей степени зорко.

Маневр его удавался вполне: князь Асланбеков, генерал и другие играли рассеянно и проигрывали.

Граф Стоцкий подошел к столу и внимательно наблюдал за Нееловым, нисколько не смущаясь его болтовней.

Если Владимир Игнатьевич и помогал своему счастью различными вольтами, передергиванием карт и то есть и делал это, благодаря своим разговорам, незаметно, но, как только Сигизмунд Владиславович подошел к столу и поставил на первую карту, он сразу прекратил свои проделки.

Граф Стоцкий пристально посмотрел на Неелова. Тот кивнул в сторону графа Вельского.

Сигизмунд Владиславович пожал плечами. Оба поняли друг друга.

Граф Петр Васильевич все проигрывал.

Граф Стоцкий играл счастливо.

Наконец Вельский сказал своему другу:

– Возьми мои деньги и играй за меня, мне сегодня не везет. Тут есть еще рублей восемьсот.

– Попробую, только ты не должен претен-

довать, если я не буду счастливее тебя.

– Я ведь не ребенок... Я лучше пойду к Екатерине Семеновне, чтобы не мешать тебе своим присутствием.

Когда он проходил по коридору, ему чуть не упала в объятия хорошенькая, молодая девушка, которая выбежала из гостиной. На лице ее было все: стыд, страх, отчаяние.

– Боже мой, куда ты меня привезла, Софи! Прочь, прочь! Пусти меня! – кричала она, рыдая и вырываясь из рук своей приятельницы, тоже довольно красивой молодой девушки, несколько постарше.

– Ты дуручка, – говорила последняя, – если старик и был слишком любезен, ну так что же? Он богат, а твоя мать в нужде. Пойдем назад и не ребячься.

– Никогда! Если бы мы все умерли от голода, то и тогда я не решилась бы спастись своим позором. Пусти меня.

Она захлопнула дверь и сбежала с лестницы.

Граф с первых же слов понял, в чем дело – девушка-новичок в салоне полковницы ускользнула из цепких лап хозяйки.

Такие сцены случались часто.

Часто убежавшие, после нескольких дней раздумья, возвращались, уже решившись на все.

Он вошел в зеленый будуар.

Екатерина Семеновна полулежала на кушетке.

Довольная улыбка озарила ее лицо.

Она рукой указала ему место около себя.

В маленькой гостиной между тем игра продолжалась.

Генерал, прервав было игру на некоторое время и удалившись в большую гостиную, возвратился с недовольным видом и снова стал играть и проигрывать.

– Проклятие, не везет ни в чем... – ворчал он, отдавая ставки. Сигизмунд Владиславович тоже проигрывал.

Выигрывал один Неелов, продолжая прибыльную для него болтовню.

Графа Стоцкого отозвала от стола Капитолина Андреевна.

– У подъезда стоит человек, который вас спрашивает. Я было приказала его прогнать, но он говорит, что для вас самих важно пере-

говорить с ним.

– Вы не приказали спросить его имя?

– Он не хочет его сказать.

– Странно.

– Так позвать его?

– Нет, не надо.

Полковница ушла, но через несколько минут возвратилась снова с письмом в руке.

– Он велел передать вам это в собственные руки и сказал, что будет ждать ответа.

Граф Стоцкий разорвал конверт.

Письмо состояло всего из одной строки, но строка эта, видимо, была полна содержания.

Граф побледнел, как мертвец, и широко раскрытыми, полными ужаса глазами бессмысленно смотрел на Капитолину Андреевну. Та не на шутку перепугалась.

– Что с вами, граф, вам дурно? – бормотала она. Сигизмунд Владиславович пересилил себя, но все еще задыхаясь от охватившего его волнения, произнес:

– Проведите его в один из отдаленных кабинетов...

– Желтый... он свободен, – сказала Усова.

– Хорошо, я иду туда.

Он, шатаясь, вышел из маленькой гостиной.

Войдя в желтый кабинет, называвшийся так по цвету обивки мебели и портьер, граф Стоцкий бросился в кресло, закрыл глаза и схватился руками за голову.

В таком положении застал его податель письма, скромно одетый господин, брюнет, со смугло-желтым лицом, длинными усами и блестящими черными глазами, быстро перебежавшими с предмета на предмет.

– Здравствуйте, ваше сиятельство, – проговорил вошедший, подчеркнув титул.

Сигизмунд Владиславович кивнул головой и жестом руки указал на стул.

– Нет... зачем же?.. Нашему брату не полагается сидеть перед такими важными господами. Я и так много благодарен, что вы меня узнать изволили.

– Перестань ломаться, Григорий, – глухо проговорил граф. – Я тебя знаю, и ты меня знаешь. Зачем ты сюда явился? Тебе не следовало уезжать из твоего укромного уголка за границу. Здесь опасно.

– Совет хорош! И то сказать, фальшивомо-

нетчика Григория Кирова схватят и упекут, а с важными господами, вроде графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого, так не поступают.

– Говори, скорей, что тебе нужно? Конечно, денег?

Киров спокойно поигрывал левой рукой своей часовой цепочкой и молчал.

Губы его были крепко сжаты, а в глазах светилась такая ненависть, что граф не выдержал его взгляда.

– Я не богат, – проговорил он, потупясь. – Но говори, сколько тебе нужно?

– Смахивает на то, что ты боишься меня, Станислав. Это ты напрасно. Я твой друг, да и самому мне не расчет отдать тебя в судейские лапы.

– Слушай, ты меня терзаешь! Говори сразу, что тебе нужно? Я сделаю все, что ты хочешь!

– На беду, я по опыту знаю, что обещать-то ты мастер, – насмешливо вымолвил Киров и задумчиво умолк.

– Говори, сколько тебе дать, чтобы ты навсегда уехал из России?

– Да что я, дурак, что ли? Это чтобы я ска-

зал и России, и тебе: «Счастливого оставаться», а сам поехал бы бродить вдали от Родины. Нет, старый дружище, этому не бывать! Я останусь здесь и буду жить честно, то есть возложу на тебя приятную обязанность содержать меня. Не заставишь же ты старого друга голодать.

Граф Стоцкий так боялся взгляда этого человека, что не смел даже возмутиться его издевательством.

– Так будь же благоразумен, Станислав! – продолжал тот. – Тебе предстоит доставить мне все необходимое для жизни, приятной и спокойной. Там, вдали, я так истосковался о таком любящем сердце, как твое, что раз добравшись до него, я уже его не выпущу! А я хочу быть богатым и жить приятно. Ты у меня в руках и должен за это платить!..

– Да я с радостью... Только уезжай пока отсюда в какой-нибудь другой город.

– Но ведь тебе все равно придется вспоминать обо мне, – заметил Киров насмешливо. – Теперь твоя дружба для меня дороже твоих денег.

Он удобнее уселся в кресло и придвинулся

ближе к графу Стоцкому.

– Моя дружба? – тревожно переспросил последний.

– Разумеется. Ведь она защитит меня от неприятных столкновений с полицией. Ведь друга высокочтимого графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого – и, как я надеюсь, впоследствии и графа Вельского, и всех этих господчиков твоих приятелей в высшем петербургском обществе – никто не осмелится даже заподозрить в чем бы то ни было.

– Ну, а средства для твоего существования?

– Средства? – повторил Киров и после довольно продолжительной паузы добавил: – Это ты...

– Я?!

– Да, ты... Завтра ты мне приготовишь пять тысяч рублей на первое обзаведение... Я буду у тебя в час дня...

– Пять тысяч!.. Но где я их возьму?..

– Если у тебя нет наличко, ты займешь... Завтра, в час дня, они должны быть в моем бумажнике, а не то...

– Хорошо, хорошо...

– Для того, чтобы предупредить тебя, я и

побеспокоил тебя сегодня... А теперь до завтра... Желаю тебе счастливо играть и весело провести ночь...

– Но, послушай... – вскочил граф.

– Нечего и слушать... Завтра в час дня пять тысяч... до свиданья...

Киров медленно вышел.

Сигизмунд Владиславович остался один.

Несколько минут он был как бы в оцепенении, но затем встал, вздохнул полной грудью и вышел из кабинета.

Когда он возвратился в маленькую гостиную, он казался по наружности совершенно спокойным.

Игра продолжалась до утра.

Около четырех часов граф Стоцкий разыскал графа Петра Васильевича.

– Ну что, выиграл?

– Нет, все проигран.

– Плохо дело!

– Но ты дал слово выручить меня.

– И я сдержу обещание.

Гости разошлись.

Граф Вельский пригласил было Сигизмунда Владиславовича в свою карету.

– Благодарю. Я хочу немного пройтись, чтобы освежиться.

Он пошел с Нееловым.

– Сколько вы выиграли?

– Не слишком много. Должно быть, тысячи две.

– По моему счету – четыре, – заметил граф Стоцкий.

– Может быть.

– Вы поняли мой кивок?

– Конечно.

– Так половина выигрыша принадлежит мне, господин Неелов.

– Жаль мне делиться с вами. Если бы вас не было, я бы сделал то же, потому что из них никто ничего не видел.

– Да, но раз я был тут – моей обязанностью было помешать вам и спасти деньги друзей. Я этого не сделал. А потому прошу вас завтра утром прислать мне мою долю.

– Да будет так. Спокойной ночи.

Они разошлись в разные стороны.

## XXI

### Метаморфоза

**В**есь Петербург собрался на блестящий бал, который давал богач-банкир Корнилий Потапович Алфимов в своем великолепном доме на Сергиевской улице.

Все комнаты первого этажа были полны гостей.

Каждый из присутствующих мог найти укромное местечко или около роскошно сервированных буфетов, или в маленьких гостиных и кабинетах, где мягкие диваны и отоманки манили к сладкому отдыху.

В одной из первых зал хозяин, еще бодрый старик, элегантно одетый, встречал прибывающих гостей.

– Добрый вечер, барон, очень рад!.. Добро пожаловать, полковник, я уже боялся, что по случаю сегодняшнего парада вы не приедете... Очень приятно, ваше превосходительство!.. Где же ваша дочь? Больна!.. Ах, как жаль...

Для каждого гостя у него находилось при-

ветливое слово.

Никто бы не узнал в этом финансовом тузе Петербурга еще недавнего «миллионера в рубище» – дисконтера, заседавшего в низке трактира на Невском проспекте, попивавшего жиденький чаек за счет своих клиентов и питавшегося обедами, получаемыми им за несколько копеек из того же трактира.

Еще с небольшим год тому назад он жил в подвальном этаже в конце Николаевской улицы, занимая убогую комнату, и вдруг, точно по мановению волшебного жезла, сделался первой гильдии купцом, открыл банкирскую контору на Невском, занимавшую роскошное помещение, и купил себе дом, принадлежавший одному разорившемуся князю, со всей княжеской обстановкой, за полмиллиона чистоганом.

Этим волшебным жезлом оказался тот современный рычаг, который может перевернуть весь мир – деньги.

Чудный звон золота заставлял слетаться, как мух на мед, в открытые двери дома миллионера и чопорных великосветских бар, и искателей приключений, и выдающихся ар-

тистов, артисток, писателей, художников, адвокатов...

Даже наружность Корнилия Потаповича Алфимова, когда-то прозванного его клиентами «алхимиком», изменилась до неузнаваемости.

Оголенный череп был прикрыт искусно сделанным парижским париком.

Прекрасные вставные челюсти заменили когда-то торчащие изо рта несколько желтоватых зубов, и гладко выбритое лицо, видимо, с искусно расправленными морщинами, носило далеко не прежнее отталкивающее выражение.

Совершенно круглые, совиные, бегающие, с темнозеленым отливом глаза были прикрыты синими очками, в массивной золотой оправе.

Еще недавно совершенно одинокий, он оказался отцом прелестной девятнадцатилетней дочери, Надежды Корнильевны, и двадцатитрехлетнего сына – Ивана Корнильевича, занимавшегося, под руководством отца в банкирской конторе.

Эта метаморфоза поразила всех знавших

ранее Алфимова более всего.

Ничего не было бы удивительного в том, что человек, обладающий большим состоянием, пожелал променять свою прежнюю «собачью жизнь» на жизнь, соответствующую его громадным средствам, тем более, что эта перемена жизни была далеко не безвыгодна для одержимого манией наживы богача, так как банкирское дело и другие финансовые и биржевые операции расширили круг деятельности петербургского «паука», и в его паутину стали попадаться крупные трутни великосветского мира.

Роскошь и блеск, которыми он окружил себя, были таким образом оплачиваемы из увеличившегося дохода, да и кроме того оставался солидный излишек.

Достоинно удивления было то обстоятельство, что у считавшегося совершенно одиноким старика вдруг появилось семейство — дочь и сын, как бы свалившиеся с неба.

Злые языки уверяли, что Алфимов в молодости продал свое имя, женившись на содержанке одного московского коммерческого туза, дети которого, родившиеся впоследствии,

и были записаны как законные.

Жена его, с которой он виделся только один раз, в день свадьбы, жила в Москве, получила от отца своих детей, умершего около пятнадцати лет тому назад, громадное состояние, которое увеличивала дисконтерством и ростовщичеством.

Имя Евдокии Смарагдовны Алфимовой было не менее, если не более, известно в Москве, среди прожигателей жизни и будущих «тяженькиных наследников», чем имя «паука» Алфимыча в Петербурге.

Года за два до описываемого нами времени Евдокия Смарагдовна умерла, выписав перед смертью своего законного мужа, которого назначила опекуном своих детей, оставив свое состояние, взяв с него клятву, что он окружит сына и дочь роскошью и довольством.

Клятву эту тем охотнее дал Корнилий Потапович, что умирающая женщина с ясностью делового человека доказала ему, что при умелой, даже чисто царской роскоши, последняя будет оплачиваться с излишком клиентами его операций.

Тогда-то и произошла описанная нами метаморфоза с Корнилием Потаповичем...

Гости между тем все прибывали и прибывали.

Среди них появились и знакомые нам: граф Стоцкий, граф Вельский и Неелов.

Граф Вельский состоял уже объявленным женихом Надежды Корнильевны, у которой был миллион чистыми деньгами, оставленный ей ее матерью, не считая состояния отца, который, конечно, не забудет свою дочь в завещании.

Последняя надежда, впрочем, была не из прочных, так как ходили слухи, что старик Алхимов сам хочет жениться, а в его лета была велика вероятность, что появятся еще наследники, да и молодая жена сумеет прибавить к рукам старика-мужа с его капиталами.

Поговаривали между тем, что старик увлекается модной оперной певицей Матильдой Руга, и уже теперь тратит на нее большие деньги.

Она появилась и на описываемом нами балу своего «мецената», как в шутку называла

она Корнилия Потаповича.

Последний в это время разговаривал с Нееловым, графом Стоцким и молодым человеком из начинающих адвокатов Сергеем Павловичем Долинским, так, по крайней мере, представил его хозяин двум своим остальным собеседникам.

– Его, несомненно, ожидает блестящая будущность, – добавил Корнилий Потапович, – на этих днях он выступает с первой защитой по громкому делу... Убийство, кажется?

– Нет, – отвечал Сергей Павлович, улыбаясь, – мой первый клиент известный шулер и ловкий мошенник.

Едва заметная судорога передернула углы губ графа Стоцкого и Неелова.

– И что же, вы надеетесь на благоприятный исход вашей защиты? – спросил сквозь зубы граф Сигизмунд Владиславович после некоторой паузы, пристально глядя на молодого человека.

– Нет, – равнодушно отвечал тот, – это дело проигранное; и я думаю, что мой патрон мне поручил его именно потому, что оно безнадежное. Впрочем, дело касается такого зло-

вредного субъекта, от которого следует освободить общество...

В это время в дверях залы, около которых происходил этот разговор, появилась Матильда Руга.

Граф Стоцкий с презрительной миной повернулся спиной к молодому человеку и вместе с Нееловым и хозяином, взявшим под руку Долинского, пошел к ней навстречу.

– Матильда Францовна... Как поздно... Я уж начинал отчаиваться, – встретил ее Алфимов.

– Я прямо из театра.

Матильда Руга, несмотря на то, что ей далеко перевалило за тридцать, была все еще прекрасна.

В роскошном наряде изящная фигура ее казалась чрезвычайно эффектной.

На нее было устремлено всеобщее внимание.

Она с одинаковой любезностью поздоровалась с хозяином и его тремя спутниками и, фамильярно ударив веером по руке Сергея Павловича Долинского, сказала:

– Господин адвокат, можете предложить мне руку...

Он повел ее по зале.

Корнилий Потапович засеменял сзади. Граф Стоцкий и Неелов остались у дверей.

– Однако, этот юнец – молодой, да из ранних. Он, кажется, хочет воспользоваться или, быть может, и пользуется даром тем, за что наш почтенный хозяин платит большие деньги, – заметил граф Стоцкий.

– Он красив и может иметь успех у женщин, подобных Матильде, бальзаковского возраста.

Матильду Руга между тем окружили и осаждали просьбами что-нибудь спеть.

Долинский подвел ее к роялю и думал, что этим его рыцарские обязанности и кончатся.

Он давно уже искал кого-то глазами.

Но Матильда удержала его.

– Если я уже должна петь, то вы будете мне аккомпанировать.

Он с радостью бы отказался, так как именно в эту минуту увидел то, что искал. Два прекрасных женских глаза остановились на нем.

– Пожалуйста, сыграйте, я так люблю вас слушать, – послышался нежный голос.

Против этой просьбы он не мог устоять и

сел за рояль. Матильда стала около него. И едва он взял первые аккорды, как все в зале замерло.

Руга, как всегда, пела превосходно.

Все были очарованы.

Только одна группа людей, среди которых были граф Стоцкий, Неелов, барон Гемпель и несколько других, не удостаивали ее своим вниманием.

Они были, видимо, заняты интересным разговором.

– Я сейчас видел графа Вельского, он шел точно приговоренный к смерти, – вероятно, вчера опять проигрался... – заметил один из стоявших в группе молодых людей.

– Граф не из таких людей, которые сожалеют о проигрыше в какие-нибудь две-три тысячи рублей... А вчера он проиграл именно столько... – возразил барон Гемпель.

– Просто-напросто он влюблен, – объяснил Сигизмунд Владиславович.

– Влюблен, он, этот петербургский Дон-Жуан, и влюблен? – засмеялся Неелов.

– Ну да, почему же нет? А вы разве, Неелов, не влюблены?

– Я?

– Конечно. Или вы думаете, никто не замечает, как вы стараетесь обратить на себя внимание красавицы Селезневой? Нам всем уже давно ясно, что вы до безумия влюблены в Любовь Аркадьевну.

– Нисколько... – протянул Неелов. – Немного внимания и больше ничего.

– Не спорьте, – смеясь заметил барон Гемпель, – думают даже, что вы рассчитываете, главным образом, на ее трехсоттысячное приданое, чтобы поправить свои дела. Вы хотите на ней жениться?

– Что касается меня, да будет вам мое благословение, выбор хороший, – сказал граф Стоцкий. – Я даже могу помочь вам и замолвить словечко ее брату. Он имеет влияние на отца.

– Не смейтесь... – сказал Неелов. – Кроме того, я не нуждаюсь в помощниках, и если я что ищу, то уже добьюсь собственными силами.

– Будут сегодня играть? – спросил барон.

– Не знаю, – ответил равнодушно Сигизмунд Владиславович.

– Если господа кавалеры будут танцевать...  
Граф Стоцкий схватил Неелова под руку...

– Смотрите, смотрите, только не умрите от ревности... Вы, видимо, ошиблись, говоря, что он единственно может нравиться только женщинам бальзаковского возраста, а оказывается и молодые девушки...

Пение кончилось, и Долинский шел по залу, направляясь к уютному кабинетику, как бы созданному для интимных бесед, под руку с очаровательной шатенкой.

Это и была Любовь Аркадьевна Селезнева.

Молодой девушке едва минуло восемнадцать лет.

Высокая, стройная, с ослепительным цветом лица и ясными темно-синими глазами, она производила на всех впечатление своей красотой и грацией движений.

– Сядемте здесь, – сказала она, опускаясь на диванчик.

Сергей Павлович сел рядом с молодой девушкой и смотрел на нее с выражением глубокой любви.

Она была, действительно, прекрасна в белом атласном платье, с белой розой в пыш-

НЫХ ЛОКОНАХ.

Только грустный взгляд ее противоречил праздничному наряду.

Она печально опустила голову на руки.

– Вы хотели говорить со мной? – спросил Долинский.

– Да... Нет... У меня не хватает храбрости... Я не знаю... – смешалась она.

– У вас есть горе, а я думал, вы так счастливы.

– Я, счастлива!?

– Да разве вы несчастны? Вы молоды, хороши собой, богаты, любимы родителями, обожаемы всеми. Чего же вам более!..

– Ах, вы не знаете...

– Так скажите же, моя дорогая.

– Меня хотят выдать замуж за человека, которого я не люблю.

– Этого ваши родители никогда не сделают... Они вас любят.

– Мой отец – да, но моя мать... Вы знаете, она урожденная княжна и ни за что не хочет, чтобы я вышла не за титулованного жениха. Вы друг моего детства, я вам расскажу все.

– В чем же дело? – смотрел он на нее взгля-

дом, в котором светилось беспокойство и обожание.

– Вы знаете... графа Вельского?

– Молодого?..

– Нет... Молодой женится на Наде... Его отец.

– Эту развалину?

– Он хочет жениться на мне...

– Как, этот старый седой греховодник хочет жениться на вас? Да скорее обрушится небо!

– Не правда ли, что ужасно подумать, что я в мои годы должна выйти замуж за человека, который ни по летам, ни по привычкам мне не пара. Несмотря на это, мать покровительствует его ухаживаниям, а отец не противоречит ей.

– Этого не будет! Я этого не допущу! Это значило бы принести вас в жертву на всю жизнь.

– Благодарю вас, дорогой друг, вы снова вернули мне мужество. Не правда ли, вы не оставите меня, когда все другие будут настаивать на моей гибели...

– Никогда! Никогда!

Он крепко сжал ее руки.

Он не мог противостоять очарованию ее влажных глаз, ее улыбке и наклонился к ней совсем близко.

– Люба, умоляю вас. Я люблю вас больше жизни!

Девушка испуганно перебила его.

– Ради Бога, перестаньте... мама...

– Tete-a-tete продолжается немного долго, – заметил между тем барон Гемпель, насмешливо посматривая на Неелова. – Вас не гложет ревность?

– Пусть понаслаждается бедняга крохами ее милости, – захохотал Владимир Игнатьевич. – Я не завистлив, где я хочу победить, там я знаю, что победа будет на моей стороне, милейший барон.

– Однако, не мешало бы об этом сообщить папаше, – заметил граф Стоцкий. – А так как я ваш союзник, то и берусь разрушить этот tete-a-tete. Жаль, что Сергея здесь нет. Он лучше всех устроил бы это дело.

– Сергей, без сомнения, у своей возлюбленной за городом, – заметил барон Гемпель. – Ему там веселее, да и зачем он вам? Вот и сам

папаша.

Богатый петербургский коммерсант Аркадий Семенович Селезнев действительно приближался к их группе.

## XXII

### Знакомые лица

Граф Стоцкий развязно подошел к Аркадию Семеновичу Селезневу.

– Можно вас поздравить с будущим талантливым и многообещающим зятем?

– Что вы этим хотите сказать?

– Я думал, что вы знаете отношение молодого адвоката к его прелестной клиентке.

– Выражайтесь яснее... Я не мастер отгадывать загадки.

– Разве отношения господина Долинского к вашей дочери или, скорее, их обоюдная склонность друг к другу составляет для вас тайну? – продолжал граф. – В таком случае, посмотрите по направлению к маленькой гостиной... Какая прелестная парочка!..

– А, вот в чем дело! – равнодушно протянул Селезнев, посмотрев по указанному ему на-

правлению. – В этом отношении я совершенно спокоен. Долинский честный человек, я знаю его с детства и очень бы желал иметь его своим зятем. Я был бы очень рад, если бы ему удалось завоевать сердце моей дочери и получить согласие моей жены. Но я боюсь, что Люба уже сделала выбор.

Улыбка Неелова доказывала, что он того же мнения.

– Она уже отказывала не одному жениху, – продолжал старик, – и я желал бы, чтобы ее выбор пал наконец на человека достойного. И, как я уже сказал, человек этот – Долинский.

– Тут ничего не возьмешь! – шепнул Неелов графу Сигизмунду Владиславовичу. – Пойдем лучше к мамаше.

Граф кивнул головой в знак согласия.

– Я только шепну насчет этого Матильде, – тихо сказал он.

При первой возможности он отошел и стал разыскивать Ругу. Для него достаточно было несколько слов, чтобы сообщить ей о своем плане.

Певица подошла к Екатерине Николаевне

Селезневой, полной, напыщенной, роскошно одетой даме, и после нескольких минут разговора с ней бывшая княгиня величавой походкой направилась к маленькой гостинной.

Она появилась на ее пороге в тот момент, когда Сергей Павлович готов был признаться молодой девушке в любви.

Он посмотрел на нее, а затем обратился к Екатерине Николаевне.

– Прошу вас выслушать объяснение того, что здесь произошло и что вы здесь видели.

– Куда ты пропала, Люба? – перебила его Селезнева, не обращая внимания ни на него, ни на его слова. – Тебя ищут в зале.

– В этом виноват я, – начал снова Долинский, – я давно уже ищу удобной минуты...

– Мой сын только что приехал и, вероятно, ищет вас... – снова перебила его Екатерина Николаевна.

Ей, видимо, не удавалось подавить в себе досаду. Долинский с почтительным поклоном вышел из гостинной. Любовь Аркадьевна схватила руку матери и хотела сказать что-то, но та перебила ее и холодно проговорила:

– Я найду средство положить конец этим

ухаживаниям...

Мать и дочь вышли в залу.

Когда Долинский выходил из гостиной, он наткнулся на Неелова, который, хихикая, перешептывался с бароном Гемпелем.

Сергей Селезнев действительно искал его.

Он очень любил своего друга детства – Долинского – и даже был обязан ему спасением жизни, когда они оба, катаясь по Неве, протекавшей в имении Селезнева, верстах в тридцати от Петербурга, упали из опрокинувшейся лодки, и Сергей Селезнев, не умея плавать, стал тонуть.

Они дружески поздоровались.

Долинский был очень рассеян. Он думал только о ней, и горькое сомнение волновало всю его душу.

Вдруг Любовь Аркадьевна легко и весело пролетела мимо него в вихре вальса с высоким изящным господином.

Долинский вспыхнул и даже не узнал Неелова, с которым только что познакомился.

– Знаешь ты этого молодца, который танцует с твоей сестрой? – спросил он своего друга.

– Это Неелов.

– Неелов? Ты близко с ним знаком?

– Нет. Он познакомился с нами недавно и был всего несколько раз с визитом. Если хочешь, я вас познакомлю.

– Благодарю. А что он из себя представляет? Богатый он?

– Я думаю, что нет.

– Чем же он живет? Служит где-нибудь?

– Нет! Живет, как все дворянские сынки, – играет.

– Так значит, он игрок?

– Не знаю, но играет он замечательно счастливо!

– А вообще, что он за человек?

– В обществе про его похождения говорят много: про его удачи, про его счастье. Везет ему во всем – на скачках выигрывает именно та лошадь, на которую он ставит... Совершенная противоположность его друга – Савина...

– Савина... Это тот, который был раздавлен железнодорожным поездом за границей во время его бегства?

– Откуда ты... Разве ты не читал сегодняшних французских газет? Он снова уже судится

в Брюсселе... Да и ранее было известно, что он задержан в этом городе.

– Как же это?

– Да так, оказывается, что он очень удачно выпрыгнул из вагона в туннеле, бежал в Бельгию и переименовался маркизом...

– Значит, и ему везет...

– Ну, не очень... Теперь опять попался и, конечно, не выпутается...

– Может быть, он хочет жениться на твоей сестре?

– Кто? Савин? – спросил, смеясь, Селезнев.

– Какой там Савин? Что мне за дело до него, я говорю об этом Неелове.

– Думал, но получил решительный отказ от отца и принял, как кажется, совершенно спокойно.

Долинский решил ближе познакомиться с этим человеком.

Любовь Аркадьевна стояла с Нееловым в оконной нише и о чем-то очень оживленно разговаривала.

Сергей Павлович молча наблюдал за ними.

«Неужели она любит его? – думал он. – Игра рока? Может быть, даже шулера?»

«Бедная Люба, – продолжал он размышлять, – ты будешь самая несчастная женщина, если полюбишь его! Лучше уж пойти за старого графа».

В роскошных залах банкира Алфимова собралось много из наших старых знакомых.

Тут были Михаил Дмитриевич и Анна Александровна Масловы и неразлучная с нею Зиновия Николаевна Ястребова.

Алексей Александрович приехал несколько позднее, прямо из редакции.

Он-то и привез с собою корректурный оттиск перевода статьи из «Indépendance Belge» судебного отчета по делу Николая Герасимовича Савина в Брюсселе.

Весь кружок Масловых, знавший и помнивший Савина, сгруппировался около Ястребова в маленькой гостиной, еще недавнем месте разрушенного свидания Долинского с Селезневою.

– Теперь попался, быть бычку на веревочке, – говорил Алексей Александрович.

– Едва ли, не таков он... Посмотрите, опять убежит... – заметил Михаил Дмитриевич.

– Трудновато, теперь за ним будет глаз да

глаз... Да я не понимаю, с чего ему бегать?.. Ведь ты же говорил, Леля, что здешние его дела окончатся пустяками, что его должны оправдать? – заметила Ястребова.

– Так-то, так, да не хочется в тюрьмах сидеть, да по этапу шествовать. А кроме того и расстаться с хорошенькой женщиной... По описаниям газет, эта Мадлен де Межен положительно красавица, – отвечал Ястребов.

– Счастлив он на баб, – произнес Маслов.

– Ишь, вашего супруга зависть берет, – пошутил Алексей Александрович, обращаясь к Масловой.

– За Мишу я спокойна... Не валите вы с больной головы на здоровую.

Алексей Александрович Ястребов, действительно, не отличался верностью своей жене, но она как благоразумная женщина не обращала на это большого внимания и даже заступалась за мужа.

– Вы не обижайте моего Лелю, – вступилась Зиновия Николаевна и теперь, – он не виноват, что все женщины от него без ума...

– Уж и все... Исключите хотя мою Аню, – засмеялся Маслов. – Шутки в сторону, – продол-

жал он, – вы думаете, его выдадут России?

– Без всякого сомнения, ведь он здесь обвиняется в общеуголовных преступлениях – разорвании векселя и поджоге... Это ведь только заграничные газеты провозгласили его главой русских нигилистов и вожаком революционного движения в России.

К группе разговаривающих подошла под руку с Нееловым вся разгоревшаяся от танца Серафима Николаевна Беловодова. Им передали известие о Савине.

– Так значит, он жив? – воскликнула Симочка.

– Значит... – с улыбкой заметил Ястребов.

Неелова не поразило это известие, он уже раньше читал, как и другие, об аресте Николая Герасимовича в Брюсселе.

– Выпутается, не из таковских, чтобы дать себя облапошить, – уверенно произнес он.

– Нет, теперь, кажется, ему крышка! – проворкотал Алексей Александрович.

Симочка оставила руку своего кавалера и пошла разыскивать своего мужа.

Андрей Андреевич вертелся около Матильды Руга и Маргариты Гранпа, которая была

тоже тут и сияла своим ослепительным декором.

По занятиям театрального агента ему был знаком весь театральный мир.

Судьба Беловодовых изменилась к худшему.

На табачной торговле они, благодаря Андрею Андреевичу, прогорели.

Беловодов забирал всю выручку и прокучивал ее с приятелями, а по субботам – дням расплаты с поставщиками – исчезал с самого раннего утра из магазина, предоставляя жене вертеться и изворачиваться перед настойчивыми кредиторами.

Молодая женщина рассыпалась в уверениях скорой уплаты и в сетованиях на плохие дела и первое время умела умиловить поставщиков, но всему бывает конец, наступил конец и их терпению, и они перестали отпускать товар.

Кредит прекратился – торговля рушилась. Беловодовы закрыли магазин.

Андрей Андреевич снова пустился в театральную агентуру, которая, хотя и не давала больших заработков, но зато представляла из

себя веселую и разнообразную деятельность.

Семья перебивалась с хлеба на квас, но супруги не унывали.

Такая жизнь была в натуре этих современных супругов.

Хоть есть нечего, да жить весело – вот девиз, который был одинаково по душе как Андрею Андреевичу, так и Серафиме Николаевне.

Маленькая помощь родственников Симочки не давала им умереть с голоду, а из получаемых от тех же родственников обносков молодая женщина умела делать себе такие туалеты, что не было стыдно появиться в них даже на балу банкира Алфимова.

В его дом Андрей Андреевич Беловодов проник сам и ввел жену через Матильду Руга, при которой состоял в качестве комиссионера.

Разыскавши мужа, Симочка передала ему, что слышала о Савине.

– Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить, – резко ответил пословицей Беловодов.

Имя Николая Герасимовича приводило его

в раздражение.

Вглядываясь в черты лица своей старшей белокурой дочери, он более и более догадывался о том, что делала его жена на даче Хватова в то время, когда он пешком шагал в Петербург, зарабатывая триста рублей.

Бал между тем был в полном разгаре.

Все были веселы и оживлены.

Некоторым контрастом являлась дочь самого хозяина – Надежда Корнильевна – которой, казалось бы, надо быть счастливее, веселее и оживленнее всех.

Она была «счастливая невеста титулованного жениха», который, как говорили товарищи графа Вельского, был влюблен в нее до безумия.

А между тем веселость ее была заметно деланная и ее хорошенькое личико то и дело заволакивалось облаком кручины.

Что происходило в душе богатой молодой девушки почти накануне ее свадьбы – знала только она и несколько очень близких ей лиц.

К числу последних принадлежала и Зиновия Николаевна Ястребова, приглашенная к

Алфимовой в качестве врача, но вскоре привязавшая к себе свою пациентку и привязавшаяся к ней.

Молодая девушка выбрала минуту и подошла к Ястребовой.

– Вы все печальны? – сказала ей она.

– Если бы вы знали, как мне тяжело! – со стоном вырвалось из груди молодой девушки.

– Отец неумолим?

– Слышать не хочет и спешит со свадьбой.

– А он?

– Он, что же он, он беспомощен, беден...

Его будущность впереди.

– Попробуйте признаться отцу.

– Едва ли это поможет, у него со старым графом какие-то дела... Он дал ему слово... А в слове отец – кремень...

– Но у вас отдельное состояние... Он, наконец, и отец-то вам без году неделю! – резко, не выдержавшая из чувства симпатии к молодой девушке, сказала Зиновия Николаевна.

Та испуганно поглядела на нее.

– Что вы говорите... Я дала матери у ее смертного одра слово не выходить из воли его и моего брата.

– Что же брат?

– Он тоже за графа.

Разговор их прервался приглашением Надежды Корнильевны на вальс.

Невеселое настроение невесты не ускользнуло от зорких глаз приятелей графа Вельского – графа Стоцкого, Неелова и барона Гемпеля.

Они разыскивали «счастливого жениха».

Тот тоже был не весел.

– Между тобой и невестой царит какая-то таинственная симпатия, – сказал Сигизмунд Владиславович.

– Что это значит?

– Да как же... Оба вы печальны и грустны среди этого, несомненно, оживленного праздника.

– Послушай, Сигизмунд, – вполголоса сказал ему граф Вельский, – я скажу тебе одну вещь, которая тебя очень удивит, но, пожалуйста, без насмешек, так как это очень серьезно...

– Это интересно! Только с каких пор ты говоришь таким докторальным тоном?

– Я люблю мою невесту...

Граф Стоцкий расхохотался в ответ на это неожиданное признание.

— Ты... ты... — повторял он, задыхаясь от смеха.

## XXIII

### В Отрадном

Граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий уже второй раз так неудержимо смеялся над чувством графа Вельского к его невесте.

Первый раз это было несколько месяцев тому назад, в имении Алфимова, под Москвой, доставшемся детям Корнилия Потаповича от их матери.

Имение было прекрасно устроено.

Громадный барский дом, великолепно меблированный, со всевозможными службами, стоял на горе, по склонам которой был разбит тенистый сад.

Покойная Алфимова жила в нем только летом, в нем были и покосы, и пашни, а кругом обширные густые леса.

Управлял имением Иван Александрович Хлебников, живший там и зиму, и лето со

своей женой Ириной Петровной и дочерью Ольгой.

Последняя была подругой детства Надежды Корнильевны Алфимовой.

Хлебников, служивший когда-то в московской палате гражданского и уголовного суда, остался за штатом и поступил поверенным Алфимовой, сумел войти в ее доверие честным ведением ее дел и был назначен управляющим.

Он переселился с женой в Отрадное, так звали село, близ которого было имение, а дочь осталась в Москве, в Александро-Мариинском институте, где она была в одном классе с Надей Алфимовой.

По окончании курса она переселилась к отцу с матерью, а вскоре мать Надежды Корнильевны скончалась, и она с братом переехала к отцу в Петербург.

Первое лето они не приезжали в имение, а следующей весной Хлебников получил письмо от Алфимова, который оставил его в управителях, с приказом приготовить дом для принятия не только хозяев, но и многочисленных гостей.

Ремонт и чистка дома закипели.

В начале июня, действительно, в Отрадное нагрянула целая орава гостей, в числе которых были и дамы: Матильда Францовна Руга, Маргарита Максимилиановна Гранпа и еще несколько оперных певиц и танцовщиц.

Иван Александрович только целый день качал головой после этого нашествия, находя это общество несоответствующим для молодой девушки, и решил мысленно не пускать дочь в хозяйский дом во время пребывания там этих «петербургских сирен», как прозвал он прибывших дам.

Кавалеры, приехавшие гостить, тоже не внушали старику Хлебникову доверия, не исключая и графа Вельского, о котором говорили, что он жених Надежды Корнильевны.

Это были знакомые нам граф Стоцкий, Неелов и барон Гемпель.

– И с чего это старик-то так разошелся! – беседовал он там со своею женою Ириной Петровной.

– С чего, известно с чего, седина в бороду, а бес в ребро, та черноокая-то... – Ирина Петровна говорила о Матильде Руга, – говорят, его

пассия...

– Да что ты, ведь стар уже он очень...

– Стар! Говорят, в Петербурге стариков нет.

Действительно, Корнилий Потапович, послушав советы покойной жены из чисто деловых оснований, вошел во вкус новой жизни, а прежняя, полная лишений, почти жизнь аскета, взяла свое, и он, вкусив от радостей и наслаждений жизни, что называется, разошелся.

Мотал он, впрочем, только доходы.

Капитал по-прежнему был для него неприкосновенной святыней.

В эту-то увеселительную поездку к своему тестю и признался граф Петр Васильевич своему другу графу Стоцкому в любви к своей невесте.

– Должно быть, это у тебя от чудных вин твоего тестюшки! Ты... и влюблен. Не заставляй меня усомниться в твердости земной почвы. Ты – Дон-Жуан Петербурга!.. Ты – мотылек, для которого нет цветка достаточно нежного и ароматного, ты – человек, который знает и кипучих испанок, и красавиц итальянок, ты – Адонис, на которого заглядывались все

девушки... и вдруг ты влюблен в эту розу без аромата, которая может рассыпаться от малейшего дуновения ветерка! Влюблен в это хрупкое создание, в котором нет иной прелести, кроме ее полного неведения всего того, что составляет обаяние женщины. Смотри на меня еще серьезнее, если хочешь, но я тебе не верю.

– Ты, может быть, и прав. Это удивительно. Но каждый раз, как я ее вижу, я чувствую нечто, чего не чувствовал уже давно. Я сам не могу дать себе отчет в этом чувстве, но думаю, что это любовь.

– Это скорее тщеславие, мой друг!

– То есть как это?

– Очень просто. Она не влюблена в тебя, как все другие, в это тебя бесит.

– Не думаю.

– А только эти московские красавицы всегда напоминают мне запоздалые фрукты: сорвать их трудно, а сорвешь – оказывается, что они далеко не так вкусны, чтобы стоило трудов их добывать.

Граф Вельский нахмурился.

Ему было, видимо, досадно, что Стоцкий

говорил таким тоном о девушке, которая должна стать его женой и которую он действительно любил.

– А уж если твой избалованный вкус принял такое направление, то мне кажется, ты мог бы себе доставить удовольствие много поинтереснее...

– На кого ты намекаешь?..

– На подружку Надежды Корнильевны. Она дочь здешнего управляющего и хороша поразительно. В Петербурге она свела бы всех с ума.

– Действительно, я не видывал девушки красивее.

– Она положительно прелестна!

Граф Стоцкий пристально посмотрел на графа Петра Васильевича.

– Я был просто поражен, когда увидел ее в первый раз, да и теперь я от нее в восторге.

– Еще бы! Но как это ты ее прозевал?

– Я-то ее не прозевал, да она-то была здесь всего один раз на каких-нибудь полчаса... Корнилий Потапович очень любит ее и пригласил сегодня, но она не явилась. Очевидно, она от нас прячется. Точно будто у нее есть

предчувствие...

Разговор происходил в комнате, отведенной обоим графам, после весело проведенного вечера.

Оба они уже были раздеты и лежали в постелях.

– Шутки... Теперь давай спать... Завтра предстоит, ты знаешь, пикник с дамами... Мы, может быть, увидим и твою красавицу.

Граф Стоцкий потушил свечу.

Но ему не спалось, хотя он вскоре и притворился спящим.

«Черт возьми! – думал он. – Он привязался к ней! А это вовсе не входит в мои расчеты. Этот дурак хочет, кажется, вырваться из моих рук. Но нет, господин граф, шалишь! Знаем мы средство, как укрощать таких соколиков, как ты».

«Жениться на ней он должен, – продолжала работать его мысль, – но не любить ее... Нет! Подожди, птичка, мы поймаем тебя на другую приманку, и дочь управляющего сослужит нам прекрасную службу. Завтра, во время пикника, мы побываем у управляющего, а с этого игра и начнется».

С этую мыслью он заснул.

У подошвы горы, на которой стоял барский дом, шумел густой лес, тянувшийся с лишком за версту, а затем уже расстиралось село Отрадное.

У опушки леса, на берегу протекающей речки стоял хорошенький одноэтажный домик, окруженный тенистым садом.

Это был дом, в котором жил управляющий именем Иван Александрович Хлебников.

На другой день после описанного нами разговора между двумя друзьями, ранним утром из ворот этого дома вышел Хлебников, одетый в коломянковую серую пару и соломенную шляпу.

Это был человек лет пятидесяти.

Борода и усы уже заметно поседели, тогда как волосы на голове были еще густые и без малейшего признака приближающейся старости.

Телосложения он был крепкого, а в его загорелом лице сказывалась несокрушимая сила воли.

Его согбенный вид, по-видимому, был скорее следствием нравственного уныния, чем

телесной слабости.

Он пошел по селу по тому направлению, где около церкви, в стороне от крестьянских изб, кстати сказать, по их внешнему виду, указывавших на довольство их обитателей, виднелся небольшой домик сельского священника, любимого и уважаемого не только крестьянами села Отрадного, но и крестьянами соседних сел, отца Иосифа.

Как раз в то время, когда Хлебников подходил к палисаднику священнического домика, из него вышел сам отец Иосиф, еще не старый человек, с открытым, строгим лицом, опущенным небольшою жидкою бородкой и усами, и какими-то светящимися неизмеримой добротой серыми глазами.

Одет он был в коричневую камлотовую рясу и широкополую черную соломенную шляпу.

Иван Александрович и отец Иосиф встретились, как встречаются люди, ожидавшие встречи, и действительно, ежедневно летом, ранним утром, кроме праздничных дней, когда была служба в церкви, они совершали утреннюю прогулку, проводя час-другой в за-

душевной беседе.

И теперь Хлебников, приняв благословение от батюшки, вернулся с ним назад, и они пошли по направлению к лесу.

Село было пусто.

Крестьяне все были на работе.

В лесу веяло прохладой и той необычайной тишиной природы, которую можно наблюдать только очень ранним летним утром и которую звуки леса и его пернатых обитателей не нарушают, а скорее усиливают.

Путники шли молча, как бы боясь произнесенным вслух словом нарушить эту тишину.

Пройдя лес, они вышли к подножию горы, на которой был расположен барский дом.

В нем, видимо, все еще спало глубоким сном.

– Ишь, как тихо в усадьбе, – так называли по старинному барский дом, – не шевельнется ни одна мышь...

– Когда кутят всю ночь напролет, нельзя наслаждаться утренними часами...

Отец Иосиф кивнул головой в знак согласия. Они постояли некоторое время на опуш-

ке и не спеша пошли назад.

– А теперь, батюшка, я попрошу вас зайти ко мне...

Священник взглянул на него вопросительно.

– Не болен ли кто у вас?..

– Нет, но...

– Вас что-то гнетет, милый друг, скажите. Вы знаете, что я не только духовник, но и друг ваш.

– Я это знаю, и именно потому, что я нуждаюсь в вашем утешении, в вашем ободрении, я и прошу вас зайти ко мне непременно.

– Ну... В чем же дело?

– Отъезд Ольги решен окончательно.

– И вы можете расстаться с этим ребенком? А как же его мать?

– Это необходимо, батюшка!.. Я боюсь ее оставить здесь летом... В хозяйском доме происходит нечто такое, что заставило меня не пускать ее к подруге детства Надежде Корнильевне... Долго это делать нельзя, это может меня посорить с моими хозяевами... Лучше удалить ее.

– Действительно, к ним понаехали доволь-

но странные гости, эти певицы и танцовщицы... – заметил отец Иосиф.

– И эти петербургские развратники... – добавил Хлебников. – Ужели я должен допустить, чтобы моя дочь была в таком обществе.

– Нет, этого не следует, – сказал священник. – Господь одарил вашу дочь очень впечатлительным и восприимчивым сердцем, да еще и красотой, а поэтому подобное общество для нее вдвое опаснее.

– А следовательно, она должна уехать, как бы это ни было тяжело...

– А куда вы хотите ее отправить?

– В Петербург.

– В Петербург! – воскликнул отец Иосиф вне себя. – В этот современный Вавилон, в этот город безверия и распущенности, где погибает добродетель и честность? И этому-то Молоху, который не щадит ни невинность, ни душевную чистоту, хотите вы поручить вашу дочь, эту жемчужину между девушками.

– Я думал об этом, – отвечал спокойно Иван Александрович, – но там опасность для

моей девочки не так велика, как здесь. Гости, говорят, останутся здесь около месяца... А там при всем желании ее не разыщут. Вы знаете, что сестра моей жены замужем за одним некрупным петербургским чиновником... У них свой домик в отдаленной от центра столицы местности – на Песках. Они ведут тихую, патриархальную, чисто семейную жизнь... К ним-то и поедет Оля. Там она будет вдали от шумной жизни столицы... У ее тетки дети... и молодая девушка займется их воспитанием.

– Дай Бог, чтобы вы не обманулись в ваших надеждах, достойный друг... – сказал отец Иосиф.

Они подошли к калитке сада, окружавшего дом управляющего, и вошли в нее.

## XXIV

### Яд жизни

Дорожка, ведущая к дому, проходила возле беседки из акаций. Идя мимо нее, отец Иосиф и Иван Александрович услышали женские голоса.

– Это Оля с матерью... – сказал Хлебников.

Они направились по траве к беседке и застали там трогательную картину.

На скамейке сидела Ирина Петровна, а рядом с ней дочь, обнимая мать и положив голову к ней на грудь, громко рыдала.

Мать, утирая слезы, утешала ее.

– Будь спокойна, дитя мое. Оставайся только набожной и доброю, какова и теперь, и Господь не оставит тебя. Избегай греха, избегай соблазна; обещаю тебе, что ты никогда не забудешь, какой страх испытывают твои родители, отправляя тебя.

– Никогда, никогда, дорогая мама! – воскликнула Ольга Ивановна, поднимая лицо, чтобы посмотреть прямо в глаза матери.

Это была девушка красоты поразительной.

Ей едва минуло девятнадцать лет; ее фигура была стройна, мощна, но поразительно гармонична и изящна. В прекрасном лице светилось врожденное благородство.

Она подняла на мать свои темно-голубые, увлажненные слезами глаза.

При этом движении головы темно-русые вьющиеся волосы тяжелой волною хлынули ей на спину.

– Мама, – проговорила она, и голос ее звучал глубокой задушевностью, – утром моя первая мысль будет о тебе, а вечером, засыпая, я стану думать о тебе же. Память о тебе станет охранять меня от всего дурного.

– Дай Бог! – подхватила мать. – Дай Бог, чтобы мы радовались твоему возвращению так же, как тоскуем теперь, отпуская тебя.

– Ах, лучше мне бы совсем не уезжать от вас! – рыдала молодая девушка.

– Нет, моя девочка, так нужно! А мы и издали будем любить тебя по-прежнему и станем молиться за тебя. Молись почаще и ты, чтобы Господь избавил тебя от соблазнов и испытаний, а если испытания когда-нибудь настанут, то чтобы Он даровал тебе силу усто-

ять против греха.

– Аминь! – произнес отец Иосиф, который вместе с Иваном Александровичем уже несколько минут стояли у входа в беседку.

Он ласково взял девушку за руку.

– Запечатлей в сердце своем слова Писания, которые сказал сыну своему праведник, отправляя его в путь. «Имей Бога в сердцеи перед очами, береги себя, чтобы добровольно не впасть в грех». Со слезами провожают тебя твои родные; дай Бог, чтобы им не пришлось плакать, встречая тебя. Ты прекрасный, едва распутившийся цветок, Ольга; да благословит тебя Господь и да сохранит Он тебя такой же чистой и прекрасной.

Рука, которой отец Иосиф благословил молодую девушку, дрожала, а на глазах священника навернулись слезы.

Ольга и Ирина Петровна громко рыдали, а Иван Александрович закрыл лицо платком.

Никто не мог произнести ни слова.

Вдруг перед домом остановилась телега.

Хлебников выглянул из беседки.

В стоявшем у телеги мужчине он узнал дворецкого барского дома.

– Что скажешь, Флегонт? – крикнул ему Иван Александрович, быстро вытирая слезы.

– Я привез вина и закуски.

– Зачем это?

– Господа сегодня идут в лес и решили завтракать в вашем саду... Корнилий Потапович просит Ирину Петровну и барышню Ольгу Ивановну похозяйничать.

Хлебников переглянулся со священником.

– Это все из-за Ольги... – проворчал Иван Александрович.

Отец Иосиф поник головой.

– Я хотел бы, чтобы ее уже здесь не было... Мне чуется, что все это не к добру.

– Когда она уезжает?..

– Завтра утром...

– Да хранит ее Господь.

Священник простился и ушел, а Иван Александрович стал угрюмо наблюдать, как вынимали из телеги вина и провизию.

Ирина Петровна с мучительной тревогой в душе принялась за приготовления к завтраку, стол для которого был накрыт в саду.

Ольга Ивановна ей усердно помогала.

Около полудня прибыло все общество, во

главе с Корнилием Потаповичем. Не было только Надежды Корнильевны, у которой от вечера разболелась голова и она отказалась от прогулки в лес «по грибы».

Беззаботность, легкомыслие и бесшабашное веселье было написано на раскрасневшихся от движения лицах.

– Вчера вы заставили нас понапрасну прождать вас, а сегодня мы всем кагалом прибыли к вам... – сказал граф Стоцкий, обращаясь к Ольге Ивановне.

– Украсить, хотя насильно, наш завтрак вашим присутствием, – добавил граф Петр Васильевич.

– Садитесь со мной рядом, прелесть моя! – воскликнула тоном непритворного восторга Матильда Руга, и взяв молодую девушку за руку, буквально насильно усадила ее за стол.

Завтрак начался.

Иван Александрович, отказавшийся с женой принять в нем участие, хотел было удалиться и дочь.

– Вы извините Ольгу, она занята приготовлениями к отъезду, и потому ей дорога каждая минута.

– Она уезжает! Куда?

– В Петербург.

– О, как жаль!

– Нет, этого не будет... Вы должны остаться с нами...

Мужчины забросали Хлебникова вопросами, от которых ему насилу удалось отделаться, но все-таки не удалось удалить дочь из этого общества. Она осталась.

– Стакан для Ольги Ивановны...

– Вот, вот...

– Прелестная затворница, позвольте с вами чокнуться. Отныне я буду носить в душе ваш образ, чистый, как этот звук хрусталя, а память о вас будет одушевлять меня, как вино в этом стакане.

– Тише, тише, барон Гемпель, – перебила молодого человека Матильда Францовна. – Разве вы не замечаете, как краснеет наша барышня.

– А вы не видите, – вставил граф Стоцкий, как у нашего графа Вельского вся кровь бросилась в лицо от ревности... Стыдно, а еще жених.

Граф Петр Васильевич действительно

смотрел сумрачно, и легкая краска гнева выступила у него на лбу.

– Дорогая Ольга Ивановна, – сказал он, обращаясь к молодой девушке, – уважение, которое я к вам питаю, так же велико, как и преклонение перед вашей красотой, а потому позвольте мне, жениху вашей подруги, быть вашим защитником от наглости этих господ. Не ревность, а негодование заставило меня измениться в лице.

Молодая девушка подарила его благодарным взглядом.

– Посмотрите-ка, – воскликнул граф Сигизмунд Владиславович, – Дон-Жуан стал моралистом!

Завтрак продолжался.

По его окончании гости разбрелись по тенистому саду.

Матильда Руга осталась вдвоем с Ольгой Ивановной, нежно взяла ее под руку и с участием истинного друга расспрашивала о цели ее отъезда.

Граф Вельский и Стоцкий хотели было остаться, но Матильда так выразительно взглянула на последнего, что тот, под ка-

ким-то благовидным предлогом, быстро увели графа Петра Васильевича.

Молодая девушка самым простодушным образом отвечала на вопросы.

Сочувствие и расположение молодой красавицы сделало ее развязной.

Она с удивлением рассматривала драгоценные камни, украшавшие руки певицы, и совершенно детской наивностью заметила, что, должно быть, она очень богата, если покупает такие дорогие вещи.

– Эти вещи не покупает никто из тех, кто их носит, – ответила Матильда Францовна с улыбкой, – и я ни одной из них не купила.

Ольга Ивановна посмотрела на нее вопрошительно.

– Это все подарки.

– Подарки... Конечно, от высокопоставленных лиц, которых вы восхищали своим пением?

– Дитя мое, – заметила Руга, – не искусству приносятся жертвы, а красоте.

Молодая девушка посмотрела на нее недоверчиво.

– Вы могли бы обладать еще большими со-

кровищами, стоит вам только захотеть.

– Я?!

– Да, вы... Вы меня не понимаете! Позднее, может быть, слишком поздно, вы увидите, что я была права.

– О, я не сомневаюсь, что вы правы, но все же я вас не понимаю. Неужели вы думаете, я могла бы, если бы захотела, иметь такие же роскошные вещи, как вы?

– Конечно, дитя мое!

– Но кто же мне их купит?

– Каждый мужчина, которому вы позволите. Граф Вельский, например.

– Граф Вельский?

– Да, он... Ведь он пожертвовал бы всем своим состоянием, если бы вы этого потребовали, потому что безумно любит вас...

– Меня, безумно?..

– Вы этого не заметили?

– Боже меня сохрани... Я его и видела-то всего два раза... Да к тому же, он жених Нади.

Руга громко рассмеялась.

– О, святая простота... Ну, да столица скоро заставит вас бросить подобные предрассудки...

Вскоре общество вновь собралось к столу, к недопитым стаканам вина.

Снова слышались звуки откупориваемых бутылок.

Благодаря вину голоса стали повышаться.

По неотступной просьбе Матильда Руга пропела несколько пикантных романсов.

Чудный голос вакханки, воодушевленное вином общество, распущенная веселость, свободный, никем не сдерживаемый разговор – все это не замедлило произвести впечатление на молодую девушку.

Ольга Ивановна, хотя и старалась владеть собою, но все же время от времени украдкой бросала взгляд на сидевшего с ней рядом графа Петра Васильевича, который не принимал участия в общем веселье.

Это ей нравилось.

«Он хороший человек!» – думала она.

Взгляд графа был с благоговением устремлен на нее.

«Как мне нравится она», – думал он, когда взгляды их случайно встречались.

Матильда Руга оживленно вполголоса беседовала о чем-то с графом Стоцким.

Граф Вельский между тем обратил на это внимание молодой девушки.

– Прекрасная охотница раскидывает сети на редкую дичь, а Сигизмунд – этот ненавистник женщин – конечно, всеми силами желает попасть в них.

Ольга Ивановна улыбнулась сравнению.

Они и не подозревали, что разговор касался их обоих и что с этой минуты почти решалась между этими двумя разговаривающими людьми их судьба.

За молодой девушкой в это время прислала мать, прося ее прийти в дом.

Она стала прощаться и подошла, между прочим, к Матильде Францовне. Певица дружески протянула ей руку, на которой сверкал великолепный солитер.

Ольга Ивановна случайно взглянула на него.

Когда она очутилась одна в своей комнате, занимаясь укладкой своих вещей, все только что пережитое невольно восстало в ее памяти, а великолепный солитер продолжал сверкать перед ее глазами.

Она задумалась.

«Все мои драгоценности – подарки мужчин, которые восхищались моей красотой...» – неслось в ее голове.

Как бедны, убоги показались Ольге Ивановне самые лучшие ее платья и скромные украшения ее туалета сравнительно с нарядом модной певицы.

«И вы бы могли иметь все это, если бы захотели...» – звучали в ушах молодой девушки слова Матильды Францовны, слова искушения.

«Вам их купит каждый мужчина, которому вы позволите...» – припомнилось ей далее.

Первая доза жизненного яда проникла в нетронутый, свежий организм молодой девушки.

## XXV

### План драмы

Головная боль была только предлогом для Надежды Корнильевны, чтобы не принимать участия в пикнике.

Ей было глубоко несимпатично собравшееся у отца общество, ей было невыносимо тяжело оставаться не только с глазу на глаз с женихом, но даже быть с ним в присутствии посторонних.

Ей хотелось до боли одиночества, а его-то именно у ней и не было среди ее шумной жизни.

Надежда Корнильевна воспользовалась отъездом всех из дому и вышла в сад.

Она пробралась в свою любимую тенистую аллею, ведущую к цветнику.

В шуме деревьев, в шелесте листьев, в душистых цветах искала она ту поэзию жизни, которой не доставало ее мечтательной душе среди окружающих ее людей.

Еще при жизни матери она часто гуляла здесь со своим другом Ольгой, болтая о своих

сердечных тайнах и мечтая о будущем счастье.

Молодая девушка была из тех редких в настоящее время существ, которые с первого взгляда внушают глубокое уважение и удивление.

Высокая, стройная, она обладала той простотой, которая придает женщине особое очарование.

Она была бледна и на ее нежном личике были заметны следы глубокого горя.

Как смоль черные волосы, падая по плечам, представляли поразительный контраст с бледностью лица.

Темные глаза, увлажненные слезами, тихо светились из-под длинных ресниц.

В белой маленькой ручке она держала ветку жасмина, изредка с наслаждением вдыхая его нежный аромат.

Несколько времени она задумчиво ходила взад и вперед, а затем опустилась на деревянную скамейку под тенью могучего вяза, откинула голову назад и возвела глаза к небу с выражением мольбы.

Издали слышались чьи-то шаги. Кто-то

огибал беседку.

Через несколько минут перед молодой девушкой стоял отец Иосиф.

– Батюшка, – воскликнула она, – вы ли это?.. Это промысел Божий...

– Промысел Божий всегда над нами, дочь моя, – ответил священник, благословляя Надежду Корнильевну. – Не помешал я вам?

– Нисколько, садитесь, я так рада вас видеть... Мне даже именно в настоящую минуту была нужна мощная поддержка... Я мысленно молилась о ней Богу, и вы, батюшка, явились как бы Его посланником...

– Где, дочь моя, – сказал отец Иосиф, садясь рядом с молодой девушкой, – мне, смиренному иерею, быть посланником Божиим... Конечно, мы ежедневно молим Творца нашего Небесного о ниспослании нам силы для врачевания душевных скорбей и тревог нашей паствы, и Господь в своем милосердии посылает порой нам, Его недостойным служителям, радостные случаи такого врачевания... Скажите мне, что с вами, дочь моя?

– Разве вы не знаете, батюшка?..

– Ваш отец выбрал вам будущего супруга,

надо покориться его воле, ведь сами, чай, знаете, что сказано: «Дети – повинуйтесь родителям своим... Чти отца твоего и мать твою...»

– Но, батюшка, есть повиновение, которое выше человеческих сил... Я должна выйти замуж за человека, которого я не только любить, но и уважать не могу...

Она громко зарыдала и по-детски склонила голову на грудь священника.

– Никто, никто ко мне не имеет жалости, – каким-то душу холодящим стоном вырвалось у нее из груди.

– Умоляйте вашего отца...

– Отец неумолим!

– Но что же вы имеете, дочь моя, против вашего жениха?

– Я не люблю его...

– В старину говаривали: стерпится – слюбится...

– Он игрок, человек без правил, без нравственности...

– В старину говаривали: женится – переменится...

– Он окружен такими людьми и настолько находится под их влиянием, что перемена

немыслима... Он женится на мне ради моего состояния.

– Он сам богат...

– Он игрок, у него много долгов... На эту страсть не хватит никакого богатства.

– Но откуда вы это все узнали, дочь моя?

– Я не ребенок, батюшка... Живя у матери, я видела таких, как он, готовых за тысячу рублей подписать вексель на десять тысяч... Наконец, я люблю другого!

Она оборвала это вырвавшееся у нее невольное признание и замолчала.

– Конечно, брак без взаимной любви и уважения – не брак в христианском смысле... – после некоторого раздумья сказал отец Иосиф. – Я поговорю с вашим батюшкой.

Молодая девушка сквозь слезы, с немой мольбой и благодарностью, посмотрела на священника.

В то время, когда происходил этот разговор, веселое общество гостей, во главе с Корнилием Потаповичем, возвращалось через лес домой.

Матильда Францовна Руга шла под руку с графом Сигизмундом Владиславовичем.

– Дочь управляющего производит на него впечатление, я это сегодня заметил, – сказал последний.

– Конечно, – подтвердила Руга. – Да это и не удивительно, она именно такая девушка, которая может разжечь кровь истощенного развратника.

– Я постараюсь раздуть в нем страсть, так что он сбросит сентиментальные цепи влюбленного жениха.

– Мне вообще не нравится эта свадьба, – промолвила певица.

– Мне также, но она необходима.

– Конечно, эта дочь бывшей ростовщицы очень богата.

– Это еще не единственная причина. Граф Петр сам богат, но по завещанию своей матери он только после женитьбы вступает в полное владение своим состоянием. Если он до тридцати лет не женится, то будет получать пожизненно только доходы. Капиталы же, имения перейдут в род матери. Вы понимаете, что уж для этого одного он должен жениться.

– Без сомнения. Одним выстрелом он убьет

двух зайцев, сделается полным хозяином и своего и своей жены имущества.

– Совершенно справедливо! И это для меня важно теперь, когда он в моих руках.

Матильда Францовна засмеялась.

– Вы сделали из него такого страстного игрока, какого я когда-либо видела.

– А вы воспитали в нем самого ужасного развратника.

– Кроме того, я держу в руках обоих отцов: одного надеждой на обладание Ольгой Хлебниковой, а другого возможностью брака с Селезневой...

– Так что мы оба одинаково трудились и трудимся для общего дела, – заметил со смехом граф Стоцкий.

– Я рассчитываю поэтому тоже получить свою долю.

– Конечно, конечно... Если мы будем действовать и дальше заодно, он от нас не уйдет. Он будет рассыпать свои миллионы, а мы их подбирать. Любовь и карты! Большого рычага и не требуется, чтобы разорить его.

– Хорошо, я ваша союзница.

– А я нуждаюсь в вас именно теперь...

– Говорите, я слушаю.

– Он признался мне, что серьезно любит свою невесту.

– Я могу подтвердить это.

– Но он не должен любить свою жену, иначе она будет иметь власть над ним: она вырвет его из той жизни, которую он ведет. Он будет сидеть дома, откажется от карт и любви, и тогда прощай наши надежды на его состояние.

– Необходимо раздуть страсть к Ольге...

– Это именно и следует.

– Случай представляется благоприятный – она уезжает в Петербург.

– Великолепно! Вы знаете ее адрес?

– Конечно, я обо всем расспросила ее, и простодушная девочка рассказала мне все, что я хотела знать...

– Значит, начало сделано.

Они вышли на опушку леса и стали приближаться к дому, присоединившись к остальному обществу.

План будущей драмы был составлен.

При возвращении общества в дом Надежда Корнильевна незаметно прошла через заднее

крыльцо в свое помещение. Туда к ней вскоре явился Корнилий Потапович.

– Что твоя голова? – спросил он.

Молодая девушка подняла на него распухшие от слез глаза.

– Ты опять плакала! – с резкими нотами в голосе сказал Корнилий Потапович.

– Отец! – произнесла она.

В тоне этого восклицания было столько душевной муки, столько слезной мольбы.

– Ты опять за свое... Сядь, поговорим...

Она села на пуф.

Он опустился в кресло напротив.

– Дочь моя, – начал он после минутного молчания, которое было настоящей пыткой для молодой девушки, – постарайся выбросить из головы все свои институтские бредни, тебе представляется прекрасная партия, дело уже решенное, твое замужество не терпит отлагательства... Я должен сообщить тебе, что свадьба состоится в октябре...

Несчастливая девушка застонала. Ее охватил невыразимый ужас.

Кровь застыла в ее жилах, и на бледном лице не осталось буквально ни одной кро-

винки.

– Отец, сжался!

Корнилий Потапович, казалось, не обратил на стоны и на возгласы дочери ни малейшего внимания и продолжал:

– Эта свадьба необходима по многим причинам. Во-первых, слово, которое я дал молодому графу; во-вторых, страстное желание твоего будущего свекра графа Вельского и, в-третьих, я сам имею намерение жениться и нуждаюсь в содействии графа Петра Васильевича и его друзей. Этих причин, конечно, достаточно, чтобы мое решение было приведено в исполнение. Кроме того, тут есть еще кое-что, о чем я тебе не могу сообщить. Одним словом, я сказал тебе мое неизменное решение...

– Отец, отец... – рыдала Надежда Корнильевна.

– Никаких противоречий!

Молодая девушка вскочила с пуфа и упала к его ногам.

– Сжался! – умоляла она его, обнимая его колени. – Будь милосерд, не делай меня несчастной! Я не люблю его и не могу лю-

бить!

– Глупости! Любовь придет сама собою. Он такой хорошенький мальчик.

– Но он человек безнравственный, у него нет ничего святого.

– Ты исправишь его.

– Но...

– Никаких но... Встань, Надежда, и вспомни свою клятву у постели твоей умирающей матери.

Молодая девушка вздрогнула.

– Отец... – снова простонала она, не поднимаясь с пола.

Страдания ее не трогали холодного, черствого эгоиста. Он встал и двинулся к двери.

Она вскочила и загородила ему дорогу.

– Отец, еще одно слово.

– Ну?

– Я люблю другого.

– Так вот что, – засмеялся он злым смехом. – Берегись! Я предчувствовал, что близость с этим семинаристом не приведет к добру... Давно следовало прогнать этого попа вместе с его отродьем. Знает он, что ты его любишь?

– Мы никогда не говорили об этом! Он и не подозревает. И сама-то я поняла это только теперь.

– Счастье для него, что он не знает... Я ускорою твою свадьбу.

– Отец, это твое последнее слово?

– Мне нечего больше говорить!

С этими словами он вышел.

Совершенно разбитая, бросилась молодая девушка в кресло и глухо зарыдала.

# Часть вторая

## В великосветском омуте

### I

## В Болгарии

**М**ихаил Дмитриевич Маслов, выразив мнение, что Савин снова ухитрится убежать, оказался пророком.

Николай Герасимович действительно ускользнул от прусских жандармов за несколько минут до передачи его русским властям на самой границе.

Успокоенные поведением сопровождаемого ими арестанта, поведением, не дававшим места малейшему подозрению даже желания им совершить бегство, жандармы-философы, как прозвал их Савин, при остановке поезда на станции Александрово, обрадованные удачным выполнением ими поручения начальства, разговорились со встретившимися им земляками, упустив лишь на одну минуту вверенного им и подлежащего передаче в руки русских жандармов арестанта.

Этой минуты было достаточно для Николая Герасимовича, чтобы исчезнуть бесследно, точно кануть в воду.

Произошел переполох.

Русские власти донесли о событии по принадлежности.

Немецкие жандармы отправились в свой «фатерланд» под гнетом предстоящего им дисциплинарного взыскания.

Они были угрюмы, не философствовали и не политиканствовали.

Николай Герасимович между тем, верный своему заранее составленному плану, остался временно в пределах России, пробрался в один из пограничных городов, где один из его родственников, или вернее муж его родственницы занимал крупный пост.

Жена этого «лица» – мягкосердечная женщина – умоляла своего мужа дать временный приют беглецу, а тот отплатил за гостеприимство тем, что обманным образом добыл бумаги своего друга и дальнего родственника по матери графа де Тулуза Лотрека, признанял, пользуясь именем своего властного и уважаемого родственника, у многих лиц довольно

крупные суммы и исчез за границу.

Через несколько времени он появился в Софии, столице Болгарского княжества, где в то время царила политическая неурядица и во главе политических пройдох, захвативших в свои руки власть над несчастным болгарским народом, стоял Степан Стамбулов – бывший студент новороссийского университета, вскормленник России, поднявший первый свою преступную руку против своей кормилицы и освободительницы его родины от турецкого ига.

У всех еще свеж в памяти этот период болгарской истории, заставивший на долгие годы отшатнуться от нее ее благодетельницу – Россию.

Это было как раз время, последовавшее после вторичного отречения болгарского князя Александра Баттенбергского от престола.

Он назначил регентство из Стамбулова, Каравелова и Муткурова, которые составили коалиционное министерство под председательством Радославова, министром иностранных дел был Начевич, министром юстиции – Стоилов, а военным – Николаев.

Русское правительство не могло оставить болгарский народ в неизвестности о своем мнении о судьбе его первого князя и своей будущей политике относительно болгарского народа.

Заговорили о миссии князя Н. С. Долгорукова в Болгарию, но затем оказалось, что русский военный агент барон Каульбарс был вызван в Высоко-Литовск, где в сентябре 1886 года имел свое пребывание император Александр III.

По приказанию его императорского величества, барон Каульбарс должен был отправиться в Болгарию и объявить всему болгарскому народу чувство искреннего доброжелательства его величества и дать совет для выхода из ее затруднительного положения, но, вместе с тем, категорически объявить высочайшую волю, что ни Баттенберг, ни кто-либо из его братьев не должен возвратиться в Болгарию.

13 сентября Каульбарс прибыл в Софию и вступил в управление агентства, а 14-го он в полной парадной форме сделал официальные визиты регентам и министрам, а министру

иностранных дел вручил письмо господина Гирса, уполномочивавшего его в качестве политического представителя России.

С 12-го октября по 6-е ноября продолжались томительные переговоры барона Каульбарса и борьба с его регентством и министерством.

Ее благоприятного исхода с нетерпением ожидал болгарский народ.

Миссия барона Каульбарса состояла в том, чтобы получить полную амнистию для всех участников переворота 9-го августа, то есть в свержении князя Александра Баттенбергского, и отложить на два месяца выборы в народное собрание, которому предстояло избрать нового князя.

Цель последнего требования была очевидна и разумна.

Необходимо было усмирить взволнованную страну и иметь время для поиска кандидата на болгарский престол.

Исполнение его зависело всецело от доброй воли и понимания дела, чего, к сожалению, у регентства вообще, а у Стамбулова в частности, не было.

Последний торопился созвать как можно раньше народное собрание, чтобы переизбрать Александра Баттенбергского.

Этого желало регентство и отчасти министерство.

Они не хотели отложить выборов, ссылаясь на конституцию, как будто бы регентство, назначенное отрехшимся далеко не по доброй воле от престола Баттенбергом, имело какое-нибудь конституционное значение.

Оказалось, впрочем, что Стамбулов в своем сопротивлении требованиям русского дипломатического представителя руководствовался советами австрийского и английского агентов.

Это не могло не сделаться неизвестным барону Каульбарсу.

Только 18-го сентября Стамбулов отказался от переизбрания Баттенберга и именно тогда, когда уже все великие державы были убеждены в невозможности такого переизбрания.

Болгарские патриоты просили барона Каульбарса указать кандидата русского правительства, которого они обязывались выбрать беспрекословно и единогласно.

К сожалению, русский дипломатический представитель не был в состоянии удовлетворить их желание.

Собравшееся 13-го сентября в Софии народное собрание состояло исключительно из депутатов – сторонников Стамбулова и компании.

Самые выборы происходили под наблюдением организованной Радославовым армии «палочников», действовавшей от имени комитета, избравшего себе громкий девиз: «Болгария для болгар».

«Палочники» эти называли себя защитниками отечества.

Горе было округу, где избиратели выбирали антиправительственного депутата.

В Дублине, например, начальник округа был убит и тридцать шесть граждан были приговорены к смертной казни.

В Румелии, где избрали русофилов, все избиратели брошены в тюрьмы.

Много было перебито народа в Татар-Базарджике, в Пловдиве и других местах.

Степан Стамбулов созвал народное собрание как подготовительное к великому народ-

ному собранию в Тырнове.

Из зала заседания были заблаговременно вынесены портреты Александра II и Александра III, а портрет Баттенберга был только завешен.

Регентство и министерство находилось всецело в руках иностранных агентов и политических интриганов, которые приложили все свои старания, чтобы миссия русского посланца потерпела неудачу.

Барон Каульбарс, после бесплодных переговоров в Софии, начал объезд главных городов Болгарии, чтобы зондировать общественное мнение болгарского народа.

Софийские заправилы послали впереди его своих агентов и наряду с восторженными криками народа по адресу русского Царя и России слышались громкие крики правительственных клеветов.

– Да живие Стамбулов!

Вскоре после этой поездки барона Каульбарса последовал разрыв дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Это произошло 6-го ноября 1886 года.

Барон Каульбарс уведомил о своем выезде

из Болгарии правительство нотою, в которой заявил, что правители Болгарии окончательно утратили доверие России, и что императорское правительство находит невозможным поддерживать сношения с болгарским правительством.

Все русские консулы также покинули Болгарию.

Открывшееся в Тырнове 22-го ноября великое народное собрание избрало на болгарский престол датского принца Вольдемара, брата русской императрицы, чем хотело засвидетельствовать, как болгарскому народу дорого сохранить лучшие отношения с русским Императорским двором.

После последовавшего со стороны избранного принца отказа от болгарской княжеской короны, народное собрание было немедленно закрыто.

Регентство решило отложить дальнейшие выборы в надежде, что ему тем временем удастся убедить Россию в готовности сообразоваться с ее волей, но, главным образом, с целью дать возможность Австрии среди продолжающегося кризиса водворить свое влия-

ние в Сербии и окончательно подчинить себе Боснию и Герцеговину.

Разрыв между державою-освободительницей и ее созданием – Болгарией – причинил глубокую скорбь всем истинным славянским патриотам, верящим в политические задачи России на христианском востоке.

После закрытия тырновского народного Собрания начался период «кандидатов на болгарский престол».

Этот период политической неурядицы продолжался восемь месяцев.

Первой после датского принца Вольдемара кандидатурой была выставлена кандидатура князя Николая Мингрельского.

Это была единственная русская кандидатура, неприятная, конечно, заправилам Болгарии, ходившим на австрийских помочах, и потому не имевшая успеха.

Вскоре собралось второе великое собрание, на котором в декабре 1886 года было решено послать к европейским дворам депутацию, изыскать средства к примирению с Россией и приискать кандидата на болгарский престол.

Депутатами были избраны Стоилов, Гре-

ков и Кольчев.

Конечно, прежде всего эти депутаты посетили Вену, где после беседы с князем Лобановым-Ростовским и Кальноки, они начали, переговоры с доверенным лицом принца Фердинанда Кобург-Готского о принятии болгарского престола.

Затем принц сам принял депутацию в своем замке Эбенталь, близ Вены, где Стоилов произвел на него своей патриотической речью глубокое впечатление, так что с этого времени принц стал иметь большое доверие к этому искусному оратору и государственно-му человеку.

В то время, когда депутаты путешествовали за границей, в самой Болгарии проект сменялся проектом, один неудачнее другого.

Обратились к принцу Оскару шведскому, сделано было предложение румынскому королю, в случае избрания которого соединение Болгарии с Румынией явилось бы ядром будущей федерации балканских государств.

Но король Карл отклонил это предложение.

Заискивания сербского короля Милана, то-

гда еще правившего Сербиею, который сам навязывался в болгарские князья, были отвергнуты.

Предлагался в князья Болгарии Алеко-паша, и уже, как последний исход, обратились к Блистательной Порте с предложением, что народное собрание изберет князем Болгарии турецкого султана под условием, что он присоединит Македонию к болгарскому княжеству, под общею властью назначенного ими наместника.

Султан ответил отказом.

Между тем в стране в разных пунктах вспыхнули беспорядки и смуты, финансы были в плачевном состоянии – все приходило в упадок и расстройство.

В это-то время в Софии появился блестящий француз граф де Тулуз Лотрек.

Молодой, красивый, прекрасно образованный, он в короткое время сумел войти желанным гостем в дом всех дипломатических агентов в Софии и сойтись с регентами и министрами.

Особенно подружился он со Стамбуловым, перед которым развивал свои планы будуще-

го управления Болгарией и даже вскользь уронил о возможности заключить при его посредничестве заем у парижских банкиров в двадцать миллионов франков.

Сам граф казался очень богатым человеком, не стесняющимся в средствах.

В уме Стамбулова возник план управления Болгарией за ширмой такого удобного и створчивого князя, каким был его приятель граф де Тулуз Лотрек, имеющий вес и значение у парижских Ротшильдов.

Он сблизился с графом настолько, что пригласил его крестить у него новорожденную дочь.

Граф согласился и сделал богатые подарки своей куме и крестнице.

Тогда начальник болгарских «палочников» исподволь подготовил своего кума к возможности заявить его кандидатуру на болгарский престол.

Граф де Тулуз Лотрек после некоторого колебания принял предложение.

Начались подробные переговоры.

Для того, чтобы подготовить почву для избрания, граф по совету Стамбулова отправил-

ся в Константинополь, где представился французскому послу графу Монтебелло и сумел обворожить его настолько, что тот представил его великому визирю как будущего, пока негласного, кандидата на болгарский престол. Назначен был день аудиенции, хлопотанной ему у султана.

Все шло, что называется, как по маслу.

Пустой случай уничтожил ловко задуманное дело.

В общем зале лучшей гостиницы Константинополя, где остановился будущий болгарский князь, его увидел служивший в гостинице куафер-француз, бывший подмастерье парикмахера Невилля в Москве.

– Bonjour, m-r Savin! (Здравствуйте, господин Савин!) – воскликнул он.

– Je ne vous connais pas! (Я вас не знаю!) – отвечал, смутившись, Николай Герасимович – это был он.

Куафер, удивленный, пристально посмотрел на него и прошел дальше. Но фамилия его была произнесена, да к его несчастью, еще в присутствии нескольких чиновников из русского посольства, которым известно было,

что Савин разыскивается русскими властями и уже три раза бежал из-под ареста за границей.

В тот же день посольство и консульство были осведомлены о возникшем подозрении.

Приглашенный в консульство куафер клятвенно уверял, что граф де Тулуз Лотрек – не кто иной, как русский офицер Савин, которого он хорошо знает.

Вопрос об его аресте, в виду покровительства, оказываемого ему французским послом, был довольно щекотлив и оставался даже после показания куафера некоторое время открытым.

Сам Николай Герасимович своим неудержимым нравом дал повод к своему аресту.

## II

### От великого к смешному

Через несколько дней после роковой для Николая Герасимовича встречи с французом-куафером в одной из константинопольских газет появилась статья, посвященная предполагаемому претенденту на болгарский престол графу де Тулуз Лотреку.

В статье этой между прочим указывалось, что граф происходит не от прямой линии Бурбонов, как стараются доказать он сам и болгарские регенты, а от побочной: а именно, от морганатического брака Людовика XV.

Взбешенный Савин отправился в редакцию газеты.

– Могу я видеть редактора?

– Господина Станлея?

– Если это господин Станлей, то господина Станлея.

Секретарь редакции, молодой человек, с лицом, указывавшим на его семитское происхождение, отправился доложить о посетителе, взяв от мнимого графа его визитную кар-

точку.

– Пожалуйста в кабинет... – возвратился через несколько минут секретарь.

Николай Герасимович отправился в указанную дверь. За большим письменным столом восседал сухопарый англичанин.

– Чем могу служить? – холодно спросил он Савина, указав рукою на кресло, стоявшее у стола, и не поднимаясь сам с места.

Это уже одно взбесило еще более Николая Герасимовича.

– Я граф де Тулуз Лотрек... – не сядясь, сказал он.

– Я это знаю из вашей визитной карточки.

– В вашей глупой газете напечатана глупая статья...

– Я просил бы вас быть приличнее...

– В этой глупой статье, напечатанной в вашей глупой газете, – продолжал Николай Герасимович, не обратив ни малейшего внимания на замечание редактора, – передаются различные инсинуации относительно моей родословной... Я требую опровержения и печатного извинения...

– Я сделал бы вам эту любезность, если бы

вы своим поведением не доказали бы мне воочию отсутствия в вас не только королевской, но даже благородной крови... – хладнокровно заметил господин Станлей.

– Что-о... Что-о... Ты сказал?.. – крикнул Савин.

– Так не ведут себя графы! – невозмутимо продолжал редактор.

– Если так не ведут... то вот, как бьют... – уже положительно рявкнул Николай Герасимович и с этим словом влепил редактору полновесную пощечину...

Удар был так силен, что господин Станлей откинулся на спинку кресла и на минуту потерял сознание.

Этим временем воспользовался Савин и беспрепятственно вышел из кабинета и редакции.

Секретарь редакции, который, видимо, слышал весь разговор и звук пощечины, так как отскочил от двери кабинета при выходе Николая Герасимовича, не предпринял против него ничего, во даже как-то особенно почтительно ему поклонился.

Пришедший в себя оскорбленный редак-

тор, конечно, бросился жаловаться, и в тот же день к вечеру в номер гостиницы, занимаемой графом де Тулуз Лотреком, явилась полиция с константинопольским полицмейстером во главе.

– По повелению его величества султана я вас арестую... – обратился последний к Савину.

– Пошел вот, турецкая собака! – крикнул Николай Герасимович.

– А, так вы так... – вышел из себя в свою очередь паша и, схватив за ворот Савина, крикнул полицейским: – Вяжите его!

Николай Герасимович, однако, изловчился ударить полицмейстера так сильно ногой в его солидное брюшко, что тот покатился на пол.

Савина все-таки связали.

– Я русский подданный... – крикнул он, зная, что газета, редактируемая Станлеем, не пользуется расположением русского посольства, как орган английских политических интриг.

– Это мы знаем, господин Савин... – заявил, вставая на ноги, полицмейстер, – и пото-

му-то мы вас и арестовываем.

Николай Герасимович побледнел.

«Сорвалось!» – припомнилось ему классическое восклицание Кречинского.

Он передан был в руки русского консульства и вскоре, как мы знаем, очутился на палубе парохода «Корнилов», шедшего на всех парах в Одессу.

Николай Герасимович дошел в своих воспоминаниях до этого момента своего прошлого, – момента, с которого мы начали свой рассказ, – после возвращения его из конторы дома предварительного заключения, где он, если припомнит читатель, так неожиданно встретил друга своей юности, свою названную сестру Зиновию Николаевну Ястребову.

– Зина, ты!.. – воскликнул, прийдя в себя от первого смущения, Савин.

Причиной этого смущения было то, что он совсем забыл эту молодую девушку, жившую в доме его родителей и когда-то с чисто женскими ласками и вниманием врачевавшую его разбитое сердце.

Он протянул ей обе руки.

Она схватила их и крепко пожалала.

Воспоминания прошлого также волной нахлынули на нее.

– Нет, не так, Зина, не так!.. – воскликнул растроганный Савин и заключил ее в свои объятия.

Они обменялись чисто братским поцелуем.

– Вот где пришлось нам встретиться после стольких лет, – с грустью в голосе начал Николай Герасимович.

– Что же из этого? – почти весело отвечала Ястребова, садясь на стул возле тоже сидевшего Савина. – «Грех да беда врозь не живет», – говорит русская пословица, а другая подтверждает и Результат: «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся».

– Так-то оно так, а все-таки печально... Столько лет не виделись... и вдруг... Ну как, что вы... Что муж? Детки? Вы довольны, счастливы?

– Не обо мне речь, – перебила его Ястребова. – Я совершенно довольна своей судьбой... Речь о вас... Надо вас вызволить...

– Вызволить, – грустно произнес Николай Герасимович. – Из дел, в которых я здесь об-

винуясь, вызволиться нетрудно... Ведь не верите же вы, что я поджег дом в моем именье, или же рвал неоплаченные векселя... Что будет дальше, не знаю, но до сих пор Бог милостив... Преступлений я не совершал, проступки – да... Значит за дела я спокоен... Но кто вернет мне те прожитые до прибытия сюда, в Петербург, недели, показавшиеся мне годами, кто вознаградит за испытание унижения и оскорбления, за перенесенные страдания... Ведь я не думал бежать из России и тем менее от русского правосудия... Я был болен нравственно и физически, когда мне в Москве принесли повестку от судебного следователя, в получении которой расписался швейцар гостиницы. Я ее даже не видел... Таково мое прошлое... Не радостно и настоящее. А что ждет меня в будущем, когда я выйду из суда, хотя и оправданный, но ошельмованный. Вот в чем дело, дорогая Зина!.. Окаченный помоями и без средств.

– Насчет последнего я вас могу успокоить... В этом смысле будущее ваше не так страшно. Ваши братья сумели собрать все возможное с заложённых и перезаложённых имений, и на

вашу долю приходится сорок тысяч рублей, которые положены в банк на мое имя, во избежание каких-либо препятствий выдачи вам лично... Тотчас по освобождении вы получите их от меня.

– Зина, – воскликнул Савин, – как мне благодарить вас!..

– За что?.. Не за то ли, что я себе не присвоила чужих денег?

Николай Герасимович смутился, но тотчас же оправился.

– Положим, – смеясь продолжал он, – в наш век за это именно надо благодарить больше всего, но не вас... Вы, видимо, не от мира сего. Я благодарю вас за радостную, воскрешающую меня весть и за то, что вы не отстранили от себя участие в деле, где замешан я, считающийся «притчей во языцех» целой Европы, почти целого мира...

– Я слишком многим обязана вашему семейству.

– Теперь оно – ваш должник...

– Но это в сторону... В контору я передала из процентов с ваших денег шестьсот рублей, так что вы можете здесь обставить себя с воз-

можным для тюрьмы комфортом.

– Вы мой ангел-хранитель.

– Кроме того, вам ведь будет нужен защитник... Здесь ведь есть знаменитости... Надо бы кого-нибудь из них.

– Тот, кого я вам рекомендую – знаменитость будущего – Долинский.

– Молодой?

– Да, он помощник присяжного поверенного... Не так давно он защищал дело, которое сделало известным его имя. Дело было совершенно безнадежное... Мошенник и шулер, известный Алферов, вышел совершенно неожиданно из суда оправданным... Долинский говорит, что это случайность, даже неожиданная для него... Но говорил он прекрасно и дело изучил во всех подробностях, чего никогда не делают наши знаменитости...

– Да будет так... Давайте вашего Долинского.

– Вы еще не получали обвинительного акта?

– Получил по обоим делам, и по здешнему, и по калужскому... Но откуда вы, Зина, знаете все эти судебные формальности?



Ястребова стала прощаться, обещав навещать Николая Герасимовича.

– В следующий раз я приду с мужем, – сказала она.

– Рад буду видеть его.

Они расстались.

Савин вернулся в свою камеру, и мука одиночества после беседы с человеком, пришедшим «с воли», из общества, еще более охватила его.

Принесенная Зиновией Николаевной Ястребовой весть о сравнительном обеспечении его по выходе из тюрьмы отошла почему-то на второй план, и он снова предался воспоминаниям прошлого.

Особенно мучила его неудача последней политической авантюры, на которую он возлагал столько надежд.

И вдруг все рухнуло с его арестом.

Достигни он цели, все его действия получили бы другую окраску, чем теперь.

Обидно и горько казалось это Николаю Герасимовичу, но нечего Уже было делать – это был совершившийся факт.

Приходилось с ним мириться.

Он напрягал все усилия своей воли, чтобы отрешиться от этих мыслей, а они, как мухи в осеннюю пору, назойливо жужжали в его голове.

Наконец он перенесся мыслью к свиданию с Ястребовой, вспомнил ее совет подать заявление об адвокате и сел писать его.

Он окончил его в тот момент, когда в доме предварительного заключения погасили огни.

Николай Герасимович разделся и лег в постель. Но заснуть он мог только под утро.

### III

## Жертва

Прямо из дома предварительного заключения Зиновия Николаевна Ястребова отправилась к одной из своих пациенток, живших неподалеку от дома, где продолжали жить Ястребовы, – на Гагаринской улице.

Зиновия Николаевна была около двух месяцев тому назад приглашена к молодой девушке, жившей в квартире ее знакомой, Анны Александровны Сиротининой, сын кото-

рой, Василий Сергеевич, служил бухгалтером в банкирской конторе Алфимова.

С жилицей Сиротининой Елизаветой Петровной Дубянской случился страшный нервный припадок в окружном суде при разбирательстве дела Алферова, которого защищал Долинский. Лубянская была свидетельницей по этому делу, и оправдательный вердикт, вынесенный присяжными заседателями обвиняемому, произвел на нее потрясающее впечатление.

Она упала на пол в страшных конвульсиях и была отвезена в сопровождении доктора и судейского сторожа домой, где у нее открылась нервная горячка.

Анна Александровна бросилась за Ястребовой, и последняя, по обыкновению, вся отдалась своей пациентке.

Елизавета Петровна уже более года жила в Петербурге по делу, которое имело для нее такой роковой исход, но заседание суда несколько раз откладывалось по болезни подсудимого, которому, как говорили, необходимо было для чего-то выиграть время.

Зиновия Николаевна прошла в комнату

больной, где застала и Анну Александровну, прибиравшую на столике у постели больной склянки с лекарствами.

При опущенных шторах едва можно было разглядеть бледное, но очень миловидное личико молодой девушки.

Это было одно из тех лиц, которые не бросаются в глаза, но чем больше на него смотреть, тем труднее от него оторваться.

Девушка была печальна и озабочена, а тусклый взгляд ее с беспокойством блуждал по полутемной комнате. Губы ее были крепко сжаты. Время от времени она тяжело вздыхала.

Старушка заботливо оправляла подушки больной. При виде докторши лицо девушки вспыхнуло и осветилось радостной улыбкой.

– Как вы себя чувствуете? – взяла за руку больную Зиновия Николаевна. – Нынче у вас опять лихорадочный день.

– Нет, мне лучше, гораздо лучше... – сказала больная.

– Этого я не вижу, – возразила Ястребова. – Но скоро вы будете молодцом... Я говорила вам, что вам нужен покой, вы все волнуете-

тесь...

Анна Александровна пододвинула Зиновии Николаевне кресло. Та села, держа обе руки больной и с улыбкой глядя ей в лицо.

– Но я чувствую себя хорошо, совсем хорошо...

Больной, однако, не удалось скрыть охватившего ее припадка слабости.

Она закрыла глаза и откинулась на подушки.

– Ах, дорогая Зиновия Николаевна, – заговорила через несколько времени больная, – вы не можете себе представить, как я рвусь на воздух, чтобы отделаться от мыслей, которые меня мучат нестерпимо. Мне часто кажется, что я не вынесу этих воспоминаний, особенно сознание, что этот человек остался безнаказанным.

– Если он виновен, Господь покарает его.

– О, в этом я убеждена... Но мне хочется сегодня рассказать вам все...

– Вы слишком слабы, это вас снова взволнует...

– Напротив, мне станет легче, когда я поделюсь с вами моими страданиями. Вы такая

добрая, сердечная... Позвольте...

– Я вас слушаю...

– Я дочь помещика... У нас было имение под Петербургом... Я была очень счастлива, потому что у меня была мать, которую я обо- жала. Как сейчас вижу ее кроткую улыбку, с которой она наклонялась, чтобы поцеловать меня и сказать, что я ее единственная ра- дость, единственное утешение. Я редко виде- ла моего отца, особенно последние года. Дела вынуждали его – так, по крайней мере, гово- рили мне – часто ездить в Петербург. Мы жи- ли очень уединенно, тогда как раньше мои родители виделись, хотя изредка, с соседним помещиком графом Вельским.

– Граф Вельский?.. Это отец того молодого человека, который живет здесь?

– Да, да... Петр Васильевич его сын... Он ве- дет дурную жизнь. Года три тому назад он, Неелов и граф Стоцкий часто бывали у моего отца.

– Великолепная троица!.. Рассказывайте дальше.

– Мать моя часто плакала... Бывало, все улягутся в доме, она я примется плакать... да

так горько, навзрыд! А когда я стану спрашивать, о чем она горюет, она мне ничего не отвечает, а только обнимет меня крепче и рыдает еще горше. Один раз отец вернулся из города и подал матери какую-то бумагу.

– Прочти... – говорит. А голос у него был такой, что он и теперь звучит в моих ушах. Мать так вся и задрожала, однако бумагу взяла. Не прочла она и десяти строк, как вскрикнула и замертво упала на пол.

– Вероятно, отец ваш проигрался?

– Да, я узнала об этом гораздо позднее. Дело было в том, что мы должны были жить только на доходы с имения. Отец стал бывать дома еще реже, а когда приезжал, был мрачен и рассеян и скоро уезжал опять. Мать моя с каждым днем становилась бледнее и плоше. Она старалась скрыть от меня свое горе. Но наконец ей стало не под силу. Она делалась все слабее и слабее. У нее открылась чахотка, и когда мне исполнилось девятнадцать лет, она умерла, а, умирая, все звала меня, называя всевозможными ласковыми именами.

Последнее слово больная произнесла шепотом. Чтобы продолжить свой рассказ, она

принуждена была перевести дух.

– В день похорон неожиданно вернулся из Петербурга отец. Должно быть, он был потрясен глубоко. Он опустился перед гробом на колени и со слезами целовал холодную руку покойницы. С этой минуты мы не разлучались. Казалось, он хотел вознаградить меня за все зло, которое сделал моей матери.

– Значит, он бросил играть? – спросила Ястребова.

Дубянская покачала головой.

– Слушайте дальше. Он был со мною в высшей степени нежен и исполнял мои малейшие желания, мне так хотелось любви и заботы. Мое осиротелое сердце ответило на его ласку всеми своими нетронутыми силами, и он никогда не оставлял меня в деревне одну. Наши доходы все еще были довольно значительны, так что ему не приходилось ни в чем себе отказывать, и наш дом был одним из богатейших в уезде. Гостеприимство отца и всегда во всем полная чаша привлекали массу так называемых друзей, которые под маской дружбы старались обойти моего отца.

– А вы, имея на него влияние, разве не мог-

ли заставить его не принимать их?

– Я умоляла его об этом, но все напрасно! Между его друзьями был один человек, который имел на него громадное влияние. Его фамилия была Алферов. Его познакомил с отцом, кажется, граф Стоцкий. Он старался так обойти отца, что тот был совершенно в его власти. С первой же встречи я возненавидела этого человека, хотя он очень старался сблизиться со мной.

– Какой негодай!

– Он постоянно вертелся около меня. И чем больше я его презирала и ненавидела, тем больше отец запутывался в его сетях, – продолжала она.

– Вероятно, он был тоже игрок!

– Он был настоящий мошенник, и мой бедный отец погиб безвозвратно. Он прожил у нас несколько недель. Отец проводил целые ночи с ним вдвоем и с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. В один из вечеров, это было тринадцатого мая, – никогда не забуду я того дня, – случилось то, что я давно ожидала. Было поздно, я давно уже ушла спать, как вдруг слышу страшный шум. Моя

спальня отделялась от комнаты, где играли отец с гостем, только коридором. Я быстро оделась и открыла дверь. Слышу голос отца... Я бросилась по коридору прямо к ним... То, что я увидела, было ужасно! Отец обеими руками впился в негодяя и кричал: «Шулер! Отдай мне то, что ты у меня украл!» А этот негодяй только презрительно хохотал над ним, потом освободился от его рук и так толкнул его, что тот грохнул на пол и потерял сознание. Я еще не успела броситься ему на помощь, как он пришел в себя, вскочил и снова бросился на негодяя. Вдруг шулер ударил отца так, что тот зашатался. Я страшно закричала и, не помня себя от страха и негодования, бросилась между ними. Негодяй отпустил руку, а мой бедный отец упал в кресло и закрыл лицо руками. В эту минуту я забыла даже об этом изверге, бросилась к отцу, стараясь его утешить. Вдруг я почувствовала на своем плече чью-то тяжелую руку. «Если вы хотите, – слышалось над самым моим ухом, – вы можете спасти вашего отца». – «Прочь, негодяй!» – вскричала я, отталкивая его. Он насмешливо улыбнулся. «Ваш отец разорился

по собственной вине, – заговорил он, отчеканивая каждое слово, – у меня в кармане его обязательство на сумму большую, чем стоит все его имение... Я возвращу их вам, если вы...»

Бедная девушка запнулась и покраснела.

– Чего же требовал негодяй? – спросила Зиновия Николаевна. Она с трудом проговорила:

– Он возвращал все обязательства отца, если я... открою ему дверь своей спальни...

– Подлец...

– У меня язык смолк от обиды, – продолжала Елизавета Петровна. – Я стояла перед негодяем, и меня всю трясло от злобы. Несмотря на всю свою грубость, он понял, что смертельно оскорбил меня, и сказал: «Я не жестокосерд, согласитесь выйти за меня замуж и все станет опять принадлежать вам и вашему отцу». Мне было так противно, что я отшатнулась от него. «Если вы и ваш лтец дадите мне письменно обещание, я буду доволен...» – сказал он. Дальше я не могла молчать. Откуда брались у меня слова, я не знаю, но только они достигли цели. Он заскрежетал зубами и,

не дожидаясь конца объяснения, выбежал из комнаты. В ту же ночь он выехал из нашего имения. Я не в силах рассказать того, что чувствовала, когда снова вернулась к отцу. Я просила его успокоиться и лечь спать. «Мы нищие!» – вот все, что он отвечал мне на мои утешения. Наконец, казалось, он сдался и позволил проводить себя в спальню. «Теперь иди, дитя мое! – сказал он глухо. – Господь да хранит тебя. Может быть, он сжалится над тобой». Но меня все-таки что-то удерживало возле него; я чувствовала, что не должна оставлять его одного. И только после настоятельной вторичной просьбы я решилась уйти к себе. Ах, зачем я не осталась, может быть, я предупредила бы страшную катастрофу.

Молодая девушка остановилась.

– И что же было потом? – торопила ее Ястребова, которая слушала с напряженным вниманием.

Слезы катились по щекам Дубянской и она, рыдая, стала рассказывать дальше.

– Я не могла заснуть... страх не давал мне спать... Прошел, должно быть, целый час... Вдруг слышу выстрел! Я вскочила. Страшное

предчувствие овладело мной. Как сумасшедшая бросилась я в комнату отца и без сознания упала на его труп...

Елизавета Петровна снова замолчала.

Воспоминание о только что рассказанных сценах потрясло ее до того, что она не могла выговорить слова. Несколько успокоившись, она продолжала:

– На письменном столе отца нашли письмо, написанное дрожащею рукою. В этом письме отец объяснял причину своего страшного решения. Мы теряли все. Он надеялся, что его убийца оставит мне, по крайней мере, столько, что я никогда не буду терпеть нужды.

– Конечно, надежды вашего отца не оправдались? – мягко и участливо спросила Ястребова. – Вам так совсем ничего и не оставили?

– Я уехала из имения, захватив мои платья и драгоценности, и здесь нашла приют у Анны Александровны, подруги моей покойной матери. По приезде я тотчас подала жалобу прокурору... Началось следствие, кончившееся, как вам известно, оправданием негодяя...

– Это возмутительно!

– Теперь, рассуждая хладнокровно, я думаю, что суд иначе не мог поступить... Отец выдавал такие обязательства, которые были совершенно законны... Алферов и его сообщники знали, что делали.

– Бедная, бедная... Так молода... и так много перенесла испытаний!

Зиновия Николаевна с грустью опустила голову.

– Что же вы будете делать по выздоровлении?

– Буду искать место гувернантки... или, быть может, компаньонки...

– В состоянии ли вы будете перенести это столь зависимое положение?

– О, у меня хватит сил перенести все, лишь бы заработать себе честно кусок хлеба.

– Я, быть может, постараюсь найти вам более подходящее место.

– Как я должна благодарить вас за вашу доброту, Зиновия Николаевна! – произнесла больная, хватая ее за руку.

– Мои старания невелики, – сказала она, улыбаясь. – Место для вас у меня есть в виду.

В глазах Дубянской засветилась радость.

– Я состою домашним врачом в одном очень уважаемом семействе и вспомнила теперь, что хозяйка не раз высказывала желание пригласить компаньонку для своей взрослой дочери.

– О, как я буду рада! Благодарю вас.

– В знак благодарности поправляйтесь... Выздоровление пациентки – лучшая награда для врача.

– Теперь я начну выздоравливать не по дням, а по часам.

– Дай Бог...

Зиновия Николаевна простилась с больной, обещав зайти на другой день.

Спускаясь с лестницы, она думала:

– Да, да, дом Селезневых будет для нее самым подходящим местом. Надо поместить ее именно туда.

По возвращении домой Ястребова рассказала мужу во всех подробностях о своем свидании с Савиным, а также о плане относительно своей пациентки.

– Знаешь, Леля, ведь он еще до сих пор не забыл Гранпа?

– Ну?

Зиновия Николаевна передала ему вопрос Николая Герасимовича и свой резкий ответ.

– Да, – задумчиво произнес Алексей Александрович, – не даром, видно, пословица молвится, что старая любовь не ржавеет...

По поводу же рекомендации Дубянской Селезневым, Ястребов, далеко не покровительствовавший филантропическим занятиям своей жены, только махнул рукой и заметил:

– Как знаешь, матушка!

## IV

### Подруга

Столоначальник одного из бесчисленных Петербургских департаментов Семен Иванович Костин жил на 4-й улице Песков, местности, в описываемое нами время тихой и малолюдной, напоминающей уездный городок. Он занимал очень хорошенькую квартирку на втором этаже.

Жена его, Евдокия Петровна, была младшей сестрой Ирины Петровны Хлебниковой, но сходства между ними было очень мало, она не была так кротка, как Ирина Петровна,

наоборот, вся ее фигура дышала гордостью и сознанием собственного достоинства. Она была полной владелицей своего дома и своего супруга.

Муж, жена и две девочки, восьми и семи лет, сидели в столовой за послеобеденным чаем.

Ольга Ивановна стояла между тем у окна и смотрела на пустынную улицу.

В руках ее было письмо, которое, по-видимому, и нагнало на нее грустное настроение.

– Бедная девочка скучает по дому, – заметила Евдокия Петровна. – Оно и понятно, дома она целый день была бы на воздухе, в лесу, а здесь – точно птичка в клетке.

– Ты ведь сама хотела, чтобы она приехала, – позволил себе заметить Семен Игнатьевич, – и, наверное, не желаешь отпустить ее.

– Конечно, я не желаю, чтобы она уезжала, но смотреть, как бедная девочка томится и грустит – больно!.. Она скучает, потому что не видит ничего, кроме домов нашей улицы, и никуда не может выйти... – добавила она тоном упрека по чьему-то адресу.

– Да оно и лучше, милая Дуня, что она не

слишком много выходит. Совсем другой разговор, если бы ты была здорова и могла выходить вместе с ней.

– Она не видела бы ни одного деревца, – продолжала Евдокия Петровна, не обращая внимания на замечание своего мужа, – если бы я не свела ее на днях в Таврический сад. Таврический сад и лес в Отрадном! Да, тут никакого сравнения быть не может, но все же она увидела зелень, увидела голубое небо. Надо было видеть ее радость...

– Мне тоже жаль ее...

– Тебе жаль ее? Да не ты ли всегда первый против всякого развлечения!

– Из чего это ты заключаешь? Не из того ли, что я не отпустил ее гулять с барышней, с которой она на днях познакомилась?

– Именно!

– Но ведь мы ее совершенно не знаем. Она приходила несколько раз звать Ольгу гулять – вот и все.

– О, нет, она мне обо всем рассказывала. Очень милая барышня эта Софья Антоновна Левицкая.

– Кто же она?

– Ее родители были очень достаточные люди, она сирота, живет у своей тетки, полковницы Усовой, которая очень богата. Она убедительно просила отпускать к ним Олю. Сегодня у них семейный праздник. Надо же доставить девочке удовольствие. Пусть повеселится.

– Но ведь это так далеко... На Васильевском острове и, кроме того, насколько я знаю Олю, она не любит большого общества.

– Вот ты всегда так... Далеко! Что такое далеко? Они поедут на извозчике... Ведь не в лесу, в столице... Через нее и нам честь, а тебе все равно... Как на днях, когда приехала Матильда Францовна Руга, все из окошек высунулись, чтобы на нее посмотреть, а ты стоял, как пень...

– Ее визит относился не к нам.

– Конечно, она приезжала к Оле, чтобы передать ей два билета в театр, но ведь я ее тетка, а ты мне муж, и она живет у нас. Жаль, что у Оли не было туалета, чтобы поехать с нею в театр.

– А я был очень рад этому... Мне было бы очень неудобно сидеть в первых рядах... Мог-

ло случиться, что мой директор сидел бы сзади меня. Нет, Дуня, лучше не в свои сани не садиться! Когда ты поправишься, я охотно возьму вас обеих в театр.

– Ты, кажется, сердисься, что знаменитая Матильда Руга так внимательна и так любит Олю.

– Если хочешь, да.

– Ты дурак.

– Ходят слухи, – продолжал муж, не обратив внимания на привычный для него эпитет со стороны супруги, – что эта певица ведет жизнь далеко не безупречную, и кто знает, что может случиться с Ольгой, если она будет бывать у нее.

В передней раздался звонок, и в комнату впорхнула молодая девушка.

Она приветливо поздоровалась с обоими супругами и бросилась обнимать Ольгу Ивановну.

– Как я рада, что застала вас! Вы не можете представить, как мне хотелось вас видеть.

Она еще раз обняла молодую девушку.

– Но что с вами, вы такая печальная? Случилось что-нибудь?..

– Оно и не удивительно, – пояснила Евдокия Петровна. – Мало того, что девушка скучает до смерти, ее еще срамят...

– Дуня! – остановил ее умоляющим тоном Семен Иванович.

– Значит, скучаете? – спросила Софья Антоновна Левицкая.

– Нет, не скучаю, Софья Антоновна.

– Это нехорошо... вы обещали бросить всякие церемонии и звать меня просто Софи, – перебила ее молодая девушка. – Итак, дальше, милая Оля.

– Ну хорошо, Софи!.. Меня расстроило это письмо...

– Печальные вести из дому? Может быть, там кто-нибудь болен?

– Боже избави от этого... Это письмо от моей подруги, Нади Алфимовой.

– Это дочь банкира?..

– Да... Я ее очень люблю и она меня также...

– Значит, она поверяет вам свои сердечные тайны?..

– Ну да.

– Несчастливая любовь?

– Нет, отец выдает ее замуж за человека, которого она не любит...

– Должно быть, какой-нибудь титулованный голыш, которому нужно ее состояние?..

– Нет, человек этот очень богат, гораздо богаче Нади...

– Вероятно, он необразован, неуч, какой-нибудь купеческий сынок?..

– Нет, нет, – насколько я могу судить, у него прекрасные манеры и он отлично образован.

– Так он урод, или стар?..

Ольга Ивановна грустно улыбнулась.

– Ах, нет! – сказала она. – Он очень красивый молодой: человек. Я никогда не встречала мужчины более красивого, чем граф Вельский.

– Граф Вельский... – повторила Софья Антоновна.

– Вы его знаете? – спросила Ольга Ивановна упавшим голосом.

– Нет! – уверяла ее подруга.

Она покраснела, но не потому, что солгала, а потому, что вспомнила, как он видел недавно бегство ее подруги от полковницы Усовой.

– Я его не знаю! – повторила она. – Но судя по вашему описанию, его можно полюбить, даже не видя.

Ольга Ивановна задумчиво покачала головой.

– Говорят, он большой кутила!

– Что это значит? Он ухаживает за дамами?

– Да.

– Да разве это не его обязанность как кавалера?

– Он играет в карты!

– Играть в карты и на скачках – это благородные страсти. Что еще?

– Я больше ничего не знаю.

– Извините, но в таком случае ваша Алфинова совершенная дурочка. Быть может, она любит другого?

– В том-то и дело, что да...

– Это другое дело... Впрочем, и это дело поправимое...

– Как?

– Она может любить его после свадьбы...

Ольга Ивановна посмотрела на нее широко раскрытыми глазами.

Она не поняла ее.

– Как это так?

Они разговаривали, стоя у окна.

В эту самую минуту к ним подошла Евдокия Петровна.

– Идите в гостиную... Там удобнее... Вы ведь сегодня вечером останетесь у нас? – обратилась она к Левицкой.

– Нет, благодарю вас, никак не могу.

– Почему это?

– Сегодня день рождения моей кузины, и у нас соберется небольшое общество... Тетя поручила мне просить вас отпустить к нам Олю.

Семен Иванович был готов восстать против этого желания, но, вспомнив слезы и «положение» жены, промолчал.

– Я со своей стороны ничего не имею против этого, только бы не сказали, что мы лезем не в свое общество...

– Но я вас очень прошу, Евдокия Петровна.

– Я предоставляю решить это моему мужу.

– Будут мужчины? – спросил Костин.

– Очень немного... Двое моих дядей, мой двоюродный брат, жених моей кузины... Во всяком случае, очень скромное общество, в

этом вы можете быть совершенно спокойны.

– Я уверена, моя милая... – сказала Евдокия Петровна.

Семен Иванович по опыту знал, что когда его жена в чем-нибудь уверена, переубедить ее невозможно, а потому, во избежание новых сцен, не возражал.

Ольга Ивановна пошла вместе со своей подругой в свою комнату одеваться, и менее, чем через час они вышли из дому.

– Пусть повеселится бедняжка! – заметила Костина мужу, глядя в окно за удаляющимися молодыми девушками.

– Ох, не по душе мне эта стрекоза...

– Какая еще?..

– Да вот эта, подруга Оли.

– Ты вечно со своими подозрениями... А по-моему, она премилая и превоспитанная девушка.

– Будь по-твоему... Дай Бог, чтобы не я, а ты оказалась права.

– Ты вечно каркаешь...

– Я знаю лучше жизнь...

– Толкуй там... По-твоему, молодых девушек следовало бы непременно держать в те-

рему...

– Что же, это было лучше, нежели теперь, когда их выпускают на улицу...

– Уж и на улицу... скажешь тоже...

Раздавшийся звонок в передней прервал разговор супругов, грозивший снова обратиться в ссору.

Приехал Алексей Александрович Ястребов, большой приятель и друг Семена Ивановича Костина.

Оба супруга просияли.

Алексей Александрович в их доме, как и всюду, вносил особое оживление и веселость. С ним вместе врывалась в дом, если можно так выразиться, струя клокочущей петербургской жизни.

Он знал все новости минуты и умел их передавать с неподражаемым комизмом и остроумием.

– Алексей! – воскликнул Семен Иванович, бросаясь навстречу гостю.

– Алексей Александрович... – с радостною улыбкой приветствовала его Евдокия Петровна. – Одни?

– Один... Мимоходом... Да она доктор, и

долго с нею не посидишь... Больные одоле-  
ли... Совсем жену отняли... Я вот все к чужим  
и примащиваюсь...

Софья Антоновна и Ольга Ивановна подъ-  
езжали между тем уже к дому полковницы  
Усовой.

На подъезде они столкнулись с Нееловым.

– А, Софья Антоновна! – воскликнул по-  
следний, с любопытством разглядывая ее  
спутницу, которую не узнал в шляпке.

– Не для вас! – тихо шепнула ему Левицкая.

## V

### У полковницы

— А где же очаровательная Ольга Иванов-  
на? – спросил Алексей Александрович  
Ястребов, когда хозяйка, отлучившаяся для  
того, чтобы приказать подавать закуску, воз-  
вратилась в столовую.

– Она поехала со своей подругой к ее тетке.

– А-а... Значит, мы гуляем. К кому же она  
поехала?

– К одной даме, Софья Антоновна называла  
фамилию, но я теперь позабыла, – отвечала

Евдокия Петровна.

– Да откуда же взялась у Ольги Ивановны подруга здесь, в Петербурге? Москвичка, значит?

– Нет, они познакомились в Гостином дворе.

– Ай, ай, ай! Вот так знакомство. Вы здесь на Песках живете, как на добродетельном оазисе среди пустыни беспутства, а за границей благословенных Песков опасно отпускать девушку одну с неизвестной подругой к неизвестной даме. Еще недавно был такой случай, что девушка из очень порядочного дома, познакомившись в Летнем саду с какой-то барышней, была ею через неделю после этого знакомства увезена к полковнице Усовой, и только по счастью бедняжке удалось безнаказанно вырваться из этого вертепа.

– Что?

– Как вы называли фамилию?

Эти вопросы одновременно сделали и муж и жена, побледнев как полотно.

– Полковница Усова, – невозмутимо повторил Алексей Александрович. – Она живет на Васильевском острове и содержит игорный

дом и тайный любовный притон. Там происходят отвратительные оргии. Туда увлекаются легкомысленные девушки и молодые женщины хороших семейств, чтобы удовлетворить своя порочные желания или для приобретения средств. Петербург – это помойная яма, а потому...

Ястребов остановился, так как теперь только заметил состояние своих слушателей.

– Но что с тобой? Ты бледен, как смерть... – обратился он к Костину. – А твоя жена? С нею дурно...

Евдокия Петровна бессильно откинулась на спинку дивана, почти теряя сознание, а Семен Иванович, бледный, как полотно, не обращая внимания на жену, бессмысленно смотрел на Алексея Александровича.

– Если я не ослышался, ты сказал полковница Усова на Васильевском острове?

– Да, но тебе какое дело до всего этого?

– Поедем же, поедем, надо спасти ее! Где живет эта женщина? Васильевский остров велик.

– На Большом проспекте, я знаю.

– Слава Богу!

– Но я ничего не понимаю. Посмотри, что делается с твоей женой, Евдокия Петровна лежит без чувств.

– Не теперь... спешим, а то, пожалуй, будет поздно.

– Что поздно?

– Может быть, Ольга уже погибла.

– Ольга?

– Она у этой женщины. Поедем, нельзя терять ни минуты.

– А что, если в самом деле уже поздно! – воскликнул бледный Ястребов.

Не заботясь о лежавшей в обмороке Евдокии Петровне, оба мужчины быстро оделись и, взяв не торгуясь первого попавшегося извозчика, помчались на Большой проспект Васильевского острова.

Извозчик, вопреки обыкновению петербургских возниц, ехал бодрой рысью, но седокам казалось, что он движется, как черепаха.

Наконец они приехали.

С живостью юнцов соскочили они с пролетки и позвонили у подъезда.

«Дай Бог, чтобы не было поздно...» – подумали оба.

Вечер у полковницы Усовой уже начался.

На этих вечерах собирались почти всегда одни и те же личности.

Если же на них появлялся кто-нибудь посторонний, особенно женщина, то в первое время поведение всего общества изменялось, до тех пор, пока не узнавали, насколько эта новая личность склонна принять участие в удовольствиях кружка и попасть в его распущенный тон.

Так было и в описываемый нами вечер.

И дамы, и кавалеры вели себя безукоризненно сдержано, так как знали от хозяйки, что у нее в этот день будет молодая особа, не имеющая никакого понятия об их удовольствиях.

Каждый раз, как двери залы отворялись, все взгляды обращались на нее, и видя, что входит кто-нибудь из обычных знакомых, с разочарованием отворачивались.

– Но кто же это дивное диво, которое нам сегодня покажут? – спросил барон Гемпель, исподтишка обнимая Марью Павловну и в то же время обмениваясь с Екатериной Семеновной нежными взглядами.

– Это сказочная красавица. Провинциалка. Соня говорит, что она выше всякого описания.

– В таком случае, мы, бедные, сегодня будем все на заднем плане... – заметила одна молоденькая дама, сидевшая рядом с дочерью хозяйки.

– Вы забываете, что это еще совершенно воплощенная невинность, – сказала Капитолина Андреевна, – и что на первый раз старания господ кавалеров едва ли увенчаются успехом.

– Хотя это для нас утешительно... – сказала «генеральша», роскошная красота которой сияла в этот вечер как-то особенно вызывающе.

– Не правда ли, ваше сиятельство, вы предпочитаете открыто и удобно достигаемое наслаждение долгой борьбе из-за какого-то еще не изведенного идеала.

– Разумеется! – подтвердил князь Асланбеков. – Да и кроме того, я убежден, что это хваленое чудо не может иметь такого обаяния, как вы. Что касается меня, то я всегда предпочитаю осязательное идеальному.

– А что скажете на это вы, граф?

Этот вопрос был обращен полушепотом к графу Петру Васильевичу Вельскому, который задумчиво оперся головой на спинку одного из кресел.

В этом кресле сидела молодая женщина.

По временам она оборачивала голову и что-то нежно шептала ему на ухо.

Это была кокетливая, в высшей степени хорошенькая девушка.

Своеобразный акцент ее речи, тип лица, черные блестящие глаза, роскошные черные волосы и очертания пухлых губ – все свидетельствовало о ее французском происхождении.

– Ничего, Люси... – рассеянно ответил граф.

Люси была поистине прелестна, когда, откидываясь назад, небрежно закидывала ногу на ногу, при чем ее стройные формы обрисовывались еще рельефнее.

Вдруг она заложила прекрасную белую руку за затылок, откинула голову еще больше, сверкнула в лицо графа глазами и поцеловала его в губы.

Граф Вельский почти этого не заметил. Девушка порывисто вскочила с кресла.

– Вы сегодня просто невыносимы, граф! Интересно знать, о чем это вы думаете. Вероятно, мечтаете о прелестной незнакомке раньше, чем вам ее показали.

– Ничего подобного, Люси! Не сердись. Я думал совсем о другом, и в моих мыслях не было ожидаемой девушки.

– Вероятно, эта же дума помешала вам быть вчера в Малом театре?

– Нет, я вечер провел у Руга.

– О, этой певице я бы с наслаждением выцарапала глаза. Из-за нее мне пришлось чуть не умереть от скуки. Я ни за что не хотела выходить, пока не приедете вы, и оттягивала с минуты на минуту мой номер, чуть не опоздала. А вы, граф, напрасно не приехали, и именно вчера.

– Почему же это именно вчера?

– А потому, что я в первый раз надела бриллиантовую диадему, которую вы мне подарили. Эффект был поразительный.

Воспоминание о подарке, видимо, примирило ее с графом.

– Хотя вы сегодня и похожи на истукана, но я все-таки еще раз вас поцелую, приедете

завтра в театр?

– Дорогая, за исключением вашего появления, мне надоело все, что там делается.

– Разве можно быть таким пресыщенным? А именно со вчерашнего дня там есть нечто очень интересное.

– Это что же такое?

– Вчера был дебют новой «парижской звезды».

– Ох, уж эти звезды!

– Но эта восхитительно хороша. Я, женщина, влюбилась в нее окончательно.

– И хотите показать мне?

– Да.

– И не ревнуете?

– К ней нельзя.

– Почему это?

– Она любит.

– Она – женщина.

– Она исключение.

– Это любопытно. Как ее фамилия?

– Мадлен де Межен. Так будете завтра?

– Именно завтра никак не могу.

– Почему это? Опять у Руга?

– Нет, завтра приезжает моя невеста. Через

две недели моя свадьба.

Лицо певички вспыхнуло, и только что она хотела выразить свое негодование, как дверь отворилась и в зал вошли граф Стоцкий с Иваном Корнильевичем и Долинским, бывшим здесь в первый раз.

Граф Вельский тотчас же оставил чересчур пылкую Люси и отвел Сигизмунда Владиславовича в оконную нишу.

– Достал ты денег?

– Всего три тысячи.

– Но что же мне с ними делать? Ведь до свадьбы еще две недели. Завтра она приезжает, надо сделать подарок.

– Но, может быть, ты выиграешь сегодня?

– Разумеется, должен выиграть, если не хочу потерять последнее.

– Ну, будем надеяться на лучшее. Однако, присоединимся к обществу. На наш разговор начинают обращать внимание.

Оба новичка чувствовали себя неловко, больше всего смущен был Долинский.

Появление в чужом обществе всегда порождает в человеке чувство застенчивости, и особенно, если об этом обществе у нас зара-

нее составлено дурное мнение.

То же самое ощущал и молодой адвокат, но тем не менее, он скоро нашелся в своем затруднительном положении.

Его внешность расположила к нему всех дам.

Молодая особа, сидевшая рядом с Екатериной Семеновной и выразившая мнение, что сегодня она останется на заднем плане, употребила все свои чары, чтобы овладеть им, но неожиданно встретила соперницу в лице оставленной графом Вельским Люси.

Иван Корнильевич дружески здоровался с приятелями, которые все его приняли очень радушно и этим сгладили неловкость его дебюта.

Его увлекли их удовольствия, о которых он имел понятие только понаслышке, а им как страстным игрокам было очень приятно залучить партнера с такими значительными деньгами.

Чем многочисленнее становилось общество, тем более неловко себя чувствовала Марья Павловна.

– Нельзя ли уйти в другую комнату? – ска-

зала она барону Гемпелю.

– Разумеется, моя прелесть! – отвечал он. – Подождем только обещанное диво. Очень любопытно на него посмотреть.

В синих глазах девушки появилось выражение не то грусти, не то упрека.

Дверь снова отворилась.

Вошел Неелов. Он наскоро поздоровался с обществом и остановился посреди гостиной с таким видом, как будто хотел сообщить что-нибудь очень важное.

– Что с тобой? Что случилось? – посыпались вопросы. Неелов театральным жестом указал на дверь, ведущую в залу.

– Господа! – торжественно проговорил он, – соберите все ваше самообладание!.. Вооружитесь всем вашим мужеством, чтобы иметь силу выдержать лицезрение.

В это время в дверях показалась Софья Антоновна Левицкая под руку с Ольгой Ивановной Хлебниковой.

Появление их произвело, действительно, очень сильное впечатление. Ольга Ивановна была одета просто, даже слишком просто для такого общества.

Но именно эта простота так гармонировала с чистотой всего существа ее и так ярко доказывала, что красота ее не нуждается ни в каких искусственных добавлениях, что в этом обществе не могло не произвести величайшего эффекта.

Навстречу молодым девушкам поднялась с кресла Капитолина Андреевна и, приветливо поздоровавшись с обеими, познакомила Ольгу Ивановну со своей дочерью и усадила ее возле себя.

## VI

### Не опоздал ли?

Очувтившись среди ярко освещенной гостиной, Ольга Ивановна сильно покраснела и смутилась, что еще более увеличило ее обаятельную красоту.

– Боже, да ведь это дочь управляющего Алфимова! – воскликнул барон Гемпель.

Граф Вельский вздрогнул, и Сигизмунд Владиславович к своему величайшему удовольствию заметил, что померкшие глаза его вспыхнули гневом, когда барон направился к

Хлебниковой, чтобы возобновить знакомство, начатое в Отрадном.

– Как она сюда попала? – спросил он у графа Стоцкого почти со злобой.

– Она дружна с Софи. Вероятно, она ее и пригласила, – отвечал тот, равнодушно пожимая плечами.

Шевельнулось ли в сердце этого распущенного человека сознание, что такому чистому ангелу не место в этой смрадной среде? Понял ли он, что было бы преступлением осквернить этот чистый цветок плотскими взорами окружающих?

Он сам не мог себе дать в этом отчета.

Мужчины тотчас же окружили Ольгу Ивановну, и она мгновенно стала средоточием общего внимания.

– Надо избавить ее от этих нахалов!.. – проворчал граф Вельский.

Сигизмунд Владиславович кивнул головой.

Он подошел к Капитолине Андреевне и сказал ей несколько слов.

Та тотчас же увела Ольгу Ивановну под предлогом показать ей залу и другие гости-

ные.

Екатерина Семеновна и Софи пошли за нами.

Мужчины остались этим, конечно, недовольны, но скоро утешились надеждой еще успеть пригласить ее на один из танцев до начала бала.

– У меня так нехорошо на душе!.. – печально и нежно говорила Марья Павловна барону Гемпелю. – И общество здесь такое несимпатичное. Уйдем куда-нибудь, мне так многое хочется сказать вам...

– Не теперь, Муся, – ответил он холодно.

– Но ведь вы же обещали...

– Перестань же, Муся!.. Потом...

– Но ведь вы же знаете, что я не могу оставаться поздно...

– Ну, так в другой раз... Теперь я не расположен слушать... И куда это запропастилась наша чаровница?..

– Значит, вы меня больше не любите?

– Ну, пошло, поехало! Разумеется, люблю! Только мы поговорим о нашей любви в другой раз. Я только пойду посмотрю, где она... А вы поболтайте пока с другими, я против этого

ничего не имею.

На глазах девушки навернулись слезы.

Она отдала ему все свое сердце, пожертвовала для него всем, любила его со всем пылом первой страсти, а он...

Между тем Ольга Ивановна сидела с полковницей, ее дочерью и Софи в зеленом будуаре, куда им подали роскошный десерт.

Граф Стоцкий старался удалить мужчин, которые стремились туда же, и сумел устроить так, что граф Вельский попал в зеленый будуар первый и сел возле Хлебниковой.

Когда вошли остальные, желанное место было уже занято. Все они знали хорошо правила этого дома, где один не имел права мешать tete-a-tete другому с избранной дамой, а потому скоро разошлись.

Графу Петру Васильевичу легко было завести с Ольгой душевный разговор.

Он говорил с нею об Отрадном, о ее отце и матери и своей невесте.

О последней он отзывался с величайшей почтительностью, мечтал о том, как он окружит ее всеми радостями жизни. Это скоро расположило молодую девушку в его пользу.

«Какой он хороший!» – думала она.

Из залы донеслись первые звуки вальса. Софи и Екатерина Семеновна поспешили туда.

– Вы не танцуете? – спросил граф Вельский.

– Нет, – ответила Хлебникова. – Я вообще не люблю танцевать, а сегодня и одета не по-бальному... Софи схитрила и не сказала мне, что здесь будут танцевать. А вы?

– Я охладел ко всем удовольствиям, – ответил граф, лениво покачиваясь в кресле, – и танцую только при крайней необходимости... А вот если позволите мне остаться здесь и поболтать с вами, то я проведу время в тысячу раз приятнее.

– Давайте болтать.

– Вы часто пишете Надежде Корнильевне?

– Да, и получаю от нее длинные письма.

– Писала она вам обо мне?

Ольга Ивановна кивнула головой.

– Я боюсь, что она не радуется близости своей свадьбы, как радуются другие невесты, – сказал он. – Я никак не могу отделаться от мысли, что она меня не любит.

– Может быть, до нее дошли о вас ложные слухи... – мягко заметила Ольга Ивановна.

– Вы правы! – воскликнул граф, – О, Ольга Ивановна, вы себе представить не можете, как тяжело быть не понятым там, откуда ожидаешь счастья своей жизни. Может быть, небо поставило вас на моем пути как ангела света, которому суждено водворить мир в душе моей невесты, а мне даровать величайшее земное счастье.

Капитолина Андреевна вдруг вспомнила, что не сделала каких-то распоряжений, и ушла. Молодые люди остались одни.

– Да как же я могу это сделать?

– Я знаю, что моя невеста дорожит вашим мнением, И вот, именно ради того, чтобы быть достойным вашего участия, я И хочу, чтобы вы поняли меня совершенно. Я знаю, что меня называют человеком безнравственным, и признаюсь, что вел жизнь пустую и распущенную, но я уже несколько раз пытался изменить ее. Вот и теперь я имею это же намерение.

«Как это с его стороны благородно!» – подумала молодая девушка.

– Я любил несколько раз, любил страстно, безумно. Не одни горячие губы целовали меня, не одни нежные руки обвивались вокруг моей шеи, но все эти любовные приключения удовлетворяли только мое сластолюбие и ни одно из них не затронуло моего сердца. Ни одна женщина не привязала меня к себе надолго, и даже в минуты самых страстных порывов я чувствовал, что в душе моей холодно и пусто. Напрасно старались друзья пробудить во мне чувства, и только тогда, когда я увидел Надю, я ощутил то духовное удовлетворение, тот внешний покой, которого я искал так долго и так напрасно. Когда я получил ее согласие, я сам возвысился в своих собственных глазах и ощутил прилив бесконечного счастья.

«Как счастлива женщина, которую он любит так страстно и свято!» – неслось в голове Ольги Ивановны.

– Эта любовь, – продолжал граф, – не так жгуча, как прежние мои увлечения, которые сжигали сами себя, но тем она глубже, прочнее, и я понял, что она овладела моим сердцем на всю жизнь.

«Бедняжка, – думала молодая девушка, – каково ему знать, что она его не любит».

Она чувствовала к графу искреннее сострадание.

– Я начал ощущать отвращение к жизни, которую вел до сих пор, – снова заговорил граф Вельский. – За мою бытность в Отрадном я понял, что только любовь, чистая, святая любовь может обуздать и исправить меня. Я увидел вас, Ольга Ивановна, и в чистом зеркале вашей души передо мною отразилось все мое нравственное безобразие!

Он тяжело вздохнул.

– О, если бы Надя стала моей женой, а вы подругой, всегда готовой принять участие в моей судьбе, как был бы я счастлив! Оставайтесь для меня, Ольга Ивановна, на всю жизнь ангелом света, охраняющим мир в моей душе.

– Чем же я могу содействовать вашему счастью, граф?

– Очень многим! Всем! С той минуты, как я вас увидел, меня охватило чувство, которого я не испытывал никогда. Даже образ Нади отошел от меня на второй план и утонул в сия-

нии вашей чистоты! Если она не хочет спасти меня, сделайте это вы. Для вас это возможно. Полюбить меня вы не можете, так будьте мне хоть другом.

Сердце молодой девушки порывисто билось. «Да, я буду его другом, – думала она. – Надя не полюбит его и мира душевного ему не даст... Так сделаю это я...» Граф Петр Васильевич взял ее между тем за руки. Кровь бросилась ей в голову.

– Так вы будете моим ангелом? – нежно шептал он.

Она была не в силах произнести ни одного слова. Он осторожно обнял ее.

– Одно короткое «да» сделает меня счастливым и хорошим человеком! – с любовью в голосе настаивал он.

В душе молодой девушки происходила еще неизведанная ею борьба.

Не было ли все это происходящее теперь преступлением против ее лучшего друга.

Но ведь Надя не любила его, а разве можно человека оставлять несчастным?

Разве на обязанности друга не лежит подготовить между молодыми хотя бы согласия.

Она невольно поддадалась охватившему ее волнению, медленно склонила голову на грудь и дрожащими губами беззвучно вымолвила:

– Да!

– О, благодарю, благодарю вас!.. – воскликнул граф, протягивая к ней обе руки.

Но в будуар вдруг донесся какой-то странный шум – слышались тревожные голоса, какая-то возня.

– Ах, пожалуйста, не уводите ее! – звучал голос полковницы Усовой. – Бал только что начался, пусть она хоть часик украсит его своим присутствием. Не угодно ли вам посидеть с нами и выпить стаканчик вина?

– Ни за что я этого не позволю... – отчеканил мужской голос, по которому Ольга Ивановна тотчас узнала дядю Семена Ивановича. – Она и попала сюда по ошибке... Потрудитесь позвать ее сюда, а если вы этого не сделаете, то я...

Этот голос сбросил девушку с небес счастья на землю скучной действительности.

Она, однако, тотчас выбежала к дяде.

– Что с вами? Что случилось? – спросила

она.

Семен Иванович был один, Алексей Александрович, впус­тив его в подъезд, остался дожидаться на улице возвращения овечки из стада козлов, как он выразился на своем своеобразном языке.

– Меня там все знают... – уклончиво отвечал он на вопросы Костина, почему он отказывается его сопровождать.

– Пойдем скорей... Тебе не следует оставаться в настоящем доме ни минуты, – задыхаясь от волнения, говорил Ольге Ивановне Семен Иванович.

– Да отчего же? Почему ты так спешишь?

– Дай Бог, чтобы я не опоздал только! Идем скорее!

Ольга Ивановна удивленно и досадливо покачала головой, но беспрекословно последовала за взволнованным дядей.

– Ну, что? – встретил их у подъезда Ястребов.

– Вот она... Вызволил... Кажется, не опоздал.

– Конечно же... Это не так скоро делается, – заметил Алексей Александрович.

Молодая девушка смотрела на них обоих с нескрываемым недоумением.

Семен Иванович с племянницею сели на извозчика.

– А я домой! – сказал Ястребов.

– Заходи! – крикнул ему Костин, когда извозчик уже тронул свою лошадь.

Когда они очутились дома, Ольгу со слезами обняла Евдокия Петровна и сквозь рыдания спросила мужа:

– Ты не опоздал?

– Не знаю.

– Ну, хоть ты, Ольга, скажи мне – он не опоздал?

Молодая девушка не понимала до сих пор поведения ее дяди, а вопрос тетки окончательно озадачил и рассердил ее.

– Не понимаю, чего вы от меня хотите, – с досадой отвечала она. – Я могу вам только сказать, что дядя не только не опоздал, а приехал еще слишком рано. Вовсе не для чего было пороть такую горячку.

– Ты не опоздал... – сквозь слезы улыбнулась мужу Евдокия Петровна.

## VII

### Финансовый гений

Корнилий Потапович Алфимов имел много причин желать брака своей дочери с графом Петром Васильевичем Вельским.

Три из них, как мы знаем, он высказал Надежде Корнильевне.

Это были: во-первых, данное им молодому графу согласие; во-вторых, желание этого брака со стороны отца Петра Васильевича графа Василия Сергеевича, и, в-третьих, намерение самому жениться.

– Есть еще причины, но я тебе их не могу сказать... – сказал Алфимов во время беседы со своей дочерью в Отрадном.

Он скрыл их от молодой девушки не потому, что ему неловко было открыть их, а потому, что он не считал их доступными ее женскому пониманию.

Эти причины были деловые.

Граф Василий Сергеевич Вельский был одним из богатейших вельмож в Петербурге. Его состояние давало более полумиллиона го-

дового дохода, и единственный сын его Петр, имевший отдельное громадное состояние от своей матери, был наследник всех этих несметных богатств.

Вступив прямо из низка трактира на Невском проспекте в величественное здание петербургской биржи, Корнилий Потапович вскоре и там совершенно освоился и получил вес и значение в качестве крупного денежного туза, на что ему давали право его состояние и престиж гениального финансиста, счастливо производящего самые сложные биржевые спекуляции.

На бирже и в банках счастье – рычаг всего: счастливого биржевого дельца, банкира возводят на пьедестал, ему оказывают почти царские почести, звон золота, сопровождающий его удачные сделки и спекуляции, придает им характер подвигов, и он сам в глазах большинства является каким-то магом и волшебником, вызывающим поклонение. Все спешат вверить ему свои сбережения, все кричат о его классической честности и ждут как милости, чтобы он соблаговолил взять в свое распоряжение их капиталы, большие и

малые, доставшиеся им по наследству или нажитые упорным трудом... С поклоном отдают ему их и с замиранием сердца боятся услышать отказ от их собственных денег.

Но повернись хотя на некоторое непродолжительное время счастье спиной к такому дельцу, и картина меняется как бы по мановению волшебного жезла.

Та же толпа, с кровожадностью римлян в эпоху падения империи, стекавшихся в амфитеатры любоваться боями гладиаторов с дикими зверями, бежит в зал суда, где ее вчерашний герой, ныне развенчанный в подсудимые, дает отчет в употреблении чужих капиталов, погибших зачастую вместе с собственными при одном неблагоприятном обороте колеса фортуны.

Те самые люди, которые чуть ли не коленапреклонно подносили «счастливому дельцу» свои капиталы, прося как милости взять их в свое распоряжение, с нескрываемым негодованием в качестве свидетелей-потерпевших отзываются о своем вчерашнем благодетеле и кормильце.

Бесстрашный представитель обвинения,

опираясь на текст статей закона, нарушенных подсудимым, требует его обвинения, а следовательно, и соединенного с ним изгнания из того общества, которое еще вчера чуть не носило его на руках и не целовало следов от его ног, обутых в щегольские ботинки.

Защитник, купленный зачастую ценой последних крох состояния прогоревшего дельца, говорит громкие высокопарные фразы о превратности человеческой судьбы, о законности сделок, совершенных обвиняемым, призывает в свидетели о его безукоризненной честности лиц, сохранивших в своих сердцах чувство приязни к подсудимому, или в своих карманах барыши от счастливо ранее произведенных им операций.

Но потерпевшие громко взывают о возмездии, и возмездие совершается.

Неумолимый закон подводит деяния «несчастливого спекулянта» под текст бездушной статьи, и он становится отщепенцем, отверженным.

Правосудие совершилось.

Общество, падкое до наживы, сбегает на звон золота охотнее, нежели на звон цер-

КОВНЫХ колоколов, само порождает таких «дельцов» и, смотря по удаче последних, или молится на них, или же топчет ногами в зверском озлоблении.

Удачная операция, а тем более ряд таких операций, кружат головы, и в руки счастливого дельца стекаются громадные суммы, приносимые добровольно, чуть не с мольбою.

Группа дельцов, образовавших банки, выдает громадные дивиденды, а кассы банков еле вмещают приливающие в них капиталы.

Владельцы этих капиталов, конечно, хорошо знают, что банк спекулирует их достоянием, но пока эта спекуляция дает барыш, пока «заправила банка умело ведут дела», как выражаются капиталисты, они имеют от всех почет и поклон.

Но перефразируем слова Суворова: «Сегодня уменье, завтра уменье, необходимо и счастье». И вот когда это счастье отвернется от «опытного дельца» или целой компании дельцов – банка – то является преступление, а вместо поклона и почета – жалоба прокурорскому надзору и обвинение с пеной у рта в присвоении и растрате.

Одним из таких крупных финансовых гениев считался в описываемое нами время Корнилий Потапович Алфимов, а самым ярым его поклонником и дифирамбистом был граф Василий Сергеевич Вельский.

– Все состояние мое отдам ему без расписки и буду жить спокойно!.. – говаривал он, когда заходила речь о деловых качествах Алфимова.

Без расписки хотя старый граф Вельский денег и не давал, но в обороте Алфимова имелись большие суммы, принадлежавшие графу Василию Сергеевичу.

Весьма естественно, что скрепление уз доверия, которые были между Корнилием Потаповичем Алфимовым и графом Василием Сергеевичем Вельским узами родства было очень желательно для первого и небезвыгодно для второго, надеявшегося, что Алфимов в качестве родственника еще более будет заботиться о приращении его капиталов.

Состояние молодого графа, во владение которым он вступал в случае женитьбы до тридцатилетнего возраста также входило в деловые расчеты старика Алфимова, не знавшего,

что на это состояние уже начата атака таких если не сильных, но зато искусных противников, как Матильда Руга и граф Стоцкий.

Все это вместе взятое делало то, что Корнилий Потапович не только настаивал на свадьбе, но и торопился с нею.

К чести отца Надежды Корнильевны или, лучше сказать, мужа ее покойной матери, он был далек от мысли быть относительно ее жестоким.

Он был искренно убежден, что граф Петр Васильевич Вельский – блестящая партия для молодой девушки ее круга, и все общество соглашалось с ним.

Любовь же молодой девушки к другу ее детства он находил, опять же убежденно – гибельною для нее блажью.

## VIII

### Командировка

Предметом «блажи» Надежды Корнильевны, как называл старик Алфимов чувство своей дочери, был сын отца Иосифа – Федор Осипович Неволин.

В год смерти матери Алфимовой он окончил курс Московского университета по медицинскому факультету и пристроился ординатором к одной из московских больниц.

Во время прохождения курса сперва в Московской семинарии, а затем в университете, он как сын священника села Отрадного был принят в доме Алфимовой, а летом, во время каникул, проводил несколько месяцев в Отрадном, и тогда «удалая тройка», как прозвали на селе Надю Алфимову, Олю Хлебникову и Федю Неволина, не расставалась.

В раннем детском возрасте они вместе играли и резвились, с годами стали степенно ходить по грибы, удить рыбу и читать, словом, долгие годы молодые люди не расставались.

По странному, детскому инстинкту Федя был дружен с Олей Хлебниковой и несколько сторонился и даже дичился Нади, которая платила своему товарищу тою же монетою.

Это было в раннем детстве.

С годами отношения их стали ровнее, но все же и тогда Федя, став Федором Осиповичем, был откровеннее и задушевнее с Ольгой Ивановной, чем с Надеждой Корнильевной, тоже из девочек обратившихся в барышень.

Оказалось между тем, что сердца Неволина и Алфимовой давно тяготели друг к другу, и их сдержанность и отчуждение друг от друга происходило именно от этого чувства взаимного притяжения, ими ранее не понятого.

Отношение товарищей было для них невыносимо, так как оно не только не удовлетворяло их сердечных влечений, но даже при попытках подобного сближения оба они ощущали какую-то тоже непонятную для них неловкость, доходящую до сердечной боли.

Им порознь случайной шуткой открыла глаза на их отношения Ольга Ивановна.

– Вы так смотрите друг на друга, – сказала она, – что будто смерть друг в друга влюбле-

ны и даже сами себе боитесь сознаться в этом, – сказала она им во время одной из прогулок.

Надежда Корнильевна и Федор Осипович оба как-то инстинктивно взглянули друг на друга и оба покраснели.

– Bravo, bravo, угадала! – захопала в ладоши Хлебникова, следившая за впечатлением, которое произведут на ее товарищью ее слова.

– Какие ты говоришь глупости! – с дрожью в голосе, после некоторой паузы, заметила Алфимова.

Неволин промолчал.

Прогулка продолжалась, но уже встречающиеся взгляды Надежды Корнильевны и Федора Осиповича без слов говорили о их взаимной любви.

Им вдруг стало легче на сердце, они открыли его друг другу, хотя Алфимова была права, сказав отцу, что они ни разу не говорили о любви.

Они поняли друг друга без слов, да слова им были и не нужны.

В год смерти матери Надежды Корнильевны, когда стало известно, что она с братом пе-

реезжает к отцу в Петербург, Федор Осипович в одно из посещений дома Алфимовых сказал, что он подал прошение о переводе в одну из петербургских больниц.

– И это скоро может устроиться? – спросила Надежда Корнильевна.

Ее не поразило решение молодого доктора, прекрасно поставившего себя в московской больнице и даже приобретшего в первопрестольной столице довольно порядочную практику.

Она, видимо, заранее была твердо уверена в том, что Федор Осипович будет там, где будет она.

Разве могли они жить в разных городах?

Она покидает Москву не по своей воле, значит, он должен следовать за ней.

После переезда в Петербург Федор Осипович сохранил отношения с молодыми Алфимовыми и бывал в доме Корнилия Потаповича в качестве товарища и приятеля Ивана Корнильевича.

О нежных чувствах между «поповым сыном», как называл Неволина старик Алфимов, и Надеждой Корнилий Потапович толь-

ко догадывался, не придавая им особого значения, и только лишь при возникшем в его уме проекте брака между его дочерью и графом Вельским стал иногда косо поглядывать на молодых людей.

Старик стал присматриваться к этим отношениям, и результатом этого наблюдения было то, что молодой доктор уехал на продолжительное время за границу.

Это было сделано с присущим Корнилию Потаповичу умением.

Об этом умении устраивать дела, как и о необычайной аккуратности и знании людей Алфимовым ходило по Петербургу много рассказов и анекдотов.

Один из них был очень характерен.

Молодой, богатый представитель великосветского Петербурга, находясь временно в затруднительных обстоятельствах, обратился к Корнилию Потаповичу с просьбой ссудить ему под вексель пять тысяч рублей.

Алфимов согласился и назначил день выдачи денег у себя на дому.

Молодой человек приехал в назначенный час, привез вексель и передал его Корнилию

Потаповичу в обмен на пять пачек радужных.

Получив деньги, он небрежно, не считая, сунул их в карман.

– Позвольте, – заметил ему Алфимов, держа вексель в руках, – я, кажется, ошибся в счете, позвольте мне пересмотреть пачки.

Тот предусмотрительно выгрузил их из своих карманов.

Корнилий Потапович взял их, тщательно пересчитал и, открыл стоявший у письменного стола несгораемый шкаф, спокойно положил их обратно в него и запер.

Молодой человек с удивлением смотрел на своего кредитора.

– Извольте обратно ваш вексель... – голосом, в котором слышались стальные ноты, сказал Корнилий Потапович, – денег я вам дать не могу.

– Почему же? – дрожащим голосом, с широко открытыми глазами, спросил молодой человек.

– Тот, кто не считает получаемые деньги, не может заслуживать доверия.

– Вы шутите...

– Нет, я говорю совершенно серьезно... Я не

могу вести дело с человеком, которого можно обмануть. Я убежден, что он тоже может обмануть.

– Милостивый государь!

– Я не сказал вам лично ничего обидного – это моя мысль вообще.

И никакие просьбы не помогли.

Денег Алфимов из несгораемого шкафа не вынул.

Молодой человек уехал без денег и, конечно, в первое время был страшно взбешен на «петербургского Шейлока», как даже прозвал Корнилия Потаповича, и рассказывал этот случай своим приятелям с пеной у рта.

Вскоре, впрочем, когда время безденежья прошло, он стал признаваться, что Алфимов дал ему хороший жизненный урок.

Таков был Корнилий Потапович – не человек, а кремьень.

Кремнем он был и в достижении намеченной цели. Он никогда не действовал лицом к лицу, а умел всегда заставить другого исполнить его волю.

Ему надо было, чтобы Неволин уехал из Петербурга, и он уехал.

Случилось это таким образом.

В один прекрасный день младший ординатор был неожиданно вызван к своему главному начальнику, заслуженному профессору, знаменитости медицинского мира, власти имущей особе.

Знаменитый доктор предложил ему сопровождать за границу одну из его пациенток.

— Я выбрал вас потому, что полагаюсь на ваши знания, на то, что вы сумеете последовать моим советам.

Эти слова в устах знаменитости были высшей похвалой молодому врачу.

Федор Осипович почтительно поклонился.

Польщенное самолюбие не допустило даже появиться в его уме мысли, откуда знаменитость, видевшая его в первый раз в жизни, получила сведение о его знаниях.

Условия оказались блестящими, особенно в положении Неволлина, практика которого в новом городе шла более, чем туго, и ему приходилось перебиваться на скудное ординаторское жалованье.

— Место останется за вами, содержание сохранится, ваша поездка будет считаться ко-

мандировкой... Вы даже получите прогоны и подъемные... – продолжала рисовать «особа» картину его будущего благополучия.

Отказаться было немыслимо. При исполнении желания «его высокопревосходительства» карьера была обеспечена, при отказе она окончательно рушилась в Петербурге, а может быть, и повсюду.

«Разлука с Надей, но эта жертва для нее, для будущего... Положим, она богата, но деньги не все, положение мужа также имеет не малое значение...»

Все это пронеслось в голове Неволина.

– Долгое время, ваше высокопревосходительство, продолжится эта моя миссия? – спросил он дрогнувшим голосом.

– Не менее года, а быть может, и более, – чуть заметной улыбкой ответила особа. – Впрочем, это будет зависеть от обстоятельств, от хода болезни, вы сами понимаете...

Федор Осипович снова поклонился.

– Через неделю вы можете ехать, а сегодня в шесть часов будьте у меня, я вас сам отвезу и представлю больной... Ваши бумаги будут готовы в конторе больницы на этих днях.

«Особа» кивнула головой в знак того, что аудиенция кончена. Федор Осипович встал и откланялся. «Особа» подала ему руку.

Неволин спускался по роскошно устланной ковром лестнице квартиры «особы» в каком-то угаре. Горечь предстоящей разлуки с Надей стусhevывалась открывающейся перед ним светлой будущностью в случае удачного выполнения поручения «знаменитости».

Какие широкие, и научные, и жизненные, горизонты открывались перед ним! Положение, известность, обширная практика, уважение, почет – все это являлось равным миллиону, обладательницей которого была Надежда Корнильевна Алфимова, и который не радовал, а скорее смущал любящее сердце идеалиста Федора Осиповича.

Ему казалось, что этот миллион является пропастью, отделяющей его, бедняка-труженника, от богатой невесты.

Он нашел теперь возможность выстроить собственными руками, при улыбнувшейся ему судьбе, мост через эту пропасть.

Знакомство с больной, важной барыней, состоялось, бумаги были действительно гото-

вы с почти невероятною для канцелярий быстротою, и Неволин зашел к Алфимовым сообщить об отъезде и проститься.

– Рад, очень рад, – потирая руки, сказал Корнилий Потапович, и даже, что за последнее время почти не случалось, оставил молодого доктора обедать, а сам уехал с визитами.

– Счастливец, – сказал Иван Корнильевич. – Мне давно очень хочется за границу. Но отец не пускает, в конторе так много дел...

Он сделал кислую улыбку при воспоминании об этих делах.

Надежда Корнильевна была деланно весела. Видно было, что известие об отъезде Неволина произвело на нее сильное впечатление.

Улучив несколько минут и оставшись вдвоем с молодой девушкой, Неволин объяснил ей невозможность отказаться от предложенной поездки, свои виды на нее, свои планы на будущее и снова, хотя между ними не было сказано ни слова о любви, о браке. Она поняла, что он это делает для нее, что они связаны навеки, а он понял, что понят ею.

– Могу я писать вам?

– Да... Нет...

– Как же это понять, да или нет? Я думал, что мы будем переписываться...

– Я буду писать...

– А мне нельзя?..

– Нет... Пишите, но не на мое имя...

– На чье же?

– Адресуйте Наташе... Наталье Ивановне Моничевой... Она мне очень предана.

Молодая девушка покраснела.

Это согласие было равносильно признанию.

Он поклонился и нежно поцеловал ее руку.

В это время вошел Иван Корнильевич, бывший дома, и *tete-a-tete* был разрушен.

Вернувшийся к обеду, Корнилий Потапович был очень весел и смеялся, что случалось с ним не часто.

За обедом он велел подать шампанского и предложил тост за здоровье отъезжающего друга и за его благополучное и успешное путешествие.

Доверчивый Федор Осипович искренно благодарил старика за любовь и ласку, не подозревая, что тот празднует счастливо удав-

шеяся удаление препятствия к браку его дочери с графом Вельским.

## IX

### Между двух огней

Каждое утро у жены коммерции советника Селезнева – Екатерины Николаевны – собиралось небольшое дамское общество, состоявшее из дам высшего круга, с которым и хозяйка была связана по своему рождению как княжна Холмина.

Род князей Холминых обеднел, и дочь последнего, некогда богатого отпрыска этого рода, вышла замуж за богатого купца Аркадия Семеновича Селезнева, несколько утешенная выхлопотанным ее родственниками молодому коммерсанту чином коммерции советника.

Богатство мужа давало Екатерине Николаевне возможность заседать в качестве желанного члена и щедрой благотворительницы в разных благотворительных дамских комитетах и таким образом продолжать связи с «обществом», как она называла высший круг.

Дом свой она поставила тоже на аристократическую ногу, и швейцар в их доме – особняке по Фурштадтской улице – был одет в какую-то фантастическую ливрею.

Дамы охотно собирались на чашку чая к радушной хозяйке, великодушно, как она выражалась, принесшей в жертву свой княжеский герб возможности делать добро ближним при помощи средств своего мужа.

– Притом, этот брак по любви... – замечали защитницы неравного брака княжны Холминой, – а любовь извиняет все.

Аркадий Семенович был действительно без ума влюблен в Екатерину Николаевну, не только когда она была невестой, но и первые годы после свадьбы, и этим дал возможность молодой властной женщине совершенно забрать себя в руки.

Екатерина Николаевна тоже по-своему любила мужа, но считала, что принесенная ею жертва в виде герба – она забывала о получаемых ею широких средствах к жизни – обязывала его к полнейшему повиновению ей, пожертвовавшей для него родовыми традициями.

С годами Аркадий Семенович, добрейший, честнейший и умный чиновник, привык глядеть на все глазами своей жены, там где она этого хотела и находила нужным.

Милая беседа дам, состоявшая из сплетен и пересудов, была в полном разгаре, когда лакей доложил о приезде докторши Ястребовой с молодой барышней.

– Проси обеих! – сказала Екатерина Николаевна. – Это новая компаньонка, которую мне рекомендует наша постоянная докторша... – пояснила она, обращаясь к дамам. – Люба доставляет мне много хлопот.

– В каком отношении? – полюбопытствовали дамы.

– У нее вкусы относительно выбора мужа такие странные, плебейские! – с презрительной улыбкой сказала хозяйка. – Конечно, она унаследовала их не от меня. Ей уже многие делали предложения, граф Вельский, например.

– Молодой?

– Нет, отец...

– А... И что же Люба?

– Упрямится... А партия прекрасная...

– О, да, конечно, и притом он еще очень бодр...

– Еще бы, граф Василий Сергеевич совсем молодец, но тут вмешался некий Неелов, мы ему уже отказали, но это не привело ни к чему... Он разгоняет всех других женихов... Он говорит, что убьет всякого, кто решится жениться на Любе...

На лицах дам выразился ужас.

– Он распространяет это через своих друзей, сам оставаясь весьма корректным относительно нашего дома, в котором и после отказа продолжает изредка бывать как товарищ Сергея, так что мы бессильны принять против него какие-либо меры.

– А ваша дочь его любит?..

– Не думаю, она встретила наш отказ равнодушно... Она, кажется, еще никого не любит... Единственно, кто мне внушает опасения, это один молодой адвокат, Долинский, но и он теперь почти у нас не бывает.

– Ах, Долинский! О нем говорит весь Петербург после защиты Алферова как о талантливом адвокате.

– Он самый...

– Боже, как можно снизойти до такого выбора! – воскликнула одна из дам.

– Но, говорят, он очень достойный человек и очень умный, – осмелилась заметить другая дама.

– Достойный, умный!.. Что все это значит?.. Он беден.

– Для адвоката это вопрос короткого времени...

Вошла Зиновия Николаевна с Елизаветой Петровной Дубянской. Все взоры с любопытством обратились на них.

– Очень рада, дорогая Зиновия Николаевна, вас видеть. Представьте мне вашу протезе.

Ястребова назвала имя, отчество и фамилию Дубянской. Екатерина Николаевна попросила обеих сестер и стала подробно расспрашивать Дубянскую обо всех обстоятельствах ее жизни. По-видимому, она осталась довольна ее ответами.

– Вы мне очень нравитесь, m-lle Дубянская. Ваши взгляды на жизнь, на обязанности детей так сходятся с моими, что от вас вполне будет зависеть как можно долее остаться в

нашем доме.

– Благодарю вас за ваши слова, я обещаю исполнять свои обязанности так, чтобы вы остались довольны мною.

В то время, когда этот разговор происходил в гостиной, Аркадий Семенович Селезнев сидел в столовой на качалке и читал газету.

– Здравствуй, папа, – тихо сказала Любовь Аркадьевна, проходя мимо.

– Люба, ты куда спешишь? Разве так здороваются с отцом? Подойди, поцелуй меня, моя девочка.

Молодая девушка молча повиновалась.

– Что с тобой, моя дорогая? – продолжал он. – Я с некоторых пор замечаю, что ты что-то скрываешь. Будь откровенна, дитя мое, я люблю тебя и всегда рад тебе помочь.

Он обнял ее и посадил на колени, нежно лаская ее белокурую головку.

– Я понимаю, что ты скрываешь от матери, которая не одобряет твоих симпатий. Она и теперь осудила бы тебя за то, что ты сидишь у меня на коленях. Ну, да ничего. Ты для меня то же любимое дитя, которое десять-двенадцать лет тому назад я носил на руках. Но то-

гда твое сердце принадлежало только мне, а теперь...

Она с мольбой подняла на него свои темно-голубые, полные слез глаза и, кажется, готова была признаться во всем, если бы в эту минуту не вошла Ястребова с Елизаветой Петровной. Аркадий Семенович спустил дочь с колен и поспешил навстречу вошедшим.

– Я пришла представить вам и вашей дочери Елизавету Петровну Дубянскую, – сказала Зиновия Николаевна. – Дай Бог, чтобы она нашла в вашем доме защиту и сочувствие, в которых она так нуждается, со своей же стороны она постарается заслужить вашу общую любовь исполнением своих обязанностей.

Аркадий Семенович без всяких церемоний протянул руку молодой девушке и ласково сказал:

– Я уже вас знаю по слухам... Читал ваш процесс. Как я глубоко сочувствую вам... Насколько будет возможно, постараемся, чтобы у нас было вам хорошо. Но, Зиновия Николаевна, каков наш Долинский? Этот процесс сделал сразу ему имя.

– Да, действительно, он говорил очень хо-

рошо и основательно изучил дело. Я ему устроила на днях еще одно очень громкое дело.

– Вы?!

– Да, я...

– Каким образом?

– Он будет защищать Савина!

– Это того претендента на болгарский престол? Но неужели и его оправдают?

– По тем делам, в которых его обвиняют здесь, в России, его должны оправдать. Он в них неповинен.

– Да, несомненно, это будет громкое дело.

– Только по имени подсудимого.

– А вы почему знаете?

– Я сирота и росла и воспитывалась в доме его родителей.

– А... Говорят, он красив?

– Очень.

– Ну, исполать[1] вам, что заботитесь о нашем Сергее Павловиче, он друг моего сына, друг нашего дома, а мое желание, чтобы он стал еще ближе.

При этих словах он любовно посмотрел на дочь, ясно давая понять, на что он намекает.

Елизавета Петровна поняла, что будет в этом доме между двух огней: чего не желала жена, то было желанием мужа.

Насколько дружелюбно встретил новую компаньонку своей дочери Селезнев, настолько холодно отнеслась к ней Любовь Аркадьевна.

«Это чтобы следить за мной, – неслось в ее головке. – Боже, они сами меня толкают на тот шаг, которого требует Владимир и на который я все еще не решаюсь».

Она воспользовалась первым удобным случаем, чтобы уйти.

В коридоре горничная сунула ей в руку записку.

Войдя к себе в комнату, Любовь Аркадьевна развернула ее.

«Сегодня в три часа жду тебя на Литейной. Маша проводит тебя и подождет твоего возвращения. Сегодня или никогда!

*Владимир».*

Любовь Аркадьевна машинально взглянула на часы, стоявшие на камине в ее будуаре, отделанном с причудливою роскошью.

Часы показывали два.

Еще целый час на размышление: идти или не идти на это первое свидание, которого он домогается уже столько времени. Молодая девушка опустилась на кушетку и задумалась.

Через час, однако, когда ее мать беседовала с новою компаньонкою об обязанностях последней относительно Любви Аркадьевны, она незаметно оделась и в сопровождении горничной вышла из дому.

На углу Литейной и Фурштадтской стояла карета с опущенными шторами, а по тротуару ходил нервной походкой ожидающего — Неелов.

## Х

### Падение

— Пришла, пришла, дорогая, милая... — страстным шепотом произнес Владимир Игнатьевич, приблизившись к Любовью Аркадьевне и бросив выразительный взгляд на Машу.

Та быстро перебежала улицу и скрылась. Селезнева и Неелов остались одни.

— А Маша, где же Маша? — торопливо стала озираться молодая девушка, в первый раз в жизни оставшаяся на улице без провожатого.

— Маша будет здесь, на этом самом месте, через два часа, дорогая моя.

— Через два часа? Зачем?.. — упавшим голосом спросила Любовь Аркадьевна.

— Разве тебе не приятно провести их со мной?

— С тобой, где...

— Поверь, что там, где нас никто не увидит и где ты будешь в безопасности, под моей защитой. Ты не веришь мне? Тогда вернись домой, я сам провожу тебя и прощусь... навсегда.

Гда.

– Владимир!..

– Недоверие доказывает, что ты меня не любишь. А недоверие к будущему мужу доказывает, что ты его не уважаешь.

– Владимир!

– Вот карета. Позволь мне тебя посадить в нее. Этим ты докажешь.

Любовь Аркадьевна бросила испуганный взгляд на экипаж, опущенные зеленые шторы которого придавали ему таинственный и, как ей казалось, мрачный вид.

– Но если отец и мать узнают, что я обманываю их, они проклянут меня.

– О, милая моя, наивная девочка. Их проклятие не продолжится долго. Через месяц, не более, я устрою все, мы с тобой бежим и обвенчаемся под Петербургом. Когда все будет кончено, поверь мне, они простят нас и благословят. Мы будем счастливы. Поедем.

– Но зачем теперь, Владимир? Лучше потом... – пробовала возражать молодая девушка.

– Так-то ты любишь меня. Ты не хочешь воспользоваться удобным случаем провести

со мной наедине какой-нибудь час. С завтрашнего дня ты будешь вечно конвоируема компаньонкой, которая не будет обладать добрым сердцем Маши. Если не хочешь, то иди домой и, повторяю, прощай навсегда.

– Маша будет ждать меня здесь? Я вернусь домой вместе с ней? – вместо ответа спросила, после некоторого колебания, молодая девушка.

– Ну конечно, все условлено и предусмотрено.

Он подал ей руку.

Она как-то машинально оперлась на нее, дошла до экипажа и позволила себя посадить в него.

Неелов с торжествующей улыбкой на губах вскочил за нею, и крикнув кучеру «пошел», захлопнул дверцу.

Карета катилась по Литейной, и свернув по Симеоновскому переулку, проехала Симеоновский мост, часть Караванной, Большую Итальянскую, выехала на Невский проспект. Быстро домчавшись до Большой Морской, и проехав часть этой улицы, повернула на Горховую и остановилась у второго подъезда

налево.

Этот, хотя громадный, но невзрачный дом на Гороховой улице известен всему жуирующему Петербургу. Большая его часть занята «гнездышками любви», в которые и из которых днем и ночью впархивают и выпархивают парочки воркующих голубков.

Более или менее изящно отделанные, смотря по стоимости, апартаменты этого приюта петербургского, далеко, впрочем, не платонического флирта, хранят в своих стенах много страниц скандальной хроники не только полусветского, но и великосветского Петербурга.

Дом имеет множество входов и выходов, и ревнивые мужья и жены, как и строгие отцы и матери, и чересчур наблюдательные братцы положительно могут потеряться в этом лабиринте коридоров и переходов, среди этих безмолвных стен, за которыми происходят интересующие их романы.

Прислуга этого приюта нема, как и эти стены, и долголетней практикой приобрела особый нюх относительно намерений посетителей или посетительниц.

Неелов выскочил первый из кареты, осмотрелся зорко по сторонам, и, подав руку Любовь Аркадьевне, помог ей выйти из экипажа.

На лице молодой девушки лежало уже выражение какой-то немой покорности судьбе.

Карета отъехала.

Неелов и его спутница быстро вошли в подъезд, и, поднявшись на второй этаж, прошли по маленькому, узкому коридору и остановились перед запертою дверью.

Кругом не было ни души.

Неелов вынул из кармана ключ, отпер и отворил дверь.

Она очутилась в комфортабельно убранной комнате, через дверь которой была видна другая, меньших размеров.

Он запер дверь на ключ изнутри.

Западня закрылась.

Птичка была поймана.

Любовь Аркадьевна робко остановилась недалеко от двери и машинально окинула взором помещение.

Мягкий, пушистый, хотя в некоторых местах повытертый ковер покрывал пол этой

довольно обширной, но казавшейся уютной, ввиду множества мебели, комнаты.

Мебель состояла из мягких, обитых тоже не первой свежести, но, видно, тщательно сохраняемой шелковой материей темно-синего цвета, дивана, кресел, стульев, chaise longue и преддиванного стола, покрытого бархатною скатертью.

Над диваном было большое овальное зеркало в золоченой раме, в такой же раме огромное трюмо стояло в широком простенке между двумя окнами и тяжелыми темно-синими драпи и спущенными густыми тюлевыми занавесками, от которых в комнате стоял какой-то странный полусвет.

На стенах, оклеенных дорогими темно-синими с золотом обоями, висели, кроме того, картины.

Любовь Аркадьевна бросила было взгляд на одну из этих картин, но тотчас же отвернулась.

Ей бросилась в глаза группа голых тел.

Что-то невольно кольнуло ее в сердце.

Бросилась молодой девушке в глаза также странность зеркал. Они все были испещрены

какими-то надписями.

«Зачем, почему?..» – мелькнуло как-то непроизвольно в ее уме, но вопрос этот так и остался без ответа.

Из двери за тяжелой открытой портьерой, ведущей в следующую комнату, виднелся туалетный столик с овальным зеркалом, тоже в золоченой раме.

Наблюдения эти, однако, прервал Неелов. Он снял с нее верхнее платье, бережно взял за талию и повел к кушетке.

Она в каком-то полузабытьи опустилась на нее. Он сел рядом.

Казалось, в эту минуту он искренно любил ее. Страстно обняв молодую девушку, он шептал:

– Наконец мы с тобой одни... О, как я люблю тебя, теперь больше, чем когда-либо, потому что тебя силой хотят отнять у меня.

– Это правда?.. – тихо сказала она.

– И ты можешь это спрашивать!

– Да ведь ты сам говорил, что любил многих, а другие говорят о тебе...

Она остановилась.

– Я и не скрываю моих прежних походе-

ний, но клянусь тебе, ты одна заставила меня понять, что в любви есть что-то высшее, святое!.. Ты должна быть моею, хотя бы все силы небесные и адские восстали против меня.

– Боже, как мне хотелось наслаждаться полным счастьем с тобою!

– И будем.

– Бог знает.

– Скажи, что ты «моя»... Докажи мне это... У меня будет все готово к побегу и к венцу через несколько дней.

– Ах, Владимир... Я не могу.

– Ну, значит, ты не любишь меня... Если бы ты любила так горячо, так искренно, как я, ты не задумывалась бы... А, понимаю... Моя бедность...

– Замолчи! – вскрикнула она, падая в его объятия.

– Так я умру с тобою!.. – воскликнул Неелов, целуя ее в полуоткрытые губы.

– Ах, Владимир, – шепнула она, – я брошусь к ногам отца, вымолю его благословление, а затем, вдали от света, мы будем наслаждаться счастьем, которое дает любовь.

Взором, казалось ей, полным любви и бла-

женства, смотрел он на нее, пока она говорила, затем склонился к ней так, что дыхание его коснулось ее волос, глаза его впились в ее глаза.

Постепенно лицо его склонялось все ниже и ниже, и наконец их губы замерли в долгом горячем поцелуе.

В полубессознательном состоянии лежала Любовь Аркадьевна на груди любимого человека.

Но прошедшее и будущее для нее уже не существовали, она жила только блаженством настоящего мгновения.

Как перышко, взял он ее на руки и понес в следующую комнату.

Портьера тихо опустилась.

Опустим и мы завесу над нашим рассказом.

Через два часа у дверей кареты, приехавшей обратно на угол Литейного и Фурштадтской улицы, действительно, как из земли выросла Маша и с вышедшей из кареты барышней отправилась домой. Любовь Аркадьевна прямо прошла в свою комнату, бросилась на постель и залилась слезами.

В тот же вечер Елизавета Петровна, войдя в ее комнату, была поражена ее видом.

– Что с вами, вы больны?

– Ничуть.

– Пойдемте заниматься музыкой.

– Я не расположена.

Лубянской после такого холодного приема ничего не осталось, как пройти в гостиную, где она застала Екатерину Николаевну.

– Что делает Люба?.. – спросила последняя.

– Я звала ее поиграть в четыре руки, но она отказалась. Мне кажется, что она не совсем здорова.

– Так пошлите за доктором.

– Не нужно. Мне лучше. Если вы не раздумали, пойдемте играть... – сказала внезапно вошедшая молодая девушка.

– Но ты, на самом деле, страшно бледна... – сказала Селезнева.

– Маленькая головная боль, теперь уже проходит... – отвечала дочь.

Дни потекли за днями.

Из общих знакомых в доме Селезневых Елизавета Петровна дружески сошлась с Иваном Корнильевичем Алфимовым, приятелем

Сергея Аркадьевича Селезнева, который чрезвычайно симпатично с первого же раза стал относиться к компаньонке его сестры.

Что касается до последней, то она продолжала держаться на стороже относительно приставленной к ней «шпионки», как она мысленно называла Дубянскую.

Бывали, впрочем, минуты, когда Любовь Аркадьевна старалась побороть в себе это предубеждение против Елизаветы Петровны.

С интересом и сочувствием слушала она рассказ молодой девушки о смерти ее отца.

Когда она упомянула фамилию Неелова, Селезнева заметила что знает одного Неелова, который делал ей предложение.

– Владимир Николаевич?

– Да.

– Это он самый.

– Вероятно тот, так как я знаю, что он дружит с графом Стоцким.

– Конечно, он... И он делал вам предложение?

– Да, он любит меня, но папа отказал ему.

– И слава Богу... Вы избегли большой опасности.

– Почему?

– Вы не знаете, как страсть к игре губит человека, а он игрок. Он сделал бы вас на всю жизнь несчастной. Он испорченный, дурной человек, даже ваша любовь не исправила бы его.

«Она подучена моим отцом», – мелькнуло в уме Любовь Аркадьевна.

– Вы были бы сто раз счастливее, если бы вышли за человека, который вас не любит, но уважает, даже если бы он был некрасив и немолод.

«Она подразумевает графа Вельского, – подумала молодая девушка. – Значит, она все же орудие в руках моей матери... – О, милый Владимир! – работала далее ее пристрастная мысль. – Мы окружены врагами. Тебя хотят оклеветать, унижить в моих глазах, дорогой мой. Да, я буду недостойна твоей любви, если когда-либо усомнюсь в тебе».

И снова она отдалялась от Елизаветы Петровны и снова уходила в самую себя.

Бывали случаи, когда горничная Маша по приказанию барышни запирала ее на ключ в ее комнате и не давала этот ключ Дубянской.

Чтобы не делать истории, Елизавета Петровна не доводила этого до сведения Екатерины Николаевны, очень хорошо понимая как свое положение, так и положение Любовь Аркадьевны.

## XI

### В цепях прошлого

Среди известной нашим читателям компании, состоявшей из графа Стоцкого, Неелова, барона Гемпеля и графа Вельского, появилось новое лицо, Григорий Александрович Кирхоф.

Он был представлен графом Сигизмундом Владиславовичем, не стеснялся в деньгах, вел большую игру и принимал с охотой участие в кутежах, пикниках, обедах и ужинах, в подписке и подарках актрисам и танцовщицам.

Этого было достаточно, чтобы ставшая за последнее время довольно невзыскательной петербургская «золотая», или, правильнее, «золоченая», молодежь приняла его в свой круг, из которого он даже попал в некоторые дома столичной, как родовой, так и финансо-

вой аристократии.

Кто он был, откуда явился в столицу, какие имеет средства к жизни? – все эти вопросы, которыми не задается наше современное общество при встрече с незнакомцем, если он элегантно одет, имеет внушительный вид и обладает всегда полным бумажником. Последние условия всецело подходили к Григорию Александровичу, и прием его в среду людей, считающих друг друга, а в особенности, самих себя порядочными, состоялся беспрепятственно.

В момент появления его в петербургском обществе трудно было установить его тождество с лицом, являвшимся к полковнице Усовой и ведущим с графом Стоцким довольно, если припомнит читатель, странный разговор.

С того времени он возмужал, раздобыл и приобрел вид настоящего барина; костюм от лучшего портного также сделал свое дело, и никто бы, даже сама полковница Капитолина Андреевна, видевшая его хотя один раз, но чрезвычайно памятливая на лица, не узнала бы в нем Григория Кирова, изменившего свою фамилию лишь несколько на немецкий

лад.

Мы застаем его в его комфортабельно убранной холостой квартирке на Малой Колюшенной, в уютном кабинете, за интимной беседой с графом Сигизмундом Владиславовичем Стоцким.

– Довольно мне быть твоим рабом, – говорил граф, – еще одна подобная записка, и я разорву эти адские цепи – чего бы мне это ни стоило.

– Это тебе будет стоить каторги, мой друг... – со смехом заметил Григорий Александрович.

– Как знать, не было бы тебе хуже, чем мне... Подделыватель фальшивых ассигнаций, шулер, вор!..

– А ты разве не то же самое, что и я, но вдобавок еще убийца.

Последнее слово Кирхоф – мы так и будем называть его – произнес пониженным шепотом.

– Убийца! – повторил граф. – Докажи.

– Изволь, если хочешь, я покажу тебе некоторые вещественные доказательства.

Граф Стоцкий побледнел.

Григорий Атександрович между тем продолжал деловым, равнодушным тоном.

– Если бы не твоя угроза отделаться от меня во что бы то ни стало, я промолчал бы, но теперь я хочу доказать тебе, что ты ничто иное, как игрушка в моих руках, которую я могу уничтожить, когда она надоест мне, или не будет мне нужна! Твоя тайна в моих руках. Интересно тебе знать, насколько я проник в нее?

– Никто ничего не может знать про меня... – задыхаясь, проговорил граф Стоцкий.

– Ты думаешь? – улыбнулся Кирхоф. – Так слушай, что я расскажу тебе... Старик Подгурский был очень богат, но, собственно говоря, не имел никаких прав на свое состояние. Он женился на одной русской, у которой был ребенок, но не ее, а какой-то знатной дамы, которая обязалась выдать ей огромную сумму на воспитание... Ради этих-то денег Подгурский на ней и женился.

– Какое мне дело до всего этого... Через тебя же я познакомился с ним десять лет тому назад, когда он уже был вдовцом.

– Подожди, не торопись... Слушай дальше...

У Подгурского была сестра, которую соблазнил один польский магнат, граф Владислав Стоцкий, ты теперь начинаешь понимать, что дело касается немного и тебя?

Сигизмунд Владиславович был бледен, как полотно.

Григорий Александрович заметил это и с презрительной улыбкой продолжал:

– Подгурский запретил сестре показываться на глаза... Около этого времени вспыхнуло польское восстание. Граф Владислав Стоцкий принял в нем деятельное участие, за что был сослан в Сибирь, а имущество его конфисковано. Сын его от первого брака еще ребенком остался в Варшаве у родственников, а после ссылки отца, когда вырос и возмужал, уехал в Англию, сделавшись эмигрантом. Сестра Подгурского осталась нищей, но брат не сжалился над нею. Между тем спустя много лет граф Владислав Стоцкий был помилован, и ему была возвращена значительная часть его состояния. Вернувшись на родину, он стал разыскивать свою возлюбленную и, не найдя ее, написал завещание, по которому все свое состояние завещал ей и своему сыну Сигизмунду

поровну, если же она умерла, то ее сыну, если и сын его Сигизмунд окажется умершим, то сестра Подгурского и ее ребенок делались единственными наследниками. Душеприказчиком он выбрал Подгурского, поручив ему все свое состояние. Сделав это распоряжение, старый граф вскоре умер.

– А тот – Сигизмунд?

– Не торопись, милый друг. Ты должен видеть, что я знаю больше, чем те газеты, которые десять лет тому назад извещали об убийстве известного поддельвателя кредитных билетов и шулера Станислава Ядзовского. Сестра Подгурского и не подозревала о наследстве и ходила со своим сыном из дома в дом, прося подаяние. А Подгурский на ее деньги строил в Москве дома. Однажды от голода и холода она умерла на пороге одного из этих домов, где он жил. В старике проснулась совесть, он взял мальчика, не говоря ему, однако, о наследстве. Должно быть, мальчишка был негодяй, потому что убежал из дома своего дяди, чему тот от души был рад.

Он остановился, чтобы перевести дух.

– Дальше, дальше... – задыхаясь прошептал

Сигизмунд Владиславович.

– Изволь, дальше, чтобы не томить тебя, я сделаю скачек и перейду прямо ко времени нашего бегства. Наша фабрика процветала под Петербургом, как ты знаешь, не долго... Благодаря неосторожности одного из сообщников, все было открыто... Я должен был бежать, а также и ты, мой друг.

– Это мне известно, ты хотел рассказать о молодом графе Стоцком.

– Он совершенно случайно узнал, что его состояние у Подгурского в Москве, и написал ему, что приедет к нему по разным обстоятельствам тайно, чтобы взять часть своего наследства.

– Я помню, – отдался воспоминаниям и граф Стоцкий, – это было в то время, когда мы бежали и остановились в Москве, где я по твоей протекции нашел пристанище в доме Подгурского. Он тогда говорил, что Бог знает что дал бы, чтобы кто-нибудь убрал с его дороги молодого поляка.

– И мой молодой друг понял его, – прибавил Григорий Александрович.

– Это ложь! Я не причастен к этому делу!

– Ты думаешь, меня легко обмануть? А доказательства, о которых я говорил тебе...

– Я его не убивал.

– Выслушай и потом отрицай.

Кирхоф пронизывающим взглядом смотрел прямо в лицо своего собеседника. Тот молчал.

– Молодой человек не явился ни в тот день, ни после. На другой день, когда его ожидали, я прочитал в газетах, что в Сокольничьей роще, недалеко от роскошной дачи Подгурского, нашли убитым разыскиваемого петербургской полицией преступника Станислава Ядзовского... Я пошел посмотреть на труп моего друга Пальто, сюртук, бумаги – все было твое, кроме лица. Я ничего не сказал, решив, что для тебя же лучше, если тебя сочтут умершим. Каким образом очутилось твое платье и бумаги на убитом?

– То и другое было у меня украдено.

– Старая песня острожников! Но вот что важно: молодой граф не являлся больше к Подгурскому за наследством, а все бумаги прощенного впоследствии правительством Сигизмунда Стоцкого у тебя.

– Все это могло бы иметь значение, если бы было доказано что убит не первый встречный, а граф Сигизмунд Стоцкий.

– Совершенно справедливо, но слушай дальше... За границей я познакомился с Николаем Герасимовичем Савиным, который затем наделал столько шума в Европе и который теперь сидит здесь в доме предварительного заключения. У него в Париже была прекрасная квартира и в кабинете множество портретов. Один из них, красивого молодого человека лет двадцати, заинтересовал меня и я спросил его кто это?

– Это мой старый друг, я с ним сошелся еще в Варшаве, затем он уехал в Англию, но там в бытность мою я не мог его разыскать. Его звали...

– Как ты думаешь, чье имя он назвал? – спросил Григорий Александрович, наслаждаясь смущением и испугом графа Стоцкого.

– Графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого, – продолжал он после некоторой паузы. – Я упросил Савина позволить мне перенять этот портрет под предлогом, что он очень похож на моего покойного брата, кото-

рый не снимался при жизни, и получил разрешение. Хочешь, я покажу тебе его?

С этими словами он направился к бюро.

Граф Сигизмунд Владиславович, все лицо которого искажилось от злобы, готов был в эту минуту кинуться на своего смертельного врага и задушить его.

– Не надо, не надо... верю... – прохрипел граф.

Кирхоф вернулся на место и подозрительно посмотрел на Стоцкого.

Прежде чем продолжать дальше беседу, он взял стакан вина, стоявший перед ним, но поднеся его к губам, поставил обратно на стол и позвонил.

– Вылей это вино и дай новый стакан. Только не пей его... – приказал он лакею.

– Ты боишься яду? – спросил граф Сигизмунд Владиславович с худо скрытой злобой. – На этот раз ты напрасно опасался, но если ты меня вынудишь...

– Дурак! – возразил Григорий Александрович. – Разве ты меня не знаешь. Или ты думаешь, что я, зная, что ты ради своего спасения можешь стать убийцей, буду ждать от тебя

пощады? Я осторожнее тебя. Все, что я рассказал тебе, я написал, запечатал в конверт и передал верному человеку. В случае, если я умру насильственной смертью, этот конверт будет передан в руки правосудия, если же свою – будет уничтожен.

Граф Сигизмунд был окончательно уничтожен. Он действительно оказывался игрушкой в руках своего бывшего сообщника и друга.

– Я вижу, что улики против меня, – сказал он, – но повторяю тебе, не я убил его.

– Ха, ха, ха! Однако, ты очень храбро отпираешься.

– Я нашел его в роще уже мертвым и действительно переменял его одежду на мою и взял бумаги.

– Но кто же поверит этой сказке?

Сигизмунд Владиславович молчал. Наконец, после долгой паузы он сказал:

– Признаю, что я вполне в твоей власти, но предупреждаю, если ты уже слишком затянешь петлю, в которую я попал, я предпочту умереть, чем влачить эти тяжелые цепи прошлого. Чего ты от меня хочешь? Ты живешь,

ничего не делая и ничем не рискуя, – а я? Я ежеминутно должен дрожать, чтобы не по-пасться. Мне грозит ежеминутно тюрьма, Сибирь. Подумай об этом и сжался. А ты требуешь от меня все больше и больше.

– Я нахожу, что с некоторых пор ты зале-нился, и я нарочно призвал тебя, чтобы посо-ветовать тебе действовать энергичнее.

– Да разве я могу что-нибудь сделать, когда граф Вельский под влиянием жены стал избе-гать нашего общества, и я боюсь настаивать, чтобы не лишиться его совершенно.

– Его? Не ее ли? – с насмешкою заметил Кирхоф.

– А если бы и так, – строго и дерзко ответил граф Стоцкий. – Тебе все равно, откуда я беру для тебя деньги... Они будут.

С этими словами он простился со своим со-общником-властелином и вышел.

## ХII

### После свадьбы

Григорий Александрович Кирхоф был прав, заметив, что графу Стоцкому не желательно потерять не «его», а «ее», то есть не графа Петра Васильевича Вельского, а графиню Надежду Корнильевну.

Последняя стала графиней недавно.

Медовый месяц молодых только что подходил к концу.

О выдающейся по роскоши и блеску свадьбе молодого графа Вельского с дочерью банкира Надеждой Корнильевной Алфимовой продолжал еще говорить великосветский Петербург.

Молодые после венца не последовали установившейся моде отправляться в путешествие, а напротив, по окончании венчания в церкви пажеского корпуса, начавшегося в семь часов вечера, широко распахнули двери своего великолепного двухэтажного дома-особняка на Сергиевской, убранство которого, с великолепным зимним садом, освещенным

ценным, как и весь дом, причудливыми электрическими лампочками, напоминало страницу из сказок Шехерезады.

Многолюдный бал, роскошный буфет с серебряными боченками шампанского, окруженными серебряными миниатюрными, сделанными в русском вкусе ковшами, залы, переполненные тропическими растениями в цвету, букеты цветов, привезенных прямо из Ниццы, раздававшиеся в виде сюрприза дамам, великолепный оркестр и даже вначале концертное отделение с выдающимися петербургскими артистами – все делало этот праздник исключительным даже для избалованного в этом отношении Петербурга и долго не могло заставить забыть о нем присутствующих.

Все было весело и оживленно, и лишь небольшим облачком этого светлого пира являлось личико новобрачной, подернутое дымкой грусти.

Мы говорим небольшим, потому что большинство присутствовавших объясняло это выражение лица Надежды Корнильевны понятным смущением невесты в день свадьбы.

Немногие угадывали, какую приносило это молодое существо жертву клятве, данной ею у постели ее умирающей матери.

К числу этих немногих принадлежали знакомые нам Масловы, Ястребовы и граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий...

Последний, впрочем, знал только одно, что Надежда Корнильевна не любит своего мужа и обвенчалась с ним по принуждению отца.

На этом он строил свои планы.

Предприняв вместе с Матильдой Руга, тоже присутствовавшей на балу и даже исполнявшей два номера в концертном отделении, поход на состояние графа Вельского, стараясь для этого излечить графа Петра Васильевича от любви к Надежде Корнильевне, он понял, что сам и незаметно для самого себя влюбился в Алфимову с тою роковою последней вспышкою страсти пожившего и уже немолодого человека, которая туманит ум и может заставить человека решиться на все, включая и преступление.

Холодность Надежды Корнильевны, скажем более, почти безразличность относительно его, не уменьшали этой страсти, не уязвляли

даже его самолюбия, чрезвычайно чувствительного в других случаях, но напротив, все более и более, все сильнее и сильнее тянули его к молодой девушке, будущей графине Вельской.

Он зачастую забывал свой главный план относительно капиталов графа, и любовь последнего к невесте возбуждала в Сигизмунде Владиславовиче не опасение за будущее, а ревнивое чувство настоящего.

Граф Стоцкий бесился, стыдился самого себя за такое мальчишеское увлечение, а между тем ничего не мог поделать с собою.

Еще не видя Надежду Корнильевну, он давал себе слово не поддаваться ее обаянию, здраво рассуждая, что из этого чувства не может быть ничего, кроме его собственного унижения и даже, быть может, несчастья, но при первом свидании с предметом своей любви все эти рассуждения разбивались в прах и он снова страдал, мучился и старался безуспешно вызвать в ней хотя малейшее к себе расположение.

Это состояние его сердца в связи с постоянным «дамокловым мечом», висевшим над

ним в виде Григория Александровича Кирхофа, делали его жизнь, пожалуй, не лучше избегаемой им каторги.

Недаром он, выйдя из квартиры бывшего своего сообщника после описанной нами беседы с ним и садясь в щегольскую коляску, подумал: «Опять та же каторга!»

Прохожие, видя изящно одетого, солидного барина, удобно развалившегося на подушках шикарного экипажа, думали, вероятно: «Вот счастливец». Если бы они знали, что на душе этого счастливца и многих ему подобных, катающихся на рысаках по улицам Петербурга, целый ад мук и тревог, они не пожелали бы ни этой одежды, ни этого экипажа злему своему лиходею.

– На Сергиевскую! – крикнул граф Сигизмунд Владиславович кучеру.

Тот, ловко подобрав вожжи, тронул лошадей.

Они помчались крупной рысью.

Графиня Надежда Корнильевна Вельская сидела с работой в руках в угловой гостиной, когда по ковру вдруг раздались чуть слышные шаги.

Она подняла голову.

Перед нею стоял граф Стоцкий.

– Вашего супруга нет дома, графиня?

– Вам, вероятно, это уже сообщили слуги, – ответила она с презрительной холодностью.

– Да, графиня, но непреодолимое желание увидеть вас одну и сказать вам все то, что я почувствовал с тех пор, как увидел вас впервые, придало мне смелость явиться сюда. Вы несчастны, графиня, – продолжал он, садясь возле нее и как бы не замечая, что она смотрит на него строго и вопросительно. – Вы не любите вашего мужа и ломаете себя, чтобы казаться любящей женой.

– Милостивый государь, какое право вы имеете говорить мне все это?

– Право глубокого и искреннего чувства.

– Вы – друг моего мужа.

– Ваш муж не достоин вас.

– Чего же вы, наконец, хотите?.. – воскликнула она, гневно вставая с кресла.

– Ваш муж сегодня вечером приглашен к князю Инкову, там будет большая игра... Позвольте мне явиться сюда, – начал он, тоже вставая с кресла.

– Презренный, низкий человек, – смерила его с головы до ног пылающим взглядом оскорбленной женщины графиня. – Я сегодня же все расскажу моему мужу...

– Если вам угодно... Только посмотрим, кому из нас он больше поверит... Кроме того, графиня, предупреждаю вас, будет время – и оно уже недалеко – что я потребую от вас того, о чем прошу сегодня, как милости. Ваш муж проиграл все свое состояние... Ваше богатство и даже богатство вашего отца не покроют его долгов...

– Здравствуй, Сигизмунд... – раздался сзади него голос вошедшего графа Вельского.

– Здравствуй! – ничуть не смущаясь, сказал граф Стоцкий, в то время как графиня быстро вышла из гостиной. – Что ты сегодня такой сияющий?

– Еще бы... Чуть не первый раз в жизни выиграл...

– Да что ты... Днем?

– На бирже, друг, на бирже... Десять тысяч рублей... Сегодня они мне пригодятся у Инкова.

– Господи, как я рад!.. – казалось, с непод-

дельною искренностью воскликнул Сигизмунд Владиславович, с чувством пожимая руку графа Петра Васильевича.

– О, Сигизмунд, друг, как ты, стоит миллионы!

– Надеюсь, что ты имел случай убедиться в моей преданности. А впрочем, клевета может разъединить даже таких друзей... – меланхолично добавил он.

– Клевета. Да кто же станет клеветать мне на тебя?..

– Мало ли кто... Например, я знаю, что жена твоя ненавидит меня... Я все боюсь, что именно она внушит тебе недоверие ко мне. Женщины гораздо умнее и сильнее нас нравственно. Она и сегодня так оскорбила меня своим приемом, что я решил не бывать у тебя в доме.

– Полно, Сигизмунд, у женщин всегда есть свои неискореняемые предубеждения. Жена считает тебя моим соблазнителем... Но не лишаться же мне ради этого твоей дружбы.

– Я всегда останусь твоим другом. Но эти постоянные наущения против меня...

– Ну, этому никогда не бывать, что бы она

ни выдумывала, – проговорил граф Вельский.

– Благодарю, благодарю тебя, мой друг! – с чувством пожал Сигизмунд Владиславович руку графа Петра Васильевича, – А теперь скажу, зачем я к тебе приехал... Я тоже собираюсь к князю Инкову, вчера получил приглашение и, знаешь, быть между этими людьми и...

– Не иметь денег? Тебе нужно?..

– Да, хоть несколько сотен рублей.

– И отлично, бери половину того, что у меня есть. Станем играть пополам – и выигрыш, и проигрыш общие.

– Отлично... По рукам... Славный ты товарищ.

– Пойдем в кабинет...

Оба друга вышли из гостиной.

Графиня между тем отправилась из гостиной к себе в будуар, где и сидела в немом отчаянии.

«Боже, Боже, – думала она, – чего только не насмотрелась и не наслушалась я за короткое время моего замужества! Мне никогда не думалось, что на свете может быть что-нибудь подобное!.. Но лишь бы мне удалось спасти

его!»

Дверь будуара беззвучно отворилась, и горничная доложила, что приехала Ольга Ивановна Хлебникова.

Подруга графини вскоре после проведенного вечера у полковницы Усовой уехала в Отрадное к своим родителям, и несмотря на просьбы Надежды Корнильевны, не была отпущена ими на ее свадьбу.

Иван Александрович сам написал Алфимовым почтительное письмо, в котором уведомлял, что его дочь нездорова и не может пуститься в дорогу.

Будущая графиня была неутешна и каждый день писала письма своей подруге, в которых просила, как только она поправится, приехать погостить к ней, так как она положительно умирает от тоски по ней.

Хлебниковы, видя такую настойчивость, и думая, что с женитьбою молодого графа опасность для Оли миновала, и кроме того, получив сведения, что молодая графиня ведет затворницкую жизнь, решились наконец отправить дочь в Петербург.

– Оля, милая Оля! – бросилась графиня на-

встречу почтительно остановившейся у двери молодой девушки. – Да что с тобой, разве я все не та же, как и была в Москве и в нашем Дорогом Отрадном?

– Я глубоко тронута, графиня, что вы еще не забыли...

– Что за «вы»? Для тебя я та же Надя...

– Я думаю, что ты очень счастлива, Надя... – после некоторой паузы сказала Хлебникова, садясь по приглашению графини с ней рядом на маленький диванчик. – Я ведь знала, что раньше ты не хотела выходить за него, но теперь, когда ты его узнала ближе – ты, конечно, его любишь...

– Нет, Оля! Я многое знала и предчувствовала моим сердцем, но действительность оказалась хуже предчувствий.

– Значит, ты его не любишь?

– Тебе я могу сказать правду – нет...

– Несчастный, бедный! Да за что же?.. Он молод, хорош, богат...

– Одного нет – чистого сердца... И молод, и хорош, и знатен, и богат, но все это я бы отдала за то, чтобы сердце у него было чистое...

«Да, она говорит правду... – неслось в голо-

ве Ольги Ивановны. – Она его не любит... Мне следует его утешить, хотя дав ему ту дружбу, о которой он меня просил».

– Я просила тебя приехать так настойчиво потому, что мне страшно тяжело, – продолжала между тем Надежда Корнильевна с порывом безнадежной тоски. – Я ведь совершенно, совершенно одинока. Исполни мою просьбу, Оля, останься навсегда со мною. Ты будешь поддерживать, ободрять меня...

– Я останусь у тебя, Надя, с радостью, очень долго, сколько ты захочешь, если против этого не будут иметь ничего мои родители и, наконец, твой муж...

– О, он ни в чем мне не отказывает, а твоим родителям я напишу письмо, которое их тронет.

В это время в будуар вошел граф Петр Васильевич.

### ХІІІ

## Дружба или любовь?

**О**льга Ивановна Хлебникова, хотя была, как мы знаем, почтительная и любящая дочь, но в этом почтении и любви к родителям не было того рабского подчинения, которое подчас вырабатывается в детях, содержащихся, выражаясь «по-московски», в ежовых рукавицах.

Единственная дочь у отца и матери, она была, конечно, кумиром своих родителей и ничего, кроме ласк и выражения самой нежной любви, от них не видала.

Добрая и честная по натуре, она не испортилась баловством отца и матери, не сделалась ни своевольной, ни капризной, но живя одна, почти без подруг, если не считать единственную Надю Алфимову, девушку без всякого характера, мягкую, как воск, «святую», как прозвали ее в институте, выработала в себе силу воли и характер, и подчинить ее чужой воле, если эта последняя не была основана на разумных и ей понятных причинах, было

трудно даже для отца и матери.

Таким образом, если бы Ольга Ивановна пожелала бы присутствовать на свадьбе Нади Алфимовой и графа Петра Вельского, она была бы на ней, так как нездоровье было только предлогом вежливого письма ее отца к дочери своего хозяина, предлогом, выставленным с разрешения самой Ольги Ивановны.

Молодая девушка сама дошла до решения не быть на свадьбе и даже совсем не ездить более в Петербург. Это решение согласовалось с желанием ее родителей, которым она, однако, его не высказывала, а лишь последовала данному ими совету.

Какие же причины руководили молодой девушкой для такого разрыва с другом своего детства и с человеком, которому она дала слово быть другом – графом Вельским, ставшим мужем ее подруги?

Надо заметить, что после на первых порах так возмутившего Ольгу Ивановну почти насильственного увода ее с вечера полковницы Усовой ее дядей и перерыва разговора молодой девушки с графом Петром Васильевичем на самом интересном месте, она много пере-

думала об этом происшествии.

Конечно, ни дядя, ни тетка не объяснили ей, чего они опасались от дальнейшего пребывания ее в доме полковницы Капитолины Андреевны и чему так обрадовались, что не опоздали увезти ее оттуда.

Она дошла до этого своим собственным умом.

Восстановив в своей памяти всю обстановку квартиры Усовой, общество, которое она там встретила, особенно дамское, вспомнив некоторые брошенные вскользь фразы и слова ее новой подруги Софьи Антоновны, она поняла, что попала, действительно, в такое место, где не следует быть порядочной, уважающей себя девушке, и внутренне была глубоко благодарна дяде за то, что он увез ее оттуда.

Вывод этот подтверждался тем, что Софья Антоновна после эпизода на вечере Усовой не появлялась более у Костиных.

Она канула, как в воду.

Образ графа Петра Васильевича Вельского восставал между тем в уме молодой девушки в таких соблазнительных красках, которые

она считала не гармонирующими с ее дружбой с его будущей женой.

Вопрос, почему граф очутился в обществе лиц с сомнительной репутацией, разрешен был молодой девушкой легко и просто: «Он несчастен, не любим девушкой, которую любит, и на которой женится... Он ищет забвения... Ему это нельзя ставить в вину...»

Так всегда рассуждает женщина, когда хочет оправдать мужчину.

Что граф «несчастен» – это в глазах Ольги Ивановны Хлебниковой доказывал его разговор с ней.

Она припомнила все сказанное им, интонацию его голоса; и слова его, как тогда, так и теперь, находили отклик в ее сердце.

Она с ужасом даже додумалась, что ею руководит не одна жалость к нему как к человеку вообще, и поймала себя на ревнивом чувстве к Наде Алфимовой: ей стало казаться, что она могла бы вернее сделать графа Вельского счастливым мужем, чем эта «святая».

В первый раз она сама, даже мысленно, назвала свою подругу этим насмешливым институтским прозвищем.

Она чувствовала, повторяем, что готова полюбить жениха, а через несколько дней мужа своего единственного друга детства.

Она понимала, что о присутствии ее и графа Вельского на вечере у полковницы Усовой нельзя рассказывать Наде Алфимовой, ни теперь, когда она его невеста, ни тогда, когда она сделается женой графа.

Значит, она не может быть уже совершенно искренней и откровенной, как прежде, со своей подругой.

Между ней и графом Петром Васильевичем, таким образом, является случайно связующая их тайна, и тайна серьезная, так как данное ею ему слово быть его другом, «ангелом-хранителем», как он выразился, налагало на нее известные по отношению к нему обязанности.

Может ли она их выполнить, не рискуя спокойствием своим и своей подруги.

Под первым впечатлением нахлынувших на нее опасений она ответила на этот вопрос отрицательно.

«Надо уйти от них подальше, надо с ними более не встречаться Наши дороги разные...

Пусть каждый идет по своей...»

С этим решением она и уехала в Отрадное, вскоре после полученного оттуда известия, что Корнилий Потапович с сыном и дочерью выехали в Петербург. «Так как, говорят, скоро состоится свадьба», – прибавлял в письме ее отец.

Всем этим первоначальным настроением духа молодой девушки объясняется ее решение не присутствовать на свадьбе Алфимовой и не возвращаться в Петербург, решение, так согласовавшееся с заветными затаенными мечтами ее родителей.

После первых дней радостной встречи с отцом и матерью, когда были исчерпаны все привезенные дочерью петербургские новости, исключая, конечно, уличного знакомства с Софьей Антоновной и неудачного вечера у полковницы Усовой, словом, когда домашняя жизнь в селе Отрадном вошла в свою колею и Ольга Ивановна волей-неволей оставалась часто наедине сама с собою, на прогулке в саду и в лесу, мысль ее заработала с усиленной энергией, вращаясь, конечно, на интересовавших ее лицах: Наде Алфимовой и графе Вель-

СКОМ.

Несмотря на получение частых писем от первой, в которых сперва невеста графа, а затем графиня горько жаловалась на свое одиночество и настойчиво звала к себе свою дорогую подругу. Ольга Ивановна не могла думать о своей бывшей товарке по институту без какого-то для нее самой непонятого озлобления.

Ей казалось в ее предубеждении, что и нежные письма графини Вельской поддельны и искусственны.

«Просто хочет, чтобы я присутствовала при ее светских триумфах, при ее дебюте в качестве графини... У... святая!» – думала Ольга Ивановна Хлебникова и сама сердилась на себя за такие дурные мысли, но не могла от них отвязаться.

«Нет, не поеду, ни за что не поеду я туда!» – решала она уже, по крайней мере, в сотый раз, как бы сама себя убеждая быть твердой в раз принятом решении.

Это-то повторение себе самой намеченной программы действий уже одно доказывало, что ей очень хотелось найти случай, предлог,

но непременно серьезный, чтобы изменить эту программу.

Человек всегда найдет то, чего он сильно желает.

Так было и с Ольгой Ивановной.

«А что он?» – начала она себе задавать вопрос.

Под этим «он» подразумевался граф Петр Васильевич Вельский.

«Несчастный! – продолжала работать мысль молодой девушки. – Красавец, молодой, знатный, богатый, любящий и не любимый... Разве эта „святая“ поймет его, оценит, исправит, он с нею погибнет так же, как и без нее. Надо сильное чувство, чтобы вернуть его на настоящий путь, чтобы направить его способности и его состояние на полезную деятельность... Женщина должна всецело подчинить его, подчинить для его же пользы... А разве графиня Надежда такая женщина?... Святая...»

И снова злобное чувство против подруги волной захлестывало молодую девушку.

В этих рассуждениях о графе снова сквозила мысль, в которой Ольга Ивановна не при-

зналась бы даже самой себе.

Она именно такая жена, какая нужна графу, в ней нашел бы он и подчинившее его сильное чувство, и сильную волю, направившую бы его на все хорошее и отвлекшую бы от всего дурного.

О, как бы она хотела быть его женой!.. Но там уже все совершилось, все кончено, другая женщина владеет им, а, следовательно, не может дать ему того счастья, которого он так стоит и которого он так жаждет.

Раз заработавшая в таком направлении мысль привела вскоре к отмене решения никогда не возвращаться в Петербург.

Письма графини при этом были настойчивее и настойчивее... Она звала ее.

«Сама зовет!.. А он-то как будет рад... Это судьба», – решила Ольга Ивановна и, переговорив с родителями, которые тоже были тронуты последними письмами графини Надежды Корнильевны, Уехала в Петербург.

Злобное чувство к бывшей подруге не покидало ее до самого порога ее будуара, чем и объясняется ее почти официальное приветствие графини...

Но неподдельная радость молодой женщины растопила ледяную кору, окружившую было сердце Хлебниковой в Отрадном относительно своего друга детства.

– Я только что просила Олю остаться у нас навсегда, – сказала графиня мужу, когда тот с нескрываемой радостью поздоровался с приезжей.

– Я был бы за это беспрельдно благодарен.

– Да, да, она стала бы добрым гением нашего дома.

– Ты, кажется, воображаешь, что этот дом населен злыми духами? – проговорил граф Петр Васильевич, хмурясь. – Я знаю, что друзей моих ты ненавидишь, но прошу не проявлять этого хоть им в глаза.

– Да пойми же, что ты братаешься с людьми, которые тебя недостойны.

– Прошу тебя не оскорблять моих друзей, я их знал раньше и лучше, чем ты...

– Но у меня есть доказательства... Например, граф Стоцкий...

– А, я так и знал! Только не трудись клеветать на него. Я знаю, ты его ненавидишь.

– Даже больше! Я глубоко презираю его. Он

оскорбил меня. Он дошел в своей наглости до того, что объяснился мне в любви.

Граф громко расхохотался.

– Стоцкий и любовное объяснение. Да это так же возможно, как и падение неба на землю.

– Следовательно, ты даже не намерен вступить за меня?

– Горе тому, кто осмелится оскорбить тебя, Надя, но и тебя я прошу не оскорблять моих друзей... Я приказываю, чтобы графа Сигизмунда принимали в этом доме всегда – здесь я или нет... Больше мне нечего сказать тебе, – сказал граф и вышел.

– Он несется к гибели очертя голову! – простонала графиня.

«О, если мне удалось бы разъяснить недо-  
разумение, разъединяющее эти два сердца!» –  
думала Ольга Ивановна.

## XIV

### В конторе

**В** банкирской конторе «Корнилий Алфимов с сыном», занимавшей роскошное помещение на Невском проспекте, шла оживленная работа.

Человек двадцать служащих исполняли свои сложные обязанности с быстротой и точностью машины.

В те дни, когда сам Корнилий Потапович не мог по тем или другим обстоятельствам бывать в конторе, его замещал сын Иван Корнильевич.

Это был симпатичный белокурый молодой человек с лицом, на котором еще не исчезли следы юношеского румянца, и лишь некоторая синева около добродушных глаз, выражением своим напоминающих глаза его сестры, указывала, что яд Петербурга успел уже всосаться в недавно еще девственную натуру скромного москвича.

Он сидел в кабинете отца за письменным столом, заваленным кипами бумаг и счетов,

но все его внимание было сосредоточено на личных счетах.

Он просматривал их с видимой мучительной тревогой.

– Двадцать тысяч рублей! – прошептал он. – Да где же я их возьму! Проклятая игра! О, с какой радостью отказался бы я от нее. Но ведь мне необходимо добыть денег... а другого способа нет... Отец... Но как сказать ему о таком проигрыше... Он ни за что не выдаст мне даже моих денег... или же предложит выделиться и идти от него, куда я хочу, с проклятием матери за спиною... Он неумолим... Тронуть капитал для него хуже смерти... А я дал клятву матушке... Хотел выручить граф Сигизмунд, но и он что-то не появляется... Как тут быть?..

И он опять принимался нервно пересчитывать на бумаге роковые для него цифры.

Несчастный молодой человек представлял из себя новую жертву «теплой компании» графа Стоцкого, Неелова и барона Гемпеля.

Познакомившись с ними через графа Вельского, он был введен в круг «золоченой молодежи» Петербурга и петербургские притоны,

подобные салону полковницы Усовой.

На почти не тронутого жизнью юношу одуряющая атмосфера этих притонов и отдельных кабинетов произвела действие угара.

Вино, карты и женщины – эти три исторические силы падения человека – сделали свое дело и направили молодого человека на тот путь, где один лишний шаг зачастую отделяет честного человека от преступника.

Первый стакан вина, выпитый далеко не с охотой, а больше из молодечества, и не показавшийся даже вкусным, ведет за собой второй, тяжесть головы вначале, производя неприятное впечатление, с течением даже весьма короткого времени становится обычной и даже необходимой для отвлечения от нее мрачных мыслей, порождаемых еще не совсем заглухнувшей совестью.

Первый выигрыш – это получение денег без малейшего труда, среди хохота, смеха и веселья – побуждает стремиться ко второму. Проигрыш не пугает, а, напротив, усиливает желание выиграть, чтобы отыграться.

Кутила и игрок готов.

Изученный поцелуй заморской или домо-рощенной «жрицы любви», искусный до «артистического шедевра», подделанный под настоящее страстное лобзание, заставляет усиленно биться молодое сердце и ключем кипеть молодую кровь. Аромат духов и женского тела мутит ум и парализует волю.

Развратник готов.

К чести Ивана Корнильевича надо сказать, что по последнему пути он сделал еще очень слабые шаги.

Его сердце еще не было испорчено, и женщина не была еще сведена им с «пьедестала юношеского поклонения» на уровень хорошо приготовленного, приправленного заморскими пряностями лакомого блюда.

Усилия его друзей разбивались об «идеализм» Ивана Корнильевича, давшего графу Стоцкому и другим обильную пищу для насмешек над «чистым мальчиком», как прозвали молодого Алфимова в кругу петербургских «хлыщей».

Обычные посетительницы квартиры Капитолины Андреевны не имели успеха относительно «сына банкира», несмотря на прило-

женные с их стороны старания.

Это озаботило графа Стоцкого, и по совещанию с полковницей Усовой было решено приготовить для Ивана Корнильевича другую приманку, сообразно его «московским вкусам», как выразился граф Сигизмунд Владиславович.

Этой приманкой послужила некая Клавдия Васильевна Дроздова – молодая шестнадцатилетняя девушка, с личиком херувима, миниатюрная и гибкая, «одна мечта», как определила ее полковница.

Она жила со своей матерью на Васильевском острове в бедной квартирке и перебивалась работой портнихи.

Отца она никогда не знала, да о нем и не было упомянуто в ее метрическом свидетельстве, а ее мать была из тех падших женщин, не потерявших вместе с нравственностью благоразумия и сумевших скопить себе деньжонки на черный день, которыми и перебивалась вместе с маленьким заработком дочери, принужденная с летами оставить свое занятие «любовью», как она сама выражалась.

Переговоры с Марфой (когда-то Мартой)

Спиридоновной, так звали мать Клавдии, были не трудны.

Капитолина Андреевна была понята с первых же слов, а несколько сотенных бумажек придали ее речам крайнюю убедительность, и Клавдия Васильевна стала постоянной гостьей салона полковницы Усовой.

Одевалась она скромно, но мило, на средства той же полковницы, да и шикарный наряд дисгармонировал бы со всей ее простенькой до наивности внешностью.

Она принадлежала еще к числу тех жизненных блюд, для которых гарнир является излишним.

Приманка оказалась действенной. Иван Корнильевич увлекся и проводил очень часто с Клодиной, как звали девушку у полковницы, целые часы в одном из будуаров.

Эти свидания не отражались на внешности молодой девушки, искренно привязавшейся к молодому человеку, что приводило графа Стоцкого и других к убеждению, что «чистый мальчик» разводит в будуаре «кисель на розовой воде».

Это не касалось Капитолины Андреевны,

которой было безразлично, чем занимаются ее гости, оставаясь tete-a-tete, тем более, что Иван Корнильевич исправно и щедро давал ей деньги на нужды «маленькой Клодины» и ее матери.

Больше половины их застревало, конечно, в карманах полковницы.

За последнее время, впрочем, другое чувство начало вытеснять из сердца Алфимова увлечение «маленькой Клодиной».

Вся эта жизнь и привела Ивана Корнильевича к роковому раздумью над счетом его долгов, в котором мы застаем его в кабинете банкирской конторы.

В дверь кабинета постучались.

– Войдите! – крикнул молодой Алфимов. Дверь отворилась, и вошел граф Стоцкий.

– Ну, что? – поднялся с тревогой с места Иван Корнильевич.

– Все прекрасно... Векселя согласились переписать на три месяца, но потом никакой пощады.

– Даст Бог, выиграю... Когда будете играть опять?

– Сегодня... Будет граф Вельский... Он про-

дал одно из имений, доставшихся ему от матери.

– Кто купил?

– Неелов.

– Неелов! Да откуда же у него деньги!.. Говорят, дела его плохи.

– Вероятно, выиграл... – отвечал Сигизмунд Владиславович, пожимая плечами.

– Вот счастливец!.. Если бы и мне так! Ведь покуда векселя не уплачены, мне более не откроют кредита. Не знаешь ли ты, у кого бы занять?

– Мудрено! Мог бы Вельский дать, да он сам в тисках, да еще задумал купить дачу.

– Черт возьми!.. А ведь сегодня вечером мне так необходимы деньги.

– Да отчего ты не потребуешь от отца из своих? – сказал между тем граф.

– Что ты, что ты... Он не даст...

– Да как же он смеет?

– Я дал клятву у постели моей умирающей матери не выходить из его повиновения... Она пригрозила мне загробным проклятием.

– Какой вздор...

– Нет, лучше об этом перестань говорить...

Ты не поймешь меня.

– Еще бы... – усмехнулся Сигизмунд Владиславович.

– Нет, не говори...

– Да я молчу.

– А деньги мне все-таки сегодня нужны.

– Да и не сегодня только... Ты забыл за последнее время «маленькую Клодину», Капитолина Андреевна просила тебе напомнить.

– Ах, какая это скучная история... Мне, признаться, с ней с некоторого времени тяжело... Она не такая девушка, о какой я мечтал.

– Ага, тебя притягивает другой магнит.

– Нет, Сигизмунд, не то... Я говорю правду... Действительно, у меня раскрылись глаза на мой идеал только при встрече с Елизаветой Петровной Дубянской... Вот идеальная девушка... При ней всегда страшно, вдруг она глянет в мою душу и сразу узнает ее темные тайны... Я и решил навсегда покончить с Клавдией Васильевной... Она мне нравится, но любить ее я не могу... Я люблю...

– Дубянскую?

– Да, ее... Но это, увы, мое несчастье. Она не полюбит меня.

– Почему же?

– Потому что, мне кажется, она любит.

– Кого... Сергея?

– Нет... Я, впрочем, высказываю только предположения. Мне кажется, что Сиротинина.

– Вашего кассира?

– Да...

– Ну, это конкурент не опасный, сын банкира всегда будет иметь перевес над кассиром в сердце современной девушки.

– В том-то и сила, что она не такая... Не современная.

– Оставь, все они на один покров... Но где же она познакомилась с Дмитрием Павловичем?

– Она жила до поступления к Селезневым у его матери, которая была дружна с матерью Елизаветы Петровны.

– А... Но как же быть с Клодиной?.. Она, кажется, не на шутку привязалась к тебе, и разрыв может губительно отразиться на ее здоровье... Девушки ее комплекции легко впадают в чахотку от неудавшейся любви... Ты, конечно, ее обнадеживал?

Иван Корнильевич потупил глаза и после некоторой паузы произнес:

– Если так, то я способен на все жертвы... Я женюсь на ней, хотя бы от этого рушилось все счастье моей жизни.

– Жениться – это уже слишком, но обеспечить надо... Тем более, что она в таком положении.

– Что-о-о? – вскрикнул Алфимов.

– Мне вчера сообщила об этом Капитолина Андреевна, прося тебе напомнить о Клодине.

– В таком случае, она солгала тебе... Клянись тебе, что до такой близости я не доходил!

– Странно, удивительно.

– Клянись тебе жизнью!

– Однако... Зачем же Усовой лгать?

– В таком случае, она... Я имею полное право не иметь с нею более дела!

– Гм! Но ведь она станет громко кричать, что ты отец ее ребенка, и все поверят ей, благодаря тому, что ты часто бывал с ней вдвоем... Наконец, она обратится к твоему отцу и потребует или платы за молчание, или брака.

– Это возмутительно!

– Что делать. Разве тебе кто поверит, если ты будешь уверять, что просиживал с ней часами с глазу на глаз, но только платонически любовался ею... Все будут хохотать над тобой.

Молодой человек опустил голову.

Сигизмунд Владиславович наблюдал за ним с выражением Мефистофеля. Он понимал, что Алфимов всецело в его руках.

– Что же делать? – растерянно спросил он.

– Давай мне две тысячи рублей и предоставь устроить это дело. Даю тебе слово, что ты никогда более об ней не услышишь.

– Голубчик, устрой... Видеть я ее не могу... Я ее презираю...

– Говорю, устраю... Давай деньги.

– Ах, да, деньги.

Иван Корнильевич растерянно взглянул на счета, но затем вдруг сразу как будто успокоился.

Граф Стоцкий наблюдал за ним глазами хищного зверя.

– Ну, делать нечего... Сегодня вечером я дам тебе две тысячи.

– Хорошо, так до вечера... – произнес Сигизмунд Владиславович и вышел из кабинета.

## XV

### Первый шаг

Горькое чувство овладело Иваном Корнильевичем, когда он остался один.

Девушка, которую все же, как ему казалось, он любил, к которой относился с предупредительной нежностью и не решался сделать решительного шага, не проверив силы и продолжительности своего чувства, которое и оказалось на самом деле мимолетным, так нагло обманула его!

«Я принужден теперь сделаться вором, — неслось далее в голове Алфимова. — Дорого придется расплачиваться за любовь. И кто знает, сколько еще новых безобразий поведет это за собой? Дурные дела тем и ужасны, что ведут за собою всегда еще много дурных дел. Это-то и составляет их проклятие».

В это время в дверь постучались, и в кабинет вошел кассир конторы Дмитрий Павлович Сиротинин.

Последний был молодой человек лет двадцати семи, шатен, с выразительным и даже

красивым лицом и с прямо смотревшими на собеседника светлыми, честными глазами.

Одет он чисто и аккуратно, но без малейшей претензии на франтовство.

Он был единственный сын Анны Александровны Сиротининой, подруги покойной матери Елизаветы Петровны Дубянской.

В квартире этой-то Сиротининой, на Гагаринской улице мы впервые и познакомились с молодой девушкой.

Мать чуть не молилась на сына, который платил ей восторженным обожанием.

С Елизаветой Петровной Дмитрий Павлович был другом раннего детства, затем они расстались и встретились лишь по приезде Дубянской в Петербург.

Окончив одним из первых курс в коммерческом училище, Дмитрий Павлович поступил на службу в государственный банк, где обратил на себя внимание начальника исполнительностью и аккуратностью и был самым директором рекомендован Корнилию Потаповичу Алфимову для его банкирской конторы.

Старик Алфимов скоро и сам оценил Сиротинина, и несколько исполненных им пре-

красно иногородних поручений и освободившееся в конторе место кассира привели к тому, что Корнилий Потапович назначил на это место Дмитрия Павловича.

Мать и сын жили очень скромно, и последний тщательно копил деньги из своего довольно хорошего жалованья, чтобы купить дачку в Лесном, о чем мечтала Анна Александровна как о «своем уголке».

Ко дню нашего рассказа сумма в две тысячи рублей, первый взнос за дачу, продававшуюся в рассрочку, была готова, и Дмитрий Павлович хотел именно в этот день обрадовать мать этим известием.

Было еще, кроме матери, существо, которое любило его.

Иван Корнильевич не ошибся – это была Елизавета Петровна Дубянская.

Она успела за несколько месяцев совместной жизни в квартире его матери оценить душевные качества Дмитрия Павловича, и он являлся первым мужчиной, затронувшим в ее сердце теплое чувство любви – именно то чувство, которое живет годами, а не вспыхивает и угасает, как страсть.

Сиротинин со своей стороны хотя и не задавал себе вопроса об отношении своем к жидлице своей матери и подруге своих детских игр, но чувствовал к Елизавете Петровне какое-то, казалось ему, родственное влечение, и в особенности оно ясно определилось для него с момента отъезда Елизаветы Петровны из их дома.

Разлука – лучший оселок чувств.

– Что вам угодно, Дмитрий Павлович? – спросил у вошедшего Иван Корнильевич.

– Шесть часов. Потрудитесь принять кассу.

– Хорошо, я сейчас иду...

Обыкновенно Иван Корнильевич быстро, почти механически пересчитывал кредитки и записывал свертки золота и векселя, но сегодня он беспрестанно путал и по нескольку раз проверял одни, и те же пачки.

– Дмитрий Павлович, – сказал он наконец, – дайте-ка мне вексельную книгу.

– Вексельную книгу? – с удивлением спросил Сиротинин. – Она заперта вместе с другими книгами, а тот, кто ее ведет, уже ушел...

– Тогда копируйте...

Дмитрий Павлович ушел исполнить при-

казание, и в ту же минуту несколько пачек с сотенными кредитными билетами исчезли в боковом кармане Ивана Корнильевича.

Несчастный весь дрожал от волнения.

– Вот копировально-вексельная книга, – проговорил Дмитрий Павлович, входя в помещение кассы.

– Благодарю вас. Но я навел уже справку по записям... Потрудитесь принять кассовую и мемориал. Я уже внес все к себе.

Он нерешительно взял шляпу и прибавил:

– Я, вероятно, опоздаю завтра, а могут случиться большие платежи.

– Так я велю дисконтировать их в банке, – сказал Сиротинин.

– Нет, лучше возьмите ключ.

– Это против правил, Иван Корнильевич, – заметил Дмитрий Павлович, – ключ от кассы может только оставаться у главы фирмы.

– С вами, Дмитрий Павлович, об этом не может быть и разговора. Мой отец верит вам безусловно. Возьмите ключ.

– Если вы так непременно хотите...

Сиротинин взял ключ, а Иван Корнильевич распрощался и уехал.

«Ну, этому до отца далеко, – грустно думал Дмитрий Павлович. – Тот никогда не сделал бы ничего подобного, хотя бы из принципа. Да и на меня падает теперь большая ответственность...»

Он запер кассу и вышел с веселым сознанием человека, который честно исполнил свои обязанности.

Мысли его обратились на приобретаемую дачку.

«Как мама обрадуется, узнав, что дачка наша... Вот глупое сердце, как оно прыгает от радости даже теперь... Мама, дорогая, славная мама... О чьей же мне радости заботиться, если не о твоей...»

В то время, когда Дмитрий Павлович с ключом от кассы банкирской конторы в кармане и со светлыми мечтами в голове возвращался к себе домой на Гагаринскую, его мать сидела в простенькой гостиной своей маленькой квартирке с желанной гостьей, которую она упросила остаться пообедать «чем Бог послал».

Гостьей этой была Елизавета Петровна Дубянская.

Старушка Анна Александровна Сиротинина внимательно, изредка покачивая своей седой головой в черном чепце, слушала рассказ своей «любимицы», как она называла Дубянскую, о ее страшном двусмысленном положении в доме Селезневых между отцом и матерью, с одной стороны, и дочерью – с другой.

Все сочувствие старушки было на стороне дочери – Любовь Аркадьевны Селезневой.

Происходило это потому, что Анна Александровна, сама дочь богатых родителей, впоследствии разорившихся, вышла замуж вопреки их воли, увозом.

Ее саму хотели отдать замуж за пожилого, богатого, но нелюбимого ею человека, и она вспомнила теперь все перенесенное тогда ее девическим сердцем и понимала теперь, что должна чувствовать молодая Селезнева.

– И такую молоденькую, да хорошенькую, – видела я ее тут раза два у Алфимовых, – хотят выдать за такую развалину, как граф Василий Сергеевич Вельский, – соболезнующим тоном сказала Анна Александровна.

– Но Неелов хуже... Он игрок...

– И, милочка, женится – переменится.

– Игрок не может исправиться.

– Это вы говорите по предубеждению... Может, он был сам завлечен этим Алферовым.

– Послушайте, что о нем говорят в Петербурге.

– На чужой роток не накинешь платок... Про моего покойничка Павла Павловича тоже не весть что говорили. Однако прожила я с ним двадцать четыре года душа в душу... Царство ему небесное.

Старушка истово перекрестилась, и добрые глаза ее, переведенные на икону, заслезинились.

– Нет, нет, чует мое сердце, что эта любовь на погибель.

– Как знать... А может, она любит и не его, а Долинского, за которого, вы говорите, желает выдать ее отец...

– Нет, за последнее время я убедилась, что Екатерина Николаевна ошибается... Люба не любит Долинского, она просто дружна с ним...

– А Неелов-то у вас бывает?

– Очень редко, на больших вечерах... И всегда держится в стороне от Любы... Это-то и по-

дозрительно.

– Почему же?

– Значит, они видятся в другом месте... Я заметила несколько взглядов, которыми они обменялись... Они мне открыли глаза.

– Но ведь вы всегда с нею?

– То-то же, что не всегда... Часто она запирается от меня в своей комнате по целым часам...

– И вы думаете?

– Что ее нет в комнате... У нее есть верная сообщница, ее горничная, которая в эти дни обыкновенно лихорадочно настроена и ревниво оберегает дверь в комнату своей барышни.

– Однако это серьезно... И вам бы следовало все-таки поговорить об этом или с отцом, или с матерью... или даже с обоими.

– Я сначала сама думала об этом... Но ведь это только мое предположение... Как говорят, не имеет доказательств... А если она действительно желает быть одной... В каком положении могу очутиться я...

– И то правда.

– А теперь я зорко наблюдаю и все же ду-

маю предупредить возможное несчастье, насколько это, конечно, в моих силах... В первый же день моего компаньонства во мне появилось страшное подозрение.

– А что?

– Люба, воспользовавшись тем, что я еще не переговорила с Екатериной Николаевной и не вступила в отправление своих обязанностей, ушла гулять в сопровождении своей горничной. Прогулка продолжалась часа два... Когда же она вернулась, на ней положительно не было лица.

– Что вы?

– Глаза были заплаканы... Она жаловалась на нездоровье... У меня тогда же мелькнуло подозрение, что она ходила на свидание, но с кем, тогда я еще не могла догадаться... Теперь же я уверена, что это с Нееловым... Но опять же эта моя уверенность основана на внутри меня сложившемся убеждении, а не на фактах...

– Да, милочка, трудно вам с этим справиться... За любящей девушкой усмотреть, ох, как трудно... Сама по себе знаю. Был тоже за мной не один глаз, однако, всех провела – убежала

С МИЛЫМ...

Анна Александровна проговорила это с чувством какого-то особенного самодовольства.

– Ох, дети, дети, сколько они доставляют и забот, и хлопот... С девочками беда, да и с мальчиками не сладко... Вот я, благодарю Создателя, хоть и вырастила одного, троих Бог прибрал, не дал веку, и всем он хорош, и почитителен, и любящий, и честный, не пьяница, не мот, не развратник, а все сердце за него ноет и ноет.

– С чего же это? – спросила Елизавета Петровна. – Дмитрий Павлович, кажется, примерный сын и очень хороший человек...

– Все это так, душечка, все это так, да ведь он мужчина, также из плоти и крови создан.

– Так что же? – удивленно посмотрела на нее Дубянская.

– Как, что же?.. Еще в Библии сказано: «Не хорошо быть человеку одному». Вон оно куда пошло...

– Что же, Дмитрий Павлович всегда может выбрать себе девушку по душе... Он человек честный, работающий, без места никогда не

останется... Старик Алфимов, даже и тот в нем души не чает.

– Любит, любит он Митю... Назначил на место кассира, большое доверие оказывает... Да и оказать можно, чужого не возьмет...

– Еще бы...

– Это-то все-таки... А вот вы говорите выбрать себе девушку по душе... Где выбрать-то? Из кого?.. Девушки-то нынче пошли какие-то, и как назвать, не придумаешь... Ежели образованная, так в министры метит. Какая уж она жена? Если немножко лоску понабралась, шелк да бархат подавай, экипажи, развлечения, а совсем уж необразованную, простую, как бы только для кухни, тоже взять зазорно... Словом с ней не перекинешься... Никому не покажешь ее... Вот тут и задача...

– Уж вы очень строги к нынешним девушкам, – заметила Елизавета Петровна.

– Не строга, а справедлива... Не все, конечно, таковы... Ну, да те, хорошие-то, единицами считаются... Есть у меня одна такая на примете, кабы привел Бог, ох, как счастлива была бы я за Митю.

Она любовно посмотрела на Дубянскую. Та

потупилась и молчала.

– Ну, да что Бог даст, Его святая воля, – произнесла старуха. В то время в передней раздался звонок.

– А вот и Митя, сейчас и обедать будем...

Это действительно возвратился Дмитрий Павлович Сиротинин.

## XVI

### Два оправдания

**В** то время, когда происходили последние описанные нами события, Николая Герасимовича уже не было в Петербурге. Он был препровожден из дома предварительного заключения в Калугу и помещен в местном тюремном замке, в ожидании суда по обвинению его в поджоге дома в своем имении, селе Серединском, с целью получения страховой премии.

Дело в петербургском окружном суде по обвинению Николая Герасимовича в уничтожении векселя в четыре тысячи рублей, выданного им на имя Соколова и предъявленного ему Владимиром Григорьевичем Мардарье-

вым, окончилось полным оправданием Савина.

Свидетели, Михаил Дмитриевич Маслов и участковый пристав санкт-петербургской полиции Мардарьев, показали, что Николай Герасимович действительно заявил Владимиру Григорьевичу о безденежности его векселя, как одного из данных им господину Соколову для учета.

– Я не получил обратно ни векселя, ни валюты... – говорил Савин.

Справка, наведенная в канцелярии санкт-петербургского градоначальника, также подтвердила, что Николай Герасимович своевременно заявлял о безденежности выданных им на имя Соколова векселей, с которыми последний скрылся.

Оказалось из справки, что по заявлению корнета Савина розыски Соколова производились, но безуспешно.

Товарищ прокурора, ввиду этих выяснившихся данных, отказался от обвинения.

Защитник Николая Герасимовича – помощник присяжного поверенного Долинский – сказал прочувствованную речь о тех

мытарствах этапа и тюрьмы, которые претерпел Савин из-за того только, чтобы выслушать из уст представителя обвинения, что возводимого на него преступления не существует и не существовало.

Несмотря на отказ товарища прокурора, речь защитника не была оставлена без возражений.

Представитель обвинения обратился к присяжным с заявлением, что хотя укор защиты по разбираемому делу, быть может, и справедлив, но что подсудимый Савин арестован за границей не по одному разбираемому ныне делу.

— Над ним, господа присяжные, тяготеет еще обвинение в поджоге дома в селе Серединском Калужской губернии с целью получения страховой премии, и каков бы ни был ваш вердикт и приговор суда, он для обвиняемого не будет иметь никакого значения. Если вы его обвините, на что вы имеете право, несмотря на мой отказ от обвинения, раз вы найдете его виновным по обстоятельствам дела, приговор над ним не вступит в законную силу ранее суда над ним в Калуге, если оправ-

даете – его не освободят из-под стражи ранее этого же суда.

– Я не хочу думать, – возразил на эту вторую речь представитель обвинительной власти защитник Долинский, – что господин прокурор своим последним заявлением хотел сказать вам, господа присяжные, что ваш вердикт не имеет никакого значения для защищаемого мною обвиняемого, а потому-де вы можете даже не задумываться над ним, так как подсудимый все равно будет обвинен в более тяжком преступлении. Это значило бы предрешать будущее тяготеющее над Савиным обвинение, которое может оказаться, да я и уверен, что окажется таким же фантастическим, как и настоящее. Действительно, моему клиенту, независимо от вашего оправдания, предстоят еще долгие месяцы тюрьмы и следование по этапу в Калугу, так пусть же ободряющей в его несчастном положении мелодией звучит ему справедливое о нем мнение судей совести, выраженное словами: «Нет, не виновен». Я жду от вас этих слов во имя высшей справедливости.

Товарищ председателя сказал краткое ре-

зюме, в котором, между прочим, разъяснял присяжным по поводу речей, которыми обменялись обвинение и защита, что дело Савина по обвинению его в поджоге не может и не должно иметь в их глазах никакого значения при постановлении вердикта по настоящему делу.

Присяжные заседатели после минутного совещания вынесли Савину оправдательный вердикт, встреченный взрывом рукоплесканий публики, битком набившей зал заседания.

Председательствующий сделал распоряжение об удалении публики из залы. Затем суд объявил отставного корнета Савина, в силу решения присяжных заседателей, оправданным по суду, но в виду тяготеющего над ним другого обвинения не освобожденным из-под стражи.

Николая Герасимовича вновь увели в дом предварительного заключения, откуда через неделю отправили по этапу в Калугу.

Туда же уехал и Сергей Павлович Долинский, имя которого снова, благодаря делу Савина, обошло все газеты и сделалось популяр-

ным адвокатским именем в Петербурге. Обаяние этой известности придало ему немалый престиж и пред калужским окружным судом, с составом которого он познакомился недели за две до дня, назначенного для слушания дела Савина.

Николай Герасимович не скрыл в беседе со своим защитником трагическую судьбу его любовницы Настасьи Лукьяновны Червяковой, которую он уже безумную видел в саду, окружавшем сгоревший дом в Серединском, откуда она и убежала и лишь через неделю после пожара была найдена повесившеюся в соседнем лесу.

– Вы думаете, что она и подожгла дом?

– Я в этом уверен, так как только тогда, когда начался пожар, я вспомнил и понял смысл ее слов: «Такое пекло устрою».

Сергей Павлович принял к сведению рассказ своего клиента и, по приезде в Калугу и знакомстве с местной прокуратурой и магистратурой, отправился в село Серединское.

Там еще было живо в памяти время пожара господского дома и обнаружение затем самоубийства «барской барыни» Настасьи Лу-

Кьяновны.

Некоторые крестьяне прямо делали вывод из совпадения этих событий, что дом подожгла Настасья «из любви к барину».

– Оченно тогда ее расстроил перед этим какой-то приезжий чумазый барин... – говорили некоторые из них, намекая на посещение Серединского покойным Строевым.

Сергей Павлович не без труда уговорил некоторых из отчетливо помнивших событие пожара крестьян ехать с ним в Калугу и выступить в суде в качестве свидетелей защиты.

Конечно, Долинский повез их в город на собственный счет и принял на себя, независимо от вознаграждения за потерю времени, их содержание в Калуге.

Вернувшись в этот город, он подал в суд заявление о дозволении ему представить переименованных им в нем свидетелей и о при соединении к делу находящегося в архиве окружного суда дела о самоубийстве в припадке безумия крестьянской девицы Настасьи Лукьяновой Червяковой. Оба ходатайства были судом уважены.

Наконец наступил день суда.

Зал заседаний калужского окружного суда был переполнен избранной публикой, среди которой было много лиц, знавших Савина еще до получения им общеевропейской известности.

Суд занял свои места. Произведен был выбор присяжных и приступлено к чтению обвинительного акта.

«В ночь на 25 июля 1882 года, – гласил между прочим этот акт, – в селе Серединском, Боровского уезда, Калужской губернии, сгорел деревянный, одноэтажный с антресолями дом местного землевладельца, состоящего в запасе кавалерии корнета Николая Герасимовича Савина. Дом в это время никем занят не был. Пожар начался на чердаке, так как дом был заперт, и управляющий имением Савина, крестьянин Гамаюнов, высказал предположение, что пожар произошел от поджога, но подозрения ни на кого не заявил.

Время и место возникновения пожара удостоверено было при следствии несколькими свидетелями. Из них первые очевидцы пожара, крестьяне Щевелев и Бобылев, увидев, что у барского дома горит крыша, побежали на

пожар и нашли дом запертым, а потому отбили замок у входных дверей в нижнем этаже; в антресолях огня еще не было. Когда же они открыли дверь, ведущую на чердак, то идти туда было уже нельзя.

Владелец сгоревшего дома корнет Савин, уехавший тотчас же после пожара, и живший до него в селе Серединском во флигеле несколько дней, о причине пожара не объяснил ничего.

Сгоревший дом, не считая находившегося в нем имущества, был застрахован в „Российском страховом от огня обществе“ за 20 000 рублей.

После этого следствием были обнаружены обстоятельства, послужившие поводом к предположению, что поджог был произведен самим Савиным.

Прежде всего показалось подозрительным то, что Савин впервые застраховал 18 января 1882 года, то есть за полгода до пожара, в „Российском страховом обществе“, через посредство живущего в Туле агента общества статского советника Мерцалова, дом в 20 000 рублей, отдельно от него каменный флигель в

6000 рублей и смешанную людскую постройку в 4000 рублей. До того времени все эти постройки никогда не страховались, страховались из имущества господина Савина в селе Серединском только один трактир, но страховка его производилась в другом месте, а именно, у агента „Санкт-Петербургского и Русского страховых обществ“ Соколова, живущего в городе Боровке.

Допрос господ Мерцалова и Соколова по поводу страхования у них Савиным имущества выяснил некоторые противоречия в том, что говорил обвиняемый тому и другому агенту.

Все это, по мнению обвинительного акта, составляло первую улику против Савина. Вторую уликою была оценка через сведущих людей застрахованных Савиным строений, оказавшихся по цене много ниже суммы страховки.

Относительно обстоятельств, предшествовавших пожару, из рассказа ключницы, солдатки Максимовой, и старшины Гамаюнова выяснено, что Савин приехал в Серединское вместе с землемером за несколько дней до по-

жара, не застав уже в нем его домоправительницу Настасью Червякову, ныне умершую, и остановился во флигеле. Сгоревший накануне отъезда барина дом был все время заперт кругом, и ключи находились у Прасковьи Максимовой. Савин ключа от дома у нее не брал и в дом не входил, и в него, по мнению некоторых свидетелей, можно было проникнуть через окна, выходящие в парк, так как некоторые из них запирались очень плохо, а одно, подъемное, не запиралось совсем. Окно это было невысоко от земли, и влезть через него в дом было очень легко. Все это облегчало возможность поджога; тем более, что были под руками горючие материалы. В 1880 или 1881 году в сгоревшем доме был уничтожен мезонин и прежняя крыша была заново перекрыта дранью. После этой работы на чердаке оставалось много разного хлама, там же был и старый гонт с крыши».

По прочтении обвинительного акта Николаю Герасимовичу был задан вопрос, признает ли он себя виновным, что с целью получения страховой премии поджог собственно ему принадлежащий дом в селе Серединском,

на что Савин отвечал отрицательно.

Вызванные обвинением свидетели подтвердили в общих чертах выводы обвинительного акта.

Интерес сосредоточился на свидетелях защиты, перед которыми обвиняемый дал пространное объяснение о встрече в саду в Серединском с Настей, исчезнувшей из дома за несколько дней до пожара и, видимо, впавшей в безумие.

– Сгоревший дом и имущество стоили вдвое, чем то, что я получил из страхового общества, но я считал и считаю это для себя возмездием за то, что я погубил привязавшуюся ко мне молодую женщину, от которой отделяла меня неравность общественного положения и воспитания. Настоящий суд надо мной тяжел мне, но не как суд, могущий лишить меня доброго имени и признать поджигателем – я глубоко убежден, что на это не поднимется рука судей совести – а как воспоминание о покойной, так трагически покончившей с собою.

Свидетели защиты подтвердили рассказ обвиняемого об исчезновении Насти и то, что

она была последнее время «не в себе», и выразили убеждение, что пожар дома села Серединского был делом ее безумных рук.

Прокурор произнес сдержанную речь, прося присяжных заседателей не увлекаться вдруг впервые обнаружившейся и явно подготовленной защитой романтической подкладки этого, в сущности, весьма обыденного и прозаического дела. Защитник Савина Долинский построил между тем на этой самой романтической подкладке блестящую речь, произведшую впечатление не только на присяжных заседателей и на публику, но и на суд.

Николай Герасимович Савин вышел из суда оправданным и свободным.

## XVII

### Злой дух

Был прекрасный июльский день.

На террасе роскошной дачи графа Петра Васильевича Вельского сидела Ольга Николаевна Хлебникова с книжкой в руках, задумчиво склоня на перила свою прекрасную голову.

– Как счастлива была бы я на ее месте! – прошептала она с глубоким вздохом.

Мечты ее были прерваны появлением графа Стоцкого.

– Здравствуйте... Неужели я приехал слишком рано, чтобы поздравить новорожденную?

– Конечно, здесь день начинается только часа в два...

– А вы привыкли вставать рано и в это время, разумеется, скучаете?

– Нет, я в это время читаю. Граф так любезен, что сам выбирает для меня книги.

– А что вы читаете теперь? Можно полюбопытствовать?

– Это английский переводной роман, в ко-

тором рассказывается история одной женщины, которая не любила своего мужа и довела его до того, что он привязался к другой и женился на ней, а сама она вышла замуж за другого.

– Молодец, граф... Назидательно.

– Что вы хотите этим сказать?

– Вещь очень простая, которую вы и сами знаете очень хорошо... Графиня не любит мужа – он не такой дурак, чтобы этого не видеть, и кончится тем, что полюбит вас.

– Перестаньте, Сигизмунд Владиславович! Ни любить, ни полюбить он меня не может – он любит графиню. Но добр он ко мне беспредельно. Вчера, например, он подарил мне целый парюр из драгоценных камней и сказал, что я должна принять его уже потому, что ему было бы больно, если бы лучшая подруга его жены была одета хуже ее. И при этом он так был взволнован! Какая нежность, какая чуткость ко всему, что хотя мало-мальски касается графини.

– Да, это правда – он к ней в высшей степени внимателен, бедняга! Хотя история с парюром мне кажется подозрительной... Вы святая

простота... Но она! Скажите, чем объяснить ее холодность? Влюблена она что ли в кого-нибудь?

– Как вам не стыдно! Клянусь вам, что графиня одна из тех женщин, которые способны ради исполнения долга вырвать самое глубокое чувство из своего сердца.

– Вы прелестная идеалистка, Ольга Ивановна, – заметил насмешливо граф Стоцкий. – Вы говорите об этом подвиге графини, как о факте, уже свершившемся.

– Я вас не понимаю!

– К чему вы притворяетесь? Ведь вы очень хорошо знаете, как состоялся этот брак... Корнилий Потапович настоял на нем, хотя и знал, что его дочь глубоко любила другого. И даже отправил этого другого в почетную ссылку. Говорят, он скоро вернется.

– Что же из этого? Если бы это и было так, хотя я не знаю этого... Но я убеждена, что если бы что и было до брака, то после него графиня останется до гроба верна своему мужу...

– Bravo, прелестный адвокат... Но как же это вы, закадычная подруга графини, не знаете имени ее избранника?..

– Повторяю вам, не знаю.

– Так уж я вам скажу его. Это доктор Неволин.

– Он просто друг детства.

– Ох уж эти друзья детства! – усмехнулся Сигизмунд Владиславович своей змеящейся улыбкой.

В эту минуту на террасу вошел граф Петр Васильевич.

– Как здоровье Нади? – спросил он у Ольги Ивановны, дружески поздоровавшись с графом Стоцким. – Хотелось бы, чтобы она хоть сегодня была повеселее, но, кажется, мои доброжелатели так восстановили ее против меня, что этому не бывать.

– О, граф! Не виноваты же люди, что про вас ходили такие странные слухи... Но ведь теперь никто ничего дурного не думает.

– Да, да, будем надеяться на лучшее, – перебил граф Вельский. – Однако неужели до сих пор Надя не встала?

– Я пойду потороплю ее... Да и я еще ее не поздравила.

С этими словами Ольга Ивановна ушла с террасы.

– Прелестное существо, – сказал граф Петр Васильевич.

– Ты находишь? – язвительно спросил граф Стоцкий.

– И что за безграничная преданность нам с женой, – продолжал он, не обратив внимания на это замечание. – Она положительно заставила меня додуматься до того, что Надя пожертвовала для меня всем и что ради этого я обязан от многого отречься.

– Что же?.. Если не боишься сделаться всеобщим посмешищем – за чем же дело стало? Ступай хоть в монахи. Но главное в том, есть ли достаточная причина на это решаться?

– Говори яснее.

– Ну, братец, такие вещи легко не говорят.

– А я тебе повторяю, во имя нашей дружбы, говори!..

– Помни, что ты сам этого потребовал! Видишь ли... женщины не то, что мы, – это организации нервные, утонченные, способные питать чувство одним воображением и все-таки сохранять это чувство целые годы. Графиня тебя не любит, да едва ли когда-нибудь и привяжется к тебе, потому что она прежде

любила...

– Я убью этого проклятого... – проскреже-  
тал граф, бледнея.

– Ты не так меня понял! – проговорил граф  
Стоцкий, сам испугавшись последствий своих  
слов. – Я не говорю, что графиня любит и те-  
перь... Я только хотел тебе посоветовать не  
становиться в глазах света смешным, пока ты  
не убедишься, что...

Он не договорил, так как на террасу снова  
вышла Ольга Ивановна.

– Графиня сейчас выходит в столовую, –  
сказала она Петру Васильевичу.

Тот, мрачно сверкая глазами, порывисто  
пошел в дом.

Тяжелые, резкие шаги его затихли только  
на ковре гостиной, к которой примыкала сто-  
ловая.

В столовой было пусто.

Он прошел далее несколько комнат и неза-  
метно очутился у будуара графини.

Подойдя к нему, он вдруг остановился.

До его слуха долетел какой-то странный,  
порывистый шепот. Шепот этот раздавался из  
будуара, отделенного от приемной графини,

в которой он находился, только спущенной портьерой. Он прислушался.

– Дорогая моя... Незабвенная! – с глубоким чувством говорила графиня. – Бог свидетель, как тяжела моя судьба, но среди величайшего горя я останусь верна клятве, которую дала тебе, как и клятве, данной мною перед алтарем... Мне стоит посмотреть на твои дорогие черты, и в душе моей возрождаются новые силы.

Граф не разобрал, говорила ли его жена «дорогая», «незабвенная» или же «дорогой», «незабвенный», то есть относились ли эти эпитеты к мужчине или к женщине.

Он не выдержал.

Осторожно отмахнув портьеру, он прошел в будуар.

Графиня Надежда Корнильевна стояла спиной к нему на коленях перед киотом с образами, и держала в руке чей-то портрет.

Граф Петр Васильевич также беззвучно подкрался к ней по толстому ковру и быстро перегнувшись через ее плечо, увидел, что это был миниатюрный портрет ее матери.

– Да! Только бы, Ты поддержал меня, Гос-

подь мой! – продолжала графиня, не замечая мужа. – Только бы Ты просветил его разум и открыл ему, как сам он глубоко несчастлив в своем ослеплении. А я... я, забывая себя, стану исполнять долг свой и дам ему все то счастье, какое может дать страстно любящая жена.

– Аминь! – проговорил граф.

Быстро обернувшись и вскочив с колен, графиня увидела, что на глазах ее мужа блестя слезы.

– Ты... Здесь... И именно в эту минуту! – проговорила она растерянно.

– За все сокровища мира не отдал бы я этой минуты! – воскликнул он. – Она не изгладится из души моей во всю мою жизнь. Прости, прости меня, Надя! Клянусь тебе!..

– Полно, Петя, не клянись! Возблагодарим Бога и за то, что ок просветил тебя... Что ты сознал свои заблуждения... Лучшего счастья я не могла бы для себя сегодня пожелать!

– Хорошо... Клясться я не стану... Но вот медальон... Он имеет форму сердца... Он открывается... Пусть он будет символом, что мое сердце всецело принадлежит тебе и всегда будет для тебя открыто... Верь мне, что из люб-

ви к тебе я готов на все лучшее, и что каждый раз, когда меня станет соблазнять что-либо дурное, мысль об этой минуте и об этом медальоне-символе и надежда хоть когда-нибудь добиться твоей любви станет воздерживать меня.

С этими словами он надел ей на шею медальон на золотой цепочке в виде сердца, осыпанного бриллиантами.

Надежда Корнильевна взяла обеими руками его голову и поцеловала его в лоб.

На лице графа Вельского отразилось испытываемое им блаженство от столь редкой искренней ласки его жены.

– Зачем он так поспешил? – сказала между тем как бы про себя Ольга Ивановна. – Графиня, может быть, еще не вышла в столовую.

– Как же не спешить влюбленному мужу к холодной, как мрамор, жене, – с явною насмешкою сказал граф Стоцкий, держа в руке сорванный им цветок.

– Поверьте, граф, что все уладится между ними, и в конце концов они будут любить друг друга и жить счастливо. Я, по крайней мере, приложу все силы мои для этого и упо-

треблю все свое влияние на Надю.

– Ну, тогда, конечно, счастье их обеспечено, – снова ядовито усмехнулся Сигизмунд Владиславович.

В это время на террасу из сада вошел приехавший из города Корнилий Потапович Алфимов.

Он подозрительным, ревнивым взглядом окинул беседующую парочку.

– Где же Надя? – сказал он, здороваясь со Стоцким и Хлебниковой.

– Она с мужем в столовой... Я сейчас скажу им, что вы приехали.

Ольга Ивановна ушла в комнаты.

Корнилий Потапович и Сигизмунд Владиславович остались одни.

– Однако вы сильно, как я вижу, приударяете за Ольгой Ивановной, – сказал старик, ударяя по плечу графа.

– Я? – воззрился на него тот недоумевающим взглядом.

– Ну, конечно, вы... О чем вы тут с ней ворковали?

– Ошибаетесь, Корнилий Потапович, этот кусочек не для меня... Его, кажется, готовит

себе ваш зятек...

– Что! Граф Петр?..

– Да, кажется, надо же ему утешиться от все возрастающей холодности его жены...

– Ну, этому не бывать, – сверкнул Алфимов глазами из-под очков.

– Вы что же хотите, чтобы он жил аскетом и был бы верен недоступной богине – своей жене? Ведь он моложе вас... У него кипит кровь и бьется сердце.

– Кто сказал вам, что у меня не кипит она?

– Все же не так.

– Как знать... Эта девушка производит на меня одуряющее впечатление... Вам я признаюсь, так как хочу просить вашего содействия, если только вы сами...

– Будьте покойны насчет этого... Она не в моем вкусе... Слишком серьезна и идеальна...

– Вы часто бываете здесь, подготовьте ее исподволь к моему объяснению... Я хочу предложить ей руку и сердце.

– Вы?

– Да, я... Чему же вы удивляетесь?

– Я подумал, как вы, считающийся финансовым гением, способны на такую невыгод-

ную сделку...

– Что вы этим хотите сказать?

– Да то, что вы сразу набиваете цену на товар, который можно приобрести дешевле... Граф Вельский оказывается практичнее вас. Он начал с дешевенького, но блестящего парюра...

– Но она честная девушка, да и отец ее...

– И вы верите, при вашем знании жизни, в добродетель современных девушек и неподкупность нынешних отцов? Хлебников, ваш управляющий, и должен молчать, если не захочет потерять место... Вы возьмите ее в дом под видом присмотра за хозяйством. Вот и все.

– Конечно, – после некоторого раздумья сказал Корнилий Потапович, – так было бы удобнее, но...

– Какое там «но».

– Я думаю, что она на это не пойдет...

– Предоставьте это мне и Матильде Францовне.

– Матильде?

– Да, не бойтесь... Ревность не входит в число ее многих пороков, которые в ней ка-

жуются добродетелями. При моем содействии, она, как женщина, уладит все по вашему желанию.

Развитию подробностей этого гнусного плана помешали вышедшие на террасу граф и графиня Вельские и Ольга Ивановна. Муж и жена оба весело улыбались.

– Однако у них, кажется, на самом деле начинается «совет да любовь», – злобно проворчал граф Сигизмунд Владиславович.

## XVIII

### Тюрьма или гнездышко?

Командировка Федора Осиповича Неволина закончилась как раз в то время, когда он был, по мнению Корнилия Потаповича, совершенно безопасен для счастья его дочери.

Надежда Корнильевна Алфимова уже несколько месяцев как была графиней Вельской.

Положим, вскоре после свадьбы старик Алфимов начал сильно сомневаться в личном счастье Нади, так как ее постоянное печальное настроение указывало на внутренние

страдания, переносимые молодой женщиной.

В душе Корнилия Потаповича сперва было зашевелилось даже нечто, вроде угрызения совести, но так как он, как мы знаем, не принадлежал к числу людей, способных предаваться «безделью», к которому причислял и сожаление о совершенном и случившемся, то скоро и нашел утешение в русской поговорке: «Стерпится – слюбится».

Возникшая в его старческом уме, или лучше сказать, в его старческой крови страсть к Ольге Ивановне еще более отодвинула на задний план мысли о Наде.

«Графиня богата, любима мужем, преудержающим все ее малейшие желания... Какого ей еще рожна нужно?» – рассудил он и успокоился.

Расположение к человеку, с его точки зрения, порождалось услугами, которые этот человек делает другому, к нему расположенному. Любовь – эгоистическое чувство необходимости для одного в другой, или для одной в другом, в том или другом, но непременно материальном смысле.

Иного чувства Корнилий Потапович не по-

нимал и называл его «блажью».

Таковой «блажью» считал он и чувство его дочери к «докторишке», как называл он Неволина.

Но вернемся к Федору Осиповичу Неволину.

Его командировка, повторяем, кончилась.

Она продолжалась, однако, более десяти месяцев, во время которых он еженедельно давал медицинский отчет «петербургской знаменитости» и получал изредка краткие извещения, состоявшие почти сплошь в одобрении принятого метода лечения.

Больная, однако, умерла в Баден-Бадене.

Об этом исходе правильного метода лечения Федор Осипович не замедлил сообщить «светилу медицинского мира», с указанием последних употребленных им средств.

Ответа на это письмо он ждал с большим трепетом, боясь указания на существенные сделанные им промахи.

Но ответ пришел успокоительный для него как для врача.

«Светило медицинского мира» писал, что смертельный исход болезни произошел по

всем правилам врачебной науки и при совершенно рациональном методе лечения.

Репутация Неволина как врача в глазах «знаменитости» была сохранена.

Федор Осипович мог отдаться всецело своему личному горю, или лучше сказать, предчувствию этого горя и начал спешно готовиться к отъезду на родину.

К чести Федора Осиповича надо сказать, что обязанности врача он понимал очень высоко и не допускал, имея на руках больного, отвлекаться лично посторонними делами, хотя бы эти дела составляли для него вопрос жизни и смерти.

Так было и в данном случае.

Имея на руках порученную ему больную, он все свои мысли направил к всевозможному разъяснению по данным его науки ее болезни и столь же возможному если не излечению, то облегчению ее страданий, забывая носимую им в сердце страшную рану.

Этой раной было непонятное для него молчание Надежды Корнильевны Алфимовой.

Он написал уже несколько писем на имя ее горничной, но сам не получил ни одного.

«Ужели она забыла меня? С глаз долой – из сердца вон», – иногда только мелькало в его голове.

Он гнал от себя эту мысль, но воображение рисовало ему тогда нечто еще более ужасное.

Федор Осипович знал о предполагаемом сватовстве со стороны графа Вельского и о настойчивом желании этого брака стариком Алфимовым, знал он также и о клятве, данной Надеждой Корнильевной у постели умирающей матери – повиноваться во всем отцу.

«Ужели ее выдали замуж против ее воли?»

Эта мысль холодила ему мозг.

Он не мог себе представить, что Корнилий Потапович, так ласково, чисто по-родственному обошедшийся с ним при расставании, мог воспользоваться этой клятвой своей дочери, чтобы принудить ее согласиться на брак, который ей в будущем не сулит ничего, кроме несчастья.

«Может быть, она больна... умерла...» – терялся он в догадках.

Всецело, повторяем, овладели им эти мысли после смерти порученной ему больной, во время сборов в Петербург.

Ранее с берегов Невы до него не долетало никакой весточки.

Только что переведенный в Петербург, он не успел завести близких знакомств, не успел сойтись на короткую ногу с товарищами.

К кому же он мог обратиться за щекотливыми сведениями о любимой девушке?

Наконец поезд помчал его в Россию.

В первый же день приезда в Петербург – на дворе стояли первые числа августа – он поехал на Сергиевскую.

С трепетно бьющимся сердцем подъезжал он к подъезду дома Алфимова.

Прежний бравый швейцар распахнул перед ним дверь.

– Дома?..

– Никак нет-с... на даче-с.

– Где?..

– На Каменном острове.

– Все здоровы?

– Все, слава Богу.

– И Надежда Корнильевна?.. – чувствуя, как сжимается у него горло, спросил Неволин.

– Ее сиятельство тоже изволят быть здоровы.

Этот титул сказал ему все.

– Ее сиятельство изволят быть здоровы... – машинально повторил он.

– Точно так-с... – невозмутимо ответил швейцар. – Что с вами, барин, вам худо?.. – вдруг добавил он, видя, что Федор Осипович, бледный как смерть, прислонился к притолке двери.

– Ничего, это так... со мной бывает... головокружение... Дай-ка мне стакан воды.

Швейцар бросился за водой.

Федор Осипович собрал всю силу своей воли, и когда вестник его горя возвратился, неся на подносе стакан с водой, он уже пришел в себя и, выпив залпом стакан, сказал:

– Благодарствуй. Так я к ним на дачу понаведаюсь.

– Там у них свои дачи поблизости... У Корнилия Потаповича и у их сиятельств... – пустился в объяснения швейцар.

Но Неволин не слышал его.

Сунув в руку швейцара какую-то мелочь, он вышел из подъезда и, бросившись в пролетку ожидавшего его извозчика, крикнул:

– Пошел!

Без думы, в каком-то оцепенении ехал он по улицам Петербурга, сам не зная куда.

Сообразительный извозчик, которого Федор Осипович взял от подъезда меблированных комнат на Екатерининской улице, где он временно остановился, привез его обратно к тому же подъезду.

При остановке экипажа Неволин вышел из своего столбняка, бросил извозчику рублевую бумажку, вошел в подъезд, поднялся во второй этаж и, только очнувшись в своем номере, бросился ничком на постель и зарыдал.

Слезы облегчили его.

Он посмотрел на часы.

Был четвертый час в начале.

Он решился заехать в контору Корнилия Потаповича в надежде, что старик сам пригласит его к себе на дачу, и, быть может, сведет и к дочери.

С графом Федор Осипович был почти не знаком, если не считать нескольких случайных и коротких встреч.

Сказано – сделано.

Неволин снова одел пальто, взял шляпу и поехал на Невский проспект.

Корнилий Потапович оказался в конторе. В его кабинете Неволин застал и графа Вельского.

«Счастливым случаем!» – мелькнуло в его голове.

Вскоре он, однако, разочаровался.

Старик Алфимов принял его очень любезно, расспрашивал обстоятельно о его заграничной поездке, но не обмолвился приглашением.

Граф Петр Васильевич Вельский при возобновлении знакомства с Федором Осиповичем обошелся с ним так холодно-вежливо, что о визите к нему не могло появиться и мысли.

– Графиня теперь никого не принимает... – бросил он между прочим в разговоре, сильно подчеркнув эти слова.

Неволин понял и вскоре, простившись, вышел из конторы Алфимова.

Надежда увидеть графиню Вельскую открыто и честно рушилась.

Приходилось прибегнуть к свиданию исподтишка.

Страстное желание видеть молодую люби-

мую им женщину все более и более охватывало Федора Осиповича.

Он воспользовался возможностью отдыха после путешествия и не вступал в исполнение своих обязанностей ординатора больницы.

В продолжение нескольких дней просидел он безвыходно в своем маленьком номере.

Голова его положительно шла кругом.

В то, что сама Надежда Корнильевна польстилась на графский титул и на возможность играть роль в высшем петербургском свете или же даже что она разлюбила его и полюбила другого, он не верил.

Он был глубоко убежден, что брак ее с графом Вельским был насильственный.

Это убеждение подтвердилось и приемом, оказанным ему в конторе Алфимова Корнилием Потаповичем и графом Петром Васильевичем.

Он ничего не сделал им дурного, и они оба не могли иметь против него ничего, кроме того, что его любила когда-то жена последнего.

Если бы только любила и променяла добровольно, то граф Вельский, торжествующий

победу, не был бы так холоден к своему бывшему несчастному сопернику.

Отсюда ясен был вывод, что графиня любит его до сих пор и граф Петр Васильевич знает это.

Прийдя к этой мысли, он вышел из своего добровольного заточения и отправился на Каменный остров.

Без труда нашел он роскошную дачу графа Вельского, находившуюся в одном из лучших и тенистых летних уголков Петербурга, пользующихся за последнее время обидным пренебрежением.

Он прошелся несколько раз мимо дачи, пошел далее, погулял и снова вернулся.

Самый вид жилища горячо любимого им существа, казалось, вносил, с одной стороны, успокоение в его измученное сердце, а, с другой, между тем поднимал в нем целую бурю.

Ощущения эти менялись мучительно одно за другим.

Ощущение близости в несколько шагов от женщины, которая так же, как и он страдает в разлуке с ним и жаждет свиданья – за последнее время это убеждение всецело укрепи-

лось в уме Неволина – давало ему нечто вроде нравственного удовлетворения.

Дух сомнения между тем нашептывал ему другое.

«Тюрьма или гнездышко?» – восставал в его уме мучительный вопрос при виде дачи, где жила с мужем графиня Вельская.

Дача была поистине великолепна. Изящная постройка, расположенная среди окружающего тенистого сада с массой душистых цветов и мраморными фигурами в клумбах, фонтаном, бившим легкой и обильной струей и освежавшим воздух, – все, казалось, было устроено для возможного земного счастья двух любящих сердец.

«Гнездышко!» – мучительно откликалось в душе Федора Осиповича.

А между тем в этом месте, казалось, самой природой созданном для бьющей ключом жизни, – было пусто и мертво.

В течение нескольких часов, которые Неволин провел около дачи и поблизости, она показалась ему прямо необитаемой.

«Да здесь ли она?» – мелькнуло в его уме.

В это время в воротах появилось живое су-

щество – это был дворник, одетый в новую красную кумачовую рубашку, плисовые шаровары, сапоги со сборами и черном новом картузе.

Он меланхолически остановился у ворот, куря свою носогрейку.

Неволин перешел на ту сторону и, проходя мимо него, небрежно бросил:

– Это дача графа Вельского?

– Так точно.

– Петра Васильевича?

– Так точно.

– Не живут?

– Никак нет-с, живут-с, – отвечал дворник. – Только граф более все по делам в Петербурге, а их сиятельство графиня ведут жизнь уединенную.

Федору Осиповичу показалось, что в нотах даже грубого голоса дворника он уловил сочувствие и сожаление к сиятельной затворнице.

«Тюрьма!» – пронеслось в его голове.

И странно, на этом последнем выводе он остановился с большим внутренним удовлетворением.

Так скверно устроен человек, что, страдая сам, он находит себе утешение в страданиях ближнего.

Стало уже совершенно смеркаться, когда Неволин уехал с Каменного острова.

## XIX

### Свидание

Ежедневно стал совершать свои мучительные прогулки на Каменный остров Федор Осипович Неволин.

Какая-то непреодолимая сила тянула его туда. Им руководило, кроме того, предчувствие, что случай поможет ему увидеть графиню Надежду Корнильевну Вельскую. Это предчувствие не обмануло его.

На пятый или на шестой день своего странствования около дачи Вельского он, как раз в то время, когда проходил мимо ворот, столкнулся лицом к лицу с выбежавшей из ворот девушкой, на голове которой был накинут шелковый платок.

Он сразу узнал Наташу, горничную Надежды Корнильевны, на имя которой он писал

из-за границы несколько писем, не получив на них ни строчки ответа.

– Наташа! – окликнул он девушку, бросившуюся было от него в сторону.

Та остановилась в недоумении, но взглядев-шись в Неволина, только ахнула.

– Федор Осипович, вы ли это?

– Я, или не узнала?

– Да и как узнать-то, похудели вы очень, побледнели, больны верно?

– Нет, ничего, здоров.

– Какое ничего, вот теперь в вас вглядываюсь... Краше в гроб кладут.

– Что делать... Ты куда?

Девушка смутилась.

– Да так, пробежаться вздумалось... Ее сия-тельство отпустили.

– Мне бы с тобой поговорить надо... – через силу, сунув в руку Наташи первую попавшуюся в кармане кредитку, сказал Неволин.

– За что жалуете... Я и так всегда готова... – сконфузилась молодая девушка, но бумажку сунула в карман.

Наташа была скорее подругой, нежели гор-ничной Надежды Корнильевны. Крестьянка

села Отрадного, первая ученица тамошней сельской школы, она по выходе Алфимовой из института была взята в Москву и определена в услужение барышне, а затем с нею же переехала в Петербург.

Не рассталась с ней Надежда Корнильевна и сделавшись графиней.

Обе столицы быстро оказали свое действие на молоденькую деревенскую девушку, она приобрела тот внешний лоск и даже интеллигентность, которые отличают тип столичных горничных, прозванных некоторыми остряками «театральными».

– Да ты, может, куда спешишь? – спросил Федор Осипович.

– Нет, барин, ничего, не к спеху, подождет, не впервой и понапрасну дожидаться... – лукаво усмехнулась она.

– Куда же нам пойти?.. – после некоторой паузы начал он.

– Да пожалуйста к нам в сад, в беседку.

– Неудобно.

– Чего неудобно... В доме ни души... Графиня у себя в будуаре читает. Графа дома нет-с, пожалуй, не ранее, как под утро явится... Ба-

рышня Ольга Ивановна тоже в городе... Дом-то почитай, как мертвый.

– Что так?

Наташа только рукой махнула.

– Эх, и среди золота не сладко живется, Федор Осипович!

Сердце Неволина похолодело от этих слов.

Он встал, вышел с Наташей во двор жилища графини, прошел в сад и вскоре очутился в закрытой беседке-павильоне.

Беседка выглядела положительно бомбоньерочкой.

С полом, обитым мягким ковром, с легкой гнутою мебелью и круглым столом, вся убранная цветами, она была положительно самым подходящим уголком для влюбленных.

«Гнездышко!..» – снова было мелькнуло в голове Неволина, но только что сказанная Наташей фраза успокоила вспыхнувшее было в нем ревнивое чувство.

«Тюрьма!..» – с каким-то радостным озлоблением подумал он.

– Вот что, Наташа... – начал он дрожащим голосом... – У меня до тебя будет просьба.

– Что прикажете?

– Устрой, чтобы я мог увидаться с Надеждой Корнильевной.

– Да разве вы приехать к нам не можете?

Неволин объяснил ей, что видел графа Петра Васильевича и что он с ним встретился так холодно, что о визите в его дом не может быть и речи, а про жену свою сказал, что она никого не принимает.

– Это правильно... Ее сиятельство совсем затворилась... Точно в келье... На будущей неделе Корнилий Потапович праздник у себя на даче устраивает, так и на него она, как граф ее ни уговаривал, ехать не хочет... Не знаю, на чем и порешат.

– Так видишь ли... А видеть мне ее хоть один раз, быть может, последний раз, а нужно.

– Понимаю, батюшка барин, понимаю, любовь-то не железо, не ржавеет, да и графинюшка моя, узнав, что вы вернулись, как обрадуется!

– Да разве она не знает?

– Ничегошеньки им об этом не говорили... Кабы знали они, и я бы знала... – с некоторой

гордостью сказала Наташа. – Да и не скажут. Не любит вас молодой граф-то, просто ненавидит, можно сказать, да и натравливает его на вас тут другой, черномазый.

– Кто такой?

– Граф Стоцкий.

– А, видел, знаю... Но что же я ему сделал?

– Уж этого доложить доподлинно не могу, а только раз слышала я ненароком разговор их о том, что графиня-то по-прежнему вас любит, а потому с ним, то есть с графом Петром Васильевичем, так холодна.

– А холодна разве?

– Как чужие... На последях тут несколько понежней стали... Да и то не так, как муж с женой.

Как ни отрадно было слышать это Федору Осиповичу, но он почувствовал какую-то брезгливость узнавать от прислуги семейные тайны любимой им женщины и перебил молодую девушку.

– Так устроишь, а завтра я в это же время за ответом приду, против дачи буду.

– Можно бы, кажись, устроить... Да не знаю, как ее сиятельство... Я, однако, не ду-

маю, чтобы отказали принять вас... Граф же по вечерам дома не бывает, а Ольга Ивановна к сродственникам поехали и только в конце недели будут.

– Так пожалуйста... До завтра.

С этими словами он вышел из беседки, а затем из сада и со двора и направился к себе домой, полный надежды на завтрашний день.

В тот же вечер Наташа, раздевая графиню, несколько таинственно сказала ей:

– А я сегодня у дачи встретила старого знакомого.

– Кого это?

– Федора Осиповича Неволина.

Надежда Корнильевна сначала побледнела, а потом вся вспыхнула.

– Ты говорила с ним? – после некоторой паузы, прерывающимся от волнения голосом, сказала она.

– Как же, они меня остановили и долго говорили со мной.

– Давно он приехал?

Наташа передала ей рассказ Неволина о посещении им петербургского дома и конто-

ры Корнилия Потаповича и встречу в ней с графом Петром Васильевичем.

– А-а!.. – протянула как-то неопределенно графиня.

– Исхудал он, бедняга, страсть, – продолжала Наташа, – бледный такой, еле на ногах держится, просто краше в гроб кладут.

– Что ты!

– Христом Богом просили позволения увидеть вас... Говорили, что это, может быть, в последний раз в жизни. Ах, ваше сиятельство, сжальтесь над ним!.. Глядя на него, просто плакать хочется.

– Перестань, Наташа! – вскричала графиня, едва преодолевая усиленное биение своего бедного, исстрадавшегося сердца. – Ты сама не понимаешь, что говоришь... Если граф увидит его здесь – он убьет его на месте.

– Где ж граф увидит? Его каждый вечер дома нет... Вы можете принять его в беседке.

– А если он его встретит или узнает, он убьет его.

– Убьет или не убьет, это еще, ваше сиятельство, неизвестно, а с горя он умереть может. Он завтра в семь часов будет ждать отве-

та.

– Уйди, я хочу спать! – резко, против своего обыкновения, сказала графиня.

Наташа удалилась с лукавой улыбкой.

«Заснешь ты, как бы не так... – думала она. – На свиданье-то завтра ты пойдешь».

Наташа не ошиблась.

Надежда Корнильевна не спала всю ночь и решила видетсья последний раз с Невוליным, чтобы покончить с ним навсегда.

С таким решением она заснула лишь под утро.

На другой день до самого обеда она то снова отбрасывала мысль о свидании, то решалась на него. После обеда граф Петр Васильевич по обыкновению уехал из дому.

«Сама судьба за него...» – решила Надежда Корнильевна.

Без пяти минут семь графиня, ни словом не напомнившая Наташе о вчерашнем разговоре, прошла в сад и направилась твердой походкой решившегося человека к беседке.

Следившая за ней целый день Наташа последовала туда же.

– Прикажете просить, ваше сиятельство? –

спросила она, когда графиня вошла в беседку.

– Да, проси... – опустив глаза, отвечала Надежда Корнильевна и села на диванчик.

– Слушаю-с! – быстро сказала молодая девушка и выбежала из беседки.

– Наташа, Наташа! – крикнула вдруг графиня, на которую снова напала нерешительность.

Но Наташа не слыхала, она была уже на другой стороне аллеи. Через несколько минут Неволин вошел в беседку.

– Федор Осипович... Вы здесь! – вскочила с места Надежда Корнильевна, протягивая к нему обе руки, но тотчас же сдержалась.

«О, что будет, если узнает об этом мой муж!»

– Надежда Корнильевна, – начал он, – об этой минуте я мечтал в течение многих бессонных ночей. В ваших руках моя жизнь и смерть. Я знаю, что вы замужем, но вас выдали насильно. А теперь молю вас, ответьте мне на один вопрос, от которого зависит моя судьба. Любите ли вы своего мужа? Скажете вы «да», я клянусь вам – мы никогда больше не увидимся! Но если вы скажете «нет» – о, тогда

я вправе носить ваш образ в моем сердце как святыню и сделаю ради него все на свете.

– Я не могу ответить вам, – сказала графиня, едва сдерживая рыдания. – Я обязана забыть все, что было мне когда-то дорого, и о том же умоляю вас, сжальтесь – не делайте моего положения еще тяжелее.

– Но разве я не могу быть вашим другом? Разве вы в друге не нуждаетесь?

– Я молю Бога, чтобы он исцелил душу моего мужа и тогда мы станем друзьями.

– А, так значит до сих пор этого не было! Ну, так на правах старого друга я спрашиваю вас: любите ли вы его?

– Как вы меня терзаете! Но я знаю ваше благородное сердце и отвечу прямо: нет, не люблю!

Он страстно схватил ее за руку.

– Взгляните мне в глаза, и в них скажется вся чистота моего чувства к вам. Будет время, когда вы будете сильно нуждаться в бескорыстно преданном друге, и таким другом буду для вас я. Но как эта дружба, так и ваше признание дают мне право еще на один вопрос, любите ли вы меня? Не пугайтесь толь-

ко нарушения ваших обязанностей. Я вижу, вы не совсем понимаете их. Вы поклялись быть верной женой графа Вельского, задушить в своем сердце лучшее из чувств, из которого родится все благороднейшее и прекраснейшее на земле. Это значило бы изгнать из души своей искру Божию, без которой не имеет смысла никакая жизнь!

– Не мучьте меня... – произнесла графиня. – Удовольствуйтесь тем, что знаете, что я любила вас всеми силами своей души, что молила Бога быть вашею женой.

– Нет, нет! Скажите мне прямо, что вы меня любите.

Он обхватил ее плечи руками и смотрел на нее жгучим, пылающим взглядом.

Она вся затрепетала, голова у ней закружилась, и против воли она склонилась к нему на грудь.

– Я люблю свое горе! – прошептала она, закрывая глаза. Он потерял голову и с безумною страстью целовал полуоткрытые губы.

В это время в воротах раздался шум въезжающего экипажа.

– Граф вернулся! – проговорила Наташа,

появившаяся в дверях, и тотчас же скрылась.

– Ах, беги, беги, спасайся! Он убьет тебя! – проговорила она, уже обращаясь к нему на ты и вырываясь из его объятий.

– Заплатить жизнью за миг блаженства не жаль... – возразил между тем он.

– Иди же, иди, он может прийти сюда. Пожалей меня.

– Хорошо, сейчас иду... Но вот что, Надя, исполни мою первую просьбу. Дай мне что-нибудь на память об этих минутах!

– Что же мне дать тебе? – растерянно сказала она.

– Вот на шее у тебя висит медальон в виде сердца... Дай мне его, и он будет напоминать мне, что твое сердце принадлежит мне, поддерживать во мне силу, энергию и веру в лучшее будущее...

– Этот медальон подарил мне муж.

– И ты не хочешь с ним расстаться?.. Ты меня не любишь.

– Но уходи же, уходи... Он может прийти сейчас... Вот кольцо – оно от моей матери.

– И подарок графа Вельского дороже тебе памяти о твоей матери? А я говорю тебе, дай

мне этот медальон, или я не уйду отсюда.

– Граф вышел на балкон... – сообщила появившаяся снова в беседке Наташа.

– Иди же, иди... Или ты хочешь, чтобы он убил тебя?

– Если не дашь мне медальона, то пусть убивает.

– Но он убьет нас обоих... Он меня страшно ревнует.

– Медальон!..

Надежда Корнильевна, вся трепещущая от переживаемого волнения, быстро сняла медальон с шеи и отдала его Неволину.

Тот страстно прильнул к ее руке и быстро вышел из сада.

Графиня в изнеможении опустилась на диван.

Опасения графини Надежды Корнильевны, как оказалось, были напрасны.

Граф вернулся, позабыв дома бумажник и янтарный мундштук, оправленный в золото, с которым обыкновенно не расставался.

Бумажник оказался в его кабинете, а мундштук он оставил на балконе, где курил послеобеденную сигару.

Взяв то и другое, он снова уехал.

Об этом возвестил графиню шум выехавшего из ворот экипажа.

## XX

### Бегство

**П**оложение Елизаветы Петровны Дубянской в доме Селезневых делалось день ото дня не только затруднительным, но прямо невозможным.

Любовь Аркадьевна все более и более отдалялась от нее, а за последнее время стала оказывать ей пренебрежение, граничащее с дерзостью.

Все это тяжело отзывалось в душе Елизаветы Петровны, искренно расположенной к порученной ей наблюдению несчастной молодой девушке и всей душой желавшей помочь ей устроить ее счастье.

Дубянская порой переживала мучительные часы сомнения. Имеет ли она право жить в доме, нося в уме своем чудовищное подозрение, относительно дочери сердечно относящихся к ней родителей, не имея возможности

подтвердить это подозрение фактами, а следовательно, и высказать его прямо и открыто.

И почти всегда она разрешала этот вопрос отрицательно, а между тем оставалась в доме Селезневых, удерживаемая какою-то неведомою силой.

Не жалованье и не стол с квартирою удерживали ее сложить с себя обязанности компаньонки девушки, которая смотрит на нее, как на врага, а самая эта девушка, в которой Елизавета Петровна чутким сердцем угадывала жертву чьей-то адски искусно задуманной и исполняемой интриги.

Надвигающаяся на молодую Селезневу неизвестная опасность, от которой, быть может, ей, Дубянской, удастся спасти ее, притягивала Елизавету Петровну, как кролика взгляд змеи, и она не в силах была «отойти от зла и сотворить благо».

Да и было ли «благо» в том малодушном, эгоистическом отстранении себя от помощи ближнему, находящемуся в опасности?

Незаметно для самих себя, быть может, не так рельефно, как Елизаветой Петровной, но всеми живущими в доме Селезневых чувство-

валось приближение катастрофы, атмосфера дома была так начинена электричеством, что раздавшийся удар грома не был бы ни для кого неожиданностью.

Все бессознательно ходили, как бы насто-рожась, прислушиваясь, не грянет ли, и даже ждали этого грома, который так или иначе снимет тяжесть с души, освежит воздух и легче станет дышать.

Исключением являлись только двое лиц: Любовь Аркадьевна и ее наперсница горничная Маша.

Они также не были покойны, что было заметно по постоянно лихорадочному настроению, но они, видимо, знали, когда и что произойдет, и с безошибочностью, вероятно, даже могли определить время, когда грянет всеми ожидаемый удар грома.

Обе они держались отдельно от остальных.

Как в момент приближающейся явной опасности на пароходе или поезде люди, за минуту не знакомые друг с другом или даже враждебно настроенные, вдруг чувствуют себя близкими и инстинктивно бросаются в

объятия друг друга или, по крайней мере, жмутся друг к другу, ища друг в друге опоры и спасения.

Так было и в доме Селезневых.

Аркадий Семенович, Екатерина Николаевна и Сергей Аркадьевич вместе с Елизаветой Петровной Дубянской составляли именно эту тесно прижавшуюся друг к другу группу лиц перед надвигающейся чувствуемой в воздухе, висящей над головами грозой.

Это теплое, почти родственное отношение окружающих более всего, как казалось Дубянской, удерживало ее не покидать своего тяжелого поста.

Старик Селезнев и его сын за последнее время даже не говорили с Елизаветой Петровной о дочери и сестре, как бы боясь произнести ее имя, и лишь одна Екатерина Николаевна, все еще упрямо не оставлявшая мысли видеть свою дочь за старым графом Вельским, иногда спрашивала:

– Ну, что, пробовали вы повлиять на Любу?

– Увы, к сожалению, Любовь Аркадьевна так замкнута. Она смотрит на всех окружающих, как на врагов, а на меня в особенности...

У ней, по-видимому, есть какое-то горе... Мне кажется, она кого-то полюбила...

– Да, знаю... Это все та же история с этим Долинским. И во всем виноват мой муж! У него страсть ко всяким плебеям... А что говорит она о графе Василии Сергеевиче? Я ведь просила вас почаще выставлять ей на вид все преимущества этого брака...

– Но ведь он так стар.

– Да... Но он принадлежит к родовой аристократии! Вообще, я не хотела бы, чтобы вы мешали моим планам в этом направлении.

– Я к вашим услугам.

– Хорошо... Так постарайтесь же сегодня поговорить с Любой в моем духе... Понимаете? А завтра сообщите мне, что из этого выйдет...

Елизавета Петровна, исполняя свои обязанности, обыкновенно шла к Любови Аркадьевне, но горничная Маша почти всякий раз придерживала дверь ее комнаты рукою и говорила, что барышня нездорова.

– Но меня прислала Екатерина Николаевна пригласить барышню кататься.

– Хорошо-с... Я доложу...

– Я думаю, это совершенно излишне...

– Нет-с, мне так приказано.

Через несколько времени на пороге полуотворенной двери появлялась сама Любовь Аркадьевна.

– Вас, вероятно, прислала мама толковать со мной о графе Василии Сергеевиче Вельском? – говорила она с презрительным смехом. – Так не трудитесь, мадемуазель Дубянская, я сама знаю, что делаю, а кататься я не пойду, потому что мне нездоровится и я хочу читать...

– Могу я зайти к вам вечером?

– Мне не хотелось бы, чтобы мне мешали.

Елизавета Петровна уходила со слезами на глазах. Ей было жаль молодую девушку и было обидно такое с ее стороны недоверие.

Такой или почти такой разговор произошел и в описываемый нами день – это было в одно из воскресений конца июля – когда Елизавета Петровна Дубянская собралась на дачу к Сиротининым и зашла к Любови Аркадьевне предложить ей прокатиться перед поездкой.

Дубьянская вышла одна из подъезда дома Селезневых, у которого стояла изящная коляска, запряженная парой кровных рысаков. Когда она уже садилась в экипаж, к ней подошел Иван Корнильевич Алфимов, шедший к Сергею Аркадьевичу.

– Вы уезжаете, как жаль... А Сергей Аркадьевич дома?

– Нет, его нет, он уехал с утра.

– В таком случае, позвольте мне проводить вас... Вы куда?

– В Лесной... К Сиротининым.

Лицо Ивана Корнильевича подернулось дымкой печали.

– Мне тоже надо в Лесной... Подвезите меня.

– Садитесь! – просто сказала Елизавета Петровна.

Он сел с нею, но сначала разговор не клеился – она казалась ему каким-то высшим существом, которое могла оскорбить речь о чем-либо земном. Но вдруг под влиянием какого-то неудержимого чувства Иван Корнильевич спросил:

– Вы презираете меня?

Дубьянская посмотрела на него широко открытыми глазами.

– Вас?.. За что?

– До вас, вероятно, дошла история моей любви... Но теперь все кончено... эта девушка обманула меня.

– Я в первый раз слышу...

– Боже, мне кажется, что эта моя жизненная ошибка известна всем... Относительно же вас мне было бы очень больно, если бы вы были обо мне дурного мнения.

– Я и не думала быть о вас дурного мнения.

– Благодарю вас, благодарю... Ведь с тех пор, как я увидел вас, мне в душу заглянул какой-то свет добра и истины, и я поклялся, что сделаю все на свете, чтобы добиться вашего расположения, а быть может...

Он не договорил и остановился.

– Перестаньте... – начала она. – К числу человеческих добродетелей принадлежит и повинение родителям, а вашего отца такое объяснение не порадовало бы... Лучше скажите, как вы проводите время?

– Очень однообразно... – отвечал он, поняв, что возвращаться тотчас к объяснению было

бы бесполезно. – Сегодня, например, буду у барона Гемпеля... Там соберутся все наши...

– И Неелов?.. – спросила Дубьянская под влиянием какой-то неопределенно мелькнувшей у ней в голове мысли.

– Нет, он отказался, потому что нездоров. Дубьянская облегченно вздохнула.

– И будете играть?..

– Да... Но, клянусь вам, последний раз...

– Смотрите, вспомните печальную историю моего несчастного отца, которую я вам рассказывала, и берегитесь, прошу вас, этих людей... До добра они вас не доведут... Это истинные сотрудники сатаны... Если вы хотите спокойствия своей души – разойдитесь с ними.

– Я это делаю и сделаю.

В то время, когда коляска с молодым Алфиновым и Дубьянской уже катила по Выборгскому шоссе, на хорошенькой дачке в одном из переулков, прилегающих к Муринскому проспекту, царила оживленная деятельность.

Дмитрий Павлович Сиротинин с истинным наслаждением поливал куртины[2] цветов, а Анна Александровна хлопотливо на-

крывала на террасе стол и по временам с бес-  
пределной любовью смотрела на сына.

– Милый ты мой, сколько ты для меня сде-  
делал!.. – проговорила она наконец, ласковым  
взором окидывая дачку, сад и огород. – Да и  
не для меня одной, а и еще для кое-кого! –  
прибавила она лукаво и ласково.

– Полно, мама, много ли я для тебя сделал!  
Вот разве в будущем пойдет лучше... – от-  
кликнулся Дмитрий Павлович. – Оно на это и  
похоже. Последнее время хозяйский сын ока-  
зывает мне такое доверие, что все удивляют-  
ся – постоянно старается оставлять ключ от  
кассы у меня... А только и тогда я не думаю,  
чтобы Елизавета Петровна была у нас счаст-  
ливой. Она привыкла жить в лучшей обста-  
новке...

Мать не успела возразить ему, как у пали-  
садника остановилась коляска, привезшая Ду-  
бянскую и Алфимова.

Анна Александровна стала так усердно  
просить его, что он не сумел отказаться и во-  
шел. Елизавета Петровна также приняла жи-  
вое участие в цветах и овощах.

Завязалась веселая, непринужденная бол-

товня, и какой бесцветной и гнетущей скукой показались Ивану Корнильевичу разговоры, которые ведутся в его компании.

Было уже поздно, когда Дмитрий Павлович проводил Елизавету Петровну домой.

На углу Литейной и Сергиевской она заметила горничную Любовь Аркадьевны, которая о чем-то разговаривала с Нееловым, но, увидя приближающийся экипаж, мгновенно исчезла.

Войдя в дом, Дубянская, томимая каким-то тяжелым предчувствием, тотчас пришла к Любови Аркадьевне.

Маша уже встретила ее у дверей ее спальни.

– Барышня спит, – проговорила она, слегка отворяя дверь и указывая на лежавшую фигуру девушки.

– Хорошо, не будите ее... – отвечала Елизавета Петровна. «Странно, странно... – сказала она про себя. – Здесь что-то затевается...»

На другое утро Маша снова непустила Елизавету Петровну к Любови Аркадьевне, говоря, что та хотела хорошенько выспаться и не велела будить себя.

В двенадцать часов Екатерина Николаевна, узнав об этом от Дубянской, приказала Маше разбудить барышню.

Та повиновалась, но, вернувшись, объявила, что дверь барышни заперта изнутри, и как она ни стучала, не получила ответа.

В доме все переполошились и послали за слесарем, но ранее, чем он явился, кому-то удалось подобрать ключ и отпереть спальню Любовь Аркадьевны.

Самой ее там не было, но вбежавшая прежде всех Маша схватила со стола и отдала Елизавете Петровне запечатанное письмо без адреса.

Дубянская передала его Екатерине Николаевне.

Та судорожно разорвала конверт, развернула письмо и громко прочла:

*«Дорогие родители, простите меня за то горе, которое я вам причинила, но и поступить иначе я не могла. Моя любовь сильнее дочернего долга. Но мы скоро увидимся – так скоро, как вы меня простите.»*

*Люба».*

– О, Боже! О, позор! – воскликнула Селезнева. – Она сбежала с этим адвокатишкой.

– Господин Долинский сидит у Сергея Аркадьевича... – заметила Маша.

## XXI

### Арест кассира

**Н**а дворе стоял конец сентября.

Петербург уже начинал оживать после летнего затишья, хотя сезон еще не начинался.

Было то межсезонное время, которое бывает в столицах в апреле и сентябре.

В первом случае все еще находятся в городе, но собираются его покинуть, а во втором многие уже приехали, но не устроились, не вошли, так сказать, в городскую колею.

На улицах ужелюдно, но нет еще настоящего оживления, все как-то особенно настроены, все куда-то спешат, видимо, обремененные заботами и делами межсезонного времени.

В клубах и театрах почти пусто, артисты

играют, что называется, спустя рукава, набираясь сил к предстоящему сезону.

В присутственных местах, банках и конторах тоже среди служащих заметно апатичное отношение к делу.

Летом его было меньше, многие только что вернулись из отпусков и еще не сбросили с себя расслабляющие впечатления летнего кейфа, да и другие, следуя их примеру, неохотно переходят от сравнительного летнего безделья к серьезной работе.

Исключение в описываемый нами день представляла банкирская контора «Алфимов с сыном».

В ней царила полнейшая тишина и шла сосредоточенная напряженная работа.

Начиная с самого Корнилия Потаповича, летом почти не занимавшегося в конторе, и до последнего служащего – каждый был проникнут сознанием важности делаемого им дела.

Иван Корнильевич сидел в своем кабинете, помещавшемся рядом с кабинетом его отца.

Лицо его было мертвенно бледно и иска-

жено ужасом сознания приближающейся развязки.

Дверь скрипнула.

Он вздрогнул и замер, но, увидя графа Сигизмунда Владиславовича, вздохнул свободнее.

Граф Стоцкий, поздоровавшись с молодым человеком, оглядел его внимательно.

– Что с тобой?

– У нас идет проверка кассы и книг... – пониженным шепотом, в котором слышалось необычайное волнение, отзетил Иван Корнильевич.

– Ну, так что же?

– Разве ты не знаешь?

– Я ничего не знаю... – спокойно ответил граф.

– Это ужасно... Что будет! Что будет!

– Неужели ты брал деньги из кассы? Какая неосторожность! – будто бы только сейчас поняв в чем дело, воскликнул граф Сигизмунд Владиславович с поддельным испугом.

– Увы! Откуда же бы я брал их на эти громадные кутежи и проигрыши...

– Сколько?

– Сорок две тысячи...

– Ого... Но разве ключи были у одного те-  
бя?

– Нет, я оставлял иногда их кассиру...

– Это Сиротинину?

– Да, Дмитрию Павловичу.

– Поклоннику Дубянской и, кажется, счаст-  
ливому... В таком случае, все в порядке и идет  
отлично, – заметил граф.

– Я тебя не понимаю.

– А между тем это более, чем просто. Сама  
судьба дает тебе в руки прекрасный случай  
отделаться от беды и от соперника...

– Что ты говоришь? – воскликнул, весь  
вспыхнув от негодования, молодой Алфимов.

– Дело, дружище, только дело.

– Но это подлость!..

– Громкое слово... Своя рубашка ближе к  
телу... Впрочем, если ты из идеалистов – при-  
нимай позор на свою голову... Не надо было  
допускать до ревизии и сказать отцу, прося  
его пополнить из твоего капитала...

– Он проклял бы меня, и на меня бы еще  
обрушилось проклятие матери.

– В таком случае, надо выбираться из во-

ды... Тут нечего думать, что потонет другой...

– Боже мой, Боже мой... – ломал себе руки Иван Корнильевич.

– С чего же это надумалось Корнилию Потаповичу производить ревизию?

– Он целое лето не занимался делами и захотел проверить.

– А-а... Так как же ты?

– Что?

– Мой дружеский совет не подставлять свою голову... Вспомни, какими глазами посмотрит на тебя Елизавета Петровна, когда все обнаружится... Ведь папенька твой, выгнав тебя из дому, не поцеремонится прокричать о твоих проделках по всему Петербургу.

– Не говори... Он не пощадит, это я знаю.

– То-то же... А тут очень просто, настаивай на том, что ничего не знаешь, и все падет на него. Нужно только уметь владеть собою...

Он не договорил, так как в кабинет вошел сам Корнилий Потапович.

Он был мрачнее тучи и резко швырнул Ивану Корнильевичу какой-то листок.

– Вот! – прохрипел он. – У нас в конторе есть мошенники.

– Что? Не сходятся книги? – спросил Иван Корнильевич, уже, видимо, хорошо владея собою под ободряющим взглядом графа Стоцкого.

– Все сходится чудесно, кроме кассы!..

– А вы никого не подозреваете? – спросил граф Сигизмунд Владиславович.

– Кого я могу подозревать, все они с виду люди честные.

– Я посоветовал бы вам не вмешиваться в это дело самим. Лучше всего передать его хорошему человеку сыскной полиции. Через час вы будете знать, в чем дело... Мы сейчас это устроим, идем, Иван Корнильевич!

Молодой человек схватился за мысль хоть на некоторое время уйти из конторы, быстро взял шляпу и вышел вместе с графом Сигизмундом Владиславовичем.

Последний уже окончательно овладел умом и волею Ивана Корнильевича.

Как автомат сделал Алфимов официальное заявление и вернулся в контору уже с полицейским чиновником и агентом сыскного отделения.

Началось составление акта, во время кото-

рого агент разговаривал с графом Стоцким и молодым Алфимовым.

– Не знаю положительно, как это могло случиться?.. Кого винить? – разводил руками Корнилий Потапович.

– Конечно, кассира, – решил агент.

– Сиротинина... Нет, не может быть! – с убеждением воскликнул старик. – Он с такою тщательностью и аккуратностью исполнял все мои поручения... Он – честный человек и притом прекрасный сын!.. Он боготворит свою мать...

– Все это очень может быть, но это все-таки мало противоречит моему мнению, – возразил агент. – Ваш сын признает, что он сам несколько раз отдавал Сиротинину ключ от кассы. А что всего важнее, это то, что после первого же получения ключа он купил себе дачу в Лесном на имя своей матери... Откуда у него деньги?

– У него могли быть сбережения...

– А сколько он получает жалованья?

– Четыре тысячи...

– Какие же могут быть от этого жалованья сбережения при дороговизне столичной жиз-

ни?

– Он живет скромно, – продолжал защищать своего любимца Корнилий Потапович.

– Все они скромны с виду.

– Дело совершенно ясное, – вставил свое слово граф Стоцкий.

– Если это его дело, то он сам в нем признается... – в раздумье произнес старик Алфимов и позвонил.

– Позовите Дмитрия Павловича, – приказал он появившемуся служащему.

Через минуту в кабинете появился Сиротинин. Он был печален, но спокоен.

– Знаете ли вы, зачем я вас позвал сюда? – спросил Корнилий Потапович.

– Вероятно, по поводу недочета.

– Знаете вы, кто это сделал?

– Не имею ни малейшего подозрения...

– Ну, так я вам скажу, что это ваша работа! – вдруг воскликнул старик, которому, наклонившись, на ухо что-то шепнул граф Стоцкий.

– Я? – широко открыл глаза Дмитрий Павлович.

– Раскайтесь вы, я бы простил... А вы вот

как...

– Умоляю вас, остановитесь! – перебил его Сиротинин, бледнея. – Это страшная, ужасная ошибка, и вы пожалеете...

Иван Корнильевич стоял смущенный, то краснея, то бледнея.

– Посмотри на этого несчастного! – крикнул ему отец. – И он еще отпирается... Какая наглость!

– Но скажите, ради Бога, на каком основании...

– А! Вам нужно основание! Извольте! Разве не давал вам Иван ключ от кассы? Говори, Иван, давал?

– Давал! – нетвердо ответил тот.

– О, моя мама!.. Бедная мама!.. – зарыдал Дмитрий Павлович и пошатнулся.

Агент ему подставил стул. Он тяжело опустился на него, уронил на руки голову, продолжая оглушать рыданиями кабинет.

У Ивана Корнильевича сердце кровью обливалось от жалости, но слова графа Стоцкого и мысль об Елизавете Петровне пересилили эту жалость.

– Отец, сжался над ним... – мог только вы-

говорить он.

– Довольно! – крикнул Корнилий Потапович, который не мог выносить слез.

– Вы меня обманули, но я заслуги помню, – судить вас не будут, но и служить вы у меня не останетесь. Подпишите обязательство в том, что вы обеспечиваете меня всем вашим имуществом и уходите.

При этих словах Дмитрий Павлович вскочил со стула.

– Что?.. – крикнул он надорванным голосом. – Не судить, как же не судить, а просто подписать свой позорный приговор?.. Нет, пусть судят...

– Вы рассчитываете разжалобить присяжных, как разжалобили почтенного хозяина? – заметил агент.

Сиротинин смерил его гордым взглядом.

– Я рассчитываю на свою невиновность... – заметил он.

– Как же прикажете? – спросил полицейский чиновник, уже оканчивавший составление акта.

– Если он не хочет милости, так пусть с ним поступят по закону.

Сиротинин, шатаясь, отправился было к двери.

– Постойте, постойте! – крикнул ему вдогонку агент. – Вы останетесь здесь и отправитесь с нами... Вы арестованы...

– О, мама, моя бедная мама! – прошептал он, снова возвращаясь к стулу и грузно опускаясь на него.

Акт был составлен и подписан.

– Вы позволите, – обратился Дмитрий Павлович к полицейскому чиновнику, – написать несколько строк моей матери и послать с посылным?

– Только с тем, чтобы вы дали мне прочесть написанное.

– Извольте, тут нет секрета, – отвечал Сиротинин.

– Секрета не может быть для правосудия, – важно заметил чиновник.

Дмитрий Павлович взял лист бумаги и написал:

*«Дорогая мама!*

*Я арестован по обвинению в растрате. Нужно ли говорить тебе, что я невинен.*

*Твой сын Дмитрий».*

Дав прочесть эти строки полицейскому чиновнику, он запечатал в конверт и попросил отправить с посыльным.

Просьба его была исполнена.

– Теперь едем, – заявил агент.

Оба чиновника и бывший кассир конторы удалились из кабинета.

– Какая закоснелость! – воскликнул с неподдельным негодованием граф Сигизмунд Владиславович. – Не правда ли, Иван Корнильевич?

– Да, – через силу протянул он.

– Если бы вы не шепнули мне внимательно взглянуть в его лицо, я бы и не заметил, что он смущен, – сказал Корнилий Потапович.

– Я сразу увидел, что это его дело. Мне достаточно было взглянуть на выражение его лица, – авторитетно произнес граф Стоцкий.

– Но почему же он не пожелал выдать обязательство?.. Если он виноват?.. – с некоторым сомнением спросил старик Алфимов.

– У этих мошенников при настоящем со-

стоянии правосудия всегда есть надежда выйти из суда оправданным двенадцатью добрыми людьми, – заметил Сигизмунд Владиславович.

– Ужасное время мы переживаем... Никому нельзя оказать никакого доверия... Впрочем, и ты, Иван, виноват... Зачем тебе надо было давать ему ключ. Это все из-за того, что ты пропадаешь по ночам и не можешь вставать рано. Виноват и очень виноват... Не клади плохо, не вводи вора в грех. Знаешь, чай, половицу... Следовало бы отнести эту растрату на твой счет.

– Я готов принять на себя, – почти обрадовался Иван Корнильевич.

– Погоди, что скажет следствие и суд, быть может, он не успел растратить и мы потеряли только часть, тогда мы разделим убыток пополам, – заметил Корнилий Потапович. – А теперь потрудись сам идти в кассу... Будем продолжать проверку.

## XXII

### Тюрьма

**В** этот же вечер состоялся формальный арест кассира банкирской конторы «Алфимова с сыном», Дмитрия Павловича Сиротина, и он был препровожден в дом предварительного заключения.

Что тюрьма страшна, под каким бы названием она не являлась, и что в ней должно быть хуже, чем на воле, знает всякий, переступающий ее порог.

Действительно, первый шаг в тюрьму производит на свежего человека ужасающее впечатление, какой бы он ни был и за что бы ни попал в тюрьму.

Вся эта тюремная обстановка его охватывает ужасом.

Когда раздастся звук запираемой двери одиночной камеры, человек чувствует себя первую минуту заживо погребенным.

Если он виновен, то вскоре после того, как это впечатление проходит, на человека находит не раскаяние, а озлобление к тем, кто

имел силу и возможность его запереть.

Первая мысль заключенного всегда о свободе.

Добыть эту свободу теми или другими ухищрениями, добыть для того, чтобы снова начать борьбу с одолевшим его противником, то есть с обществом, измыслив план преступления более тонкого и умелого, – вот в каком направлении работает в одиночном заключении мысль действительного преступника.

Тюрьма в том виде, как она существует, одиночная или общая, бесспорно, школа преступлений, а не место их искоренения.

В общей тюрьме новичок является первое время запуганным, униженным и готовым заискивать не только у начальства, но и у всякого арестанта, и арестанты в самом скором времени завладеют всем его существом: они для него власть, которую он больше всего боится, они же его покровители и учителя уголовного права, которое ему так необходимо.

И вот в самом скором времени с новичком происходит замечательная метаморфоза.

Ужасное впечатление первоначального ареста уже забыто и, несмотря на все неудоб-

ства и неприятности тюремной жизни, арестант начинает замечать, что он никогда в своей жизни не чувствовал себя до такой степени спокойным и счастливым, как в тюрьме.

Посадите его в одиночное заключение, увеличьте страдание тюремной жизни до их апогея – будет то же самое.

Это происходит оттого, что для человека бесхарактерного, а тем более неразвитого, самое тяжкое, что может быть, – это борьба с жизнью.

В тюрьме он чувствует себя беззаботно и легко, ему нечего думать о завтрашнем дне, он не может его ни улучшить, ни ухудшить.

Действительность насмешливой улыбкой не возбуждает его страстей и не заставляет его, очертя голову, кидаться в опасность.

Он беден, правда, и жалок, но и все кругом его бедны и жалки.

Ему легко среди равенства.

Обманывая в мелочах бдительность начальства, он может легко заслужить всеобщее уважение, а что его погубило на воле, что так трудно достается в жизни, обеспеченное

положение и удовлетворенное тщеславие — здесь предлагают даром.

Ничто здесь ему не мешает возвеличить свое прошедшее до героических размеров.

Вот влияние тюрьмы!

Это общая участь всех слишком сильных мер.

Они приводят вовсе не к тому, к чему следовало бы прийти.

Если бы человек, который совершил преступление, получил бы хороший урок, который убедил бы его, что поступать таким образом не только скверно, но и невыгодно, и при этом он сохранил бы все свои силы для жизни без унижений, то он, конечно, другой раз не поддался бы соблазну.

Но если вместо этого преступник совершенно нравственно уничтожается и унижается, то ему остается только переходить от преступления к преступлению, пока тюрьма и каторга не измучают его до смерти.

Защитники тюремной системы выставляют на вид, кроме исправительной цели, которой должна служить, по их мнению, тюрьма, также и предупредительную, то есть что

тюрьма должна служить якобы устрашительницей, бичем для предупреждения преступлений и удержания от них.

Но и в этом последнем случае они не правы, так как тюрьма далеко не достигает наменного ими результата.

Кому страшна тюрьма?

Тюрьма страшна только тем, для которых она, в сущности, не нужна, то есть людям, которые по своему складу характера, темперамента и нравственности не могут в нее попасть или попадают весьма редко, как это было с Сиротининым, случайно.

Для большого же числа людей, для контрвеса преступных инстинктов которых она предназначена и существует, тюрьма далеко не пугало.

Эти люди тюрьмы не боятся, в особенности те из них, которые с нею уже близко знакомы.

Таким образом, тюрьма и в этом смысле не выполняет того назначения, для которого ее предназначают.

В виду этой крайней несправедливости во взглядах нашего общества было бы необходи-

мо более гуманное и осторожное отношение судебных властей при возбуждении уголовных дел, а тем более аресте обвиняемых до суда.

При начале каждого следствия и до принятия мер должно бы было быть обращено внимание на то, кем именно совершено преступление: случайным ли преступником или преступником по ремеслу?

Это-то подразделение обвиняемых и должно было бы служить, главным образом, для применения той или другой меры.

Профессиональных преступников, конечно, щадить не должно, тем более, что удаление таких людей из общества приносит несомненную пользу уже тем, что лишает их возможности приводить в исполнение другие преступления, в то время, когда они находятся под стражей.

Но можно ли сравнивать и относиться одинаково к человеку, совершившему преступление случайно, или только заподозренному, часто при роковом даже сцеплении улик, как было в деле Дмитрия Павловича Сиротина, в совершенном преступлении, и к

человеку, сделавшему из преступления ремесло?

Вообще, предварительное заключение зачастую является великою несправедливостью, и особенно в России, где общество не разбирает тюрьмы от тюрьмы и где это предварительное заключение идет не в счет наказания, как это принято во всех странах Европы.

Недаром в Англии и Швейцарии заключение до суда зависит не от следователей и прокуроров, а от присяжных, пред которыми должен предстать каждый обвиняемый не позже восьми дней по его аресте.

Этих присяжных бывает обыкновенно шесть человек.

Перед ними не разбирается дело по существу, а только выясняются причины задержания обвиняемого, вескость улик и положение его в обществе, что главным образом и руководит присяжными при принятии этой или другой меры пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда и следствия.

Это вмешательство присяжных, то есть людей беспристрастных, не профессиональ-

ных юристов, в участь обвиняемого с самого начала возбуждения уголовного дела – бесспорно, самое правильное и гуманное применение суда совести.

Всякий юрист, а тем более следователь, – человек ремесла, и его взгляды бывают всегда односторонни, он видит все в черном цвете и всякий обвиняемый ему кажется преступником.

Вследствие этой-то односторонности во взглядах судебной бюрократии всех стран, чрезвычайно благотворным является введение в суде и даже в следственном производстве нейтрального, без юридической озлобленности, элемента – присяжных.

Эти представители общества смотрят на людей и жизнь общежитийскими беспристрастными глазами, а это уже огромный шаг вперед в деле правосудия. Будь у нас в России такое учреждение, Дмитрий Павлович Сиротинин не был бы, быть может, прийдя утром в контору честным человеком, к вечеру уже заключенным под стражу преступником.

Да и мало ли в нашей судебной практике таких Дмитриев Павловичей!

**Семейный совет**

Неожиданный арест Дмитрия Павловича Сиротинина, как гром поразивший его, и особенно его старуху мать, произошел как раз во время отсутствия в Петербурге Елизаветы Петровны Дубянской.

За несколько дней до катастрофы в банкирской конторе «Алфимов с сыном» она уехала в Москву вместе с Сергеем Аркадьевичем Селезневым и Сергеем Павловичем Долинским.

Случилось это таким образом.

Когда обнаружилось бегство Любовь Аркадьевна, Екатерина Николаевна Селезнева, если припомнит читатель, тотчас же обвинила в увозе своей дочери Долинского, случайно в то время, не имея понятия о происшедшем в доме, сидевшего у Сергея Аркадьевича.

На замечание в этом смысле горничной Маши, Екатерина Николаевна не ответила ничего, но, видимо, сконфуженная, через несколько минут спросила:

– С кем же она, наконец, могла бежать?

– С Нееловым... – твердо и уверенно ответила Елизавета Петровна.

– С Нееловым? – повторила уже совершенно растерявшаяся Селезнева. – Но ведь она же не протестовала, когда ему было отказано в ее руке.

– Может быть, чувство развилось впоследствии...

– Он так редко бывал в доме... Но почему вы это утверждаете?

Елизавета Петровна рассказала о том, что она видела Машу вчера на улице, беседующую с Владимиром Игнатьевичем.

– Почему же вы мне не сказали об этом вчера?

– Я бросилась прямо к комнате Любовь Аркадьевны, но она уже спала, по крайней мере, Маша...

Елизавета Петровна хотела взглянуть на последнюю, но ее уже при первых словах рассказа компаньонки простыл и след.

– Что же Маша? – раздражительно переспросила Селезнева.

– Показала мне, приотворив дверь, фигуру

лежащей на постели девушки... Быть может, это было просто устроено чучело...

– Несомненно, что эта негодяйка была с ней в заговоре... Но почему же вы-то меня не предупредили?

– Я только вчера в этом сама окончательно убедилась.

– О, позор, о, срам! – воскликнула вместо продолжения разговора Екатерина Николаевна, но в этом восклицании уже не было таких отчаянных нот, быть может потому, что Екатерина Николаевна считала фамилию Нееловых старинной дворянской фамилией.

С письмом дочери в руках Екатерина Николаевна вместе с Елизаветой Петровной вышла в гостиную, куда вскоре вошли Сергей Аркадьевич с Долинским, а спустя четверть часа и вернувшийся домой Аркадий Семенович.

Все они были ошеломлены известием о бегстве Любовь Аркадьевны.

– Надо заявить... Поезжай к градоначальнику... Пусть телеграфируют и задержат... – волновалась Екатерина Николаевна.

Аркадий Семенович чуть ли не в первый

раз в жизни осмелился противоречить своей супруге.

– Огласка, душа моя, только увеличит скандал, да и как в этом случае догнать беглецов и вернуть их... Это, конечно, можно, но благоразумно ли... Похищение девушки относится к тому исключительному разряду похищений, где необходимо укрепить законное право похитителя на похищенную... Я не решаюсь думать, что Неелов похитил мою дочь иначе, как с целью на ней жениться...

– Это несомненно! – заметил и Сергей Аркадьевич.

– Я не хочу этого... Этому надо помешать... – не унималась Селезнева.

– И, матушка, помешать можно, но потом как бы не пришлось просить его же об этом как о милости.

– Ты думаешь? – уставилась на него Екатерина Николаевна. Она только теперь поняла смысл слов ее мужа и замолчала.

– Надо узнать, куда они скрылись, и написать, что мы согласны на брак и признать, если он уже совершен... – продолжал Аркадий Семенович.

– О, ужас!.. – снова стала восклицать Екатерина Николаевна.

– Маша должна об этом знать... Она была с ними в уговоре, – заметила Елизавета Петровна.

Позвали Машу.

Та явилась с плачем и рыданием и повиновалась во всем, рассказала о свиданиях барышни с Владимиром Игнатьевичем, продолжавшихся по несколько часов, свиданиях, не оставлявших в уме присутствующих сомнения, что Аркадий Семенович был прав, говоря, что возвращать домой дочь поздно.

– Куда же они бежали? – спросил Аркадий Семенович.

– Это уж, барин-батюшка, как перед Истинным, не могу знать...

– Но как же они поехали?

– В коляске, четверкой.

– Когда?

– Сегодня ночью...

– И тебе барышня не говорила, куда они намерены ехать?

– Венчаться...

– Но где?

– Не могу знать.

Больше от Маши не добились ничего.

– В случае, если мы получим от них уведомление, я сам, конечно, не поеду, но попрошу съездить вас, Сергей Павлович, по старой дружбе, и Елизавету Петровну.

Долинский был печален.

Видимо, побег любимой им девушки тяжело отозвался в его сердце, но он поборол в себе свое «горе отвергнутого» и почти спокойным тоном сказал:

– Я всегда рад быть полезным всей вашей семье.

Елизавета Петровна тоже поспешила дать свое согласие, тем более, что внутренне признавала себя виновницей, хотя и совершенно пассивной, бегства Любовь Аркадьевны.

Поездка с Долинским, защитником Алферова, не особенно улыбалась ей, хотя за последнее время она несколько примирилась с молодым человеком, и инстинктивная ненависть к нему, как к адвокату, спасшему, как она думала, от заслуженного наказания убийцу ее отца, потеряла свой прежний острый характер.

Изысканное уважение, оказываемое ей Сергеем Павловичем при всяком удобном случае, сделало свое дело над сердцем женщины.

Она додумалась, и надо заметить, весьма основательно, что нельзя же отождествлять адвоката, исполнившего свое профессиональное назначение, с защищаемым им преступником, и стала относиться к Долинскому почти дружелюбно.

– И я тоже поеду, – выразил желание Сергей Аркадьевич.

Решили таким образом, что при первом полученном известии о местожительстве беглецов депутация из этих трех лиц с письмом Аркадия Семеновича отправится к ним для переговоров.

– А пока не надо поднимать шуму – и так много будет разговоров.

– Машку уволить, – вставила Екатерина Николаевна, в первый тоже раз в своей жизни согласившаяся со своим мужем, хотя внутренне негодовавшая, что Долинский и Дубянская примут участие в ее семейном деле.

«Адвокат и наемница», – презрительно думала бывшая княжна, но не высказала этого

вслух, даже намеком.

– Машку, конечно, уволить, и тотчас же, – согласился с женою Аркадий Семенович.

Прошло три дня, когда по почте было получено письмо от Любовь Аркадьевны.

По штемпелю оно пришло из Москвы, но адреса своего она не сообщила, и кроме того, в нем была приписка Неелова, которая нагнала на старика Селезнева скорбное раздумье.

«Между вашей дочерью и мною не существует тайн, – писал он между прочим, – то, что вы предпримите относительно меня, то, значит, предпримите и относительно ее».

В переводе это значило:

«Если вы не предложите таких условий, какие мне понравятся, то дочери вам не видать. Я держу ее в руках, и без моей воли она ни на что не решится».

«Кто знает, замужем ли она за ним», – думал с горечью Аркадий Семенович.

В письме дочь ничего не говорила о браке, и подписано оно было просто: «Люба».

Содержание его исчерпывалось объяснением ее поступка и просьбой пощадить ее и простить.

По совещанию с Екатериной Николаевной, Аркадий Семенович дал знать Долинскому, который не замедлил явиться.

Снова собрался совет из отца, матери, брата, Елизаветы Петровны и Долинского.

– Они, несомненно, в Москве, или под Москвой... – сказал Сергей Павлович.

– Вы судите по штемпелю письма?

– Нет, нисколько, письмо они могли опустить в Москве и уехать дальше...

– Почему же вы говорите так уверенно?

– А потому, что оказывается, Неелов недавно купил имение у графа Вельского, которое расположено под Москвой... Несомненно, они туда и укрылись.

– Это весьма вероятно, – согласился старик Селезнев.

– И хорошее имение? – не утерпела не спросить Екатерина Николаевна.

– Говорят, что несмотря на то, что граф продал его очень дешево, имение великолепное и стоит вдесятеро дороже, – отвечал Долинский.

– Сколько же мог Неелов заплатить?

– Сорок тысяч.

– Однако, значит у него есть средства, – задумчиво проговорила Селезнева, видимо, окончательно примирившаяся с выбором дочери.

– Вероятно, – равнодушно ответил Сергей Павлович.

– В таком случае, поезжайте в Москву, – заговорил снова Аркадий Семенович, – я сегодня же заготовлю письмо Любе. Эх, сколько ты причинила мне горя, злая девчонка! – воскликнул старик, и из глаз его выкатились две слезы.

Это был первый взрыв его отчаяния при посторонних. Что он переживал со дня бегства дочери в кабинете, знали только стены этой комнаты.

– Когда же мы поедем? – спросил Сергей Аркадьевич.

– Завтра, с курьерским поездом, – отвечал старик Селезнев. – Вам удобно? – обратился он к Долинскому.

– Я всегда к вашим услугам...

Аркадий Семенович пристально посмотрел на молодого человека и только теперь понял, сколько и он пережил за это время.

Человек так устроен, что поглощенный своим горем, никогда не замечает горя ближних.

– Благодарю вас, – с чувством пожал Селезнев руку Сергею Павловичу.

Отъезд на завтра был решен.

В этот же вечер Аркадий Семенович пригласил Елизавету Петровну в свой кабинет и заставил ее пересказать те наблюдения, которые она сделала за период пребывания в доме над Любой.

Дубянская повиновалась, хотя ей было очень тяжело сообщать свои теперь осуществившиеся подозрения.

В настоящее время ей казались они настолько выясненными, что она мысленно жестоко укоряла себя, что не последовала совету Анны Александровны Сиротининой и не сообщила их родителям Любовь Аркадьевны.

«Любящую девушку трудно удержать...» – припомнилась ей в виде некоторого утешения фраза той же Сиротининой.

– Это были все лишь одни мои предположения, – закончила свой рассказ Елизавета Петровна, – до встречи господина Неелова, бе-

седующего с Машей, я не могла точно доказать их и боялась оскорбить Любовь Аркадьевну необоснованным обвинением...

– Я понимаю вас, – пожал ей руку Аркадий Семенович, – у вас прекрасная душа и доброе сердце... Я думал, что у моей девочки тоже доброе сердце... Я ошибся...

– Она полюбила... и не могла совладать со своей любовью. Все, Бог даст, устроится, и она будет счастлива... – заметила Дубянская в утешение огорченному отцу.

– Дай-то Бог! Дай-то Бог! – задумчиво произнес он.

## XXIV

### В Москве

Долинский, молодой Селезнев и Елизавета Петровна Дубянская по приезде в Москву остановились в гостинице «Славянский Базар», заняв два смежных номера, и с того же дня принялись за официальные и неофициальные розыски.

Первые были безуспешны, по справке адресного стола, дворянина Владимира Игнатьевича Неелова в Москве на жительство не значилось. Что же касается до Любовь Аркадьевны, то она и не могла быть записанной, так как убежала из дома без всяких документов.

Ее метрическое свидетельство лежало, и теперь в дорожной сумочке Елизаветы Петровны, переданное ей Аркадием Семеновичем Селезневым, как необходимое при браке, в совершение которого он не верил.

— А если и обвенчались они где-нибудь в селе без бумаг, так, пожалуй, священник и не записал в книги, а брак-то такой едва ли дей-

ствителен... Тогда пусть запишет и на свидетельстве сделает надпись... Уж вы похлопочите, успокойте меня, – сказал Аркадий Семенович Дубянской во время беседы их в кабинете накануне отъезда.

– Найти бы только, а я уже все сделаю и настою, чтобы оформить как можно крепче, – отвечала Елизавета Петровна.

– Непременно, как можно крепче.

На другой же день по прибытии в Москву, Долинский и Селезнев поехали за шестьдесят верст по смоленской железной дороге, где верстах в пяти от станции лежало именье, купленное Нееловым у графа Вельского.

Тут они попали на некоторый, но весьма туманный след.

Неелова и Любовь Аркадьевну они там не нашли, но им сказали, что барин с молодой барыней пробыли несколько дней в имении, а затем уехали.

– Куда же они уехали? – спросили в один голос Долинский и Селезнев.

– А уж этого не могу знать... Мне барина не допрашивать, – отвечал староста, он же управитель имения.

– Кто-нибудь же возил их на станцию?

– Вестимо, возили... Михайло-кучер возил.

– А где этот Михайло?

– Да, чай, на конюшне спит... Я пойду, пошукаю его.

– Пошукай, пошукай.

Вскоре перед лицом обоих приятелей явился Михайло.

– Ты к какому поезду возил Владимира Игнатьевича с барыней?

– Надо быть, к часовому...

– Это, значит, в Москву?

– А уж не могу знать, не то в Москву, не то в Смоленск.

– Как так?

– Да так, в ту пору у нас на станции перекресток... С обеих сторон поезда приходят...

– Тэк-с...

Таким образом, вопрос, возвратился ли Неелов с Селезневой в Москву или поехал дальше на Смоленск, Брест, Варшаву и даже за границу, остался открытым.

Во время этого отсутствия Долинского и Селезнева в Москве, Елизавета Петровна сама, сидя у себя в номера, получила неожидан-

ные сведения о беглянке при тяжелых, впрочем, для Дубянской обстоятельствах.

Не прошло и часу после отъезда молодых людей, как в номер, занимаемый Елизаветой Петровной, постучались.

– Войдите.

Вошел лакей гостиницы и сообщил, что госпожу Дубянскую желает видеть какой-то господин по тому делу, по которому она приехала в Москву.

– Просите! – сказала очень заинтересованная Дубянская. Через пять минут незнакомец вошел в номер.

При виде его у Елизаветы Петровны вырвался крик ужаса, гнева и горя.

Перед нею стоял Егор Степанович Алферов.

– Елизавета Петровна, – заговорил он дрожащим от волнения голосом. – Не отвергайте человека, которого привело к вам раскаяние. Вы видели, что я сумел обмануть и судей, и присяжных, и сделался снова полноправным и свободным человеком. Следовательно, не страх, а глубокое, мучительное раскаяние в том, что я осиротил и обездолил вас, приводит меня к вам.

– Вы лжете! Такие, как вы, раскаиваться не могут. Вы пришли сюда все под влиянием той же постыдной страсти, которой вы преследуете меня с первого дня нашего знакомства.

– Вы несправедливы ко мне, – перебил он с мольбой в голосе. – Не скрою от вас: я люблю вас более собственной жизни и переживаю муки ада от сознания, что эта любовь остается навеки безответной. Но я пришел просить не любви вашей, а только одного слова прощения.

– Ну и что же было бы, если бы я простила вас?

– У меня осталось бы счастье посвятить вам всю свою жизнь, все мои мысли, – ответил он просто.

– Дружба преступника.

– Нет, дружба человека, который был преступником.

– Не станете ли вы уверять, что исправились?

– Да, Елизавета Петровна, беру Бога в свидетели, что с той минуты, в которую я заглянул в вашу чистую душу, все нечестное стало для меня ненавистно! О, сжальтесь надо

мною...

Он неожиданно для Дубянской бросился перед ней на колени.

– Не бросайте меня в тьму безысходного отчаяния... Я так измучился! Пощадите!.. Будьте для меня тем же светлым ангелом надежды, как и для всех, кто вас знает.

– Встаньте, – сказала Елизавета Петровна. – Может быть, я прощу вас, когда буду убеждена в вашем исправлении.

– Благодарю, благодарю вас, – прошептал Алферов, по лицу которого струились слезы.

Он схватил край ее платья и горячо прижал его к губам.

– А теперь уйдите, – проговорила молодая девушка. – Я не могу больше выносить вашего присутствия.

– Позвольте мне остаться еще несколько минут, и я скажу вам вещи, которые докажут вам, что я и до этого старался быть полезен, если не вам самим, то вашим друзьям. Вы ищете Любовь Аркадьевну Селезневу?

– Да, а вы знаете где она? – с поспешностью спросила Дубянская.

– Она здесь, в Москве, вместе в Нееловым.

– Так дайте мне ее адрес... Я пойду к ней...

– Я сам не знаю, где они живут... Он тщатель-  
тельно скрывает это...

– Они обвенчаны?

– Нет. Он, кажется, даже собирается же-  
ниться на одной богатой купеческой дочке...

– Несчастливая! Одна, в чужом городе и в ру-  
ках негодяя! – воскликнула Дубьянская.

– Теперь она не так одинока... У нее есть  
добрая и умная подруга.

– Кто это?

– Мадлен де Межен.

– Шансонетная певица?

– Она бросила сцену... Она теперь невеста  
Савина.

– Этого мошенника?

– Он оправдан.

– Вы тоже оправданы! – не удержалась  
Елизавета Петровна.

Алферов подавил вздох.

– Я прошу вас только повременить гово-  
рить кому бы то ни было о сообщенном мною  
вам. Я достану адрес или, в крайнем случае,  
устрою возможность вам видеться с Любовью  
Аркадьевной.

– Хорошо, но устройте это как можно скорее.

Егор Степанович поклонился и вышел.

Оставшись одна, Елизавета Петровна Дубянская почувствовала себя крайне несчастной.

Ей начало казаться то, что она оскорбила память отца, снизойдя до разговора с его убийцей, то, что раскаяние этого человека было глубоко и искренно, что было бы грехом отвергнуть его окончательно.

Девушка то плакала, то молилась, то глубоко задумывалась и измучила бы себя окончательно, если бы эту борьбу дочернего чувства с долгом христианским не прервало возвращение ее спутников.

Они рассказали ей все, что узнали в имении Неелова.

– Невозможно было добиться лишь одного, куда они уехали из имения, – заметил Селезнев.

– Да, это вопрос, – вставил Долинский.

– Они в Москве, – заявила Дубянская.

– Почему вы так в этом уверены? – в один голос спросили молодые люди.

– Я имею на это основание, которое пока сказать не могу... На этих днях я получу точные сведения.

– Вы где-нибудь были?

– Я не выходила из номера.

– Что же, вам птица на хвосте принесла все эти сведения? – произнес, смеясь, Селезнев.

– Если это птица, то коршун, выклевавший мое сердце.

Молодые люди посмотрели на нее широко раскрытыми глазами.

Они только сейчас заметили ее бледность и расстроенный вид.

– Что с вами? – спросил Долинский. – У вас кто-нибудь был и огорчил вас?

– Не спрашивайте меня... Я все равно раньше времени не могу вам ничего сказать... Я дала слово.

Они оба остались в полном недоумении.

Прошло несколько дней.

Алферов не являлся со своими сообщениями. Елизавета Петровна ходила в тревожном состоянии духа. Долинский и Селезнев не беспокоили ее вопросами и не возвращались к

загадочному разговору о полученных ею сведениях.

В их уме даже появилась роковая мысль, что молодая девушка тронулась в уме.

Они оба продолжали свои розыски в Москве, бывая всюду, где собиралась публика.

Сентябрь в этом году стоял великолепный.

Погода была чисто летняя, теплая.

Сад «Эрмитаж» и Петровский парк по вечерам кишели публикой.

К последнему по Тверской улице тянулись длинною лентою всевозможные экипажи.

Однажды, вернувшись вечером домой, Долинский и Селезнев зашли по обыкновению в номер Елизаветы Петровны.

– Отгадайте, кого мы видели, Елизавета Петровна? – воскликнул Сергей Павлович.

– Не мастерица, – отвечала молодая девушка, грустно улыбаясь.

– Ну, так слушайте. Мы сейчас из Петровского парка. Экипажей там и дам целые миллионы. Богатство – умопомраченье. Красавиц – не перечесть... Вдруг вижу несется коляска, которой позавидовала бы любая владетельная особа: кучер и лакей – загляденье, ко-

ни – львы. А в коляске сидят две дамы – одна, точно сказочная царица, другая поскромнее... Поровнялись они с нами, и... о, боги!.. Вторая оказалась Любовь Аркадьевной!

– Вы с ней говорили? – вскочила с кресла, на котором сидела, Дубьянская.

– То-то же, что нет... Сергей так загляделся на первую, что не заметил сестры... Я тоже совершенно растерялся, а в это время коляска была уже далеко... Мы исколесили весь парк, но более их не встречали... Утешительно одно, значит Неелов и Любовь Аркадьевна в Москве.

– Я же вам говорила.

– Но кто эта красавица, которая с ней? – задумчиво произнес Сергей Аркадьевич.

– И это я знаю, – просто сказала Елизавета Петровна.

– Вы... знаете?.. – в один голос спросили молодые люди и невольно переглянулись друг с другом.

– Знаю... Это – шансонетная певица Мадлен де Межен – невеста Савина.

– Откуда же у вас, однако, эти сведения? – серьезно спросил Сергей Павлович.

– Птица на хвосте принесла.

– Вы шутите!

– Я не шучу... Какое вам дело, откуда эти сведения, если они верны!

– Значит, и Савин здесь?

– Здесь.

– В таком случае, дело упрощается... Завтра же я разыщу Николая Герасимовича и через него найду и Неелова, и Любовь Аркадьевну, – сказал Долинский.

– Но как же ты разыщешь его? – спросил Селезнев;

– Очень просто... Он, несомненно, живет прописанный, ему нечего теперь скрывать-ся...

– А кто же эта Мадлен де Межен? Его невеста?

– Ну, если хочешь, невеста... Он живет давно с ней... Эта связь началась еще за границей... Она его безумно любит, и эта любовь побудила ее приехать в Россию в качестве шансонетной звезды... Она дожидалась его освобождения, и теперь они снова вместе...

– Однако, это все-таки не особенно подходящее общество для моей сестры, – сквозь зу-

бы проговорил Селезнев.

– Это несомненно... Видимо, Неелов думает иначе.

– Я его заставлю думать так, как думают все порядочные мужья...

– Он не муж ее... – печально сказала Елизавета Петровна.

– Вы и это знаете?

– Я знаю даже, что он раздумал, видимо, на ней жениться и ухаживает за очень богатой московской невестой.

– Негодяй! Я его заставлю жениться под пулей! – воскликнул Сергей Аркадьевич. – О, только бы найти его.

– Не беспокойся, теперь найдем. И он от нас не увернется, – с нескрываемой злобой добавил Сергей Павлович Долинский.

– Боже мой, Боже мой, несчастная девушка, она теперь, может быть, сама не знает как вырваться из этого омута, в который бросилась очертя голову.

– Не беспокойтесь, она будет его законной женой, а затем может бросить его, если пожелает, – сказал Долинский.

– Утешительного мало. Разве в этом сча-

стье?

– Но в этом сохранение чести... Однако уже поздно, пора в постели... Утро вечера мудренее. До завтра. Пойдем, Сергей Аркадьевич.

Молодые люди простились с Дубянской и отправились к себе в номер.

## XXV

### Медальон

Растрата в несколько десятков тысяч рублей, конечно, не могла произвести никакого затруднения в операциях банкирской конторы «Алфимов и сын» при ее громадных денежных оборотах.

Известие о растрате с быстротою молнии распространилось по городу, особенно после того, как на другой день газеты оповестили о ней в витиеватой форме. Несколько особенно осторожных вкладчиков явились вынуть свои капиталы, но когда контора тотчас же выдала их, то на другой же день они принесли их обратно, приведя за собой и других.

Все, таким образом, для репутации конторы окончилось благополучно.

Корнилий Потапович, занятый всецело возможностью овладеть Ольгой Ивановной, не обратил особого внимания на случившееся и после ареста Сиротинина снова пришел, к удовольствию Ивана Корнильевича, в хорошее расположение духа.

Праздник, данный им на даче, не привел его к желаемым результатам, а потому он решил начать сезон необычайным по роскоши и затеям бал-маскарадом.

Этот праздник был назначен на 8-е октября.

За несколько дней перед ним графиня Надежда Корнильевна задумчиво сидела в своем будуаре уже на зимней квартире.

На глазах ее сияли слезы умиления.

«Итак, меня связала теперь с мужем новая неразрывная и святая связь!» – думала она.

«А тот, милый, желанный, несчастный! Теперь я обязана отнять у него даже тот невинный залог – медальон... Как он настрадается... О... Петя, если бы ты только знал, какую жертву мы приносим».

Дверь тихо отворилась.

– Надя, ты плачешь! Ты все еще несчаст-

на! – проговорил граф Вельский.

– Нет, Петя, эти слезы не горькие... Эти слезы светлые, перед новой жизнью, которая должна настать для нас... Теперь не ради одной меня ты должен отказаться от своих...

Он понял.

На глазах у него выступили слезы никогда неизведанного счастья.

Он стал обнимать жену и с невыразимой нежностью целовал ее.

– Письмо от госпожи Руга! – доложила, входя Наташа.

– Могла бы и подождать! – заметил граф Петр Васильевич, с видимым отвращением распечатывая конверт.

Графиня смотрела на него вопросительным взглядом.

– Она зовет меня на генеральную репетицию, – проговорил он, пробежав записку глазами. – Скажи, Наташа, что я не приеду...

– Благодарю! – произнесла графиня с чувством. До позднего вечера провел граф в будуаре графини.

«Со вчерашнего дня я совсем другой человек, – думал граф Петр Васильевич,

проснувшись утром, – Да, эти чистые слезы, эти светлые радости не сравнятся ни с какими другими наслаждениями! И зачем только понадобилось Корнилию Потаповичу именно в эти дни сводить со мною счеты», – продолжал он, схватывая со стола лист, испещренный цифрами.

«Да, дела расстроены!.. Необходимо отыгаться. И это разве будет отступлением от моей клятвы? Ничуть... Я сделаю это ради жены!..»

Размышления эти были прерваны приходом графа Стоцкого.

– Здравствуй... – проговорил он, входя. – Рад видеть, что ты здоров и невредим, а то вчера на репетиции все думали, что ты болен.

– Нет, я был дома. Да и надоел мне, по правде сказать, весь этот разврат, – несмело сказал Петр Васильевич.

– Неужели и игра? А вчера как раз вышла замечательно интересная, метал князь Асланбеков, и Гемпель выиграл горы...

– А я так не завидую даже и Гемпелю... Я провел дивно вечер.

– С кем? С Ольгой Ивановной? Теперь по-

нимаю, почему ты отвоевываешь ее у тещушки и нажил себе в нем врага. Только потом, когда ты будешь с деньгами...

– Перестань... Я восстаю против его исключительств потому, что так хочет моя жена, и я вчера сидел дома с женою и был счастлив.

– И воображаю как! Женщины всегда очень милы, когда у них не чиста совесть...

– Я требую, чтобы ты сказал мне сейчас, говоришь ли ты вообще или о моей жене? – вскричал граф Петр Васильевич, бледнея.

– Не требуй, милый юноша, можешь ненароком обжечься... – холодно возразил Стоцкий.

– Повторяю, я требую! – яростно крикнул граф Вельский.

– Да и к чему говорить тебе, я уже предупреждал тебя, а ты не веришь.

– Ты говорил тогда бездоказательно.

– А теперь могу привести и неоспоримое доказательство.

– Говори.

– Но к чему это? Оставим лучше.

– Говори.

– Тебе будет горько...

– Нет, я требую, я прошу, я умоляю.

– Ну, хорошо, но помни, что ты сам просил.

– Помню, помню.

– Но так как я люблю, чтобы слова мои имели свой настоящий вес, дай мне прежде всего слово, что ты не станешь бесноваться и попусту скандалить, а выслушаешь меня спокойно, как подобает мужчине, и доведешь дело до конца, чтобы оно выяснилось само собою.

– Постараюсь... Даю...

– Помнишь тот медальон, который ты подарил жене в день рождения?

– Ну да, да.

– Попроси ее надеть его на бал.

– Что ты хочешь сказать?

– Его у нее нет...

– Где же он?

– Он у того человека.

– Я сейчас задушу ее! – проскрежетал граф Петр Васильевич.

– И этим испортишь все дело! Пока ты должен быть так же ласков и спокоен, как был вчера, до самого бала... А когда все откроется, то и тогда бесноваться тебе не расчет. Рас-

станьте спокойно, потому что все состояние теперь – ее.

– Графиня готова и просит ваше сиятельство, – доложил лакей.

– Не пойду! – рявкнул граф.

– Ты уж начинаешь... – заметил ему граф Сигизмунд Владиславович. – Пойми же...

– Это правда... – сознался граф Вельский. – Сейчас буду, – ответил он лакею.

Граф Стоцкий простился и вышел.

8 октября дом Алфимова и снаружи, и внутри был залит огнями.

Казалось, что в эту ночь в его роскошных залах, частью обращенных в сады, собрались представители всех народов, званий и положений, не исключая и творений человеческой фантазии, начиная с мифологического Зевеса и кончая шаловливым эльфом.

Граф и графиня Вельские по праву молодых хозяев дома своего тестя были незакостюмированы.

Граф мрачно стоял у входа.

К нему подошел человек в костюме Мефистофеля и тихо его спросил:

– Исполнил ты мой совет? Она ничего не

подозревает.

– Тяжело мне было дьявольски, но все сделано, как ты говорил.

– Да вон и она... – шепнул граф Стоцкий – это был он – указывая на графиню, появившуюся в зале в сиянии своей спокойной и грустной красоты.

Граф Петр Васильевич бросился к ней, едва разыгрывая роль восхищенного.

– А отчего ты не надела моего медальона? – спросил он между прочим.

– Если ты его так любишь, я следующий раз надену... – ответила она, видимо, смущенная.

– Я говорю, чтобы ты надела его именно сегодня, – почти крикнул граф, теряя самообладание.

Этот тон оскорбил графиню.

Она невольно оглянула стоявших вокруг и заметила, что Мефистофель обменялся знаками с какой-то боярыней.

– Хорошо, я съезжу домой, если тебе так хочется! – ответила она мужу.

– Да, поезжай, я хочу, чтобы на тебе был мой медальон... – прохрипел граф.

Графиня удалилась.

– О, как я отомщу... – скрежетал Петр Васильевич.

– Напрасно! – возразил Мефистофель. – Помни ее богатство!.. Лучше ступай и развлекись. Посмотри, какая там прелестная фея...

Граф Петр Васильевич нехотя оглянулся, но увидя нечто, действительно, очаровательное, решил развлечься, как сумеет.

– Почему ты такая грустная, прелестная фея? – спросил он, подойдя.

– И феи не могут не плакать, когда их добрые дела разрушаются, – ответил ему знакомый гармонический голосок.

– Ольга Ивановна! – вскрикнул он. – И вы печальны! Помните, вы обещали мне быть моим другом? Ну, станем и плакать, и утешаться вместе. О, Ольга Ивановна, я ужасно страдаю.

– Это я заметила днем дома. Но что с вами? Ведь ваши отношения к Наде поправились...

– О! Не говорите мне о ней! У меня с нею все покончено! И если я в чем вижу милость Бога ко мне, то это в том, что возле меня вы.

Они сидели в густо увитой со всех сторон

зеленью беседке.

– Что вы говорите? – прошептала она.

– Правду, только правду...

Он схватил ее руку, привлек ее к себе и страстно, приподняв маску, поцеловал в губы.

У несчастной, давно беззаветно привязанной к нему девушки закружилась голова.

Тут была и жалость, и дружба, и страсть.

– Я полюбил вас с первого взгляда... – нашептывал ей граф Петр Васильевич. – И это вечное, вечное молчание! Вечная невозможность высказаться! Ну, хоть сегодня, Оля, когда я понял свое несчастье и весь свой позор, сжался, позволь мне прийти в отведенную тебе комнату по окончании бала и отвести с тобою душу. Нам тогда никто не помешает.

– Хорошо... Я не запру своей двери... Моя комната здесь по коридору, вторая дверь...

– А нам с женой отвели наверху... Я благоговяю фантазию тестя, который настоял, чтобы мы ночевали у него, а завтра присутствовали на интимном завтраке. Сначала я не понимал, зачем он этого во что бы то ни стало желает, а теперь я не хочу и доискиваться причины... Я вследствие этого буду счастлив.

Прошло еще четверть часа.

Вдруг в дверях залы появилась графиня Надежда Корнильевна. На ее шее ярко сверкал бриллиантовый медальон в виде сердца. Граф Петр Васильевич взглянул и бросился к ней, как безумный.

– Что это значит? – спросил ошеломленный граф Стоцкий.

– Понять не могу! – отвечала Матильда Францовна.

– Значит, и ночное свиданье голубков не состоится?

– Это-то ничего! – отвечала Руга, вместе с графом Сигизмундом Владиславовичем подслушивавшая разговор в беседке. – Приманка посажена, и вся разница в том, что вместо одной рыбки попадетсЯ другая...

– Я не понимаю...

– Ускользнул молодой – попадет к ней старик, он на это и рассчитывал, устраивая праздник на два дня...

– А-а...

В двенадцать часов гости Корнилия Потаповича все съехались, и бал оживился еще более.

Затем в одной из зал взвился занавес, и за ним открылась прелестная живая картина «Шалости амура».

В ней Матильда Руга не пощадила никого и ничего, лишь бы угодить вкусам старика Алфимова.

Старый банкир был в неописанном восторге.

В картине было много такого, что побудило графиню ускользнуть из залы в другие комнаты.

– Мне и самому это противно... – гадливо сказал, провожая ее, граф Петр Васильевич. – Один миг с тобою, или эта мерзость!.. Но это скоро, вероятно, кончится.

Возвращаясь в зал, он встретил Ольгу Ивановну, которая тоже спешила уйти.

– Как тянется вечер... – заметила она ему.

– О, я тоже не дождусь конца, мне предстоят дивные мгновенья! – отвечал он. – Я теперь так счастлив...

«Это я ему дала такое счастье!» – думала девушка с радостным трепетом.

## XXVI

### Западня

На сцене между тем следовали одна за другой самые соблазнительные живые картины.

– Вы просто превзошли сами себя, Матильда Францовна! – восторгался Корнилий Потапович. – Это восхитительно.

– Я готовлю вам сегодня еще один сюрприз, только скажите, когда вы отдадите за него обещанные десять тысяч.

– Вы это об Ольге Ивановне? Да быть этого не может!.. А деньги хоть сейчас... Чек на контору.

– Ну, хорошо же... Стойте здесь и ждите.

Через минуту к старику Алфимову подошла одна из подруг Матильды Францовны и что-то долго втолковывала ему.

– О, благодарю, благодарю, понимаю! – воскликнул старик. – Я никогда не забуду этой услуги.

Собеседница удалилась, и к Корнилию Потаповичу, на губах которого играла плотьяд-

но-довольная улыбка, подошел граф Стоцкий.

– Вы понимаете, конечно, – заговорил Сигизмунд Владиславович, – что все это устроил граф Петр Васильевич с целью доставить вам удовольствие, и вы как порядочный человек обязаны отблагодарить его.

– Да чего же он хочет?

– Он желал бы, чтобы часть приданого его жены была ему передана, если возможно, тотчас же.

– Тотчас же?.. Но ведь он сильно мотает деньги, играет... Ну, да хорошо, хорошо, обещаю... Только позвольте, мне нужно переодеться.

Ольга Ивановна между тем ходила под руку с Матильдой Францовой Руга.

Нельзя сказать, чтобы она особенно симпатизировала этой женщине, но с первого разговора с ней в саду своего отца в Отрадном, молодая девушка чувствовала к ней какое-то непонятное для нее самой влечение, точно Руга своими блестящими глазами, как и блестящими драгоценными камнями, гипнотизировала ее.

Предсказания певицы почти сбывались.

В ушах, на груди и на руках Ольги Ивановны Хлебниковой тоже блестели драгоценные камни, хотя и не выдерживавшие сравнения с украшениями певицы, но и о них там, в Отрадном, молодая девушка не смела и мечтать.

Ольга Ивановна теперь уже хорошо понимала, насколько была права Руга, говоря, что от ее, Ольги Ивановны, желания зависит быть осыпанной золотом и бриллиантами.

Эта житейская опытность красивой, блестящей женщины, ее первой учительницы жизни, заключала в себе, быть может, то притягательное обаяние для молодой девушки, от которого она уже два года не могла освободиться.

Обе женщины прошли в буфетную залу.

Убранство ее было шедевром декоративного искусства и роскоши.

Громадный буфет был переполнен всевозможными яствами и напитками. Тысячи разноцветных электрических огней отражались в массивных серебряных вазах с фруктами и старинных жбанах с шампанским.

– Я хочу смертельно пить, – сказала Матильда Францовна.

– Я тоже не прочь выпить чего-нибудь прохладительного, – отвечала Ольга Ивановна.

– Я сейчас добуду и себе, и вам, – сказала певица. – Садитесь здесь.

Она указала на свободный мраморный столик, множество которых было расставлено в обширной зале.

Хлебникова села, а певица направилась к одному из буфетов, где было не так тесно, как у других.

Вскоре она вернулась с двумя стаканами шампанского, в один из которых незаметно для Ольги Ивановны влила какой-то жидкости, находившейся у нее в маленьком золотом флакончике-брелочке, висевшем на браслете.

Барон Гемпель, взявшийся услужить ей, принес серебряную тарелку с двумя великолепными дюшесами.

– Кушайте, моя крошка... Это вас освежит... В залах становится жарко.

– Какая масса народа.

– Праздник выдающийся.

Ольга Ивановна, действительно хотевшая пить, почти залпом выпила бокал шампан-

ского.

Вино действительно подкрепило ее, а то она стала уставать, так как бал уже приближался к концу.

«А мне надо еще беседовать с графом... – думала молодая девушка. – Я все-таки уйду к себе раньше».

Руга между тем весело болтала с бароном, внимательно следя за стаканом Хлебниковой.

Когда он был выпит молодой девушкой до дна, на губах певицы появилась довольная улыбка.

– Кусочек дюшесы... Груши замечательно сочны и вкусны, – предложила Матильда Францовна.

Ольга Ивановна принялась за грушу.

Вскоре они покинули буфетную залу и вернулись в танцевальную.

Танцевали мазурку.

При появлении обеих дам несколько кавалеров бросились выбирать их.

Руга согласилась и быстро умчалась в вихре этого увлекательного танца, а Ольга Ивановна отказалась.

Она чувствовала себя как-то не по себе.

В висках стучало, сердце усиленно билось... Кровь, казалось ей, горячим ключом клокотала в жилах.

«Что со мной? – думала молодая девушка. – Неужели на меня так подействовало вино?»

Она прошла по залам и направилась в отведенную ей комнату. Там она в необычайном волнении бросилась на диван. Вокруг царил черная темнота.

Она распустила шнуровку у лифа, заменявшего в ее костюме феи корсет.

Ей казалось, что одежда давит ее.

«Я запру дверь и лягу. Я не хочу говорить с ним...» – подумала она и направилась к двери.

Последняя вдруг бесшумно отворилась и заперлась. Чьи-то сильные руки обхватили ее, и на лицо и шею посыпались страстные поцелуи.

– Перестаньте, граф! Пощадите! Ведь вы хотели говорить со мной по-дружески... – прошептала она, силясь вырваться из объятий.

Но этого ей не удалось. Объятия все сжимали ее, поцелуи жгли. Она кончила тем, что стала отвечать на них в каком-то полубессо-

знательном экстазе.

«Пала! Опозорена! Погибла!» – как молотом стучало в голову Ольги Ивановны при первом ее пробуждении на другой день.

Сердце сжималось невыносимой болью, и несчастная девушка замерла в своей безысходной скорби, не отдавая себе отчета во времени.

Вошедшая в комнату Хлебниковой на другой день Наташа, тоже переселившаяся в дом Корнилия Потаповича вместе с графом и графиней, просто ахнула.

– Что с вами, барышня, на кого вы похожи?.. Вы больны?.. Надо за доктором.

– Нет, я просто устала... И сегодня не выйду... – преодолевая себя, ответила Ольга Ивановна.

Костюмированный бал Корнилия Потаповича происходил накануне дня его рождения, а потому на другой день более близкие люди собрались к роскошному завтраку-обеду, назначенному, в виду позднего окончания бала, в четыре часа.

В числе таких близких был граф Стоцкий и Матильда Руга.

– Ума не приложу, как это могло случиться: откуда она взяла медальон? – говорила певица.

– Я тоже остолбенел, когда увидел его на ней, – ответил Сигизмунд Владиславович.

– Необходимо разузнать... А пока, чтобы избавиться от ее влияния графа Петра, надо хоть увезти его куда-нибудь.

Она не договорила, так как в гостиную, где ждали гости новорожденного, вошел Корнилий Потапович.

– Ну, Матильда Францовна, – заговорил он, – моей благодарности к вам суждено все расти и расти... Но вопрос, что будет дальше, как объяснить ей эту ошибку с ее стороны.

– Ничего, Корнилий Потапович, все обойдется, ей теперь нет выбора... – заметил граф Стоцкий. – А вот граф Петр, он виновник вашего счастья.

Старик Алфимов сам пошел ему навстречу. Граф Вельский поздравил тестя.

– Порадовал ты меня подарком вчера, а я умею быть благодарным.

– Каким подарком?

– Однако, ты отличный актер.

– Я не понимаю вас, Корнилий Потапович! – воскликнул граф Петр Васильевич.

– Ну, ну, не горячись, я понимаю, что это щекотливо... Но у тебя отличный адвокат, граф Сигизмунд Владиславович, он говорил мне о твоих делах... а я устроил... Вот.

Старик торопливо сунул в руку графа свернутую бумажку и тотчас отошел.

Граф Вельский развернул ее.

Она оказалась чеком на сто тысяч рублей.

– Что за чудеса с ним? И какие он пустяки мне сейчас болтал? – спросил граф Петр Васильевич графа Сигизмунда Владиславовича, показывая ему чек.

– Очень просто, я знал о твоих затруднительных обстоятельствах и уговорил его.

– Но о каком подарке он толковал?

– Ах, это пустяк! Просто была маленькая уловка, чтобы его умилостивить.

– Спасибо, Сигизмунд, за дружескую услугу.

– Радуюсь, что ты еще веришь моей дружбе и не считаешь меня за клеветника по поводу той истории с медальоном... Но это дело еще не окончено, а пока позволь мне дать те-

бе совет.

– Что такое? – холодно спросил граф, которого история с медальоном действительно несколько восстановила против графа Стоцкого.

– Брешь в твоих делах заткнешь этими ста тысячью только на время... Что же будет дальше?.. Очевидно, тебе необходимо отыгаться... Здесь же невозможно... Твоя жена...

– Оставь в покое мою жену.

– Ну и разные другие обстоятельства, – не смущаясь, продолжал граф Сигизмунд Владиславович. – Поезжай в Монте-Карло. Там при счастье и уменье можно выиграть миллион... Я сам знаю одного недавно приехавшего оттуда такого счастливецца.

Глаза графа Петра Васильевича заблестели.

Игра была его главною страстью.

Матильда Францовна между тем разговаривала с графиней Надеждой Корнильевной, и та, хотя положительно знала, что говорит со своим заклятым врагом, но не могла от нее отделаться.

Руга хвалила вчерашний праздник и на-

мекнула, что заметила мрачное расположение графа Петра Васильевича в начале бала.

– Да, Петя бывает иногда капризен... – сказала графиня. – Вчера он вдруг обиделся, что я не надела подаренный им мне недавно медальон.

– Какая странность, графиня, – наивно сказала певица. – Я недавно видела точно такой же медальон у одного доктора, Неволлина... Он был так сконфужен... Вы его знаете, конечно, Графиня.

– Я знаю его, Матильда Францовна, но не знаю, зачем вы мне это сообщаете... – проговорила Надежда Корнильевна, глядя ей в глаза, спокойно, гордо и холодно, – хотя знаю также, что если вы передадите это и моему мужу, то ошибетесь в расчете... Он верит мне, и между нами нет тайн... И скоро он окончательно научится различать своих истинных друзей от таких, которые его эксплуатируют.

Опытная интриганка Руга растерялась перед спокойной чистотой графини и не знала, что сказать, но на ее счастье к ним подошел Корнилий Потапович.

– Дитя мое, говорят, Ольга Ивановна забо-

лела и уехала к себе.

– Когда, как? – встревожилась графиня.

В это время в гостиную вошла Наташа и подала Надежде Корнильевне письмо.

– Кто принес?

– Ольга Ивановна просила передать вашему сиятельству, – сказала горничная и удалилась.

Графиня вскрыла письмо и прочла следующее.

*«Я бегу, как преступница, Надя. Не разыскивай меня, не разузнавай и причин, которые побуждают меня бежать... Я уже никогда, никогда не должна видеть ни тебя, ни... его. Не сожалей обо мне, что бы ты ни услышала. Я сожаления не стою.*

*Ольга».*

– Что это значит, что это значит? – спрашивала графиня взволнованным голосом, передавая письмо подошедшему мужу.

«Вчера я оскорбил ее!» – промелькнуло у него в голове и сердце его болезненно сжалось.

– Положительно ничего не понимаю, – вслух прибавил он, пожав плечами. – Надо вернуть ее и разузнать.

Он быстро вышел.

– Ну, вот теперь если с нею что-нибудь случится, все станут обвинять меня! – жаловался старик Алфимов Матильде Францовне. – Это способно отравить всякое удовольствие.

– Полноте! Все станут винить не вас, а графа Петра Васильевича.

– Ах, да, да! Вот это отлично!

«Еще бы! Как не отлично! Теперь вы оба у нас в руках», – думала Матильда Руга.

## XXVII

### Разрушенные козни

Чтобы объяснить разрушенную интригу графа Стоцкого и Матильды Руга с медальоном, взятым, если припомнит читатель, почти насильно доктором Федором Осиповичем Невוליным у Надежды Корнильевны, и появление этого медальона снова на груди графини Вельской к положительному недомению интриганов, нам необходимо вернуться за несколько времени назад.

Разговор между графом Стоцким и графом Петром Васильевичем после вечера, проведенного последним с женой, признавшейся ему, что она готовится быть матерью, был подслушан горничной графини – Наташей.

Преданная своей барыне, любящая ее до обожания, молодая девушка, убедившись, что «черномазый», как она звала графа Сигизмунда Владиславовича, интригует против Надежды Корнильевны и восстанавливает против нее графа, не упускала случая, чтобы не подстеречь, когда граф Петр Васильевич останет-

ся наедине со своим приятелем, и не подслушать, не плетет ли что «черномазый» на графинюшку.

Так было и в тот раз, когда Сигизмунд Владиславович торжественно предъявил доказательство неверности графини Надежды Корнильевны, предложив графу Вельскому попросить ее надеть подаренный им медальон на бал к Корнилию Потаповичу.

Граф Стоцкий постарался успокоить взбешенного графа и объяснил ему, что доказательство будет полно и несомненно только тогда, когда он потребует, чтобы его жена надела медальон в день бала или даже лучше всего, когда бал начнется, иначе-де она может возвратить его от «того человека», то есть от доктора Неволина, на время или навсегда.

Мы знаем, что граф Петр Васильевич сдержался и последовал совету своего коварного друга. Друг оказался неправым. Медальон заблистал на шее графини и своим блеском рассеял мрак опутавшей было ее гнусной интриги.

Но вернемся к рассказу. Подслушав этот разговор и быстро сообразив, что барыне го-

товится крупная неприятность, даже несчастье, Наташа в тот же вечер, захватив с собою футляр, в котором был медальон и на котором была выгравирована фирма ювелира Иванова, отправилась к доктору Неволину.

Федор Осипович жил на Загородном проспекте и занимал хорошенькую холостую квартиру в четыре комнаты.

Успокоенный сознанием, что любимая им женщина тоже любит его, вырастив в своем сердце какую-то странную уверенность, что так или иначе, несмотря на то, что она замужем, они будут счастливы в недалеком будущем, Неволин рьяно принялся за работу над подготовлением к докторскому экзамену и диссертации, а также занялся практикой, которая началась для молодого врача очень удачно.

Этим он отчасти обязан был «знаменитости», при помощи которой Корнилий Потапович Алфимов отправил его в почетную ссылку.

«Светило медицинского мира», быть может, чувствуя угрызения совести по поводу той роли, какую он сыграл в судьбе молодого

врача, стал чрезвычайно благоволять к нему и назначил даже своим ассистентом.

Небольшая планета, восшедшая на петербургском медицинском горизонте в лице Федора Осиповича Неволлина, позаимствовав свой свет от этой самосветящейся звезды, засветилась, в свою очередь, довольно ярким блеском, и пациенты, как бабочки в темную летнюю ночь, полетели на этот свет.

Имя Неволлина стало понемногу приобретать известность в столице.

В числе его пациенток была и Знаменитая певица Матильда Францовна Руга.

Почти еженедельно, а иногда и чаще певица призывала его к себе, жалуясь на недомоганье, расстройство нервов, головные боли.

Доктор осматривал больную, обыкновенно не находил ничего опасного (собственно, не находил ничего), прописывал успокоительное и, получив хорошую визитную плату, уезжал.

Матильда Францовна попробовала было над ним силу своего кокетства, неотразимую для других мужчин, но на Неволлина она не произвела, к озлоблению красивой женщи-

ны, ни малейшего впечатления и таким образом увлечь молодого врача и выпытать от него его отношения к графине Вельской, для чего собственно и лечилась так старательно здоровая певица, не удалось.

– Стрелы амура не действуют... – шутил граф Стоцкий, когда его сообщница передавала ему безуспешность своего кокетства.

– Как стене горох.

– Значит, он любит ее искренно... – заметил граф.

– Идиот! – озлобленно умозаключала Руга.

– Видно, под них не подкопаешься... – подзадоривал ее Сигизмунд Владиславович.

– Поверьте, что я-то подкопаюсь, не я буду... – кипятилась Матильда Францовна.

– Едва ли...

– Не злите меня.

– Расстроятся нервы, пошлете за Неволиным... Да смотрите, не влюбитесь сами не хуже того, как он влюбился в графиню. Это бывает. Еще Пушкин сказал:

Чем меньше женщину мы любим,  
Тем больше нравимся мы ей...

– Не беспокойтесь, не влюблюсь ни в Нево-

лина, ни в вас.

– Я, кажется, об этом беспокоюсь меньше, чем Неволин.

– А мне это безразлично, на мой пай и других дураков хватит.

– Других... Остается благодарить.

– Не стоит благодарности.

В ночь после этого разговора Матильда Францовна долго совещалась со своей камеристкой, вертлявой хорошенькой девушкой Иришей, обыкновенно ходившей к доктору Неволину с приглашением от барыни и сумевшей пленить сердце лакея Федора Осиповича, красивого, молодого франтоватого Якова.

– Не извольте беспокоиться, Матильда Францовна, в лучшем виде все выпрошу и такое наблюдение устрою, не хуже сыскной полиции, потому что Яков у меня вот где.

Ириша топнула ножкой, обутой в изящные ботинки, отданные ей барыней.

– Так смотри же, можешь, пока я сплю, хоть каждый день туда ездить, извозчик на мой счет. Да возьми себе мое голубое платье.

– Очень вам благодарна, ангел вы, а не ба-

рыня! – бросилась целовать руки Матильды Францовны Ириша.

– Только обо всем мне сообщить!

– Будьте покойны, все разузнаю и выспрошу. Он – Яков-то – передо мной ведь тает и млеет, на манер мокрой курицы.

– Понимаю, понимаю, – улыбнулась Руга.

Разузнать Ирише, впрочем, долго многого не пришлось, несмотря на то, что Яков не чувствовал под собой ног от радости, когда предмет его мечтаний и настойчивого ухаживания сам явился к нему, особенно узнав цель этого появления.

– К барину? – спросил он. – Уехал с визитом.

– Ну вас к ляду с вашим барином, – лукаво улыбнулась Ириша. – Урвалась на минутку. Семь-ка,<sup>[3]</sup> думаю, посмотрю, не завел ли мой Яков какую ни на есть зазнобушку. Испытать захотела, словам-то мужчин тоже верить, ох, погодить надо.

– Ну, уж касательно меня это, совсем напротив, – весь сияя от счастья, произнес Яков, все стоя перед Иришей в передней и любуясь ее стройной фигуркой, одетой по-модному.

– Так гостью тут на торчке и принимать будете? – спросила, улыбаясь, молодая девушка.

– Ах, я телятина, пожалуйста ко мне в горенку!

– То-то же.

Так начались счастливые дни для Якова Никандровича, как звали полным именем лакея Неволина. Посещения «от себя», а не «от барыни», Ириши участились, она сама даже как будто привязалась к своему поклоннику, с которым ее связывало секретное поручение барыни. Предупредительная любезность, возможное исполнение капризов, маленькие подарки, все льстило самолюбию Ириши и заставило ее, если не любить, то «уважать», выражаясь жаргоном петербургских горничных, Якова Никандровича. Расспросы о барине, однако, повторяем, были безрезультатны, несмотря на то, что влюбленный Яков готов был выложить все перед своей возлюбленной.

– Занимается, ездит по визитам, у себя принимает больных, – вот все, что мог рассказать о жизни Неволина его лакей.

– А барыни-то у вас бывают?

– Больные бывают.

– Ну, может, эта болезнь-то одна прилика?

– Нет, этого не заметно. Можно сказать, что этого нет. Я сам диву даюсь. Молодой, из себя красивый, а живет монах монахом.

– Не врешь?

– Перед вами-то... Да я как на духу.

– Так-таки совсем и живет без женскогословия?

– Может, где сам бывает, мне не известно, а чтобы у нас, ни-ни...

Ириша все неукоснительно докладывала Матильде Францовне. Та была недовольна, хотя видела, что ее наперсница искренна и получала сведения из верного источника.

«Пожалуй, и впрямь не подкопаюсь под них...» – кусала Руга себе губы.

Случай – этот слуга дьявола – пришел к ней на помощь.

Однажды, заехав утром к Якову, когда Федор Осипович только что уехал в больницу, Ириша застала своего возлюбленного за уборкой комнат и вместе с ним вошла в спальню Неволлина.

Вдруг в глаза молодой девушки бросился лежавший на мраморной доске умывальника осыпанный бриллиантами медальон на золотой цепочке.

– Это чей?.. – схватила она его. – Ты чего же мне, пес, врал, что никакого женского сословия у твоего барина не бывает, что монах-де он монахом. Ишь расписывал, а что это, мужская вещь, по-твоему, забыла зазнобушка ранним утречком...

Яков насилу мог прервать разглагольствования Ириши.

– Экая беда какая. Схоронись ко мне в горенку. Сейчас, значит, вернется.

– Кто вернется, она?

– Какая там она, никакой тут «ее» нет. Барин медальон, завсегда на нем, на теле носит. Только второй раз позабывает, умываясь, так в первый раз приехал назад бледный, весь дрожит... и прямо к умывальнику.

– Рассказывай, рассказывай, так я и поверила... – заметила Ириша, продолжая любоваться медальоном. – Хорошая вещица, дорого стоит.

В это время в передней раздался сильный

прерывистый звонок.

– Он... Положи на место и схоронись.

Ириша вздрогнула от звонка, положила на умывальник медальон и скрылась в комнату Якова. Это действительно возвратился Федор Осипович и прямо прошел к себе в спальню и, взяв забытый медальон, тотчас же уехал.

Ириша убедилась, что Яков ей не врал.

«А все-таки, значит, зазнобушка у него есть», – решила молодая девушка.

– Может, померла она, в память носит... – высказал свое соображение Яков.

– Может быть... – согласилась Ириша.

В тот же день Матильде Францовне была доложена ею во всей подробности история с медальоном, который был точно описан молодой девушкой.

– Ты говоришь, в виде сердца?..

– Так точно-с.

– Весь осыпан бриллиантами?

– Да-с...

– Хорошо, ступай... Благодарю тебя... Это очень важно... Можешь взять себе мой бархатный лиф, шитый стеклярусом.

Ириша поцеловала руку у своей барыни и

вышла.

«Это тот медальон, который граф подарил своей жене в день ее рождения», – решила Ру-га.

Она на другой же день при свиданьи сообщила об этом графу Стоцкому.

На этом и была расставлена сеть графине Надежде Корнильевне, если бы Наташа, подслушав разговор двух графов, не приняла меры и не свела гнусных замыслов интриганов к нулю.

Наташа застала Федора Осиповича дома.

– Доложите, – сказала она Якову.

– Как прикажете? – спросил тот, приняв ее за барыню.

– Скажите, что Наталья Ивановна.

Яков доложил.

– Проси сюда! – сказал Неволин, догадавшись сейчас, кто была посетительница, и, встав от письменного стола, начал ходить нервными шагами по кабинету.

– Ты от барыни? – дрожащим голосом спросил он, когда Наташа вошла в кабинет, плотно притворив за собою дверь.

– Никак нет-с... Не от их сиятельства, а по

поводу их...

– То есть, как это? Что случилось?

– Пока еще ничего, Федор Осипович, а может случиться, ой, нехорошее дело для их сиятельства.

– Что такое? Говори...

Наташа, не торопясь, обстоятельно передала содержание подслушанного ею разговора между графом Стоцким и графом Петром Васильевичем.

– Если теперь узнают, что медальона у графини нет, беда будет, – заметила она.

– Я с ним не расстанусь, – как-то болезненно выкрикнул Неволин.

– Понимаю-с я, даже очень, что вам, Федор Осипович, тяжело, а все надо придумать, как и графиню из беды вызволить. Я вот футлярчик от медальона принесла. Где он куплен, значит...

Она остановилась.

– Что же дальше? – спросил Федор Осипович, глядя на нее помутившимися глазами.

Перспектива расстаться с медальоном, который он хранил как святыню, отняла у него способность соображать.

– Может, подумала я, в магазине точно такой же найдете медальон... – продолжала Наташа.

– А, понимаю... Давай футляр.

Наташа подала.

– А если я не найду, что тогда? – спросил Неволин.

– Придется, Федор Осипович, хотя на время отдать его, чтобы не подвести барыню.

– О, Боже мой... Теперь открыты магазины?

– Надо быть, открыты... еще не поздно.

– Едем.

Неволин отпер ящик письменного стола, вынул оттуда все свои сбережения за последнее время и, сунув деньги в карман, вышел вместе с Наташей в переднюю и затем, надев с помощью своего лакея пальто, вышел из квартиры.

Яков ничего не подозревал, предположив, что барин уехал к больной.

К счастью Федора Осиповича, у ювелира Иванова оказался медальон точь-в-точь такой же, как был у него.

Заплатив, не торгуясь, за него триста шестьдесят рублей, он отдал его Наташе.

В тот же вечер последняя подала футляр с медальоном графине;

– Он возвратил! – побледнела Надежда Корнильевна, хотя, как припомнит читатель, сама собиралась взять его обратно у Неволина.

– Нет, нет-с... Разве он с ним расстанется, умрет скорее, чем отдаст... Это другой.

– Я не понимаю.

Наташа рассказала все по порядку.

– Благодарю тебя, ты истинный друг... – сказала растроганная графиня.

Таким образом, козни графа Стоцкого и певички Руги были на этот раз разрушены.

## XXVIII

### Разбивающиеся мечты

Елизавета Петровна Дубянская была отчаянны права.

Любовь Аркадьевна Селезнева хотя еще смутно, но начинала понимать, что, доверившись любимому человеку, сделала непоправимую жизненную ошибку.

Перспектива вечной, как ей казалось, близости к любимому человеку, наполнившая все ее существо сладким трепетом, через несколько дней после бегства сменилась томительным гнетущим сомнением.

Беглецы на лошадях, чтобы замести след, доехали до Колпина, где сели в купе первого класса и прямо поехали в Москву.

Не останавливаясь в Белокаменной, Неелов с похищенной им «невестою», каковою Любовь Аркадьевна считала себя, и каковою считал ее первое время совершенно искренно и Владимир Игнатьевич, отправился во вновь купленное имение.

Погода, как мы уже говорили, в тот год сто-

яла прекрасная, и влюбленные провели на лоне природы несколько дней, упиваясь восторгами близости и свободы.

Любовь Аркадьевна в чаду своего счастья позабыла обо всем, о родителях и даже об обещании тотчас же венчаться, данном ей любимым человеком.

Ей казалось, что чудным мгновениям, часам блаженства никогда не суждено кончиться.

Она начала только жить полною жизнью женщины, пресыщение наслаждениями любви было далеко от нее – она не допускала и мысли о возможности охлаждения со стороны ее ненаглядного Володи; что же касается себя самое, то она думала, что никогда не изменится к нему.

Но, увы, охлаждение мужчины наступило скоро.

Поживший, и сильно поживший, Неелов, поддавшись обаянию молодого, красивого, полного жизни существа, почувствовал сам прилив невозвратной юности и вернувшейся пылкой страсти, но, увы, это было проходяще: наступила реакция, и утомленный наслажде-

ниями Владимир Игнатьевич вдруг стал тяготиться ласками своей молодой подруги.

Любовь Аркадьевна с ужасом сделала это открытие.

Она не понимала, что это происходило от невозможности с его стороны ответить на эти ласки, это раздражало его самолюбие, как мужчины.

Она удвоила свою нежность, холодность любимого человека еще более разжигала ее страсть и она не сдерживала ее проявления.

Она думала этим привлечь снова его к себе, получить на ее чувственные порывы такой же ответ.

Результат, конечно, вышел противоположный.

Он уклонялся сначала от ее объятий почти деликатно, но наконец была произнесена фраза, послужившая роковой гранью для их отношений прошлого и настоящего.

– Оставь, Люба, нельзя же вечно лизаться!.. – сказал Неелов, отстраняя от себя молодую девушку.

Любовь Аркадьевна побледнела.

«Он меня не любит!» – промелькнула в ее

голове роковая мысль.

Это было начало конца.

Мельком пробежавшая мысль вернулась и скоро стала господствующей в уме молодой девушки.

– Он меня не любит... Я ему надоела... – на разные лады повторяла она себе с утра до вечера.

Поведение Владимира Игнатьевича подтверждало это гнетущее ее сердце открытие.

Он стал уезжать из дома по хозяйству, на охоту, и даже один раз к соседям по имению.

Это было накануне их отъезда из деревни.

Молодая женщина сидела одна в кабинете Владимира Игнатьевича и писала письмо родителям. Это было то письмо, после получения которого из Петербурга выехали на розыски беглецов Долинский, Селезнев и Дубянская.

– О, папа... папа... – шептала она, не будучи в силах писать, так как глаза ее затуманивались слезами. – Как я огорчила тебя... Но ты мне простишь... И мама простит... Милые, дорогие мои... Ведь я же теперь раба, раба его! Он говорит, что если я не буду его слушаться,

он опозорит меня... И ко всему этому он не любит меня... Что делать, что делать... Нет, я не напишу вам этого, чтобы не огорчать вас... Он честный человек, он честный...

Она снова склонилась над письмом. Вдруг она вздрогнула, быстро спрятала письмо и отерла слезы. Дверь отворилась, и вошел Владимир Игнатьевич.

– Как я соскучилась, Володя, почти целый день, как мы не виделись... – проговорила Любовь Аркадьевна, сиюсь ему улыбнуться.

– Надеюсь, что тебе здесь было всего достаточно... – раздраженно отвечал он.

– Мне не доставало тебя, ведь ты один у меня на свете. Без тебя мне так сиротливо и страшно!..

– Перестань ребячиться! Не маленькая... – холодно остановил ее Неелов. – Я был у соседей... Играл и выиграл...

– Зачем ты играешь?! Ведь ты достаточно богат. Одного моего приданого...

– Твоего приданого!.. Да еще неизвестно, что скажут твои родители...

– Они согласятся и простят... Я в том уверена... Я на днях напишу им.

– Нам надо уехать отсюда... – перебил ее Неелов.

– В Петербург?

– Ну, нет... Надо еще узнать ответ от твоих родителей... Мы поедem в Москву... После первого письма ты напишешь второе, где скажешь, чтобы они прислали ответ до востребования.

– Но ведь ты сам хотел поселиться здесь...

– Здесь невыносимо скучно...

– Скучно!..

– Чему же ты удивляешься... Нельзя же проводить время, глядя друг другу в глаза... Это не жизнь...

– Не жизнь...

– Мне надо познакомиться с московским обществом...

– А я буду опять оставаться, как сегодня, по целым дням одна.

Владимир Игнатьевич молча пожал плечами.

– Послушай, Володя, помнишь, ты обещал мне обвенчаться, как только мы сюда приедем... Папа и мама тогда уж наверное простят нас... Не поедem в Москву... Обвенчаемcя и по-

едем в Петербург.

Она смотрела на него взглядом, полным мольбы. Он не смотрел на нее.

– Ах, как ты мне надоедаешь, Люба! – воскликнул он. – Целыми днями ты изводишь меня то своей любовью, то хныканьем. Ну да, я обещал обвенчаться, но поверь, я знаю, что делаю, и обвенчаюсь тогда, когда это действительно будет нужно, учить тебе меня нечего... Лучше ступай готовиться к отъезду... Поезд уходит через час.

– Сегодня?.. Так поздно?..

– До станции рукой подать... Нас не съедят волки...

Молодая девушка вышла из кабинета, едва сдерживая слезы. «Такую глупость, как связать себя с этой дурой, можно было сделать только в порыве... Уж правду говорят, захочет Бог наказать, разум отнимет».

На вечерний поезд, однако, они не попали, так как Неелова задержали дела со старостой, и отъезд был отложен до другого дня до часового поезда.

По прибытии в Москву Неелов и Селезнева остановились в отделении «Северной гости-

ницы», находящейся недалеко от вокзала.

Хозяин этой гостиницы был знаком с Владимиром Игнатьевичем по Петербургу, где служил буфетчиком одного из шикарных ресторанов, а потому формальностей прописки, неудобной для Неелова и невозможной, за неимением документов, для его спутницы, можно было избежать.

Любовь Аркадьевна действительно не ошиблась за свое будущее.

Начались для нее томительные, скучные дни сидения в гостинице одной, так как Владимир Игнатьевич уезжал с утра и не являлся до позднего вечера.

Молодая девушка старалась не показывать виду, что она страдает и мучается, но эти страдания и мучения против ее воли написаны были на ее побледневшем и осунувшемся лице, и эта печать грусти раздражительно действовала на Владимира Игнатьевича.

Видимо, чувствуя все-таки некоторое угрызение совести, Неелов предложил Любовь Аркадьевне прокатиться раз вечером в Петровский парк.

Она, конечно, с радостью согласилась.

Сколько наслаждений доставила несчастной девушке эта прогулка. Только теперь она поняла, что особую прелесть этой прогулке придало почти недельное заключение в четырех стенах отделения гостиницы.

Любовь Аркадьевна была весела и оживлена. На впавших щечках появился даже румянец. Эта поездка, к счастью для нее, даже освободила ее от дальнейшего заточения.

Неелов в Петровском парке встретился с Николаем Герасимовичем Савиным, катавшимся с Мадлен де Межен.

Владимир Игнатьевич, как мы знаем, был товарищ Николая Герасимовича. Они встретились с искреннею радостью и познакомили своих дам.

Савин, желая поговорить с Нееловым, предложил Любовь Аркадьевне место в своей коляске и пересел сам в коляску Владимира Игнатьевича.

Таким образом, дамы продолжали прогулку с глазу на глаз и через какой-нибудь час уже были приятельницами. У женщин, особенно молодых, это происходит очень быстро. Не этим ли объясняется, что это чувство при-

язни бывает зачастую не только мимолетно, но даже является порой основанием для будущей неприязни.

На Любовь Аркадьевну красота Мадлен, ее наряд, фигура, ее симпатичный голос, произвели неотразимое впечатление.

У очень молоденьких девушек и женщин, сильных своей молодостью и сознанием силы своей привлекательности, отсутствует чувство зависти к другим женщинам, чувство, которое неизбежно приходит впоследствии.

Такие девушки и женщины могут совершенно искренно увлекаться другими хорошенькими женщинами, почти влюбляться в них. Так произошло и с Любовью Аркадьевной. Она влюбилась в Мадлен де Межен. Последняя тоже почувствовала к ней необычайную симпатию. Основанием для этого явилась прежде всего возможность оказать молоденькой женщине покровительство. Красивые и молодые женщины ужасно любят являться в ролях покровительниц своих подруг.

Симпатия, внушенная молодой француженкой Любовью Аркадьевне, побудила последнюю на откровенность.

Быть может, впрочем, переполненная горькими думами головка и оскорбленное за последнее время сердце сделали то, что молодая девушка невольно выложила свою душу первой женщине, которая, как ей показалось, отзывчиво отнеслась к ее рассказу.

– Это ужасно... Однако, какой он... странный... – не могла подобрать подходящего слова Мадлен де Межен.

– Я сама не знаю, что с ним сделалось за последнее время.

– Попробуйте с ним быть холодны...

– Я не могу...

– Это-то более всего и губит женщину в глазах мужчин... Им не надо показывать всю полноту чувства, мужчина всегда должен оставаться относительно чувства женщины в некоторой неизвестности... Это заставит его быть к ней внимательнее... Они ведь, эти мужчины, в сущности, не любят нас, в нас они любят себя самих, свои удобства, свой комфорт, свое наслаждение... Потому мужчина более всего боится не потерять любимую им женщину, а быть ею брошенным... Смерть своей жены или любовницы мужчина всегда

предпочтет разлуке, где первую ушла женщина... Надо всегда поэтому держать мужчину под «дамокловым мечом» – возможности такой оскорбительной для него разлуки...

Любовь Аркадьевна слушала этот первый жизненный урок своей новой подруги с широко открытыми глазами.

В следующей за первой коляске между Нееловым и Савиным шел тоже оживленный приятельский разговор.

Вспоминали прошлое, друзей, товарищей, женщин...

– Кто это с тобой? – спросил Николай Герасимович.

– Ох, не говори... – сделал гримасу Владимир Игнатьевич. – Попутал меня черт... Увлёкся, похитил ее из родительского дома... Привез из Петербурга в имение, а затем сюда, живу в гостинице, жду, что родители вступят в переговоры, а между тем не рассчитал, что страсть моя к ней прошла, а она влюблена, как кошка, и страшно этим наскучила...

– Да, попался в переплет...

– Мне необходимо быть вне дома, а она одна... Понимаю сам, что ей скучно... Но что же

я поделаю... С глазу на глаз с ней мне еще скучнее.

– Отлично, Мадлен тоже скучно, когда я уезжаю, она возьмет ее под свое покровительство.

Эта мысль улыбнулась Неелову.

– Вот это прекрасно! – заметил он.

Таким образом мужчины решили отдельно то, что было решено в первой коляске дамами.

## XXIX

### С берегов Сены

**Н**иколай Герасимович Савин и Мадлен де Межен занимали великолепное отделение в гостинице «Англия» на Петровке.

В Москву они прибыли из Петербурга всего месяца с два.

Оправданный калужским окружным судом по обвинению в поджоге, освободившись таким образом от гнета тяготевших на нем в России обвинений, из-за которых он претерпел столько мытарств этапа и тюремного заключения, Савин полетел, как вырвавшийся

школьник, на берега Невы, где ожидала его любимая и любящая женщина, покинувшая для него родину, родных и друзей, оставшихся в ее милой Франции.

Вернувшись в Париж, верная своему слову, она, покончив в нем свои дела, уехала к своей кузине и там, в глуши французской провинции, стала жить ожиданием весточек от ее «несчастливого друга», как называла Мадлен де Межен Савина.

Весточки приходили, но короткие и печальные.

Краткость объяснялась необходимостью отдавать написанные письма на просмотр тюремного начальства, что заставляло Николая Герасимовича быть сдержанным в проявлении своих чувств, обреченных, как ему казалось, на профанацию посторонних, чуждых и неумеющих понять их людей.

Печальны они были потому, что настроение духа Савина в русских тюрьмах, не исключая и образцового дома предварительного заключения, за последнее время было мрачно и озлобленно.

Письма, таким образом, не удовлетворяли

молодой женщины, думавшей, что при переписке она сохранит душевную близость с любимым человеком.

Этой близости, увы, она не чувствовала.

Гнетущая тоска все сильнее и сильнее стала сжимать ее сердце.

Наконец она не выдержала и снова уехала в Париж, не сказав ни слова своей кузине о цели своей поездки.

Цель эта между тем была во что бы то ни стало пробраться в Россию и хотя присутствием с «несчастливым другом» в одном городе ободрить и утешить его, доказав ему, что обещания следовать за ним даже в «холодную Сибирь» – не были с ее стороны пустыми словами.

Обладая небольшим, но приятным сопрано, Мадлен де Межен зачастую между своими певала модные шансонетки и знала таким образом все новинки Парижа в этом роде.

На своем, хотя и коротком веку, она перевидала множество представительниц шансонетного жанра парижских бульварных сцен и усвоила без труда их шик и методу.

С таким аристократическим запасом она

легко могла появиться перед русской публикой в качестве «звезды», тем более, что условия ее были много скромнее настоящих «парижских звезд».

Очень скоро через одного из театральных агентов она добыла сверх ожидания даже очень выгодный ангажемент в Петербург.

Агент расписал ее антрепренеру самыми яркими красками и сам хлопотал, чтобы не продешевить свежееиспеченную «звезду», так как его вознаграждение составлял процент с ее гонорара.

Она получила солидный аванс и уехала с берегов Сены на берега Невы.

При самом выезде из Парижа она написала письмо Савину, но при формальности передачи писем арестантам он получил его тогда, когда она уже второй день жила в шикарном номере «Европейской гостиницы» в Петербурге.

Она приехала как раз накануне дня, назначенного для судебного разбирательства дела Савина в Петербурге, и когда он вернулся в свою камеру, довольный своим оправданием, его там ожидала другая радость – письмо от

Мадлен де Межен.

Прочтя письмо, он понял, что Мадлен уже в Петербурге, и стал ожидать свидания.

Он был уверен, что Мадлен де Межен добьется этого свидания.

Действительно, не без труда и хлопот Мадлен де Межен добилась свидания с ее «несчастливым другом».

Чего не добьется любящая женщина?

Свидание произошло в конторе дома предварительного заключения и, несмотря на присутствие помощника смотрителя, деликатно, впрочем, отошедшего в противоположный конец комнаты и остановившегося у окна, Мадлен и Савин бросились друг к другу в объятия.

В разрешенные им полчаса они переговорили о многом.

Молодая женщина рассказала, как она сделалась артисткой с единственной целью попасть в Петербург.

— И подумай, я произвожу фурор... Меня буквально засыпают цветами и подарками, — не могла не похвалиться своим успехом Мадлен де Межен.

Николай Герасимович поморщился, но не сказал ничего.

– Мне уже косвенно, конечно, делали самые выгодные предложения... Здесь, говорят, у вас совсем нет женщин... – продолжала она вполголоса свою болтовню.

Разговор, конечно, шел по-французски.

– Что ты за вздор болтаешь?.. Как нет женщин?..

– Ну, то есть изящных женщин... Ваши мужчины имеют вид голодных собак при виде каждого смазливового личика.

Николай Герасимович не выдержал.

– Перестань болтать пустяки... Поговорим лучше о деле.

Он сообщил ей о положении своих денежных дел, о надежде на вторичное оправдание в Калуге и некоторых планах будущего.

– Тебе, конечно, придется бросить свою сценическую деятельность, – сказал он, подчеркнув последнее слово.

– Почему?

– А потому, что я ненавижу сцену, – резко отвечал он. Перед ним промелькнуло его тяжелое прошлое.

Он вспомнил Маргариту Гранпа, которую погубила и отняла та же сцена. Припомнился ему неожиданный его арест в Большом театре и поездка в Пинегу, откуда он вернулся, чтобы узнать, что девушка, которую он одну в своей жизни любил свято и искренно, начала свое губительное падение по наклонной плоскости сценических подмостков.

Он в этот момент, на самом деле, искренно ненавидел театр, хотя эта ненависть в первый раз в такой резкой форме зажглась в его сердце.

Теперь снова женщина, которую он любит, вступила на еще более скользкие подмостки кафешантана, и хотя разум говорит ему, что это она сделала исключительно из любви к нему, но все же, кто знает, что тот фурор, который она произвела среди мужчин, глядящих на нее, по ее собственному выражению, как голодные собаки, и о котором она говорит с нескрываемым восторгом, не вскружит ей голову и она не пойдет по стопам той же Гранпа, а, быть может, падет еще ниже.

Это вторичное вмешательство сцены в его жизнь озлобило его против театра, и он это

озлобление перенес на Мадлен-артистку.

Он замолчал после резкого возгласа:

– А потому, что я ненавижу сцену!..

Молодая женщина смотрела на него с нескрываемым недоумением.

Ей не был известен первый роман его юности, а потому она приписала его раздражение исключительно чувству ревности, что приятно польстило ее самолюбию.

Она внутренне была рада, что любовь его в разлуке не уменьшилась, за что она опасалась, судя по коротким и холодным последним письмам.

К чести Мадлен де Межен надо сказать, что она совершенно искренне сообщала своему «другу» о своих успехах, без предвзятой мысли возбудить его ревность, но далеко, повторяем, не была недовольна этим результатом.

– Я приглашена на сорок представлений... директор уже говорил о продлении контракта, но если ты не хочешь...

– Да, уж пожалуйста... Побаловалась и будет... – голосом, в котором все еще слышалось раздражение, прервал ее Савин.

– Я сделаю так, как ты хочешь...

– Меня скоро отправят в Калугу... – продолжал он, – а после оправдания я сейчас же вернусь в Петербург и к этому времени ты должна быть свободна... Понятно, если ты этого хочешь...

Последние слова он произнес с нескрываемой иронией и несколько деланно равнодушно.

– Nicola... – с упреком произнесла Мадлен де Межен.

– Ну, прости, прости меня, я раздражен, тюрьма не улучшает характера.

Они перешли к более миролюбивым темам.

Определенные полчаса миновали.

Они расстались.

Николай Герасимович вернулся к себе в камеру.

Станный осадок в его сердце оставило это первое свидание на родине с любимой женщиной.

До отправки в Калугу он еще несколько раз виделся с Мадлен де Межен и его поразило то, что она ни словом не обмолвилась о

сценической деятельности.

Молодая женщина поняла, что эта деятельность ему неприятна, и молчала, хотя это ей стоило больших усилий, так как уже на второе свидание она принесла ему в кармане вырезки из петербургских газет, на страницах которых появились дифирамбы ее таланту и красоте.

Она поняла, с присущим ей тактом, что этим вырезкам суждено так и остаться в ее кармане.

После оправдательного приговора калужского окружного суда Николай Герасимович возвратился в Петербург и, устроив свои денежные дела, вскоре уехал с Мадлен де Межен, несмотря на горячие мольбы антрепренера, не пожелавшей возобновить контракта, в Москву.

Первые дни свободы около прелестной женщины, конечно, были для Николая Герасимовича в полном смысле медовыми, но затем в этот мед снова попала ложка дегтя в форме мучивших самолюбивого до последних пределов Савина воспоминаний об артистической деятельности Мадлен де Межен в Пе-

тербурге.

Появилась чуть заметная натянутость отношений, не оставшаяся, повторяем, тайной для чуткого сердца женщины.

В Москве они вели веселую жизнь. Николай Герасимович счастливо играл, что вместе с полученным им остатком его состояния позволяло ему не отказывать ни в чем ни себе, ни Мадлен де Межен.

Счастье в игре, по-видимому, его, однако, не радовало.

«Счастлив в картах, несчастлив в любви, – часто появлялось в его мыслях. – Несомненно, в Петербурге она не была безгрешна», – вдруг умозаключил он, стараясь, как всегда это бывает, сам найти доказательство того, чему хотел бы не верить, даже в предрассудках.

Другого доказательства у него не было, да и быть не могло.

Так жили они в Москве до встречи в Петровском парке с Нееловым и Селезневой.

После катанья они весело поужинали в ресторане «Мавритания» и Мадлен де Межен увезла Любовь Аркадьевну к себе ночевать.

С того вечера молодые женщины стали

неразлучны.

## XXX

### Сообщники

Кирхоф продолжал одолевать графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого все более и более возрастающими требованиями.

Тот бился, как рыба об лед, и положительно терял голову.

Вскоре после бала у Алфимова граф снова получил лаконичную записку своего бывшего сообщника:

*«Приезжай и привези денег. К.».*

Раб своего прошлого, граф Стоцкий на другой же день утром отправился к Кирхофу.

– Привез денег? – встретил его последний вопросом, произнесенным повелительным тоном.

– Нет, привезу завтра вечером две тысячи.

– Этого мало, привезешь и две с половиною.

Граф Сигизмунд Владиславович бешено зашагал взад и вперед по комнате.

– Так продолжать нельзя, ты становишься ненасытен!

– А ты будешь, разумеется, неистощим, дружище! Это в твоих интересах. Видишь ли: всякому свой черед. Прежде я таскал для тебя каштаны из жара, а теперь ты потаскай за меня.

Граф Стоцкий сделал отчаянный жест.

– Не бесись, сердечный... У тебя там нож под сюртуком, зарезать хочешь? Смотри, не просчитайся! Все наши с тобой дела, как я уже говорил тебе, в руках третьего человека, и тронь ты один волос у меня на голове, он пустит их в ход! Одним словом, клянусь тебе честью каторжника – и жить, и погибать мы будем вместе.

– О, уезжай, уезжай отсюда, куда бы то ни было, и я заплачу тебе все, что ты хочешь! – скрежетал граф Сигизмунд Владиславович.

– Ведь я уже сказал тебе, что во второй раз дурака не сломаю! – спокойно отвечал Кирхов, сидя развалившись в кресле у письменного стола. – Мне хорошо и здесь, а твои заботы я ценю выше миллиона, и ты мне его делаешь. Так успокойся же, дружок, ступай и

создавай деньги, а то я дольше завтрашнего вечера ждать не могу.

Граф Стоцкий вышел и так хлопнул дверью, что в квартире задрожали окна.

Вечером за ужином у Матильды Руга никто не мог и подозревать, что этот веселый человек в душе несчастнее каторжника.

Граф Сигизмунд Владиславович по приглашению певицы уехал последний.

Когда гости разъехались, она строго обратилась к нему.

– Почему вы не были у меня сегодня утром?

– Меня задержал Кирхоф!

– О, ненавистный человек! Хотите, я достану вам яду.

– Нет, я дорожу его жизнью, как своей собственной.

– Все это прекрасно, но он забирает у нас чуть не половину добычи.

– Увы!

– Значит, необходимо ускорить дело с графом Петром, а для этого нужно прежде всего отдалить его от жены. После этой несчастной истории с медальоном он чувствует себя ви-

новатым и, кажется, еще более привязался к ней.

– Да, и мне трудно стало настраивать его против нее. Он запрещает мне говорить о ней.

– Вы видите, что это серьезно.

– Вижу! Но что же делать?

– Я уже кое-что придумала... Капитолина Андреевна Усова будет праздновать рождение своей шестнадцатилетней дочери Веры и на этом балу первый раз покажет ее публично. Девочка в полном смысле красавица... Вы знаете, кому она предназначена?

Граф Стоцкий утвердительно кивнул головой.

– Надо раздражить тщеславие графа Вельского.

– Нет, из этого едва ли что-нибудь выйдет! – возразил граф Сигизмунд Владиславович. – Надо устроить, чтобы граф и графиня возненавидели друг друга... Ольга Ивановна составит для графини достаточную причину.

– Ах, да, расскажите, как вы туда ездили и знает ли она, кто...

– Она поселилась у своих дяди и тетки. Ме-

ня встретил ее дядя, и так грозно, что я почти струсил... Затем вышла она сама. Когда она меня увидела, только побледнела, как мертвец. Я поскорее достал письмо графа и подал ей. Она не берет. «Нет, – говорит, – у нас с графом нет и не может быть ничего общего». Тут дядя ее взбесился окончательно. Схватив письмо, распечатал и прочел его, да еще вслух. Пока он возился с конвертом, я думал, что тут, черт знает, что выйдет, но оказалось, что граф Петр очень вежливо уговаривает ее вернуться, а затем рассыпается в любезностях по адресу своей супруги. Дяденька даже опешил, а Ольга Ивановна дослушала до конца, тихо вскрикнула и упала в обморок. «Ничего не понимаю», – проворчал дядя и унес девушку из комнаты, как ребенка. Затем вскоре вернулся ко мне и объявил: «Ответа на письмо не будет. Моя племянница останется здесь. А будь то, что я подозреваю, правда – вашему графу пришлось бы поплатиться головой. Честь имею кланяться!» Мне оставалось только поскорее унести ноги.

– Да, но хорошо и то, что вы узнали, что она не знает, кто был героем ее романа... – за-

метила между тем Матильда Францовна.

– Мне же думается, что мое посещение Костина принесло нам и другие выгоды.

Певица посмотрела на него вопросительно.

– Мы знаем теперь, – продолжал граф, – что ее дядя, а тем более отец, когда они узнают все, способны мстить за дочь, ни перед чем не задумавшись, и запугав ими старика Алфимова, мы можем брать с него все, что вздумаем. С другой стороны, Ольга Ивановна не могла скрыть от родных своей любви к графу Петру Васильевичу. После обморока у ней открылась нервная горячка и она все бредит Вельским. Если ее приключение станет известным графине, конечно, в том смысле, что его герой – ее муж, она возненавидит и прогонит его, а он с горя и злобы очутится в наших руках бесповоротно. А чтобы спасти его от мести отца и дяди, мы его увезем в Париж. Насколько это удастся, мы узнаем скоро.

– Вы умный и предусмотрительный человек... – заметила Руга. – Кстати, Корнилий Потапович был сегодня у меня, и я уже его напугала, если не дядей, которого не знала, то от-

цом... Он пришел в восторг от младшей дочери Усовой, но я его огорчила тем, что сказала, что за ней ухаживает граф Петр Васильевич.

– И что же он?

– Он с сердцем воскликнул: «Эх, вечно этот человек у меня на дороге!.. Нельзя ли его и на этот раз устранить?»

– Разлакомился, старый черт!.. – заметил граф Стоцкий. – Что же дальше?

– Дальше начал справляться об Ольге Ивановне, но за вестями о ней я его направила к вам. Он, верно, будет у вас завтра.

– И прекрасно, я с ним поговорю.

Граф Сигизмунд Владиславович простился со своей сообщницей и уехал.

Матильда Францовна не ошиблась.

Еще не было двенадцати часов, как Корнилий Потапович явился к графу Стоцкому.

Первый вопрос его был об Ольге Ивановне.

– Говоря откровенно, – сделал граф серьезное лицо, – она серьезно меня тревожит... Она у своего дяди, во всем призналась ему и тетке, те написали ее родителям... Покуда он и она думают, что это был граф Петр, но...

– Ну и прекрасно! И прекрасно! Пусть их

думают, что это был граф Петр. Он человек молодой и легче с ними справится.

– Но граф мой лучший друг, – с жаром сказал граф Сигизмунд Владиславович, – и я из дружбы к нему обязан...

– Ну, так что же? Ведь и вы мне друг. А я... готов на всякие жертвы...

– Да ведь это известно не одному мне, это знает Матильда Францовна и ее подруга... Они могут обратиться к графу Петру и он, чтобы оправдаться, способен будет...

– Ну, да это ничего, ничего... Им денег дать нужно... Я дам столько, сколько у Вельского нет... А на вас я рассчитываю.

– Право, не знаю... Это очень неприятное и щекотливое дело... – с расстановкою нерешительным тоном сказал граф Стоцкий.

– Перестаньте, граф! Ведь вы знаете, я очень богат и уже стар... Сын мой имеет отдельное состояние, дочь тоже... Хранить для них мои деньги я не намерен... Так вот что, моя касса всегда к вашим услугам... Я куплю молчание Матильды и ее подруги... и проживем по-прежнему... По рукам?..

– Хорошо, так и быть, по рукам... Я считаю

вас таким же моим другом, как и графа Петра... Я не знаю, что делать между двух друзей.

– Молчать.

– Хорошо...

– Благодарю вас.

Алфимов с чувством пожал руку графу Стоцкому.

– Вы куда? – спросил он, увидев, что граф взял перчатки.

– К графу Петру...

– Так поедемте вместе... Мне надо узнать, будет ли он на вечере у Усовой.

Графиня Надежда Корнильевна сидела у себя в будуаре среди целой груды полотна, батиста и кружев и с нежными мечтами женщины, впервые готовящейся быть матерью, рассматривала крошечные рубашечки, чепчики и остальные принадлежности для новорожденного.

Вошел граф Петр Васильевич и, нежно поцеловав у жены руку, опустился рядом с ней на диван.

– О, как я счастлив, Надя! – воскликнул он, смотря на нее восторженным взглядом. – Я не могу на тебя насмотреться и нарадоваться то-

му, что ты стала такая спокойная, светлая, даже на щеках появился румянец.

– Я очень рада, что ты доволен.

– Да, ты спокойна! Но счастлива ли ты, Надя? Простила ли ты мне все горе, которое я тебе причинил? Любишь ли ты меня хоть чуть-чуть?..

– Ты видишь все мои поступки, знаешь все мои мысли, тайн от тебя у меня нет. Суди сам.

– Ах, что за дурак я был! – вскричал граф, снова целуя руку у жены. – Убивать время в кутежах вместо того, чтобы наслаждаться чистым, прочным счастьем.

– Сам Бог внушает тебе такие мысли, милый!

– А какой у тебя здесь беспорядок... – рассмеялся граф Петр Васильевич, оглядывая комнату, но, мгновенно поняв в чем было дело, еще раз с глубокой нежностью поцеловал руку Надежды Корнильевны.

– О, Надя, если бы ты знала, как я безгранично счастлив...

– Я искренно радуюсь этому... А что, ты ничего не знаешь об Оле? – спросила графиня.

– Нет! С минуты на минуту ожидаю Сигиз-

мунда... Я поручил ему разузнать, где она и что с ней.

Надежда Корнильевна поморщилась, однако промолчала.

– Чрезвычайно странно, что она так уехала! И еще эта записка, которую она оставила... Я думала, что ты один можешь объяснить это... Скажи мне правду, Петя?

– Клянусь тебе, я сам ничего не понимаю! С Ольгой Ивановной я вел себя, как брат. Бывали случаи, что я бесился на тебя за твою холодность и старался заставить тебя ревновать, но с тех пор, как понял, что ты слишком чиста и высока для ревности, я веду себя так же честно.

– И слава Богу!..

– Граф Стоцкий желает видеть его сиятельство! – доложила Наташа.

– Вот сейчас и узнаю об Ольге Ивановне, – сказал граф Вельский, целуя руку у жены и уходя.

Графиня проводила мужа долгим взглядом.

Она верила ему. Граф принадлежал к числу людей испорченных и бесхарактерных, но

он не был лгуном.

Это было, быть может, одно из его достоинств, но для его жены оно было хуже всех его пороков.

Он был откровенен с Надеждой Корнильевной, откровенен до мелочей, и эта-то откровенность заставила страдать и самолюбие, и нравственное чувство этой чистой женщины.

В данном случае, впрочем, эта черта характера ее мужа успокаивала ее.

Со дня завтрака у ее отца у нее не выходило из головы письмо, адресованное ей Ольгой Ивановной.

По письму выходило, что ее подруга считает себя преступницей, а потому не может видеть ни ее, Надежду Корнильевну, ни ее мужа, значит...

Графиня даже мысленно не хотела делать вывода.

«Ужели... в доме ее отца... с ее единственной подругой? Нет, не может быть!»

Надежда Корнильевна гнала от себя эту мысль, а она упорно все лезла ей в голову.

«Граф бы сказал ей, – думала она теперь

после разговора с мужем, – или бы смутился после поставленного ею прямо вопроса: „Скажешь мне правду?“»

Не случилось ни того, ни другого, хотя он и дал некоторое объяснение, за которое схватилась графиня Надежда Корнильевна.

Ухаживание графа, ухаживание для возбуждения ревности к жене, вскружило голову Ольге Ивановне, она влюбилась в ее мужа и, считая это чувство преступлением, бежала и скрылась... Это было логично, особенно для такой идеалистки, какою была графиня Вельская.

«Но зачем муж вмешал в это дело графа Стоцкого? – снова при воспоминании о Сигизмунде Владиславовиче поморщилась Надежда Корнильевна. – Мог бы сам разузнать».

Она бы поехала сама, но ей не позволяли продолжительных прогулок и, главное, волнения.

«А где ее искать?.. Впрочем, увидим, что скажет граф».

На этом Надежда Корнильевна успокоилась.

# Часть третья Всякому свое

## I

### На продажу

**Б**ольшой вечер у полковницы Капитолины Андреевны Усовой по случаю шестнадцатилетия ее младшей дочери Веры состоялся лишь через месяц после назначенного дня, ввиду постигшей новорожденную легкой болезни, и отличался обычным утонченным угождением самым низким страстям развратных богачей.

Откровенные разговоры и не менее откровенные костюмы присутствовавших дам и девиц, запах бьющих в нос сильных духов, соблазнительные жесты и позы, все наполняло залы Усовой той наркотической атмосферой, которая возбуждает разбитые нервы и пробуждает угасающие силы.

Молоденькая красавица Вера Семеновна, решительно не понимавшая ужасной доли, которую предназначила ей ее заботливая ро-

дительница, была царицей этого вечера.

И молодежь, и старики наперерыв старались привлечь на себя ее внимание или таинственно отводили в сторону полковницу и она, не стесняясь, вступала с ними в постыднейшие торговые переговоры, прикрывая их заботами о счастье дочери.

Сама Вера Семеновна была буквально перепугана всем, что происходило вокруг нее, и часто с мольбой поднимала глаза на мать, но та отвечала ей только циничными, насмешливыми улыбками.

Вначале концерта, отличавшегося самыми свободными текстами песен и романсов, в зале появились, совершенно неожиданно для графа Стоцкого, уже предвкушавшего увлечение графа Петра Васильевича Вельского молоденькой Усовой, Григорий Александрович Кирхоф и Николай Герасимович Савин.

Граф Сигизмунд Владиславович не знал Савина в лицо, но слышал, что он приехал в Петербург и возобновил знакомство с Кирхофом, а потому каким-то чутьем угадал, что это был он.

Граф смутился... Сердце его усиленно заби-

лось, что случилось с ним очень редко, он знал, что Николай Герасимович был дружен с настоящим графом Сигизмундом Владиславовичем Стоцким, и теперь ему придется под этим же именем знакомиться с ним.

Он сумел, однако, побороть свое волнение и несколько прийти в себя, когда увидал, что оба вошедшие в залу посетителя направляют-ся прямо к нему.

«Зачем Василий привел его сюда? – нес-лось в голове графа Стойцкого. – Что это, раз-вязка, или же начало игры втроем?»

– Позволь, граф, тебя познакомить, – пре-рвал его размышления голос подошедшего Кирхофа, – мой давнишний приятель Нико-лай Герасимович Савин, много за свой крутой нрав претерпевший на своем веку...

Григорий Александрович подчеркнул осо-бенно эпитет «крутой».

– Граф Сигизмунд Владиславович Стоц-кий, – представил он графа Савину.

– Граф Сигизмунд Владиславович Стоц-кий... – медленно, с расстановкой повторил Николай Герасимович, пристально глядя на своего нового знакомого.

Тот не вынес этого взгляда и побледнел. «Что это, конец или начало? – снова промелькнуло в его голове. – И что из двух лучше?»

– Очень приятно!.. – любезно тотчас сказал Савин и крепко, с чувством пожал руку Сигизмунду Владиславовичу.

«Начало!» – мысленно решил последний. Завязался общий светский разговор.

– Однако я тебя не представил хозяйке и ее двум дочерям, младшая из которых виновница настоящего торжества. Это новый распустившийся цветок в оранжерее полковницы... – спохватился Григорий Александрович и отвел Савина от графа Стоцкого с целью разыскать хозяйек и ее дочерей.

– Ну, что? – шепотом спросил он Николая Герасимовича, когда они шли по залу по направлению к гостиной.

– Конечно, не он...

– Но это пока между нами.

– Понятно.

Капитолина Андреевна приняла Савина холодно-любезно. Она знала, что дела его не из блестящих, а к таким людям полковница

не чувствовала симпатии. Красота Савина, между прочим, заставляла ее опасаться за младшую дочь; чутьем матери она провидела, что Николай Герасимович именно такой человек, которым может увлечься очень молоденькая девушка, а это увлечение может, в свою очередь, расстроить все ее финансовые соображения, которые по мере возрастающего успеха ее дочери среди мужчин достигали все более и более круглых и заманчивых цифр.

Екатерина Семеновна при его представлении глядела на Савина почти плотоядно.

Вера Семеновна вся зарделась.

Николай Герасимович внимательно взглянул на нее, и его поразила и красота ее, и выражение тоски и ужаса в ее прекрасных глазах.

«Такой цветок и между таким чертополохом!» – подумал он.

С чувством поздравив молодую девушку, он заговорил с ней так задушевно, что она взглянула на него с доверием и благодарностью.

Окружавшие Веру Семеновну мужчины

были, видимо, раздражены ее боязливостью и холодностью.

В особенности горячился Корнилий Потапович и, воображая, что обязан этим графу Петру Васильевичу Вельскому, сказал ему несколько колкостей.

С досады на него последний решил, что добьется благосклонности Веры Семеновны, но вскоре заметил, что, хотя и впервые в жизни, но потерпит поражение и он.

Из залы слышались звуки Штраусовского вальса.

Молодая девушка решила не танцевать, но мужчины налетели на нее с приглашениями наперебой, как коршуны на голубку.

Вера Семеновна испугалась еще больше и, как бы ища защиты, бросилась к старшей сестре, но та встретила ее насмешками.

– Да что вы на нее смотрите, Корнилий Потапович, – сказала она Алфимову. – Возьмите эту недотрогу, отведите ее в зал насильно и заставьте танцевать с собой...

Ослепленный страстью, старый банкир даже не понял насмешки, заключавшейся в этом предложении ему танцевать с моло-

денькой девушкой.

Вера Семеновна готова была разрыдаться.

Наблюдавший за ней издали Савин вдруг подошел к ней и низко поклонился.

Она радостно подала ему руку и пошла с ним в залу.

– Я не хочу принуждать вас танцевать против воли, мне хотелось только избавить вас от этих нахалов.

– О, да, да, спасите меня!

– Клянусь вам, что сделаю все! Но лучше бы все-таки, если бы ваша матушка...

– Ах, мама такая странная! Она сама смеется надо мною. Да нет! Я больше здесь не останусь! Я сейчас скажу ей, – прибавила она, увидя мать у буфета и, оставя руку Николая Герасимовича, подошла к ней.

Произошла гнусная, безобразная сцена.

Мать, то ласково соблазняя, то сердясь и угрожая, объясняла дочери ту роль, которую предстояло ей играть в обществе, и резко приказывала ей быть любезною с богатыми кавалерами и не шептаться с прогоревшим баринном и вдобавок с авантюристом.

Савину, стоявшему невдалеке, стало про-

ТИВНО.

Он решил уехать, но в это время к нему снова подошла Вера Семеновна.

– Я совсем не понимаю, чего хочет от меня мама... – наивно, жалобным тоном сказала она.

– И дай Бог вам никогда этого не понять... – серьезно сказал Николай Герасимович.

Молодая девушка окинула его недоумевающе-вопросительным взглядом.

– Мне, к сожалению, надо проститься....

– Вы уже уезжаете! – вскричала она тоскливо. – О, вы себе представить не можете!.. Значит, никого не останется...

Савин был тронут.

– Я останусь, чтобы сегодня охранять вас.

– Только сегодня? – наивно сказала молодая девушка.

– Кто знает будущее?.. – загадочно сказал Савин.

Он действительно не отходил от нее целый вечер, пока выведенная из терпения Капитолина Андреевна не позволила дочери идти спать, видя, что самые богатые из гостей уже задумали играть в карты и ворчали на

графа Стоцкого, который отговаривался нежеланием.

В конце концов он согласился.

Николай Герасимович, простившись с удалившейся в свою комнату и искренно рассыпавшейся перед ним в благодарностях Верой Семеновной, тоже присоединился к игрокам.

Граф Сигизмунд Владиславович метал банк. Он недаром отказывался играть.

Он боялся именно участия Савина.

И действительно, под пристальным взором Николая Герасимовича он терял свое обычное хладнокровие, руки его дрожали и волей-неволей он должен был представить игру, действительно, счастью, оставив на следующие разы искусство.

Как всегда бывает с играющими нечисто — счастье им не улыбается в картах.

Граф Стоцкий проигрывал.

Не выиграл, впрочем, и Николай Герасимович, одна за другой карты его были биты, но к его благополучию, он, не расположенный в этот вечер к серьезной игре, ставил на них незначительные куши.

Граф Петр Васильевич Вельский, напро-

тив, был в ударе, делал крупные ставки и выигрывал карту за картой, наконец сорвал банк.

– Будет!.. – прохрипел граф Сигизмунд Владиславович, подвигая кучу кредитных билетов и золото графу Вельскому. – Больше я не могу, сегодня мне не везет фатально.

– А мне вдруг повезло – это редкость! – воскликнул граф Петр Васильевич.

– Значит, не везет в другом... – заметил граф Стоцкий.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ты проиграл сегодня у Веры Семеновны...

– Ну, это еще посмотрим... Я надеюсь, и тут крикну «ва-банк».

– И карта твоя будет бита.

Николай Герасимович, беседуя в это время с Кирхофом, правым ухом слышал этот разговор.

«„Несчастлив в картах – счастлив в любви“, – припомнилась ему поговорка. – Ужели этот ребенок?..»

Перед духовным взором Савина восстала обаятельная фигурка молодой дочери Усовой.

Какая-то давно уже им не испытываемая

теплота наполнила его сердце – ему показалось, что именно это чувство он испытывал только тогда, когда проводил незабвенные, быстро промчавшиеся минуты около его несравненной Марго.

«Ужели я влюблен?» – мысленно воскликнул Николай Герасимович и внутренне рассмеялся над самим собой.

Желающих метать банк не нашлось.

Игра прекратилась.

Гости стали расходиться по домам.

Только некоторые сдались на усиленные просьбы Капитолины Андреевны и остались ужинать.

Одни из первых простились с хозяйкой Николай Герасимович Савин и Григорий Александрович Кирхоф.

Полковница их особенно не удерживала.

Была великолепная звездная ночь.

Приказав экипажу следовать за ними, Савин и Кирхоф пошли пешком.

– И вы говорите, что этот человек держит все нити в своих руках?.. – спросил Николай Герасимович своего спутника.

– Это так же верно, как то, что мы идем ря-

дом с вами...

– Это очень хорошо, мне бы хотелось вывести на чистоту всю эту историю... Вы, значит, как и я, уверены, что Сиротинин невинен?

– Я это знаю давно.

– Это ужасно... Только я, испытав на своем веку весь ужас тюремного заключения, могу безошибочно судить, что это такое... У меня была еще надежда на оправдание, а тут...

– Тут нет никакой надежды... Все улики против него...

– Надо спасти его...

– Наш «граф», кажется, не очень хорошо чувствует себя в вашем присутствии.

– Вы заметили?

– Еще бы... А потому...

– Вы думаете, что моя просьба на него подействует?

– Она будет для него приказанием, как и моя.

– Как и ваша?

– Я его держу в руках тем же, да кроме того, у меня есть с ним старые счеты... Вы мне в них не помешаете, а потому-то я так охотно повез вас сейчас же к нашей «дорогой полков-

нице».

– Я вам очень благодарен, мне так хотелось бы оказать услугу Елизавете Петровне Дубянской.

– Ах, это компаньонке Селезневой, которая бежала с Нееловым?

– Она теперь госпожа Неелова.

– Он на ней женился? А здесь поговаривали, что он раздумал...

– Ему не позволили этого...

– В эту Дубянскую влюблен Иван Корнильевич Алфимов, а она друг детства Дмитрия Павловича Сиротинина, и как обыкновенно бывает, детская дружба перешла в более серьезное чувство... Быть может, ревность молодого Алфимова и была побудительной причиной: спасая себя, погубить кассира и соперника?..

– Какая подлость! – воскликнул Николай Герасимович.

– Бедный юноша не так виноват, он всецело в руках нашего пресловутого графа, и тот играет им как куклой... Если бы Корнилий Потапович вторично теперь сделал ревизию кассы, то он бы сам понял, кто был и первый

вор.

– Вы думаете?

– Я в этом убежден... Но ему не до того...

Старик совсем сошел с ума и только и бредит женщинами... Он ревнует к ним даже сына...

– Этот старый коршун... – с гадливостью сказал Савин.

– Да! Наш Сигизмунд помогает обоим и умеет устроить, чтобы старик и молодой не встречались на одной дорожке!..

– Ну, дела!.. – заметил Савин.

– Да, уж такие дела, что и не говорите. Чего стоит одна наша полковница... Видели?

– Видел... и на первых порах мне даже пришлось сыграть роль доброго гения этой чистой голубки, попавшей в стаю галок и коршунов...

– И конечно, голубка совсем очаровалась своим добрым гением?

– Она дитя...

– Детям-девочкам именно и нравятся такие...

– Какие?

– Как вы... Рыцари без страха и упрека.

Николай Герасимович вздохнул. Образ Ве-

ры Семеновны Усовой снова восстал перед ним, и снова он ощутил приятную теплоту в своем сердце.

Собеседники вышли на набережную Невы, сели в экипаж и поехали по домам, продолжая беседовать друг с другом.

## II

### В гостинице «Англия»

**В**ладимир Игнатьевич Неелов был очень доволен, свалив со своих плеч «обузу», как он называл Любовь Аркадьевну, и окунулся с головой в вихрь московских удовольствий.

Он стал даже, действительно, серьезно ухаживать за дочерью одного московского купца-толстосума, имевшего великолепные дачи в Сокольниках и любившего перекинуться в картишки.

Неелов пропадал у него на даче с утра до вечера, гоняясь за двумя зайцами, обыгрывая отца и расставляя тенета богатейшей московской невесте.

Мадлен де Межен все более и более привязывалась к молодой девушке и, повторяем,

почти была с нею неразлучна.

Часто она оставляла Любовь Аркадьевну ночевать у себя, и они по целым ночам говорили «по душе».

Николай Герасимович также с некоторого времени бывший не прочь пользоваться «холостой свободой», ничего не имел против этого, а, напротив, чрезвычайно любезно присоединял свои просьбы не оставлять Мадлен одну, когда он должен уезжать «по делам», к приглашениям своей подруги жизни.

Долинский оказался правым.

Савин совершенно легально проживал в Москве, и из адресного стола посыльным «Славянского Базара» была доставлена точная справка о его местожительстве.

На другой же день по получении этой справки Сергей Павлович поехал к Николаю Герасимовичу.

Он застал его за завтраком вместе с Мадлен де Межен и Любовью Аркадьевной, как раз в этот день ночевавшей в гостинице «Англия».

– Боже мой, какими судьбами! – воскликнул было Савин при входе, в номер Долинско-

го, но остановился, увидав Любовь Аркадьевну, которая, смертельно побледнев, встала со стула, но тотчас же снова не села, а скорее упала на него...

Из рассказов Мадлен де Межен он знал, что молодой адвокат близок с домом Селезневых, – любил молодую девушку и даже желание ее отца было, чтобы он сделался ее мужем.

Николай Герасимович догадался, что Сергей Павлович приехал в Москву по следам беглецов.

Этим объясняется и испуг молодой девушки, вскоре, впрочем, оправившейся и бросившейся к Долинскому.

– Вы из Петербурга, что папа и мама, что брат?..

– Папа и мама здоровы, а ваш брат со мной в Москве, с нами и Елизавета Петровна Дубянская.

– Где она? Где? – воскликнула радостно Любовь Аркадьевна.

Только теперь, когда положение ее выяснилось, она поняла и оценила свою бывшую компаньонку.

– Очень рад, очень рад вас видеть... Сперва надо хлеба и соли откусать, а потом успеете переговорить на свободе, мне надо уехать, а Мадлен... Но позвольте вас представить.

Савин представил Долинского Мадлен де Межен.

– Я очень рада, заочно я знаю вас давно и благословляю как спасителя Nicolas, – сказала француженка.

– Какое там спасение... – улыбнулся Сергей Павлович.

– Мадлен тоже пойдет переодеваться. У ней это продолжается несколько часов.

– Nicolas! – с упреком сказала молодая женщина.

– Уж верно, матушка, да я ведь к тому, что у Сергея Павловича будет время переговорить с Любовью Аркадьевной. А теперь милости просим.

Слуга по звонку Николая Герасимовича принес лишний прибор, и Долинский уселся за стол.

Разговор за завтраком, конечно, не касался цели его приезда в Москву, а вертелся на петербургских новостях.

По окончании завтрака Савин тотчас же уехал, а Мадлен де Межен удалилась в другую комнату.

Молодые люди остались с глазу на глаз.

Наступила довольно продолжительная пауза.

Вдруг Любовь Аркадьевна как-то вся вздрогнула и залилась слезами.

– Вы плачете... О чем? – встав со стула, сказал Сергей Павлович и подошел к молодой девушке.

Молодая девушка продолжала рыдать.

Он взял со стола недопитый ею стакан содовой воды и поднес ей.

– Выпейте и успокойтесь... Не терзайте меня.

Он смотрел на нее с выражением мольбы.

Она порывистыми глотками выпила воду и подняла на него свои чудные заплаканные глаза.

Он взял ее за руку и отвел к маленькому диванчику, на котором и усадил ее, а сам сел рядом.

– Нет, – начала она, – так нельзя, я думал, что найду вас счастливой и довольной, рука

об руку с любимым человеком.

Любовь Аркадьевна вздрогнула.

– А между тем, – продолжал он, – я нахожу вас среди чужих людей, грустной и, видимо, несчастной. Это выше моих сил, мне тяжело было бы видеть вас счастливою с другим, но несчастной видеть еще тяжелее... Я был когда-то вашим другом... Вы сами дали мне право считаться им. Теперь же я скажу вам, что я любил и люблю вас без конца.

Он вдруг порывисто схватил ее руку и поднес ее к своим губам. Молодая девушка с каким-то испугом отняла ее.

– Ах, оставьте, пощадите меня! – воскликнула она со слезами в голосе.

– Поймите же, Любовь Аркадьевна, что я готов отдать жизнь, чтобы заменить ваши слезы веселой улыбкой... Наконец, я помню, что вы когда-то относились ко мне сердечно... Почему же вы не хотите быть со мною откровенны?

– Нет! Нет! Это невозможно... О, если бы вы знали все!

– Ну, а если я... если я уже почти все знаю! – воскликнул Сергей Павлович.

Молодая девушка мертвенно побледнела и долго смотрела на него широко открытыми глазами, в которых мгновенно исчезли слезы горя и появилось мучительное выражение безысходного отчаяния.

– Вы знаете... Вы знаете... Все?

– То есть, как все... Я вижу состояние вашего духа, вижу вас одинокой и могу догадываться, – поправился Долинский, сам испугавшись впечатления своих первых слов.

– Догадываться? – печально повторила Любовь Аркадьевна. – Об этом даже нельзя догадываться... Действительность печальнее всех догадок...

– Боже мой... Так говорите же, умоляю вас, говорите!

– Хорошо, я расскажу вам все по порядку, – начала молодая девушка. – Вы знаете, что едва мне исполнилось шестнадцать лет, как меня начали вывозить в свет... Владимир Игнатьевич сейчас же стал за мной ухаживать и был просто трогателен своим вниманием и деликатностью... Наконец, не предупредив меня, он просил у папы моей руки. Папа отказал ему наотрез, но он все-таки продолжал

бывать у нас и ухаживать за мной. Вдруг один раз папа приходит ко мне и объявляет, что мама решила выдать меня за князя Геракова, вы помните такой тощий и длинный молодой человек, с совершенно лошадиной физиономией... К тому же он был так глуп, что двух слов с ним сказать было нельзя... Куда хуже Владимира Игнатьевича! Я его без отращения не могла видеть. Разумеется, я была в отчаянии, и бедный папа очень жалел меня. Но вы знаете маму, она такая гордая, а папа ее во всем слушается. Один раз я поехала одна кататься днем на Стрелку, мы жили тогда на Каменном острове.

Вдруг подъезжает Владимир Игнатьевич верхом... «Любовь Аркадьевна, – говорит он, – вы несчастливы!» Я не смогла отвечать и заплакала. «Вы его не любите?» Я все плачу. Тут он стал говорить мне что-то много-много хорошего, потом сказал: «Надейтесь на меня», – и ускакал. А этот князь Гераков приходился нам дальним родственником по маме и, приехав из провинции, жил у нас. Вдруг дня через два его приносят к нам раненого. Жалко мне его было и ухаживала я за ним усердно,

но в душе все-таки благодарила Владимира Игнатьевича, придравшегося за что-то к князю и вызвавшего его на дуэль; я верила, что он любит меня больше жизни, которой рисковал для меня. Когда князь Гераков выздоровел, то отказался от меня и уехал. После этого мама стала еще усерднее искать для меня жениха и решила выдать меня за старого графа Вельского. Этого я испугалась хуже князя Геракова... Но мы с Владимиром Игнатьевичем виделись потихоньку, и он сказал, что объявил графу, что если он не откажется от этого сватовства, то он убьет его. Граф отказался. Затем Владимир Игнатьевич стал уговаривать меня бежать с ним. Я сначала отказывалась, потом согласилась... О, Боже! Это было последствием минутной слабости к нему... Было уже поздно не соглашаться... Но я стану теперь упрекать себя всю жизнь...

Любовь Аркадьевна снова залилась слезами.

– Полноте, перестаньте, – как мог утешал ее Долинский, – у вас еще целая жизнь впереди, и вы можете еще быть так счастливы...

– Нет, – покачала головой молодая девушка.

ка, – мне осталось только умереть... Он меня не любит... Я в том убедилась... К родителям я не вернусь... Ему я не нужна... Он не знает, как от меня отделаться... Я сама вижу...

– Ну, так и слава Богу, что это так! – торжественно и серьезно сказал Сергей Павлович. – В дружбу мою вы до сих пор верили... Поверьте же и любви моей и согласитесь быть моей женой...

– Так значит, вы меня не презираете?

– Бог с вами, что вы говорите, Любовь Аркадьевна! Вы молоды и чисты, а потому доверчивы... Неелов был первый человек, который сумел заговорить с вами языком, понятным вашему сердцу, да еще и при таких обстоятельствах. Виноваты ли вы, что поверили ему?.. Ну, а теперь говорю с вами я и прежде всего объявляю, что если отец ваш и благословит наш брак, я заранее отказываюсь от его богатства... согласны вы?

Любовь Аркадьевна долго молчала.

На заплаканном красивом лице ее быстро сменялись разнообразные выражения. Видно было, что в душе ее происходит жестокая борьба.

– Нет! – проговорила она наконец. – Это великодушные!..

– Клянусь вам, что я люблю вас и знаю, что вы выше меня. Это жертва скорее с вашей стороны.

– Не вам жениться на обещанной...

– Перестаньте... Вы меня сделаете счастливым...

– Нет, я не стою вас...

– Но пошли бы вы за меня, если бы Неелова не было?

– Нет! Умереть я должна... Мстить ему я не хочу... Было время, я его любила... Вас же теперь я оценила еще более.

– И потому мне отказываете?.. – с горечью в голосе сказал Сергей Павлович.

– Да, потому... Ваше счастье мне дороже жизни...

– И вы не хотите мне дать его?

– Я не могу вам дать его... Я это чувствую... Вы любите меня, это несомненно... Но придет время, вы сами поймете, что мое прошлое могло бы отравить вашу жизнь до конца.

– Я позабуду его.

– Я не могу забыть его... Я могу быть же-

ной его или ничьей.

Долинский долго смотрел на нее с глубоким почтением и восторгом.

– Бедная моя, – проговорил наконец он почти с материнской нежностью. – Вы не любите его и все-таки решаетесь быть его женою? Так вы будете ею, только доверьтесь мне во всем...

– Я доверюсь вам во всем... – с искренним чувством сказала молодая девушка. – Вы спасете мою честь! – с благодарностью в голосе воскликнула Любовь Аркадьевна.

– Я и спасу ее, быть может, губя себя! – задумчиво сказал Долинский.

### III

## Следствие

Сцена в банкирской конторе, время, проведенное в сыскном отделении, арест и сопровождение в дом предварительного заключения – все это пронеслось для Дмитрия Павловича Сиротина как бы окутанное густым непроницаемым туманом.

Он очнулся и пришел несколько в себя только на другой день в своей камере.

Проснувшись, он огляделся вокруг себя недоумевающим взглядом.

Где он? Что это за странная комната с одной запертой дверью, со сделанным в ней круглым маленьким окошечком со стеклом, закрытым, видимо, с наружной стороны?

В то время, когда его внимание привлекло это крошечное окошечко, его ставенка внезапно отворилась и в нем появился человеческий глаз.

Кроме глаза ничего не было видно.

Но вот глаз скрылся, и ставенка снова захлопнулась.

Дмитрий Павлович вскочил.

– Где это я? – вслух с отчаянием в голосе воскликнул он.

Взгляд его упал на окно, помещенное как-то странно, выше, чем обыкновенные окна и защищенное железной решеткой, тень от которой вследствие, видимо, яркого солнечного дня рельефно отражалась на матовых стеклах.

Эта решетка ему сказала все.

Он понял и, как-то вдруг заметавшись, опустился, как стоял у постели, на пол и зарыдал.

– Я в тюрьме, в тюрьме... – сквозь рыдания шептал он. Слезы несколько облегчили его.

Его ум стал мало-помалу проясняться.

Он припомнил весь вчерашний день, и отчаяние сменилось страшным негодованием честного человека, клейменного незаслуженно позорным именем вора.

Он вскочил, как ужаленный, с пола и стал быстрыми шагами ходить по комнате.

«Что же это? Куда же девались эти сорок две тысячи, хранившиеся у него в кассе и так таинственно исчезнувшие? Проверку еже-

дневную производил или сам Корнилий Потапович, или Иван Корнильевич в его присутствии...» – медленно, с расстановкой рассуждал Сиротинин.

Ему, действительно, за последнее время часто давали ключ и он производил выдачи и оплаты векселей до приезда в контору молодого хозяина, но все эти выдачи аккуратно им записывались, и при дневной проверке оказывалось все в порядке, а между тем исчез целый капитал: сорок две тысячи...

«Кто же вор? Кто же этот таинственный похититель, без взлома, без подобранного ключа, видимо, систематически, постепенно выудивший из кассы десятки тысяч?» – восставал в уме Дмитрия Павловича вопрос.

Таким вором мог быть только один из троих: сам Корнилий Потапович, его сын или же он, Сиротинин.

Первые оба – не только владельцы конторы как отец и сын, но даже пайщики, так как Дмитрий Павлович знал, что Иван Корнильевич в деле отца имеет свой отдельный капитал, – они оба, значит, должны были воровать у самих себя. Сиротинин не знал отношений

между стариком Алфимовым и его сыном.

Обвинение против двух первых, таким образом, отпадало при первой же о нем мысли, да и самая мысль казалась дикой, невозможной.

Оставался один виновник – это он, Дмитрий Павлович Сиротинин.

А между тем он не виноват.

Это, впрочем, знает он один.

Другие этого знать не могут. Трое имели доступ в кассу, два владельца и он – кассир. Мало этого: и Корнилий Потапович, и Иван Корнильевич производили ежедневную проверку в его присутствии, под его наблюдением.

Даваемые ему иногда последним поручения, заставлявшие его покидать на несколько минут помещение кассы, не пришли ему в голову, как никогда не возбуждавшие никаких подозрений.

Значит, для всех других несомненным и единственным виновником был он.

Он – вор. Это вне сомнения. В этом будут убеждены все, не говоря уже о следователе и прокуроре.

«Мать!» – пронеслось в голове Дмитрия Павловича, и вдруг слезы ручьями снова потекли из его глаз.

Но это не были те еще недавние слезы отчаяния, это были слезы сожаления.

«Милая, бедная мама! Какой удар вынесла ты, прочтя письмо. Но ты, дорогая, ты одна, я глубоко уверен в этом, не согласишься, что твой сын бесчестный человек. Не поверила бы ты, если бы я сам даже признался в преступлении... Но тем более тяжело твоё несчастье. Видеть невинного сына, клейменного обществом страшным именем вора, тяжелее во сто крат, чем знать, что заблудшее дитя несет заслуженное наказание».

«Она! Елизавета Петровна!»

Мысли Сиротинина перенеслись на эту милую девушку. Только теперь почувствовал он сердцем, как дорога она ему. Только теперь понял он, что после матери он желал бы, чтобы только один человек не признал его виновным.

Этот человек был – Елизавета Петровна Дубянская.

Дмитрий Павлович не знал об отъезде

Елизаветы Петровны в Москву.

«Мама, конечно, напишет ей, – думал Сиротинин, – им вдвоем будет легче переносить тяжелое горе».

Вдруг он почувствовал, что холодный пот выступил на его лбу.

«А что, если она...»

Он не был в силах окончить своей мысли.

«Нет... Она слишком чиста, слишком проникательна, чтобы поверить... Она знает меня... За последнее время мы так сошлись... Я выложил ей всю свою душу... Она мне сказала, что читает в моем сердце, как в книге... Не могла же она не прочесть в нем, что я честный человек... Ведь это заглавие книги моего сердца...»

Он с нетерпением стал ожидать свидания с матерью и с ней.

Это свидание состоялось только после первого допроса у следователя.

Последний был умный, проникательный и добрый человек.

Несмотря на многолетнее служение слепой, нелюбезной и строгой Фемиде, в его сердце не были порваны человеческие стру-

ны. Ему не представлялся обвиняемый в форме отношения за известным номером в папке с синей оберткой, на которой напечатано слово «Дело». Он всегда видел в нем человека, старался заглянуть к нему в душу, расшевелить его совесть, нравственно на него воздействовать.

Для Дмитрия Павловича Сиротинина было большим счастьем, что его дело попало именно к такому следователю.

Счастье это заключалось не в том, чтобы судебный следователь мог помочь ему в его деле, разыскать виновника растраты и освободить невинно заключенного.

Мы знаем, что обстоятельства его дела сложились так, что из них не было выхода. Мы видели, что Сиротинин понимал это сам, понимал, конечно, и судебный следователь.

При первом же допросе на последнего произвело впечатление открытое, честное лицо обвиняемого, и поразили его чистый и прямой взгляд.

Выработавший из себя вследствие своей деятельности опытного физиономиста, следователь тотчас понял, что имеет дело не с пре-

ступником, а с несчастным.

После отрицательного ответа на первый вопрос о виновности, судебный следователь прямо обратился к Сиротинину с вопросом:

– Не подозреваете ли вы кого-нибудь?

– Нет! – также прямо и решительно отвечал Дмитрий Павлович.

Следователь начал расспрашивать его относительно порядка приема денег в конторе, ежедневной проверки кассы, присутствии при этом тех или других лиц.

Сиротинин подробно и ясно дал об этом обстоятельное показание.

– Во время поверки, когда она производилась в присутствии молодого Алфимова, не давал ли он вам каких-либо поручений, требовавших вашего ухода из кассы?

– Это случалось... Он иногда требовал ту или другую из конторских книг, которые хранились в другой комнате.

– Не думаете ли вы, что в это время... – начал было следователь.

– Нет, я этого не думаю!.. – с жестом негодования перебил его Дмитрий Павлович.

Следователь посмотрел на него широко

раскрытыми глазами.

– Но вы сами, надеюсь, понимаете, что если не будет сыскан виновник растраты той суммы, которая не могла быть прочтена, то этим виновником... окажетесь вы?..

– Я это знаю, – вздохнул Дмитрий Павлович.

– А между тем поведение с ключом вашего молодого хозяина мне кажется подозрительным... Ручаетесь ли вы, что в то время, когда он удалял вас из кассы, несколько пачек кредитных билетов не переходило в его карманы...

– Это немыслимо! – воскликнул Сиротинин. – Он пайщик конторы, и исчезнувшие деньги или то есть известная часть их, принадлежит и ему... Он был, кроме того, всегда ко мне так добр и любезен...

– Все это так... Я высказал лишь мои соображения, – заметил судебный следователь и этим окончил первый допрос обвиняемого в растрате кассира.

Когда солдаты увели арестанта, следователь довольно долго глядел на затворившуюся за ним дверь.

– Да! – воскликнул он вслух, – во всю мою долгую практику я первый раз вижу безусловно честного человека в арестантском халате, под тяжестью позорного обвинения... Я ему даже не могу помочь... Он сам не хочет помочь себе... Все улики против него, а участвовавшие за последнее время растраты кассирами не дают мне права даже на освобождение его от суда... Только чудо может спасти его... Будем же ждать этого чуда.

На другой же день после первого допроса обвиняемого судебный следователь вызвал к себе для допроса обоих Алфимовых, назначив, однако, им разные дни.

Первым по повестке вызывался Корнилий Потапович, а через день после него был назначен допрос Ивана Корнильевича.

Старик Алфимов вкратце рассказал историю обнаружения растраты, о его предложении Сиротину выдать ему обязательство на растраченную сумму, обеспечив его всем своим имуществом, и оставить занятия в конторе без суда, и отказ Дмитрия Павловича от этого.

– Я не ожидал от него такой наглости и за-

коснелости, – заключил он.

– А, быть может, это только доказывает, что он не виноват? – уронил следователь.

Корнилий Потапович посмотрел на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

– Если бы не полная очевидность его вины, господин следователь, я сам первый бы готов был стоять за него горой.

– Вследствие чего?

– А вследствие того, что до момента обнаружения растраты считал его честнейшим и аккуратнейшим из моих служащих. Он с такою точностью и идеальной честностью исполнял несколько моих провинциальных поручений, что я стал верить в него, как в самого себя.

– И эти поручения были связаны с находившимися у него на руках денежными суммами?

– Конечно.

– Суммы эти превышали сумму приписываемой ему растраты?

– В десять раз, если не более...

– Мог он воспользоваться при исполнении поручения хоть частью денег так, чтобы это

ускользнуло от вашего внимания при поверке?

– О, конечно, он мог войти в сделку и нажечь меня на большую сумму на законном основании... Я выбрал его для этих поручений как рекомендованного прекрасно его бывшим начальством, а по выполнении поручений при освободившемся месте кассира я поручил ему кассу и думал, что я могу теперь спать спокойно... Кто мог думать, что его добросовестность и аккуратность были лишь лицемерием...

Корнилий Потапович вздохнул.

– Вы поручали вашему сыну оставлять у Сиротинина ключ от кассы после дневной проверки? – спросил следователь.

– Нет... Это было опрометчивостью с его стороны, за которую он и поплатился имущественно...

– То есть как?

– Все недостающее он заплатит из своего капитала, вложенного в дело.

– Вы ему сказали об этом?

– Да.

– И что же он?

– Он тотчас же согласился и предложил сделать это даже сейчас.

– Кто теперь заведует кассой?

– Мой сын.

На этом допрос старика Алфимова был окончен.

Он не поколебал мнения судебного следователя в невинности Дмитрия Павловича Сиротинина, но уже окончательно убедил его в ней состоявшийся через день допрос Ивана Корнильевича.

Судебный следователь как-то невольно принял против него более строгий тон, и смутившийся при первом появлении в камере следователя молодой человек смутился и растерялся еще более.

– Во время проверки кассы лично вами без вашего отца не давали ли вы Сиротинину таких поручений, которые заставляли его удаляться из помещения кассы?

– Не помню...

– Припомните...

– Кажется, что нет.

– Вы говорите правду?

– Да... – через силу произнес с дрожью в го-

лосе Иван Корнильевич.

– Кто мог, кроме Сиротинина, совершить эту кражу?

– Не знаю...

Кроме этих односложных ответов: «да» и «нет», «не помню» и «не знаю», от молодого Алфимова добиться нельзя было ничего.

«Вот настоящий виновник! – решил следователь, отпустив этого свидетеля. – Но как обличить его? Вот вопрос!»

## IV

### Он сбежал!

**В** тот же вечер после свидания Сергея Павловича Долинского с Любовью Аркадьевной Селезневой, Елизавета Петровна Дубянская уже была в «Северной» гостинице, и молодая девушка встретила ее с искренней радостью.

Она застала там и Владимира Игнатьевича Неелова, который ранее уже от Любовью Аркадьевны узнал о прибытии в Москву петербургских гостей, и это известие нельзя сказать, чтобы его порадовало.

Он встретил Дубянскую смущенный, с хо-

лодною любезностью, и перекинувшись несколькими словами, извинился, что ему необходимо уехать по делу, и вышел.

– Я рад, что Любовь Аркадьевна остается с преданным ей другом... – заметил он при прощании, подчеркнув, видимо намеренно, последние слова.

Оставшись с глазу на глаз с Елизаветой Петровной, Любовь Аркадьевна рассказала ей все свое недоумение относительно изменившегося к ней любимого человека, свою сердечную муку, свои предположения – последние со слов Мадлен де Межен – и, наконец, всю безвыходность своего положения.

– Вы не можете себе представить, как я рада, что вы здесь, а то я совершенно одна... М-де де Межен добрая, великодушная, милая женщина, но она все-таки мне чужая...

– А я? – спросила Елизавета Петровна.

– Вас я считаю теперь родной... Вы породнились со мной, будучи близкой свидетельницей всего со мной происшедшего... Я знала ведь, что вы обо всем догадывались, но были так благородны и великодушны...

– Что не высказала своих подозрений ва-

шим родителям?

– Да.

– Но это только потому, что я сомневалась в справедливости возникших в моем уме подозрений.

– Этим-то вы и доказали чистоту вашей души.

– Но, быть может, теперь вы не должны меня благодарить за мое пассивное отношение к вашей судьбе. Если бы я вам помешала, кто знает, вы были бы счастливее.

– Нет, от судьбы не уйдешь... Я уже была обреченной. В тот день, когда вы поступили к нам, было мое первое свидание с ним наедине, которое решило все...

– Мне эта мысль тогда же приходила в голову... – заметила Дубянская.

– Если бы вы мне стали мешать, вы ничему бы не помогли, а я не сохранила бы о вас такого хорошего мнения и не была бы с вами так откровенна, как теперь.

– Сергей Павлович сказал мне, что вы обещали передать мне письма господина Неелова.

– Да, я их и вручу вам для передачи ему... Я

не знаю, что он хочет с ними делать, но я верю, что он берет их для моей пользы.

– В этом не может быть сомнения. Долинский – честный человек.

– Я в этом и сама не сомневаюсь.

Любовь Аркадьевна встала с дивана, на котором сидели обе женщины, подошла к стоявшему комоду, отперла один из ящичков, вынула из него небольшой дорожный сак, а из него пачку писем и передала их Елизавете Петровне.

Та спрятала их в карман.

– Так вы говорите, что он совершенно перестал говорить о браке?

– И даже раздражается, когда я напоминаю ему об его обещании.

– Это ужасно... Извините, но он... нечестный человек... – с трудом произнесла последние слова Дубьянская.

– Увы! – могла только воскликнуть Селезнева.

– И вы продолжаете любить его?

– Нет... Но он должен на мне жениться... Иначе я пропащая...

– Конечно...

– Сергей Павлович дал мне слово, что я буду его женой... Я ему верю...

– Он не даст слова необдуманно.

– А что брат? – спросила Любовь Аркадьевна. – Когда я увижу его?

– Он здесь. Но увидеть его вы можете только когда будете женою Неелова.

– Почему это?

– Так мы решили с Сергеем Павловичем.

– По каким же причинам?

– Он не должен знать, в каком вы находитесь положении. Он человек горячий, и мало ли что может произойти между ним и Владимиром Игнатьевичем.

– Пожалуй, вы правы, – согласилась Селезнева.

– Но как же вы здесь живете... без всяких бумаг?.. – начала Елизавета Петровна после некоторой паузы.

– Хозяин гостиницы старый знакомый Владимира Игнатьевича.

– Но все же лучше записаться... Я вам привезла ваше метрическое свидетельство. – Дубянская вынула из висевшей на ее руке сумочки бумагу и передала ее Любовь Арка-

дъевне.

«Ну, нашествие друзей и родственников, – думал между тем Владимир Игнатьевич Неелов по дороге в Сокольники. – Авось догадятся и увезут ее в Петербург обратно к родителям... Вот одолжили бы».

Он уже давно ломал голову над тем, как бы «поблагороднее» написать Аркадию Семеновичу, что Любовь Аркадьевна охладела к нему, и он вынужден просить родителей, чтобы они взяли ее обратно.

Тут же представлялся случай обойтись без письма.

«Я уеду завтра на несколько дней к себе в имение и оставлю здесь ее одну, авось догадятся», – решил он.

«А, быть может, эта ее отставная компаньонка увезет ее к ее любезному братцу и рыцарю Долинскому и сегодня?» – не без удовольствия мечтал он.

Ему не хотелось покидать Москву и в особенности дачу в Сокольниках, где, как мы знаем, он охотился за двумя зайцами. Возвратившись поздно ночью, он спросил встретившего его лакея:

– Барыня у себя?

– Так точно-с. От них с час, как уехала го-  
стья...

Сердце Неелова упало.

«Придется завтра уезжать, – подумал он. –  
Ей не скажу ничего и исчезну...»

Действительно, на другой день утром Вла-  
димир Игнатьевич, не заходя в комнату Лю-  
бовь Аркадьевны, уехал на вокзал и покатил  
в свое имение.

По приезде домой ночью, Елизавета Пет-  
ровна застала дожидавшегося у себя в номере  
Долинского.

Они еще долго советовались друг с другом.

Они, действительно, как Дубьянская переда-  
вала Селезневой, решили устранить совер-  
шенно от дела Сергея Аркадьевича, человека  
горячего, несдержанного и могущего только  
испортить придуманный Сергеем Павлови-  
чем план заставить Неелова жениться на Лю-  
бовь Аркадьевне.

– Я сегодня написал и отправил с курьер-  
ским обстоятельное и подробное письмо Ар-  
кадию Семеновичу, – сказал Долинский. – Он  
получит его завтра до обеда, значит, до ку-

рьерского поезда может быть получена телеграмма о его немедленном возвращении.

– Это будет лучше.

– Еще бы! Тогда у меня будут развязаны руки. И мне претит эта ложь. Он спрашивает, нашел ли я сестру. Что она, как! Мне приходится лгать и выворачиваться. Я все откровенно написал Аркадию Семеновичу. Он поймет меня...

– Как бы не затормозила Екатерина Николаевна.

– Ну, в этом случае Аркадий Семенович умеет постоять за себя и часто идет наперекор ее княжеской воле.

Сергей Павлович оказался правым.

На другой день, около шести часов вечера, была, действительно, получена на имя Сергея Аркадьевича Селезнева телеграмма, гласившая: «Приезжай немедленно. Нужен».

Телеграмма была подписана: «Аркадий Селезнев».

– Как же сестра? – с недоумевающим выражением лица спрашивал Сергей Аркадьевич.

– Не беспокойся о сестре... Сестру мы найдем не нынче, завтра и обо всем тебя уведо-

мим... А, быть может, ты и вернешься, – говорил ему Долинский.

– Да зачем я там понадобился?

– Уж этого, брат, не знаю... Приедешь, узнаешь... Вероятно, что-нибудь очень важное.

– Что же может быть? И не придумаю.

– Нечего и придумывать. Поезжай с курьерским.

– Придется ехать.

Сергей Аркадьевич собрался и уехал, Долинский и Дубянская поехали его провожать, и с вокзала Сергей Павлович завез Елизавету Петровну в «Северную гостиницу» к Селезневой, а сам уехал домой.

Он долго не ложился, ожидая возвращения молодой девушки, но так и не дождался.

Встав на утро, он справился у лакея.

Оказалось, что Елизавета Петровна дома не ночевала.

Он уже хотел ехать справляться, не случилось ли чего с нею, оделся и вышел в коридор, но в нем столкнулся лицом к лицу с бледной, расстроенной Дубянской.

– Что с вами? Где вы были?

– У Любовь Аркадьевны.

– Что случилось?

– Неелов исчез из Москвы, он сбежал, оставив ее на произвол судьбы.

– Откуда вы это знаете?

– Извозчик сегодня утром отвез его на станцию железной дороги.

– Вот как! – на первых порах сам пораженный воскликнул Сергей Павлович.

Елизавета Петровна прошла к себе в номер. Долинский последовал за ней.

– Несчастливая!.. Она погибла!.. – воскликнула Дубянская, скорее падая, нежели садясь в одно из кресел, не снимая с себя верхнего платья.

– Успокойтесь!.. Ничего не погибла... – уже спокойным голосом сказал овладевший собой Сергей Павлович. – Мы его найдем.

– Где найти его?

– Не иголка... Не затеряется... Далеко не уедет... Может быть, знает Савин...

– Так вам Савин и скажет... Они с ним друзья...

– Мне Савин скажет все... Отдохните, разденьтесь... Вы, вероятно, не спали всю ночь...

– Не сомкнула глаз.

– Вот видите... Тем больше причин успокоиться и заснуть... А я пойду...

– С Богом...

Сергей Павлович уехал.

По счастью, он застал Николая Герасимовича дома.

– Ради Бога, помогите мне. Я к вам по делу... – сказал, входя в комнату, Долинский.

– Извольте, все, что могу, я сделаю... Для вас, вы сами знаете...

– Для меня вы даже нарушите законы дружбы?

– Я вас не понимаю.

– Скажите мне, где Неелов?

Савин смутился.

– Я... я... право, не знаю.

– Нет, вы знаете, но не хотите сказать мне, а между тем никакие законы дружбы не обязывают покрывать подлеца...

– За что вы его так?.. – улыбнулся Николай Герасимович, Сергей Павлович подробно рассказал всю историю ухаживания Владимира Игнатьевича за Любовью Аркадьевной, увоз ее из Петербурга и, наконец, неисполнение данного слова здесь и исчезновение из Москвы,

с целью, видимо, окончательно от нее отделаться.

Вся эта история, рассказанная Долинским, получила в глазах Савина совершенно другое освещение, нежели тогда, когда он слышал ее, конечно, в другой редакции, от самого Неелова.

– Да, это... некрасиво... – пробормотал он сквозь зубы.

– Это подло, бесчестно!.. И вы как честный человек, несмотря на чувство дружбы к нему, конечно, примете сторону беззащитной, несчастной, опозоренной девушки...

– Но что вы хотите от него?

– Я хочу, чтобы он на ней женился.

– И она этого хочет?

– В том-то и все несчастье.

– Почему же несчастье?

– Да потому, что если бы она захотела быть моею женою, я обвенчался бы с ней завтра...

– Вот как!.. В таком случае, мне, действительно, неудобно скрывать его... Я получил от него вчера телеграмму... Вот она...

Савин вынул из кармана телеграмму и подал ее Долинскому. Тот прочел:

*«Уезжаю на несколько дней в деревню. Если Любу увезут в Петербург, телеграфируй.*

*Неелов».*

– Вот на что он рассчитывает!.. Легко, однако, думает отделаться... – проворчал Сергей Павлович. – Так как теперь вы наш, то исполните еще одну мою просьбу...

– Какую?

– Поедьте со мной к нему в имение. Я захвачу еще двух моих московских друзей, из которых один доктор...

– Зачем это?

– Если он не согласится венчаться, я вызову его на дуэль... Вы будете его секундантом, а доктор пригодится кому-нибудь из нас...

– Совсем как во французском романе...

– Жизнь, Николай Герасимович, порождает романы позамысловатей французских...

– Извольте... я готов ехать, когда вы назначите...

– Благодарю вас... Если вы считаете себя у меня в долгу, то теперь мы квиты, – сказал с чувством, пожимая руки Николая Герасимо-

вича, Сергей Павлович Долинский.

## V

### Поединок

**В**ладимир Игнатьевич уже третий день скупал в своем добровольном заключении – в прекрасном доме своего имения – ис нетерпением ждал освобождающей его телеграммы Николая Герасимовича Савина.

Нарочный по несколько раз в день ездил в шарабане на станцию железной дороги справляться, не пришла ли депеша, а Неелов, обыкновенно стоя с биноклем у окна своего кабинета, пристально смотрел на видневшуюся дорогу, по которой он должен был возвратиться в усадьбу.

На третий день утром он увидал, что нарочный возвращается не один, рядом с ним сидел какой-то господин, судя по костюму.

Расстояние не позволяло даже в бинокль разобрать, кто это.

«Уж не сам ли Савин? – мелькнуло в голове Владимира Игнатьевича. – Может, дружище везет радостную весточку, что неприятель

выступил из Москвы вместе с пленницей... Это было бы совсем по-дружески».

Шарабан сделал поворот в аллею, ведущую к дому, и скрылся из виду Неелова.

Тот бросил на стол бинокль и стал нервной походкою ходить по кабинету, а затем вышел и через амфиладу комнат отправился в переднюю встретить прибывшего гостя.

Шарабан в это время остановился у подъезда и перед Владимиром Игнатьевичем совершенно неожиданно для него предстал Сергей Павлович Долинский.

«Прислан для переговоров...» – мелькнуло в уме быстро оправившегося от неожиданности Неелова, и он с любезной улыбкой приветствовал Долинского.

– Здравствуйте... Какими судьбами! Вот не ожидал...

– Я к вам по делу... – сдержанно-холодно сказал Сергей Павлович, едва притрагиваясь к поданной ему Владимиром Игнатьевичем руке.

– Милости просим... милости просим, – заторопился Неелов. – Пожалуйста ко мне в кабинет.

Долинский снял пальто и последовал за хозяином.

– Чем могу служить? – спросил Владимир Игнатьевич, когда он вошел в кабинет. – Прошу садиться.

Сергей Павлович не слышал или сделал вид, что не слышит последнего предложения.

– Я приехал спросить вас о ваших намерениях относительно Любовь Аркадьевны Селезневой.

– По какому праву... У вас есть доверенность от ее родителей?

– Нет, у меня нет никакой доверенности, и спрашиваю я вас не от лица ее родителей, а лично от себя.

– По какому праву, в таком случае, еще раз спрошу вас я?

– По праву человека, который любил ее, предлагал ей руку и сердце, но которому она отказала из-за вас...

– И совершенно напрасно! Я никогда не собирался жениться на ней, – отвечал спокойно Неелов.

– Это ложь! У меня есть ваши к ней письма...

– А, вот насколько вы с ней близки! – заметил Владимир Игнатьевич, нимало не смущаясь.

– Дело не в близости, а в правде...

– В таком случае выслушайте меня, не горячась. Надо вам сказать, что жизнь я вел всегда бурную, полную чувственных наслаждений. Затем дела мои расстроились. Приходилось решиться брать жену с деньгами. Любовь Аркадьевна, кроме того, хороша собой и одно время мне казалось, что я даже люблю ее. Но когда она согласилась бежать со мной, пыл этот прошел, а изменившиеся обстоятельства дали мне возможность вдуматься. Какой я ей муж? Ведь этот брак был бы и ее и моим несчастьем. А главное, теперь я дешево своей свободы не отдам!

– Но ведь вы ее скомпрометировали и обязаны...

– Повторяю, я не женюсь и ради себя, и ради нее.

– В таком случае, я вас заставлю.

– Вы?!

– Да, я...

Неелов презрительно расхохотался.

Настойчивость этого «адвокатишки», как он мысленно называл Долинского, начинала его раздражать.

– Да, именно я... – повторил твердо и решительно Сергей Павлович.

– Не пригрозите ли вы мне дуэлью? – иронически заметил Неелов.

– Да, я требую удовлетворения.

– По какому праву, за чужую вам женщину?

– Не за нее, а за ваш презрительный смех, который я считаю оскорбительным.

– Это другое дело. Но сперва смотрите...

Владимир Игнатьевич вынул из ящика письменного стола заряженный револьвер и, прицелившись в окно в сидевшего беззаботно шагах в двадцати на крыше воробья, выстрелил.

Воробей мгновенно свалился.

– Посмотрите и вы, – ответил хладнокровно Сергей Павлович, для которого стрельба и охота были любимой забавой.

Он взял из рук Владимира Игнатьевича револьвер и подойдя к окну, мимо которого в это время пролетала ласточка, поднял руку.

Курок щелкнул и ласточка тотчас упала мертвою на землю.

– Хорошо!.. – сказал Неелов. – Но где же мы будем драться, один на один... Ведь это против всяких правил.

– Не беспокойтесь, все предусмотрено.

– Как так?

– На станции дожидаются окончания моих с вами переговоров Николай Герасимович Савин и два моих товарища, из которых один доктор. Савин охотно будет вашим секундантом.

– Однако, вы предусмотрительны, – сквозь зубы проворчал Владимир Игнатьевич.

– Пошлите за ними экипаж, – продолжал Сергей Павлович, пропуская мимо ушей это замечание.

– В таком случае, я сейчас распоряжусь.

Владимир Игнатьевич дернул сонетку.

– Четырехместную коляску отправьте сейчас на станцию за господами, – отдал он приказание явившемуся на звонок слуге.

– Теперь все-таки садитесь, – сказал Неелов Долинскому, когда слуга удалился, а сам стал ходить по кабинету.

Сергей Павлович сел.

– А вы послушайте мои условия: стрелять в вас я буду, но убить не убью, а только раню, потому что рана облегчит ваше дело жениться на Любовь Аркадьевне.

– Говорю вам, что я не женюсь... А вас убью... – сказал на ходу Неелов.

– Это – как решит Бог, – отвечал Долинский.

Владимир Игнатьевич вдруг остановился против него.

– К чему же такое великодушие?.. Если вы меня убьете или искалечите, честь вашей будущей жены будет восстановлена и вы можете спокойно на ней жениться.

– Увы, – вздохнул Сергей Павлович, – она не любит меня, а любит вас...

– Вот как! – заметил Неелов и стал снова ходить по кабинету. Наступило молчание.

Какие думы роились в голове этих двух молчавших людей – кто знает?

Шум подъехавшего к крыльцу экипажа заставил Сергея Павловича встать с кресла.

Неелов пошел встречать новых гостей. Долинский последовал за ним.

– И ты, Брут! – встретил упреком Николая Герасимовича Владимир Игнатьевич. – И даже со смертоносным оружием, – указал он рукой на ящик с пистолетами, который держал в руках Савин.

– Что делать, брат! У меня правило и относительно самого себя, и относительно моих друзей: «Заварил кашу – расхлебывай».

– Присяжный поверенный Таскин... Доктор Баснин... – представил Сергей Павлович Неелову остальных двух прибывших.

– Мы несколько знакомы, – подав руку обоим, сказал Неелов, обращаясь к Таскину.

На лице Владимира Игнатьевича выразилось смущение.

Таскин был один из претендентов на руку дочери московского купца-толстосума, за которою ухаживал Неелов, и часто участвовал в карточной игре в доме ее отца, подозрительно поглядывая всегда на руки банкомета Неелова.

Он понимал, что это его враг, и появление его в качестве секунданта Долинского ему казалось дурным предзнаменованием.

Игроки и особенно шулера все суеверны.

– Так значит, вы не сговорились? – начал Савин, когда все прибывшие с Долинским по приглашению хозяина вошли в кабинет.

– Нет, – коротко отвечал Неелов.

– Значит, драка?

– Да... Я прошу тебя быть моим секундантом. Господин Долинский оскорбился моим презрительным смехом и вызвал меня на дуэль.

– Представляю вам моего секунданта, – сказал Сергей Павлович, указав на Таскина.

Тот молча поклонился.

– Очень приятно, – процедил сквозь зубы Владимир Игнатьевич.

– Когда же мы назначим дуэль? – спросил Николай Герасимович.

– По мне, хоть сейчас, – согласился Неелов.

– И отлично, – подтвердил Сергей Павлович.

– Здесь у меня в лесу есть отличная полянка, как будто сделанная для дуэлей... Я не ве-  
лю отпрягать, и мы отправимся.

Неелов позвонил и отдал явившемуся слуге соответствующее приказание.

Секунданты удалились в другую комнату и

через четверть часа вернулись с выработанными условиями поединка.

Все пятеро в четырехместной коляске отправились на место, о котором говорил Неелов.

– В тесноте, да не в обиде! – пошутил Савин, усаживаясь на переднем сидении, между Нееловым и доктором Басниным.

Коляску остановили у опушки леса и пошли по лесной тропинке.

Владимир Игнатьевич шел впереди, указывая дорогу.

Полянка действительно оказалась чрезвычайно удобной.

Защищенная со всех сторон густым лесом, она была в тени, так что солнце, ярко блестящее в этот чудный сентябрьский день, не мешало прицелу.

В воздухе веяло прохладой.

Отмерив шаги, секунденты установили противников и в последний раз обратились к ним с советом примирения.

Оба противника от мира отказались.

Пистолеты были им вручены.

– Орел или решка? – крикнул Савин, под-

брасывая монету.

– Орел! – сказал Неелов.

– Тебе стрелять первому, – объяснил Николай Герасимович, поднимая монету.

Присяжный поверенный Таскин стоял рядом с Долинским и не спускал глаз с лица Владимира Игнатьевича.

Последний не мог отвести глаз от его задумчивого, испытующего взгляда.

Этот взгляд смущал его.

Он целился долго, но рука видимо дрожала.

Наконец он выстрелил и пуля пробила шляпу Долинского и несколько опалила волосы.

– Вам стрелять! – крикнул Николай Герасимович Сергею Павловичу.

Последний быстро поднял руку и выстрелил, почти не целясь. Владимир Игнатьевич со стоном упал на землю. Все бросились к нему.

– Ну что? – спросил Долинский тихо доктора после осмотра.

– Жизнь не в опасности, но ампутацию сделать придется. Раздроблена голенная кость

левой ноги.

Доктор сделал первоначальную перевязку, а затем все вчетвером бережно вынесли раненого из леса и уложили в коляску... Доктор сел с ним, и коляска шагом направилась к усадьбе.

Остальные пошли пешком.

Также бережно внесли Неелова в его кабинет и уложили в вольтеровское кресло.

– Садитесь рядом со мной, – сказал он Долинскому. – Мне нужно переговорить с вами... Теперь Любовь Аркадьевна едва ли захочет венчаться с калекой, – продолжал он. – Мне теперь нужна уже не жена, а сиделка на всю остальную жизнь. Все, все пропало!

Он тяжело вздохнул и замолчал.

– Послушайте, привезите ее... – сказал он после некоторой паузы.

– И священника! – добавил Сергей Павлович.

– Ну и священника, если хотите, – согласился Владимир Игнатьевич.

Долинский и Таскин уехали, а Савин и доктор остались при раненом.

По приезде в Москву Долинский передал

все Елизавете Петровне, всячески стараясь выставить Неелова в лучшем свете.

Но когда она передала его рассказ Любовь Аркадьевне, то она поняла роль ее друга и горячее чувство приязни к нему еще усилилось.

– Он плох?.. – было ее первым вопросом, когда она вместе с Долинским и Дубянской на другой день приехали в имение Неелова.

– Кажется, необходимо будет ампутировать ногу, – морщась, ответил доктор. – А там увидим... всяко бывает...

– Люба... – сказал Владимир Игнатьевич. – Совесть заставляет меня загладить зло... Если я умру, ты будешь свободна, а если выживу, тебе придется быть прикованной на всю жизнь к креслу калеки и твоего врага.

– Для меня не остается выбора, – ответила она, – но я буду тебе благодарна за то, что ты не бросил меня на позор.

В это время приехал Долинский с сельским священником и дьячком, которых ему удалось ссылкой на законы и даже на регламент Петра Великого убедить в возможности венчать тяжело больного на дому, тем более, что соблазненная им девушка чувствует под

сердцем биение его ребенка. В этом созналась Любовь Аркадьевна Дубянской.

Начался обряд венчания.

Неелов сидел в кресле, его шафером был доктор и, стоя сзади, держал над ним венец.

У Селезневой был шафером приехавший снова по просьбе Сергея Павловича Таскин, и ее обвели три раза вокруг кресла больного жениха.

Обряд окончился.

Честь Любовь Аркадьевны Селезневой была восстановлена, но Долинский не выдержал до конца и уехал на станцию, а оттуда в Москву.

На другой день, приехав снова в имение, он застал в доме Неелова целый консилиум врачей.

Елизавета Петровна занималась по хозяйству.

Любовь Аркадьевна была одна в своем будуаре. Сергей Павлович вошел туда.

Молодая женщина бросилась к нему навстречу и неожиданно для него упала перед ним на колени.

– Честь ваша спасена, хотя вы будете очень

несчастны, Любовь Аркадьевна! – сказал он, поднимая ее. – Но прошу вас, что бы ни случилось, знать, что я ваш на всю жизнь... Теперь я уеду, но в знак вашего расположения, дайте мне что-нибудь на память.

– Вот кольцо... – взволнованным голосом проговорила она. – Это первый драгоценный подарок, сделанный мне папой... я дорожила им больше всего.

Она сняла с пальца колечко с изумрудом и бриллиантового осыпью, подала Долинскому и тотчас вышла.

Но в зеркале он видел, что по лицу ее струились крупные слезы.

Владимиру Игнатьевичу отняли ногу, но операция удалась блистательно, и больной был вне опасности.

Все, кроме Таскина, уехавшего накануне, и Долинского, вернувшегося также в Москву после разговора с Любовью Аркадьевной и получения от нее кольца, несколько дней провели в имении Неелова, куда даже приехала и Мадлен де Межен, вызванная Савиным.

Когда опасность для больного миновала, они тоже вернулись в Москву, но за это время

Николай Герасимович глубоко оценил достоинства Елизаветы Петровны Дубянской и окончательно стал благоговеть перед этой девушкой.

На другой день по возвращении в Москву Долинский и Дубянская уехали в Петербург, куда раньше послали письмо с извещением о состоявшемся бракосочетании Неелова и Селезневой.

## VI

### Мать и невеста

В Петербурге Елизавету Петровну ожидало роковое известие. В своей комнате, в доме Селезневых, на письменном столе она нашла письмо Анны Александровны Сиротининой. Письмо было коротко, очень коротко, но в нем чувствовалась такая полнота человеческого горя, что, охватив сразу все его глазами, Дубянская смертельно побледнела.

*«Большое несчастье. Приходите, родная.*

*Ваша А. Сиротинина».*

Вот что прочла в письме Елизавета Петровна, и, переодевшись с дороги, даже не заходя к Екатерине Николаевне Селезневой – Аркадий Семенович встретил их на вокзале – тотчас поехала на Гагаринскую.

В уютной квартирке Сиротининых царило бросившееся в глаза молодой девушке какое-то странное запущение.

Казалось, все было на своем месте, даже не было особой пыли и беспорядка, но в общем все указывало на то, что в доме что-то произошло такое, что заставило его хозяев не обращать внимания на окружающую их обстановку.

Самое выражение лица отворившей на звонок Елизаветы Петровны дверь прислуги указывало на совершившийся в этой квартире недавно переполох.

– Дома Анна Александровна? – спросила Дубянская.

– Дома-с, пожалуйста, – отвечала служанка, снимая с молодой девушки верхнее платье.

– Здоровы?

– Какое уж их здоровье...

В тоне голоса, которым произнесла при-

слуга эту фразу, слышалось что-то злое.

– Это вы! – вышла навстречу гостье в гостиную Анна Александровна.

– Здравствуйте.

Все это было сказано старушкой с какими-то металлически-холодными звуками в голосе.

Елизавета Петровна остановилась перед ней, как окаменелая.

Сиротинина до того страшно изменилась, что встретить она ее на улице, а не в ее собственной квартире, она бы не узнала ее.

Еще недавно гордившаяся, что у нее почти нет седых волос, она теперь выглядела совершенно седой старухой.

Страшная худоба лица и тела делала ее как будто выше ростом. Платье на ней висело, как на вешалке. Морщины избородили все ее лицо, а глаза горели каким-то лихорадочным огнем отчаяния.

– Что с вами, дорогая? Что случилось? – кинулась к ней молодая девушка. – Дмитрий Павлович болен?

– Хуже...

– Умер?

– Хуже...

– Что же с ним? Бога ради, не мучьте меня.

– Он... в тюрьме... – не сказала, а вскрикнула со спазмами в голосе Анна Александровна.

– В тюрьме... – бессмысленно глядя на старушку, повторила Елизавета Петровна, – в тюрьме?

Ноги ее подкосились, и она, схватившись за преддиванный стол, у которого они стояли, в изнеможении скорее упала, чем села в кресло.

– В тюрьме... – снова с каким-то недоумением, видимо, не понимая этих двух слов, повторила она.

– Да, в тюрьме... А вы этого не знали? – сказала Сиротинина с какой-то злобной усмешкой.

– Откуда же знать мне?

– Весь Петербург знает... Все газеты переполнены.

– Я это время не читала газет и не была в Петербурге.

– Вы не были в Петербурге?

– Я была в Москве, по поручению Селезневых... Туда убежала с Нееловым их дочь... Мы

ездили за ней...

– О, Боже, благодарю тебя! – вдруг воскликнула старушка. – Простите меня... прости, Лиза, – и она с рыданиями бросилась обнимать Дубянскую.

Та вскочила, поддерживая на своей груди плачущую горькими слезами старушку, усадила ее в кресло и опустилась у ее ног на ковер.

– Успокойтесь, милая, дорогая... Расскажите, что случилось? – умоляла она.

Анна Александровна продолжала плакать навзрыд.

– А я подумала, что и ты, Лиза, веришь в то, что он виноват... – сквозь рыдания говорила она.

– Виноват? Кто? В чем?

– Мой Дмитрий... в краже...

– В краже?.. Что вы говорите? Разве может быть человек, кто этому поверит?

– Все верят... Его обвиняют, а он не может оправдаться...

– Это невозможно!

– Возможно... Все улики против него...

Сиротинина, несколько успокоившись,

рассказала подробно и насколько возможно при ее состоянии толково все дело Дмитрия Павловича Сиротинина – об оказываемом ему доверии молодым Алфимовым, обнаружении растраты, аресте. Показала его письмо, которое она с момента получения хранила у себя на груди.

– Вы виделись с ним? – спросила Елизавета Петровна, выслушав этот печальный рассказ.

– Да.

– Что же он?

– Он спокоен... Он невиновен...

– Это само собой разумеется... Но он должен оправдаться...

– Он говорит, что это невозможно...

– Деньги взял не он... Я знаю, кто взял деньги.

– Вы?.. Знаете? – воскликнула Сиротинина.

– Да, я знаю, – повторила Дубянская.

– Кто же?

– Иван Корнильевич Алфимов.

– Что вы, он сам хозяин, пайщик отца...

– Это ничего не значит... Вы не знаете старика или знаете его меньше, чем знают у Селезневых... Он, несмотря на имеющийся у его

сына отдельный капитал, держит его в ежовых рукавицах и, вложив этот капитал в дело, платит ему жалованье за занятия в конторе и даже не дает процентов, которые присоединяет к капиталу... Мне все это рассказал Сергей Аркадьевич и жаловался даже сам молодой Алфимов.

– Но это еще не доказывает, что он вор...

– Есть и доказательства... Он вращается в обществе барона Гемпеля, графа Стоцкого и других игроков, он сам игрок, а игрока от вора разделяет мгновение.

Сиротина печально покачала головой.

Она видела, что молодая девушка попала, что называется, на своего конька и, отчаявшись найти исход для своего несчастного сына, предположила, что Дубянская увлекается в своем предубеждении против всех лиц, которые играют, называя их игроками.

Анна Александровна знала Ивана Корнильевича и не могла допустить мысли, что этот почти мальчик, если не по летам, то по виду, вежливый, предупредительный, мог быть не только вором, но даже убийцей человека, который к нему относился с такою сер-

дечностью.

Позорное обвинение сына она считала хуже, чем его убийство.

Она, конечно, отказалась, но сочувствие ее тронуло.

Кто-нибудь другой подвел ее ненаглядного Митю, а не молодой Алфимов.

Не знала Анна Александровна, что Иван Корнильевич приезжал к ней по совету графа Сигизмунда Владиславовича, чтобы отвести глаза людям.

Совет этот подал опытный руководитель молодого человека после того, как тот рассказал ему о допросе его у следователя:

– Дело скверно... Поезжай-ка к его матери, рассыпись перед ней в сожалениях...

– Это ужасно!.. Как я посмотрю ей в глаза?..

– А ты в глаза не смотри... Держи свои опущенными вниз, что докажет твою скромность и невиновность, – цинично пошутил граф Стоцкий.

– Ужели нельзя этого избежать?

– Отчего же, можно... Но лучше сделать это, так как ты тогда сразу покоришь и ее, и его в свою пользу... Иначе дело может разыг-

раться иначе и, кто знает, что ты не начнешь путаться на вторичном допросе, и, в конце концов, следователь тебя так прижмет к стене, что ты принужден будешь сознаться...

– Боже, неужели он еще второй раз может меня потребовать?

– Второй, третий, десятый... Сколько раз захочет.

– Это пытка!

– Ты на первом-то допросе вел себя как я тебя учил?

– Да... Говорил «да», «нет», «не знаю», «не помню». Но мне было так тяжело.

Иван Корнильевич вздохнул.

– Так и продолжай... А что до тяжести, то «любил кататься, люби и саночки возить». Зато потом, может быть, будешь кататься с Елизаветой Петровной Дубянской.

– Кабы твоими устами...

– Будешь мед пить... не только мед, шампанское и вместе...

– Поскорей бы все это кончилось.

– Конец бывает всему... не унывай...

– Хорошо говорить тебе, посадил бы я тебя в мою шкуру...

– Сиживал и не в таких шкурах... «Терпи казак – атаманом будешь».

Граф Стоцкий поощрительно потрепал рукой по плечу Ивана Корнильевича Алфимова.

Достойный ученик достойного учителя послушался и поехал к Сиротининой.

Граф Сигизмунд Владиславович, как мы видели, знал человеческие сердца.

Анна Александровна была подкуплена в пользу молодого Алфимова.

– Нет! Этого я так не оставлю... Я сама поеду к следователю и дам показание, – не унижалась между тем Дубянская.

Старушка продолжала печально качать головой.

– Ведь не украл же эти сорок тысяч Дмитрий Павлович? – горячилась Елизавета Петровна. – Отвечайте!

– Конечно, не украл, – ответила, задетая за живое, Сиротинина.

– А между тем они пропали?

– Пропали.

– Кто же взял их?

– Не знаю.

– Вы не знаете, а я знаю... Это ясно, как Бо-

жий день... Взял тот, кому они были нужны для удовлетворения преступной страсти... Иван Корнильевич игрок... Игроку всегда нужны деньги, особенно когда он окружен шулерами... Он и брал деньги, а для того, чтобы свалить вину на Дмитрия Павловича, отдавал ему ключ от кассы... Неужели вы этого не понимаете? Вы не любите вашего сына!..

Анна Александровна не обиделась на этот возглас молодой девушки, тем более, что в нем слышалась такая любовь к милому ее сыну со стороны говорившей, которая живительным бальзамом проникла в сердце любящей матери.

Анна Александровна любовно смотрела на эту девушку, которая, по ее мнению, быть может, одна во всем мире, кроме нее, убеждена в невиновности ее сына.

– Я сейчас пойду к Долинскому...

– Зачем?

– Я буду просить его взяться за защиту Дмитрия Павловича...

– Он не хочет иметь защитника...

– Это невозможно, этого нельзя допустить... Он, кажется, хочет, чтобы его съели

окончательно эти негодяи... О, я понимаю их игру, у меня появилась сейчас мысль, которая подтвердила еще более мое предположение.

– Какая мысль?

– Я пока не могу сказать ее, но потом, со временем, когда он будет свободен, я скажу вам ее...

– Он... свободен... – с грустью сказала Сиротинина.

– Он будет свободен... Он не виновен. Я пойду к нему завтра и добьюсь свидания, а сегодня я все-таки поеду сначала к Долинскому, мне самой нужен его совет...

– Поезжай с Богом, – тихо проговорила Анна Александровна, – уже одно твое негодование и волнение успокоили меня. Около Мити, значит, не одно, а два любящих сердца... Есть, значит, в мире два существа, которые не считают его вором.

– Его не будет и не посмеет очень скоро считать таким никто! – горячо сказала Елизавета Петровна.

В ее голосе было что-то пророческое и настолько уверенное, что Сиротинина почти с надеждой во взгляде посмотрела на нее.

– Ужели это может быть? – глубоко вздохнула она.

– Это будет... Мой муж не может быть вором...

– Твой муж! И ты решаешься теперь?..

– Его невиновность обнаружится... Это так же верно, как то, что есть Бог, – сказала Дубянская. – Но если бы силы ада и одолели, я во всяком случае буду его женой...

Анна Александровна вскочила с кресла и бросилась на шею молодой девушке, обливаясь слезами.

Это не были уже слезы одного отчаяния.

– Милая, дорогая, хорошая... Каким это будет для него утешением... Он так страдал...

– Ведь он имеет мое слово...

– Да... но обстоятельства изменились...

– В моих глазах ничто не изменилось... Обрушилось на него несчастье, а разве любящие люди бросают любимых людей в несчастье?

– Ты ангел...

– Я только любящая женщина.

## VII

### У адвоката

Совершенно иначе отнесся к соображениям Елизаветы Петровны Дубянской по делу Сиротинина Сергей Павлович Долинский, к которому она приехала прямо от Анны Александровны.

Молодой адвокат жил недалеко от Гагаринской улицы, на Маховой, занимая очень хорошую квартиру в бельэтаже.

Небольшая холостая квартира была обставлена солидно и указывала на деловитость ее хозяина.

Меблировка, зеркала, картины были дорогие, но не бросались в глаза и не били на эффект.

Лучшей комнатой был большой кабинет, уставленный мебелью, крытой коричневой кожей и громадными библиотечными шкафами, наполненными книгами по юридической специальности.

Огромный письменный стол был завален бумагами, раскрытыми книжками «уставов»,

а массивная чернильница была украшена бронзовой статуэткой Фемиды, с весами в одной руке и мечем в другой.

Хотя был и приемный час, но Сергей Павлович оказался дома.

Вернувшись в Петербург, он приводил в порядок дела.

Визит молодой девушки, видимо, поразил его.

Хотя он знал, что недавнее предубеждение против него как защитника убийцы ее отца уже прошло, но все же понимал, что только важное, серьезное, не терпящее отлагательства дело могло привести к нему Елизавету Петровну.

– Что случилось? Чем могу служить? – спрашивал он, усаживая в кресло перед письменным столом неожиданную гостью и сядя на противоположное кресло.

– Я к вам за юридическим советом...

– Я к вашим услугам...

– Вы слышали о растрате в конторе Алфинова?

– Да, я читал еще в Москве газетные известия.

– В Москве, и ничего не сказали мне...

– Я не думал, что это вас может интересовать, да кроме того, вам было там не до газет...

– Да, правда, конечно, вы не знали... Это отчасти к лучшему, тогда я не могла бы исполнить поручения Селезневых.

– Почему?

– Потому, что узнав, что арестован мой жених, я бы, конечно, бросила все и уехала в Петербург.

– Ваш жених? – удивленно спросил Долинский.

– Да... Дмитрий Павлович Сиротинин – мой жених... Он арестован совершенно неповинно...

Сергей Павлович чуть заметно улыбнулся, но это не ускользнуло от зорких глаз молодой девушки.

– Вы улыбаетесь?.. Вы думаете, что во мне говорит любящая невеста?.. Вы ошибаетесь и осознаете вашу ошибку, как только я расскажу вам, в чем дело.

– Я весь внимание.

Елизавета Петровна, не торопясь, подроб-

но рассказала все дело Сиротинина и высказала свои соображения о настоящем виновнике растраты.

Когда она окончила свой рассказ, Долинский сидел некоторое время молча в глубокой задумчивости.

Дубянская смотрела на него нетерпеливо-вопросительно.

– Я должен вам сказать, что вы правы... Действительно, здесь устроена адская махинация не без участия Стоцкого, Гемпеля, Кирхова и даже Неелова, и не вам бороться с ней...

– Не мне? Значит вы советуете не вмешиваться в это дело? – с почти злобной усмешкой спросила Елизавета Петровна.

– Сохрани меня Бог подать такой совет... Невинность должна всегда обнаружиться... Я говорю только, что ваше показание следователю не даст ему возможности начать обвинение против потерпевшего, каким является в данном случае молодой Алфимов, и превратить его в обвиняемого, если этого, конечно, потребует его отец.

– Но что же в таком случае делать?

– Надо добыть не соображения и выводы, а доказательства...

– Их добыть невозможно.

– Кто знает?

– Вы говорите загадками...

– Мне сдается, – начал он после некоторой паузы, не обратив внимания на замечание молодой девушки, – что нам в этом деле может помочь опять же тот человек, который помог и в московском...

– Савин?

– Никто другой.

– Я вас не понимаю...

– Он хорош с Гемпелем и Нееловым, то есть знает их кружок, быть может, я даже почти уверен, не участвуя в их проделках, а потому с ним они не будут стесняться, и если он захочет, то может раскрыть все это дело.

– Но он не захочет...

– Почему?

– Какое ему дело до неизвестного ему Сиротина!

– Он ваш жених...

– Что же из этого?

– А то, что вследствие этого мне думается,

что Николай Герасимович с курьерским прикатит в Петербург и примется за это дело горячо.

– Какое же отношение имею к нему я?

– Савин человек увлекающийся... Я достаточно имел случаев изучить его... Это хорошая русская натура с подгнивающим, но все еще живущим корнем... Если он кого любит, то любит беззаветно, если ненавидит, то ненавидит от души...

– Что же из этого?

– А то, что перед вами он благоговеет...

Елизавета Петровна потупилась.

– Не конфузьтесь... Такое благоговение ничуть не оскорбительно...

– Я и не говорю этого.

– Он вскоре после вашего с ним знакомства сказал о вас: «Вот девушка, для которой я бросился бы в огонь и в воду, и не как за женщину, а как за человека». А он не из тех людей, у которых слово разнится от дела.

– Я ему очень благодарна, но нельзя же его беспокоить и заставлять приезжать по совершенно чужому для него делу.

– Ему, как он не раз говорил, совершенно

все равно где жить, в Москве, или в Петербурге... Он любит приключения... Это современный рыцарь, немножко даже Дон-Кихот, но в хороших сторонах этого героя Сервантеса... Я ему напишу сегодня же...

– Если так – то напишите... Я не смею пренебрегать ничьей помощью...

– Его помощь, я предчувствую, будет существенна.

– Я просила бы также вас принять на себя защиту Сиротинина...

– Я готов, но до моего участия еще далеко... Следствие только что начато... Дай Бог, чтобы вашему жениху и не надо было бы моих услуг...

– То есть как?

– А так, чтобы дело не дошло относительно его до суда вследствие открытия настоящего виновника... Я верю в это... Я верю, что в земное правосудие вмешается отчасти небесное... Редки случаи, когда действительно невинный садится на скамью подсудимых...

– О, как желала бы и я верить в это.

Она встала.

– Благодарю вас... Вы все-таки подали мне

хотя и призрачную, но надежду.

– Я сейчас же сяду писать Савину...

– В добрый час...

Елизавета Петровна вернулась к Селезневой несколько успокоенная, но там ожидало ее начало той пытки, которая была неминуема для нее в обществе таких, кто знал о ее близости к семье Сиротининых.

Она застала Екатерину Николаевну в гостиной.

– Я вас жду, жду... Мне так хотелось с вами переговорить еще о моей милой Любе, услышать еще раз, как они устроились, а вы только что вернулись из Москвы и уж пропали на несколько часов...

Все это хотя и было сказано в виде шутки, но в тоне голоса Селезневой проскользнули ноты раздражения.

– Я узнала об обрушившемся несчастье над близкими мне людьми.

– Это, верно, над Сиротиниными? Вы, кажется, интересовались ее сыном?

– Я интересовалась им как хорошим, честным человеком, – глядя прямо в глаза Екатерины Николаевны, отвечала Дубянская.

– Теперь вам придется изменить свое мнение: он оказался вором...

– Это роковая ошибка...

– Хороша ошибка... Почитайте газеты и увидите, как дважды два четыре, что никто, кроме него, не мог совершить растраты...

– А я все-таки не верю этому.

– Ваша воля, – пожалала плечами Селезнева, – но вы будете одни при этом мнении. Впрочем, вероятно, то же мнение высказывает и мать, укрывавшая сына и покупавшая на свое имя дачи.

– Позвольте, дача куплена из скопленных им денег, в рассрочку...

– Так всегда говорят все преступники.

– Он не преступник.

– Ну, будь по-вашему... Мне ведь в сущности все равно... Расскажите лучше мне о Любе...

Подавив свое волнение, Дубянская стала рассказывать подробно московские происшествия.

К концу ее рассказа в гостиную явились Аркадий Семенович, Сергей Аркадьевич и Иван Корнильевич Алфимов.

Сергей Аркадьевич, знавший все происшедшее в Москве от отца, которому дорогой от вокзала рассказали все Долинский и Елизавета Петровна, и теперь еще все волновался.

– И зачем надо было меня вызывать из Москвы?.. Я бы заставил его точно так же жениться на сестре...

– Так бы и заставил, когда ты не брал в руки ни ружья, ни револьвера... Он пристрелил бы тебя, как птицу, – сказал Аркадий Семенович.

– Но я брат... Мне было удобнее...

– Подставить свою голову без малейших шансов на хороший исход... Это было бы безумием... Я очень благодарен Сергею Павловичу, что он предусмотрел это и написал мне о вызове тебя сюда...

– А я так совсем ему не благодарен.

– Но как же скрыли, что была дуэль? – спросила Екатерина Николаевна.

– Объяснили рану несчастным случаем на охоте, – отвечала Елизавета Петровна.

Разговор перешел, благодаря присутствию Алфимова, на растрату в их конторе.

– Несомненно, виноват Сиротинин, – заметил Аркадий Семенович.

– Конечно, кто же другой, – подтвердил Сергей Аркадьевич.

– А вот Елизавета Петровна другого мнения, – вставила Екатерина Николаевна.

– Вот как? – вопросительно посмотрел на нее старик Селезнев.

Молодой Алфимов побледнел.

– Действительно, я другого мнения, – сказала Дубянская, – я хорошо знаю Дмитрия Павловича и удостоверяю, что он не может быть вором. Он скорее умер бы с голоду, чем взял бы что-нибудь чужое! Вы верите, потому что не знаете его так, как я его знаю... Его нельзя даже подозревать...

– Однако, все улики налицо...

– Какая же это улика!.. Не та ли, что кроме него некому было украсть? Кто знает...

Дубянская едва заметно повела глазами в сторону Ивана Корнильевича.

Тот сидел, как на иголках, и нервно кусал свои губы.

– Я не поверила бы ему, если бы он сам мне сказал, что совершил это преступление.

– Вы влюблены в него, – заметила Екатерина Николаевна.

– Я и не скрываю этого... Я его невеста...

– Вы? – широко раскрыла глаза Селезнева. – Но теперь...

– Что же теперь?.. Я убеждена, что его невиновность обнаружится, это, во-первых, а, во-вторых, если он сделается жертвой скрывшегося за его спиной негодяя, то я обвиняюсь с ним, когда его осудят, и пойду с ним в Сибирь.

– Это очень романтично, – сказала Селезнева. – Но верно и то, что вы одни такого о нем мнения.

– Ошибаетесь, я только что была у Долинского, и он согласился со мной, что Сиротинин не виновен.

– У адвокатов нет виновных, – вставил Сергей Аркадьевич, несколько раздраженный против Дубянской за вызов из Москвы.

Иван Корнильевич Алфимов не проронил ни одного слова.

Екатерина Николаевна Селезнева приписала это воспитанию и такту молодого человека.

Ему как заинтересованному в деле и не следовало, по ее мнению, говорить.

Он между тем молчал по другим причинам. Иван Корнильевич переживал страшное внутреннее мучение.

Елизавета Петровна считает Сиротинина невиновным. Он этого никак не ожидал, он думал, что она отвернется от него как от преступника, от вора.

И к мукам совести несчастного прибавилось еще мученье ревности.

«Господи, – думал молодой Алфимов, – я надеялся все приобрести, а вместо того потерял все!»

Он встал, простился и вышел.

Елизавета Петровна тоже вскоре удалилась в свою комнату. Перспектива разговоров, подобных сегодняшнему, возмущала ее.

После обеда она снова поехала к Сиротининой и просила позволения у Анны Александровны временно переехать к ней.

Старушка с радостью выразила на это свое согласие.

– Мы будем с вами говорить о несчастном Мите...

– Мы спасем его...

В тот же вечер молодая девушка сообщила Селезневым о своем решении переехать к матери своего жениха.

– Старушка страшно потрясена, и одиночество делается для нее ужасным.

– Нам очень жаль, но насильно мы удерживать вас не можем, – сказала Екатерина Николевна.

– Я вам и не нужна...

– Нет, все-таки вы могли бы быть нам полезны по хозяйству... В качестве моей компаньонки, наконец... Мы вас так полюбили...

– Благодарю вас...

На другой день Елизавета Петровна, которую чуть ли не насильно щедро наградил Аркадий Семенович, переехала на квартиру Анны Александровны Сиротининой, о чем уведомила запиской Долинского.

Вечером же она получила письмо от Сергея Павловича, в котором была вложена телеграмма из Москвы от Николая Герасимовича Савина.

Телеграмма гласила:

*«Выезжаю завтра курьерским. Савин».*

## VIII

### Адвокат-праведник

**С**ергей Павлович Долинский оказался тонким психологом.

Он угадал, чего не доставало в жизни Николаю Герасимовичу Савину.

Ему не доставало деятельности, и именно такой, на которую его вознамерился отправить «знаменитый» адвокат, – эпитет, уже даваемый некоторыми газетами Долинскому.

Савин скучал.

Жизнь веселящейся Москвы и Петербурга не могла удовлетворить его, слишком много видевшего на своем веку. Любовь к Мадлен де Межен, как мы знаем, была отравлена созданными им самим предположениями и подозрениями, да и не такой человек был Николай Герасимович Савин, чтобы долговременное обладание даже красивейшей и любимейшей женщиной не наложило на отношение его к ней печать привычки – этого жизненного мороза, от которого вянут цветы

любви и страсти.

Он привык к Мадлен, она стала его вторым «я», тем более, что любовь этой женщины к Николаю Герасимовичу совершенно изменила ее.

Из кипучей, веселой, подчас своенравной, и всегда изменчивой парижанки, какой любил ее Савин, она сделалась покорной, серьезной, рассудительной женщиной, «совсем женой», по своеобразному выражению Николая Герасимовича.

Эта «совсем жена» уже не была для него не только женщиной, но даже другим лицом, это было, повторяем, его второе «я», и вместе с ней, таким образом, он чувствовал себя одиноким и, повторяем, скучал.

Полученное от Долинского письмо, таким образом, внесло в жизнь Савина перспективу разнообразия, и он схватился за предложение адвоката явиться на помощь Елизавете Петровне Дубянской обеими руками, тем более, что действительно не избег общей участи всех знавших молодую девушку и поддался ее неотразимому обаянию, как хорошего, душевного человека.

Николай Герасимович тотчас же написал и отправил известную нам телеграмму на имя Долинского.

Письмо он получил утром, когда Мадлен де Межен еще спала, так что, когда она вышла к завтраку, ей готовился сюрприз.

– Мы едем завтра в Петербург, – сказал Савин.

– В Петербург? Зачем? Мне нравится больше Москва...

– Мне нужно по делу.

– А... Это другое дело... Надолго?

– Как все устроится...

– Не секрет это дело?

– Далеко нет.

Николай Герасимович со свойственным ему жаром, особенно когда он говорил об интересующем его предмете, объяснил молодой женщине суть дела, которое его призывает в Петербург.

Мадлен де Межен давно не видела своего «Nicolas» таким оживленным и жизнерадостным, а как добрая женщина – глубоко заинтересовалась положением Дубянской, над женой которой стряслась такая неожиданная

беда.

– Но что можешь сделать для нее ты? – спросила она, и в ее голосе прозвучала нота сомнения.

– Я? – воскликнул Савин. – Все...

– Уж и все, – улыбнулась Мадлен де Межен.

– Да я ведь знаю многих из этих господ... Я сойду с ними снова и не будь я Савин, если не обнаружу этой гнусной интриги...

– Да поможет тебе Бог, – сказала молодая женщина, набожная, как все небезупречные дамы.

В Петербурге Савин и Мадлен де Межен заняли отделение в «Европейской» гостинице, по странной игре случая то самое, в котором несколько лет тому назад Николай Герасимович мечтал о Гранпа и за дверь которого вышвырнул явившегося к нему с векселем Мардарьева, что послужило причиной многих несчастий в жизни Николая Герасимовича, начиная с потери любимой девушки и кончая недавно состоявшимся над ним судом с присяжными заседателями в Петербурге.

Николай Герасимович, уже занявший отделение, вспомнил все это и даже вздрогнул

при этом воспоминании.

Он хотел распорядиться о переходе в другое, но перспектива вопросов со стороны Мадлен де Межен, которой понравилось помещение, остановила его.

«Пустяки, ребячество!» – сказал он самому себе.

Не знал он, что страшное совпадение идет еще дальше, что он приехал в Петербург обличить сына или, по крайней мере признаваемого таковым, того самого Алфимова, который был главным, хотя и закулисным, виновником его высылки в Пинегу и возбуждения против него уголовного дела об уничтожении векселя, предъявленного ему Мардарьевым.

Так порою вертится колесо жизни.

Переодевшись и выпив стакан кофе, Савин поехал к Долинскому.

Сергей Павлович не мог встретить его на вокзале, так как это был его приемный час, о чем он уведомил Николая Герасимовича телеграммой в Москву, прибавив, что в день приезда ждет его к себе.

Действительно, он его ждал с большим нетерпением.

К желанию оказать услугу Елизавете Петровне Дубянской присоединилось стремление во что бы то ни стало развязать узел загадочного преступления, стремление, присущее каждому юристу, если только он человек призвания.

Сергей Павлович был именно таким юристом.

Он почти не занимался гражданскими делами и «председательство в конкурсах» не было его идеалом – он весь отдался изучению уголовного права, этой, по выражению одного немецкого юриста, поэзии права.

Сергей Павлович Долинский высоко и чисто смотрел на призвание адвоката как совместного работника с прокуратурой и судом в деле отправления земного правосудия.

С первых шагов его в суде его уста не осквернились «софизмами», он не был «любодеем мысли и слова», какими являлись его подчас почтенные и уже знаменитые товарищи.

Этим он вскоре заслужил уважение не только в обществе, но и среди магистратуры и прокуратуры.

Последние знали, что молодой адвокат говорит хорошо и задушевно только в силу своего непоколебимого внутреннего убеждения, и это убеждение невольно сообщалось его слушателям как бы по закону внушения мысли, так что речи Долинского действовали не только на представителей общественной совести – присяжных, – но и на коронных судей, которые, что ни говори, в силу своих занятий, и до сих пор напоминают того поседевшего в приказах пушкинского дьяка, который:

Спокойно зрит на правых и неправых,  
Добру и злу внимая равнодушно.

Дела Сергея Павловича Долинского были блестящи.

При таком отношении к своей практике понятно, что молодой адвокат был крайне заинтересован делом кассира Сиротинина, в невиновности которого, после беседы с Елизаветой Петровной Дубянской, у него не осталось ни малейших сомнений.

Роковое стечение обстоятельств, как он знал, порождает – хотя, к счастью весьма редко – страшные судебные ошибки, а наличие этих роковых обстоятельств в деле кассира

банкирской конторы «Алфимов и сын» было очевидно, особенно для людей, знавших кругов лиц, среди которого вращался молодой Алфимов.

«Если бы, – думал Сергей Павлович после отправления Николаю Герасимовичу письма с курьерским поездом, – Иван Корнильевич действовал один, то, конечно, ему по молодости и неопытности не удалось бы выдержать роль потерпевшего. Можно было бы повидаться со следователем – Долинский знал их всех лично – и направить следствие так, что молодой Алфимов сбился бы в показаниях и уличил бы самого себя... Но у него, наверное, опытный руководитель и советчик из этой шайки, а потому надежда на такой исход дела является очень призрачной. Надо войти в эту шайку своим человеком, чтобы добыть данные, могущие служить основанием для раскрытия дела... Это может сделать один лишь Савин».

Понятно поэтому нетерпение, с которым ожидал Сергей Павлович Долинский приезда к нему Николая Герасимовича.

## IX

### Агент-доброволец

— Ну вот и я, ваш агент-доброволец!  
С этими словами Николай Герасимович Савин вошел в кабинет Сергея Павловича Долинского.

Молодой адвокат крепко пожал ему обе руки.

— Благодарю и за Елизавету Петровну, и за себя.

— За себя за что же, разве вы тоже влюблены в нее?

— Нет, мой друг, за себя я благодарю вас как за представителя русского правосудия. Существуют дела, раскрытие которых возможно лишь в высококультурных странах. Дело Сиротинина принадлежит именно к таким делам.

— Я вас не совсем понимаю, — заметил Савин, удобно усаживаясь в кресло и закуривая предложенную ему Долинским дорогую сигару.

— Есть дела — я объясню это вам яснее — ко-

торые требуют для обнаружения истинного виновника участия представителей общества, а казенные обнаружители и пресекатели преступлений бессильны со всею своею властью или же, быть может, именно в силу этой всей власти.

– Это как в Англии, где каждый англичанин не прочь помочь правосудию и не считает это зазорным, а напротив, ставит это себе в государственную заслугу.

– Именно, именно... Английское правосудие, как и весь ее государственный строй, заслуживает восхищения и подражания... Таково, по крайней мере, мое мнение.

– В каком же положении дело этого, как его?..

– Сиротинина.

– Да, Сиротинина.

– В очень скверном... Я вчера виделся с судебным следователем. Он глубоко убежден в невиновности обвиняемого, но положительно не в состоянии что-либо для него сделать... Улики все налицо, а человек, который по мнению следователя виноват, очень осторожен и неразговорчив.

– Значит, есть и предполагаемый настоящий виновник?

– Есть, но лучше я вам все расскажу по порядку. Вам необходимо ознакомиться как с делом, так и со многими несомненно причастными к нему лицами обстоятельно и подробно...

– Я вас слушаю.

Сергей Павлович рассказал Николаю Герасимовичу с присущей его языку ясностью все обстоятельства, предшествовавшие и сопровождавшие обнаружение растраты в банковской конторе «Алфимов и сын», передал сообщения Елизаветы Петровны Дубянской, сообщения, с которыми он согласился, да еще нашел их подтверждение в мнении судебного следователя, производящего дело.

– Главными пружинами, как кажется, являются здесь трое: граф Стоцкий, барон Гемпель и Кирхоф, очень может быть, что был и Неелов, но его здесь, как вам известно, нет...

– Почему вы указываете прямо на лица?

– А потому, что молодой Алфимов вращается в их кружке, который его, видимо, обчищает, и душевный друг графа Стоцкого,

личности чрезвычайно темной и подозрительной...

– Позвольте, позвольте, я знал одного графа Стоцкого в Варшаве, мы были с ним большими приятелями... Как зовут его?

– Сигизмунд Владиславович...

– Это он... Но тот был прекрасный человек, честный, прямой, добрый, один из редких представителей польской национальности.

– Ну, этот другой, он отличается именно всеми противоположными качествами его соименника.

– Но позвольте, этого не может быть... Сигизмунд Стоцкий был последний представитель в роде, других графов Стоцких нет.

– Значит он переменялся.

– Каков он из себя?

Сергей Павлович описал наружность графа Сигизмунда Владиславовича.

– Странно, он совсем не похож на того...

– Уж не знаю...

– Странно, очень странно... – продолжал повторять Николай Герасимович. – Мне интересно будет с ним встретиться.

– А остальных вы знаете?

– Гемпеля да, мы друзья... Кирхофа же я встречал за границею и также знаю довольно близко.

– Значит, вы почти у пристани.

– Дай-то Бог... Но это дело интересуется меня теперь вдвойне из-за личности графа Стоцкого. Не мог же человек измениться так нравственно и даже физически. Надо будет съездить к Гемпелю. Где он живет?

– Этого я не знаю... Да вам, по моему мнению, следует столкнуться с ними на нейтральной почве. Пусть они сами уже втянут вас в свою компанию.

– Вы правы. Но где же?

– Во втором часу дня вся их компания собирается завтракать в ресторане Кюба.

– Отлично, завтра же я буду там.

– Очень хорошо, завтра же как раз вторник, – легкий день для начала дела, – засмеялся Долинский.

– Чего вы смеетесь?.. Я верю в эти народные приметы о легких и тяжелых днях и сам не раз испытал последствия, начиная дело в понедельник.

– Ну?

– Верно, верно... Так с завтрашнего дня, с легкого, я примусь за работу.

– Дай Бог успеха.

– А теперь скажите мне, где живут Селезневы?

– Зачем?

– Я желал бы заехать повидать Елизавету Петровну.

– Она не живет более у них.

– Где же она живет?

– Она переехала к матери Дмитрия Павловича Сиротинина.

– Вы знаете адрес?

– Да.

Долинский сказал адрес, и Савин записал его в свою записную книжку.

– Я заеду к ней прямо от вас.

– Вы ее очень обрадуете.

– Не буду вас задерживать...

– Если понадобится, я по утрам и после обеда до восьми дома.

– Буду являться с рапортом... – пошутил Николай Герасимович, прощаясь с Сергеем Павловичем, и уехал.

– На Гагаринскую улицу! – крикнул он ку-

черу уже взятого им месячного экипажа-коляски.

Подобно лучу яркого живительного солнца отразилось переселение к Анне Александровне Сиротининой Елизаветы Петровны: не только в обстановке уютненькой квартир-ки, но и в расположении самой ее хозяйки.

Все в квартире приняло иной, более спокойный, привлекательный вид, а сама Анна Александровна стала куда бодрее: туча мрачной грусти, лежавшая за последнее время на ее лице, превратилась в легкое облачко печали с редкими даже просветами – улыбками.

Сразу высказанное Елизаветой Петровной мнение, что Дмитрий Павлович Сиротинин – жертва несчастья, интриг негодяев, и что в скором времени все это обнаружится, и его честное имя явится перед обществом в еще большем блеске, окруженным ореолом мученичества, конечно, приятно подействовало на сердце любящей матери, но, как мы знаем, не тотчас же оказало свое действие.

Факты и безысходность положения ее сына, обвиняемого в позорном преступлении, стояли, казалось, непреодолимой преградой

для того, чтобы мнение любящей его девушки проникло в ум старушки и взяло бы верх над этой, как ей по крайней мере казалось, очевидностью. Но зерно спасительного колебания уже было заронено в этот ум.

«Что-то скажет Долинский?» – думала Анна Александровна после отъезда от нее Дубянской, которая, как, конечно, помнит читатель, отправилась прямо от Сиротининой к «знаменитому адвокату».

Анна Александровна слышала о Сергее Павловиче много хорошего, и уже одно то, что прямая, честная, не входящая никогда в сделки со своей совестью Лиза – как называла Дубянскую Сиротинина, – несмотря на свое прошлое предубеждение к защитнику убийцы своего отца, изменила свое мнение о Долинском и стала относиться к нему с уважением, очень возвышало личность молодого адвоката в глазах старушки.

Она знала также, что Елизавета Петровна никогда не лгала, а потому была уверена, что получит от нее настоящее мнение Сергея Павловича о деле ее сына, не смягченное и не прикрашенное ничем.

«Если он согласится с доводами Лизы, то...»

Анна Александровна боялась закончить свою мысль, до того она показалась ей привлекательной, и только с мольбой обратила полные слез глаза на висевший в ее спальне, куда она удалилась после отъезда Елизаветы Петровны, большой образ Скорбящей Божьей Матери – этой Заступницы и Покровительницы всех обиженных, несчастных и сирых.

Чудный лик Богоматери, казалось, с ободряющей любовью во взоре глядел на скорбящую по сыну мать.

Старушка невольно не могла отвести глаза от этого лица и как-то машинально опустилась на колени перед образом и забылась в теплой молитве.

Как бы в ответ на эту искреннюю молитву было вторичное посещение в тот же день старушки Елизаветой Петровной.

Подробно рассказала она ей свой разговор с Сергеем Павловичем Долинским и его план поручить расследование этого дела Савину.

– Так он тоже находит, что Митя?..

Анна Александровна остановилась, как бы боясь высказать последнее слово.

– Конечно же находит, что он не виноват... Он совершенно согласился со мной, что Дмитрий Павлович – жертва адской интриги негодяев.

– Так, так... – грустно покачала головой старушка.

– Иначе бы он не придумал найти человека, который знает всех этих лиц и сумеет среди них самих обнаружить всю эту хитросплетенную сеть, которою они опутали невинного из-за своих гнусных расчетов...

– И ты думаешь, он возьмется?

– Долинский убежден, что да, а он знает его лучше, чем я.

– Дай-то Бог, дай-то Бог!.. – прошептала Анна Александровна, и в первый раз лицо ее несколько прояснилось.

Когда же, как мы знаем, в тот же вечер Елизавета Петровна попросила у ней позволения временно переехать к ней, то Сиротинина с радостными слезами бросилась на шею молодой девушке.

– Вы уже говорили об этом с Селезневыми?

– Нет еще, но я, во-первых, им не нужна, так как была приглашена к дочери, которой

теперь нет, и, во-вторых, я не могу жить среди людей, которые иного мнения о нем, чем я.

Анна Александровна поняла, что «о нем» значит о ее сыне, и одобрительно кивнула головой.

– Кроме того, мне приходится там встречаться с молодым Алфимовым, которого я считаю хотя, быть может, и не самостоятельным, но зато главным виновником несчастья Дмитрия Павловича. Я уже видела его.

– Видела... Но что же он? – взволновалась старушка.

– Если бы вы сами видели, что делалось с ним, когда заговорили о растрате в его конторе и когда я высказала мое мнение, что Дмитрий Павлович жертва негодяя, скрывшегося за его спиной, причем как бы нечаянно взглянула на него, то вы сами бы поняли, что, несомненно, взял деньги он.

– Да что ты?

– Он был бледен, как полотно, и сидел, как приговоренный к смерти. Выбрав удобную минуту, он ушел. Несомненно, что это дело его рук и, быть может, даже не с одной целью свалить на Дмитрия Павловича свою вину он

подсовывал ему ключи...

– Какая же другая цель?

– Ему хотелось устранить его со своей дороги.

– Я тебя не понимаю.

– Я не хотела говорить этого раньше времени, но все равно, придется сказать это Долинскому и Савину, так должна же я сказать и матери моего жениха.

– Что такое?

– Он влюблен в меня.

– В тебя?

– И даже объяснялся мне в любви...

Помните в тот день, когда он провожал меня к вам на дачу и даже вошел к вам, но держал себя как-то странно?

– Помню, помню...

– Видимо, ему и посоветовали сразу убить двух зайцев... Свалить всю вину и устранить соперника.

– Боже, какая подлость! – воскликнула старушка.

– От его приятелей можно ожидать всего...

Это мое соображение, но оно, по моему мнению, может служить некоторою путеводною

нитью при розысках. О любви к женщине в этом кружке, где вращается молодой Алфимов, говорят открыто, не стесняясь... Ведь там женщина и призовая лошадь стоят на одном уровне.

На этом Елизавета Петровна и Анна Александровна расстались, чтобы с другого дня начать совместную жизнь и совместной надеждой на торжество правды.

## Х

### За завтраком

Явившийся к Елизавете Петровне в квартиру Сиротининой Николай Герасимович Савин был принят как посланник неба.

Дубянская заняла кабинет Дмитрия Павловича, и Анна Александровна любила проводить с ней все свое свободное от хлопот по хозяйству время именно в этой комнате.

Казалось, для обеих женщин растравление раны воспоминаниями, навеваемыми всякой безделицей, в этой тщательно убранной и комфортабельно устроенной комнате доставляло жгучее наслаждение.

Елизавету Петровну эти воспоминания, окружавшие ее днем и ночью, закаляли на борьбу, а для старухи-матери, в сердце которой появилась надежда, они стали почему-то еще более дорогими.

На второй день после переезда Дубянской, в квартире Сиротининой раздался резкий звонок.

Он донесся до слуха Елизаветы Петровны и Анны Александровны, бывшей в комнате последней.

– Кто бы это мог быть? – с недоумением сказала старуха.

– Быть может, письмо... – сделала догадку Дубянская.

– Для письма не время...

Вошедшая служанка разрешила сомнения.

– Пожалуйте, барышня, к вам-с... – сказала она, обращаясь к Елизавете Петровне.

– Ко мне, кто?

– Какой-то господин... Вас спрашивает... Дома, говорит, Елизавета Петровна, ну я, вестимо, говорю: «Дома, пожалуйста...»

– Да кто такой?

– А мне невдомек спросить-то... Он в гости-

ной...

– Экая ты какая, можно ли так всех пускать...

– Господин хороший...

Дубьянская оправила наскоро свой туалет и вышла. В гостиной она застала Савина.

– Николай Герасимович... Вот не ожидала...

– Прямо чуть не с вокзала к Долинскому, а затем к вам... Взявшись за дело, нечего дремать... Куй железо, пока горячо, сами, чай, знаете поговорку...

– Я не знаю как, и благодарить вас... Садитесь...

Савин сел в кресло, а в другое опустилась Елизавета Петровна.

– Благодарить будете потом, если будет за что, а пока еще не за что... – заметил Николай Герасимович.

– Как не за что?.. Примчались по чужому делу...

– Оно меня так же интересуется, как свое собственное. Я, прочитав письмо Сергея Павловича, подпрыгнул от радости, что могу быть вам чем-нибудь полезным.

– Благодарю вас.

– Опять же не за что. Сознать, что работаешь на пользу других, так приятно, что в этом сознании уже лежит величайшая награда, а я и обрадовался потому, что за последнее время начал подумывать, что я уже совсем никому не нужен...

– Полноте...

– Верно, верно, я говорю не из фатовства, а искренно. Мне было так тяжело... Теперь я ожил... Долинский дал мне инструкции, к вам я приехал за другими... С завтрашнего дня начинаю тщательные полицейские розыски и не будь я Савин, если не выведу их всех на чистую воду. Жениха вашего сделаю чище хрусталя... Это возмутительная история.

– Не правда ли?

– Положительно.

– Я вам сообщу еще некоторые соображения, но позвольте мне познакомить вас с хозяйкой этой квартиры, матерью Дмитрия Павловича Сиротинина, Анной Александровной.

– Сочту за честь и удовольствие.

Елизавета Петровна вышла и через несколько минут вернулась вместе с Сиротиной.

– Вот, Анна Александровна, позвольте вам представить Николая Герасимовича Савина, который, как вы знаете, был так добр, что взялся помочь нам в нашем общем горе...

Анна Александровна протянула руку и крепко пожала руку Савина.

– Уж не знаю, батюшка, как и благодарить вас... Помогите вам Бог, век за вас буду молиться Пресвятой Владычице Божьей матери...

– Помилуйте, сударыня, я только что сейчас объяснил Елизавете Петровне, что меня самого крайне интересует это дело и, наконец, каждый из нас, если может, обязан помочь ближнему в несчастье...

– Ох, не все так думают в наше время, не все... – печально покачала головой Сиротина, сидевшая на диване.

Елизавета Петровна начала сообщать Николаю Герасимовичу свои соображения, не скрывала от него смущения молодого Алфимова, при котором она высказала свое мнение о совершенной в банкирской конторе растрате,

а также и о том, что Иван Корнильевич ухаживал за ней и мог быть заинтересован в аресте и обвинении Дмитрия Павловича как в устранении счастливого соперника.

– Он, видимо, не ожидал, что я буду на его стороне, и был поражен, когда я высказала решение даже в случае его обвинения, обвиняться с ним и следовать за ним в Сибирь...

– Да, да, это очень важно... На этой истории скорее всего можно их изловить.

– Я и сама так думаю...

Николай Герасимович передал Елизавете Петровне совет Долинского поехать завтра завтракать к Кюба, где он может встретить всю эту компанию.

– Это хорошо, это будет иметь вид случайного возобновления знакомства и не возбудит с их стороны подозрения.

– То же самое говорил и Сергей Павлович... Великие умы сходятся... – пошутил Савин.

Дубянская грустно улыбнулась.

– Несчастье изощряет женский ум...

– О, как вы правы, и именно тогда, когда мужчина падает духом, женщина начинает работать мыслью.

Получив еще некоторые необходимые сведения по делу, Николай Герасимович простился и уехал.

Скоро в квартире Сиротининых были повсюду потушены огни.

Но это еще не доказывало, чтобы все спали.

Анна Александровна, действительно, часик вздремнула, но затем, одолеваемая думами о сыне, ворочалась с боку на бок.

Со дня ареста Дмитрия Павловича Анна Александровна проводила таким образом все ночи.

Не спала и Елизавета Петровна.

Она, напротив, забылась лишь под утро.

Всю ночь напролет обдумывала она возможность выхода из того положения, в которое попал любимый ею человек, соображала, комбинировала.

Теперь она волновалась, как начнет Савин свою трудную миссию.

От удачного начала зависит многое.

Николай Герасимович между тем в виду все-таки проведенной им не с таким удобством, как дома, ночи в дороге, спал, как уби-

тый.

Во втором часу дня он входил в общую залу ресторана Кюба, на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка.

– Ба!.. Савин!.. – раздался возглас с одного из столиков, б то время, когда Николай Герасимович не успел еще и приглядеться к находящимся в ресторане. – Какими судьбами?..

Савин оглянулся на возглас и улыбнулся. Рыба сама шла в сетку.

За столом сидели барон Гемпель и Григорий Александрович Кирхоф.

Николай Герасимович пожал руку первому и внимательно посмотрел на второго.

– Опять в Петербурге? – спросил барон. – Вы не знакомы? – указал он на Кирхофа.

– Как будто встречались за границей, – заметил Савин.

– Григорий Александрович Кирхоф.

– Киров... Кирхоф, – повторял Николай Герасимович и настоящую, и измененную фамилию Григория Александровича. – Кажется, в Париже?..

– Угадали, в Париже, – заметил смущенно Кирхоф. – Очень приятно.

Выражение его лица красноречиво говорило, что это «очень приятно» было сказано далеко не от чистого сердца.

– Ты один? Садись, – сказал между тем барон Гемпель. Николай Герасимович присел к столику.

– Думаешь по утрам кормиться здесь? Хвалю... Лучше завтраков не найдешь в Петербурге.

– Нет, я так, случайно...

– Ты был в Москве?

– А, несколько месяцев.

– Не встречал ли Неелова? Он тут сбежал из Петербурга с одной прехорошенькою штучкой.

– Не только встречал, но даже и повенчал его с этой штучкой.

– Повенчал! Ха, ха, ха! Это интересно. Вот чего не ожидал от Владимира... Мы думали здесь, что он живо удерет от нее, а она возвратится вспять под кров родительский.

Гемпель продолжал от души смеяться.

– Теперь удрать от нее ему не сподручно... Он без ноги.

– Как без ноги? Час от часу не легче... Же-

нат и без ноги... Два несчастья сразу, и не разберешь, какое из них хуже... Ну, ты ему дал жену, а кто же у него отнял ногу?

– Долинский.

– Это адвокат?

– Он самый.

– Как так?

– Прострелил ее на дуэли.

– Та, та, та... Ведь этот Долинский был влюблен в эту нееловскую штучку, в Селезневу.

– Кажется, но он вел себя по-рыцарски... Он мог бы убить его, а только ранил... Стреляет он восхитительно...

– Неелов тоже не даст промаха в туза.

– А тут дал.

– Да расскажи толком, все по порядку...

Лакей подал первое блюдо завтрака.

Николай Герасимович принялся за еду, что, впрочем, не помешало ему довольно обстоятельно рассказать свою встречу с Нееловым и Любовь Аркадьевною, приезд Долинского и Елизаветы Петровны Дубянской, бегство Неелова из Москвы, дуэль в его усадьбе и оригинальную свадьбу тяжело раненого.

И Гемпель, и Кирхоф слушали все это с величайшим вниманием и видимым интересом.

– Надо впрыснуть здоровье новобранных, – заметил барон Гемпель.

Подозвав слугу, он приказал заморозить бутылку шампанского.

– Ты познакомился, значит, с Елизаветою Петровною Дубянскою? – сказал, между прочим, барон Гемпель, когда первая бутылка шампанского была распита и завтракающие принялись за вторую, потребованную Савиным.

– Да, очень милая девушка, а что?

– Она тоже ведь героиня романтической истории...

Николай Герасимович наострил уши.

– Вот как, какой? – сказал он деланно равнодушным тоном.

– Ты разве не слыхал о растрате сорока тысяч рублей в банкирской конторе «Алфимов и сын»?

– Что-то, кажется, читал, но не обратил внимания...

– Так видишь ли, в растрате обвиняется

кассир... – повторил Гемпель.

– Ну, ну...

– В него влюблена была эта самая Дубянская, бывшая компаньонка Любовь Аркадьевны Селезневой.

– Вот как?..

– А в нее, в свою очередь, влюбился по уши Иван Корнильевич Алфимов, сын Корнилия Потаповича Алфимова, нашего финансового туза и гения, и совладелец с ним банкирской конторы «Алфимов и сын», где была произведена растрата кассиром, соперником молодого хозяина...

– Это интересно, совсем банкирский роман...

– Вот теперь и неизвестно, виноват ли на самом деле кассир, или это подстроено, чтобы устранить его с дороги к сердцу молодой девушки и очистить эту дорогу для банкирского сына.

– Ужели это возможно?

– А ты откуда свалился, что находишь, что это невозможно... Тут, брат, вмешался наш «общий друг», – барон потрепал по плечу Кирхофа.

– Какой такой? – спросил Николай Герасимович, между тем как Григорий Александрович укоризненно посмотрел на Гемпеля.

– Ишь ведь у тебя язык-то, как только тебе попадет лишний стакан шампанского... – заметил Кирхоф.

– Ну, что из этого, ведь Савин свой... – оправдывался барон.

– Какой же это ваш общий приятель? Может быть, и мой?.. – повторил Савин.

– Не знаю, знаешь ли ты его? Граф Стоцкий...

– Я знал в Варшаве одного графа Стоцкого... Сигизмунда Владиславовича...

– Он самый... Такой, брат, человек, что другого человека наизнанку выворотит, все рассмотрит, опять выворотит и с миром отпустит... Каждого вокруг пальца обернет, так что он и не опомнится...

– Вот какой он стал... – удивился Николай Герасимович. – Я его не знал таким. Впрочем, он тогда был моложе... Красавец собою?

– Да, недурен...

– Да что я говорю... Помните в Париже, вы увидели у меня его портрет, – обратился Са-

вин к Кирхофу, – и тогда же пересняли, сказав, что он напоминает вам вашего брата или родственника, не помню уже?..

– Да, да, припоминаю... – уже совершенно смущенно подтвердил Григорий Александрович.

– Где он живет?.. Мне так бы его хотелось видеть... Нам многое с ним можно вспомнить из дней невозвратной юности...

– Он живет на Большой Конюшенной. Барон Гемпель назвал номер дома и квартиры.

– Сейчас же после завтрака поеду к нему, – сказал Николай Герасимович.

– Едва ли вы его теперь застанете... Если он не приехал сюда, значит уехал куда-нибудь по делу, – как-то странно заторопился Григорий Александрович Кирхоф.

– Ну, не застану, так не застану... Узнаю, когда он будет дома.

Вторая бутылка шампанского была опорожнена, и собеседники вышли из-за стола, а затем и из ресторана.

## Неожиданный помощник

— Пройдемтесь, мне с вами надо перегово-  
рить, — шепнул Кирхоф Савину, когда  
они одевались в передней ресторана.

Николай Герасимович не удержался от до-  
вольной улыбки.

Начало дела шло блестящим образом.

Один спьяна проболтался более, чем следо-  
вало, другой, видимо, смущен и прямо лезет в  
петлю, которую, если заблагорассудится, мо-  
жет накинуть на него он, Савин, накинуть и  
затянуть.

Это не помешало Николаю Герасимовичу  
окинуть говорящего вопросительно-недоуме-  
вающим взглядом.

Савин оставил экипаж в распоряжении  
Мадлен де Межен и пришел к Кюба пешком.

По выходе из ресторана барон Гемпель сел  
в свою изящную эгоистку и укатил, простив-  
шись с Кирхофом и Савиным.

— На улице говорить неудобно, не проедете  
ли вы ко мне? — заискивающе начал Григо-

рий Александрович, жестом приглашая Николая Герасимовича сесть в поданную уже к подъезду ресторана изящную полуколяску, запряженную кровным рысаком.

– Простите, но я хотел заехать к графу.

– Именно раньше мне надо переговорить с вами... по поводу Стоцкого, – спешно перебил Кирхоф.

– Что такое? Что с ним?

– Ничего особенного, но поверьте, вы узнаете много интересного и не пожалеете о подаренном мне часе.

– Вы дразните мое любопытство... Извольте... Поедьте.

Савин ловко вскочил в экипаж.

За ним уселся Григорий Александрович.

Когда они через каких-нибудь полчаса уже сидели в кабинете Кирхофа, последний начал таинственно:

– Вы хотели ехать сейчас, Николай Герасимович, к графу Сигизмунду Владиславовичу Стоцкому, чтобы повидаться со своим товарищем юности?

– Да... Но в чем же дело? – нетерпеливо сказал Савин.

– Вам не придется повидать его.

– Почему? – широко раскрыл глаза Николай Герасимович.

– Потому, что он не тот, который изображен на вашем портрете. Между ними нет никакого сходства.

– Странно... Ужели такое совпадение имени, отчества и фамилии и, кроме того, насколько мне известно, молодой граф Стоцкий был последний представитель своего рода.

– Действительно, других графов Стоцких нет. И этот один...

– Куда же девался другой?

– Его нет в живых.

– Послушайте, это становится интересным...

– И, несмотря на это, я попрошу вас ограничиться только этими сведениями, – заметил Кирхоф.

– Вы смеетесь надо мной... Нет, я это дело разужнаю.

– Напрасно... вы мне нанесете этим большой ущерб, а себе не доставите никакой прибыли, кроме удовлетворения праздного любопытства.

– Какое тут праздное любопытство! – воскликнул Савин. – Товарищ и друг моей юности оказывается подмененным... Его нет в живых, а по Петербургу гуляет другой граф Стоцкий, быть может, самозванец, воспользовавшийся бумагами покойного... Хорошо праздное любопытство!

– Допустим даже, что вы были близки к истине. Что же из этого?

– Как что? Надо уличить негодяя, сорвать с него маску.

– Зачем?

– Зачем? Зачем?.. Да хотя бы в память покойного...

– Ведь этим вы его не воскресите.

– Понимаю, но...

– И нет тут никаких «но»... Если же вы будете молчать до поры до времени, я даже не прошу молчания навсегда, то... Вот что, я не так прост, как выгляжу. Я следил за выражением вашего лица, когда говорили о деле этого кассира Сиротинина, и понял, что, несмотря на то, что вы небрежно уронили: «Читал что-то в газетах», – вы интересуетесь этим делом. Отвечайте же прямо, правда?

– Положим, что правда.

– Тогда согласиться на мое предложение вам прямая выгода... Я буду весь к вашим услугам и сообщу вам поболее, чем этот болтун Гемпель, который в сущности ничего не знает... Слышал, что называется, звон, да не знает, где он...

– А вы?

– Я в курсе этого дела и могу помочь в нем, а главное, доставлю вам помощь и графа Стоцкого...

– Его помощь!

– Да...

– Каким же образом?

– Да все равно... Ведь вы неизбежно столкнетесь с ним в Петербурге, в нашем кружке, но мне хотелось бы, чтобы представил вам его я... Будете вы молчать или не будете, он все равно в ваших руках.

– Почему?

– Потому что он знает, что вы знали настоящего графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

– Откуда ему это известно?

– Это сказал ему я.

– Вы?

– Да, я... Я имею в силу этого над ним власть и вас я прошу только не разрушать ее, ничуть не посягая со своей стороны на вашу... Вертите им, как хотите...

– А если я не соглашусь?

– Тогда мы оба, и граф и я, погибнем, не принеся вам никакой пользы... Сиротинин будет обвинен и сослан.

– Хорошо, – после некоторой паузы сказал Николай Герасимович, – я согласен. Вот моя рука... Но одно условие...

– Хоть десять, – отвечал Кирхоф, крепко пожимая руку Савина.

– Расскажите мне всю суть этой истории с растратой и с Сиротининым...

– Извольте...

– Я вас слушаю...

– Молодой Алфимов находится всецело в руках графа Стоцкого... Он эксплуатирует его и вертит им, как хочет... Молодой человек ведет большую игру, принимает участие в кутежах, а между тем его средства очень ограничены.

– Как ограничены?.. Но он миллионер...

– Да, действительно, отец его очень богат, и у него самого отдельное громадное состояние.

– Как же так?

– Но его капитал находится в деле отца, который платит ему ограниченное жалованье и держит вообще в черном теле.

– Ага... – протянул Савин.

– Кроме того, в последнее время Иван Корнильевич без ума влюбился в компаньонку бежавшей Селезневой Елизавету Петровну Дубянскую... Это его отвлекало от кутежей, но играть он продолжал, надеясь отыграться... Долгов у него много, и понятно, что он, вероятно, по совету графа Стоцкого, повыудил из кассы конторы деньги, а для того, чтобы отвести от себя подозрение, поручал изредка ключ Сиротину, его счастливому сопернику в любви к Дубянской...

– Хороша махинация...

– И, несомненно, придуманная графом Сигизмундом... Молодой Алфимов до этого не додумался бы вовек... Впрочем, это все только мое предположение. Так ли это было на самом деле, я не знаю, но думаю, что оно похо-

же на правду...

– Это сама правда...

– Имея в руках эти данные, вам надо будет действовать на графа Стоцкого и воспользоваться его влиянием на молодого Алфимова.

– В каком смысле?

– Чтобы тот сознался во всем отцу... Отец может и не начать против него дела, а Сиротинин будет свободен.

– Да, да, это так... – задумчиво согласился Николай Герасимович.

– Но, повторяю, во всем этом я буду вашим деятельным помощником только при одном условии, что сам представляю вас его сиятельству.

Он подчеркнул умышленно титул.

– Когда же это представление состоится?

– На днях в одном злочном месте Петербурга будет вечер по случаю совершеннолетия будущей жрицы любви...

– Вот как, в каком же это месте?

– У полковницы Усовой. Ее дочери исполнилось недавно шестнадцать лет. Мать хочет показать этот свежий товар своим знакомым. Вы не знаете Капитолину Андреевну?

– Не имею понятия... В мое время такой не было.

– Любопытная дама, и не менее любопытный дом... Я поведу вас на этот вечер, и там вы встретите и графа Стоцкого, и других действующих лиц интересующей вас истории.

– Будет и молодой Алфимов?

– Нет, едва ли... Будет старик, претендент на распускающийся цветок... Граф Сигизмунд ревниво охраняет от встречи отца и сына на одной дорожке.

– Ну, делишки же у вас, занятные... Хорошо, я согласен... Когда вечер?

– Через два дня.

– Это не долго.

Они перешли к воспоминаниям о парижской жизни, и затем Николай Герасимович простился и уехал.

«Ура! Победа!» – чуть не вскрикнул он, сходя с лестницы дома, в котором занимал квартиру Кирхоф.

В тот же вечер Николай Герасимович успел побывать у Долинского и у Дубянской, сообщив им о счастливом начале дела.

Елизавета Петровна вдвойне порадовалась

этому, так как день этот принес ей именно двойную радость.

Утром она имела первое свидание с Дмитрием Павловичем Сиротининым, любезно разрешенное ей, в качестве невесты обвиняемого, судебным следователем, которому она, хотя и не официально, не в форме показания, успела высказать все, что у нее было на душе по поводу дела Сиротинина.

Судебный следователь выслушал ее сочувственно, но воздержался выразить свое мнение.

Свидание состоялось в конторе дома предварительного заключения.

Дмитрий Павлович уже от матери знал о неизменившихся к нему отношениях любимой девушки, и это известие действительно утешило его в его невольном одиночестве.

Он и так, надо сказать, безропотно переносил заключение, тем более, что по распоряжению прокурорского надзора, вследствие ходатайства судебного следователя, ему было разрешено чтение и письмо; теперь же убеждение, что самые дорогие для него лица не считают его виновным, еще более успокоительно

подействовало на его нервы.

Он вышел к Дубянской спокойный, почти веселый.

Помощник смотрителя, зная из предъявленного Елизаветой Петровной разрешения следователя, что свидание происходит между женихом и невестой, галантно уселся за стол в другом конце комнаты и углубился в книгу, делая вид, что совершенно не интересуется их беседой.

Да и интересоваться было нечем.

Как это ни странно, но в то время, когда общественное мнение было всецело за виновность Дмитрия Павловича Сиротинина в растрате конторских сумм, в доме предварительного заключения, начиная с самого смотрителя и кончая последним сторожем – все были убеждены, что он невиновен.

Таким образом, ничего обличающего обвиняемого, как это было в других делах, из беседы заключенного с посетителями начальство ожидать не могло.

– Лиза, ты... – протянул молодой девушке обе руки Сиротинин.

– Я, милый, я, дорогой...

– Я не знаю, как благодарить тебя...

Он нагнулся и приник к ее рукам, покрывая их горячими поцелуями.

Она почувствовала, что на ее руки капнуло несколько горячих слезинок.

– Ты плачешь... – вздрогнула она. – О чем?.. Видишь, я не плачу, а надеюсь и жду... Я – женщина...

– Ничего, ничего, Лиза, – потрянул он головой, – это не беда, это слезы радости... В общем, я спокоен.

– И должен быть спокоен, так как, во-первых, ты прав, а, во-вторых, все скоро выяснится...

– Что выяснится?

– Твоя невиновность.

– Это невозможно... Я сам знаю, что не виноват, но если бы был своим собственным судьей, то обвинил бы себя... Более обвинить некого...

– Как знать...

– Лиза, – вдруг сделавшись необычайно серьезным, сказал Дмитрий Павлович, – если у тебя такая мысль, на которую намекнул мне следователь, то оставь эту мысль... Это невоз-

можно даже допустить...

– Значит, следовательно намекнул тебе на возможность виновности молодого Алфимова?

– Да... – скорее движением губ, нежели языком, сказал Сиротинин. – Но почему ты знаешь?

– Очень просто, потому что это и моя мысль. Что я говорю, мысль! Мое твердое, непоколебимое убеждение.

– Лиза!.. – тоном упрека остановил ее Дмитрий Павлович.

– Что тут Лиза... Я давно Лиза... Не одна я в этом убеждена...

– Не одна ты...

– Да... Мое мнение разделяет Долинский и Савин...

– Савин... Это который недавно судился?

– Да.

– Откуда ты его знаешь?

В коротких словах рассказала Елизавета Петровна Сиротинину все случившееся в последние дни, побег Селезневой, поездку ее в Москву и знакомство там с Николаем Герасимовичем.

– Потому-то я так долго и не была у тебя... Я ничего не знала, не читала в хлопотах и газет... По приезде я получила письмо от твоей мамы, а ее рассказ поразил меня, как громом... Я прямо от нее бросилась к Сергею Павловичу.

Она передала Дмитрию Павловичу сущность беседы с адвокатом, совет его поручить дело Савину, согласие последнего и приезд его в Петербург.

– Дорогие мои, из этого ничего не выйдет... Такое подозрение и бессмысленно и возмутительно, – сказал Сиротинин.

– А для нас всех, а также, говоришь ты, и для судебного следователя, которому я сегодня высказала все свои соображения...

– Ты?

– Да, я... Для нас всех, повторяю я, это даже не подозрение, а полная уверенность...

– Это невозможно... Он такой душевный человек...

– Весьма возможно, что он орудие в руках других, и это даже вернее всего... Ясно одно, что деньги взял он...

– Нет.

– Значит взял их ты! – вспыхнула Дубянская.

– Лиза!

– Ты не брал, значит взял он... Да что говорить об этом, ведь поверишь же ты, когда он сам в этом сознается?

– Он... сам... сознается... Голубчик, ты... расстроена...

– Пусть... Считай меня хоть помешанной, а я говорю тебе, что он сам сознается... Его доведут до этого... Его заставят...

– Если он сознается, то, конечно, я поверю... Но не иначе...

– Иначе и не может быть...

– Страшное затеяли вы дело...

– Чего же тут страшного?.. Отыскивать правду?.. Страшное было бы дело, если бы ты был обвинен и сослан...

– Это так и будет...

– Посмотрим... Для моих отношений к тебе это все равно... Никакой приговор суда меня не убедит в твоей виновности... И в Сибири я буду любить тебя точно так же, как люблю тебя теперь...

– Это для меня выше всех оправданий...

– Напрасно... Я хлопочу не для себя и даже не для тебя... Я хлопочу из-за торжества правды... Правда для человека должна быть выше всего...

– Даже выше любви?

– Не выше, так как в любви должна быть прежде всего правда...

– О, ты моя дорогая энтузиастка! Я рад, что ты утешаешься этой иллюзией и поддерживаешь мою мать... Она стала куда бодрее... Благодарю тебя...

Назначенный срок свидания миновал, и они расстались.

В тот же день вечером, как мы знаем, Николай Герасимович принес Елизавете Петровне утешительные вести.

Через несколько дней на вечере у полковницы Усовой состоялось знакомство Савина с Сигизмундом Владиславовичем Стоцким.

## XII

### В летнем саду

В конце сентября часто выдаются в Петербурге великолепные дни. Кажется, что природа накануне своего увядания собирает с силами и блещит всею роскошью своих дивных красок. Даже сады Петербурга – эти карикатуры зеленых уголков – красуются яркою зеленью своих деревьев, омытой осенним дождичком, и как бы подбодренной веющей в воздухе прохладой. Таким осенним прощальным убором красовался Летний сад.

Был воскресный день, третий час пополудни.

Графиня Надежда Корнильевна Вельская шагом прогулки шла по средней аллее сада.

Доктор прописал ей моцион, и она ежедневно, по возвращении в город в половине сентября, ездила в Летний сад и два или три раза проходила его.

Эти прогулки составляли даже развлечение в ее скучной, однообразной жизни, среди обстановки того иногда настоящего, а зача-

стю кажущегося, злата, через которое, по выражению русской песни, льются еще более горькие слезы.

Вдруг с одной из скамеек поднялась и пошла навстречу графине скромно одетая дама, в которой Надежда Корнильевна узнала тетку Ольги Ивановны Хлебниковой – Евдокию Петровну Костину – за ней следовал ее муж Семен Иванович.

После таинственного исчезновения Ольги Ивановны и не менее загадочного письма ее к графине, последняя так и не могла добиться, куда скрылась беглянка и какие причины руководили ее внезапным исчезновением.

По сообщению графа, Ольга Ивановна уехала из Петербурга в Москву, вероятно, к родителям, так как вскоре после ее бегства ее отец отказался от места управляющего в Отрадном и переехал на жительство в первопрестольную столицу.

Занятая своим горем молодая женщина – и в этом едва ли можно винить ее – забыла о своей подруге, тем более, что, как помнит, вероятно, читатель, объяснила ее исчезновение возникшим в сердце молодой девушки чув-

ством к графу, что отчасти подтверждал и смысл оставленного письма.

Вид родственников подруги, однако, снова вызвал воспоминание о ней, сомнение в верности истолкования ее поступка и желание узнать истину.

Графиня и Евдокия Петровна обменялись радостными приветствиями.

– Восхитительный день, и нельзя в этот день не погулять... – застенчиво, и как бы извиняясь, сказал Костин, почтительно снимая шляпу. – Вот мы с женой и пришли в Летний сад, хотя Таврический от нас ближе... Но там уже теперь сделалось сыро...

– Я тоже гуляю, но охотно посижу поболтаю с вами, – сказала Надежда Корнильевна.

Они все трое возвратились к скамейке и уселись на нее.

– А что моя Оля? Что она подделывает? – спросила графиня. – Я не знаю о ней ничего со дня ее странного отъезда... Говорят, она в Москве...

– О, как она несчастна! – воскликнула Костина. – И как бесчеловечно было лишать ее счастья всей жизни.

– Что вы говорите... Оля несчастна... Почему?

– Дуня, перестань... Разве можно! – остановил Евдокию Петровну муж.

– Оставь, Семен! Не раздражай меня! – вскричала упрямо Костина. – Ты должен понимать, в каком я состоянии... Я должна все сказать графине.

– Конечно, конечно, расскажите, моя дорогая.

– Так вы, значит, не знаете, что Оля была загублена в вашем доме и теперь она живет в Москве, в монастыре и решила посвятить себя Богу. Я и ее мать говорили с ней по душе, но она отказалась назвать имя своего обольстителя... Ну, да мы-то все равно его знаем...

– Дуня! – молил ее муж.

Графиня Надежда Корнильевна глядела на говорившую широко открытыми глазами.

Судорога внутреннего волнения передергивала ее губы.

– Оставь меня, Семен! Я, разумеется, не назову имени человека, прежде, чем расскажу, почему я его подозреваю! Когда Оля жила у

вас, она познакомилась с некоей Левицкой, молодой девушкой, которая затащила ее в известный притон на Васильевском острове к полковнице Усовой. Не сдобровать бы уж ей и тогда, но спасибо добрый человек Ястребов разъяснил нам, в чем дело, и муж вовремя поехал к Усовой и застал Олю с глазу на глаз с...

– Дуня!.. – вскрикнул опять Семен Иванович.

– Да оставь же меня, Семен! Ты вредишь моему здоровью!.. Ну, тогда-то ничего не вышло у них, а вот в тот же день, когда у вашего батюшки был бал, супруг ваш ухаживал за Олей, и кончилось тем, что она на другой день должна была бежать... Сама она его не назвала, но догадаться было легко...

– Нет, это невозможно! – воскликнула графиня, бледнея.

– Так зачем же граф присылал ей письмо графа Стоцкого, а когда она прослушала чтение этого письма, где только и говорилось, что о любви к вам, она упала в обморок... Что вы об этом думаете?

Надежда Корнильевна молчала.

– Исхудала она еще и здесь до неузнавае-

мости и несколько дней тому назад, как уехала в Москву, в Никитский монастырь... Там монахиней одна ее подруга.

«Нет, нет! – думала графиня. – Этого быть не может! Граф Петр человек испорченный, но он не лицемер! Ведь именно в тот день...»

После этого разговор не клеился.

Все сидели молча.

Сама Костина поняла всю неловкость своей откровенности и прикусила язык.

Семен Иванович кидал то укоризненные взгляды на жену, то сочувственные – на графиню и покачивал головой.

Наконец последняя встала и, простившись с Костиными, пошла к выходу.

Ей было не до продолжения прогулки.

В то время, когда графиня Вельская беседовала с Костиными в Летнем саду, муж ее сидел с графом Стоцким дома и толковал с ним о делах.

Граф взволнованно шагал взад и вперед по комнате.

Сигизмунд Владиславович, попивая шампанское, подводил по книгам счета и когда кончил, объявил, что для графа Петра Васи-

льевича осталось одно спасение: сократить расходы по дому и удвоить игру, а для этого уехать за границу.

Граф Вельский все-таки еще любил жену, да и все лучшие его чувства восставали против этих мер.

Но граф Стоцкий умел управлять его слабой волей с дьявольским искусством.

Он убедил его во всем и предложил даже переговорить с графиней вместо него.

– Тебе тяжело будет объясниться с ней...

– Да, голубчик, я даже не знаю, как приступить...

– Ну, вот, видишь, а я знаю, и все обделаю к общему благополучию.

– Выручай и тут, дружище...

Граф Петр Васильевич позвонил.

– Графиня дома? – спросил он вошедшего лакея.

– Их сиятельство только что возвратились с прогулки.

– Итак, я пойду... Миссия из неприятных, но чего я не сделаю для тебя как искренний друг... – сказал граф Сигизмунд Владиславович.

– Благодарю тебя...

– Подожди меня... Я скоро возвращусь... Вели подать еще бутылку...

Когда графине доложили о желании графа Стоцкого ее видеть, она раздражительно сказала:

– Просите!

Она дала слово мужу не отказывать в приеме этому ненависти ному для нее человеку и держала это слово.

Графиня Надежда Корнильевна встретила графа Сигизмунда Владиславовича с тем же плохо скрываемым отвращением, которое всегда внушало ей плотское чувство, сказывавшееся в его глазах в ее присутствии.

Он заметил это и с горькой улыбкой произнес:

– Кажется, мне никогда не удастся победить ваше отвращение ко мне, графиня... А между тем клянусь, никто не любил вас и не любит вас так, как я!..

– Перестаньте говорить об этом, граф! – воскликнула она с гордым негодованием. – Или, несмотря на просьбы мужа, я не стану вас больше принимать!..

– Повинуюсь, графиня, но будет время, что вы заговорите со мной иначе! Погибель налетает быстро! Теперь же я являюсь по поручению вашего супруга, спросить вас, не огорчит ли вас его намерение в скором времени прокатиться с друзьями за границу;

– Муж мой хорошо сделал, что выбрал вас посредником, а то мне пришлось бы в лицо сказать ему, что он напрасно лицемерит, спрашивая мое мнение. Мне пришлось бы назвать ему имя девушки, которое заставило бы его покраснеть... А теперь, по крайней мере, все ясно, каковы его поступки, таковы и друзья!.. То же, что он прислал именно вас, еще ярче оттеняет ту непроходимую пропасть, которая залегла между нами обоими.

– Вы опять, как всегда, несправедливы ко мне, графиня, – начал было граф Стоцкий...

– Довольно, передайте моему мужу, что он может уезжать когда и куда он хочет.

– Позвольте, графиня, мне все же объяснить вам. Если я согласился явиться к вам от его лица, то только ради того, чтобы избавить вас от тяжелой сцены. Не скрою от вас, что граф Петр сильно сомневается в вашей добро-

детели и, приди он сюда, при малейшем противоречии с вашей стороны он, со свойственной ему вспыльчивостью, мог бы забыться.

– И сомнение это раздули в нем вы! – горько улыбнулась графиня Надежда Корнильевна.

– Вы отгадали, графиня. Я счел своим долгом выяснить ему тот обман с медальоном, которому он подвергся на недавнем празднике у вашего отца.

– Вполне похоже на ваш благородный характер.

– Мною руководила одна безумная страсть к вам, графиня.

– Замолчите, нахальный человек! – вскричала она. – Это не откровенность, а цинизм! Вы говорите мне только потому, что уверены в слабых характеристиках моего мужа, хотя отлично знаете, что да всегда была и всегда останусь верна своему долгу.

– А я клянусь вам, что настанет день, когда вы будете моей! – воскликнул вне себя граф Стоцкий.

– Скорее смерть! Никогда!

– Раз я захотел, то это будет... А что касает-

ся Ольги Ивановны Хлебниковой, то я не сообщил вам о ней, единственно боясь вас огорчить.

– О, раз вы признали виновность моего мужа, я готова отрицать ее.

– Отрицайте, если вам нравится, но факт останется фактом, – отвечал, нахально улыбаясь, граф Сигизмунд Владиславович.

– Довольно... Я хочу остаться одна... Передайте моему мужу, что я сказала: когда и куда угодно.

– Хорошо, графиня, передам, – злобно улыбнулся он и вышел.

– Все в порядке... Графиня объявила: когда и куда угодно... – смеясь сообщил графу Вельскому Сигизмунд Владиславович.

– Так и сказала? – побледнел тот.

– Так и сказала... Теперь постарайся запасть в достаточном количестве наличными.

– Еще хватит...

– Я буду сам это время хлопотать о том же самом, потому что ты едва ли в состоянии меня выручить...

– Как тебе не стыдно, Сигизмунд! Разве между нами возможен вопрос о каких-нибудь

ничтожных нескольких тысячах? Бери у меня всегда сколько захочешь...

– Ты настоящий друг... Благодарю тебя...

– Да полно... Что за пустяки...

– Однако, я тебя выручил сегодня вдвойне, пойдя за тебя объясняться с графиней... Она сегодня раздражена более обыкновенного.

– Отчего?

– Кто-то ей шепнул о твоём мимолетном увлечении.

– Каком?

– С Ольгой Ивановной...

Граф Вельский побледнел, а затем покраснел.

– Но, клянусь тебе...

– Не клянись... Все равно не поверю.

– Послушай, Сигизмунд...

– И слушать не хочу...

– Это, наконец, возмущает меня... – вспыхнул граф.

– Возмущайся сколько хочешь...

– Но ведь это такая мерзость, обвинить человека в том, в чем он не повинен ни сном, ни духом.

– Ха, ха, ха!.. – гомерически расхохотался

граф Стоцкий.

– Сигизмунд, я с тобой серьезно поссорюсь...

– Из-за девчонки...

– Но повторяю, клянусь тебе...

– А я повторяю тебе: клянись, не клянись, а я видел своими собственными глазами, как ты за ней ухаживал в этот вечер, а, проходя мимо трельяжа, за которым вы с ней скрылись, совершенно случайно, видит Бог, случайно, подслушал, как ты ей назначал свидание в отведенной ей комнате.

– Все это правда...

– Вот, видишь ли...

– В то время я был рассержен на жену за медальон...

– А потом?..

– А потом я провел время после бала с женой...

– Почему же твоя жена не верит в это?

– Не знаю...

– Ты неопытный подсудимый... Ну, да Бог с тобой... Я перестал бы тебя уважать, если бы ты упустил случай воспользоваться влюбленной девчонкой... Свиданье было назначено...

Ты пошел...

– Свидетель Бог, не ходил...

– Послушай, ты, кажется, считаешь меня совсем дураком... Кто же был у нее?

– Не знаю...

– Ведь не я же?.. Только я один знал место вашего свидания, но ведь я не из гастрономов в этом смысле, ты меня знаешь...

– Я недоумеваю...

– Ну, будь по-твоему... – махнул рукой Сигизмунд Вядиславович. – Главное, графиня, как и я, убеждена, что это твое дело, и поэтому, понятно, негодует...

– Это ужасно!

– Что же ужасного?

– Как мне разубедить ее?

– Это трудновато, да я не вижу в этом необходимости...

– Но как я ей буду глядеть в глаза?

– Избегай ее... После же путешествия за границу, время сделает свое дело, и все забудется...

– Нет, мне надо оправдаться во что бы то ни стало...

– Напрасный труд... Она не станет тебя слу-

шать... Она сказала мне, что ты ей сделаешь большое удовольствие, если не будешь показываться ей на глаза...

– Она сказала это?..

– И добавила, что тоже самое касается и меня... – со смехом закончил граф Стоцкий.

– Вот как!.. Это другое дело.

– Так будь же благоразумен, и чем делать драму из твоей, в сущности, шалости...

– Опять!..

– Хорошо, хорошо, одним словом, из-за пустяков, так сделаешь лучше, если займешься устройством своих дел.

– Непременно, непременно... – рассеянно отвечал граф Петр Васильевич.

– А я поеду, мне еще нужно заехать места в два... – вставая, сказал граф Стоцкий.

Граф Вельский его не удерживал.

### XIII

## С глазу на глаз

На другой день после вечера у полковницы Усовой, в первом часу дня, Николай Герасимович Савин звонил у двери квартиры графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

Граф только что сделал свой утренний туалет и в изящном халате сидел за стаканом кофе и газетой в своем кабинете.

– Дома барин? – спросил Савин у отворившего ему дверь лакея с плутовской физиономией.

– Дома-с, но они не одеты...

– Не беда, что за церемония со старыми приятелями, – заметил Николай Герасимович, когда лакей снимал с него пальто.

– Как прикажете доложить?

Савин дал свою карточку.

– Пожалуйста в залу, – произнес лакей и удалился.

Савин прошел в залу, или, скорее, гостиную, комнату довольно больших размеров, но, несмотря на это, – она, заставленная и бу-

ковой, и мягкой мебелью, имела довольно уютный вид, и в ней царил, видимо, тщательно соблюдаемый порядок.

Над одним из диванов – турецким – был повешен на стене вышитый шелком ковер, изображавший в середине герб графов Стоцких, а на углах инициалы графа Сигизмунда Владиславовича под графской короной.

Николай Герасимович с невольною усмешкой посмотрел на эту вывеску родовитого хозяина.

«Настоящий граф не сделал бы этого», – мелькнуло в его голове.

В кабинете между тем происходила немая сцена. Взяв с мельхиорового подноса поданную ему лакеем карточку Савина, граф Сигизмунд Владиславович положительно остолбенел, бросив на нее взгляд.

«Начинается! – пронеслось в его уме. – И как скоро!»

Он вспомнил, что всю ночь отгонял от себя мысль о появлении Савина, не только знавшего, но и бывшего в приятельских отношениях с действительным владельцем титула графов Стоцких, отгонял другою мыслью,

что успеет еще на следующий день со свежей головой обдумать свое положение, и вдруг этот самый Савин, как бы представитель нашедшего себе смерть в канаве Сокольницкого поля его друга, тут как тут – явился к нему и дожидается здесь, за стеной.

Граф Стоцкий положительно растерялся и бессмысленно переводил глаза с карточки на стоявшего навтыжку лакея и обратно. Это длилось несколько минут, к большому недоумению слуги.

– Как прикажете, ваше сиятельство? – наконец нарушил тот молчание.

Граф молчал. Молчал и почтительный лакей, переминаясь с ноги на ногу.

– Одеваться... – наконец произнес с каким-то отчаянным жестом Сигизмунд Владиславович.

– Я им докладывал-с, что ваше сиятельство не одеты-с, так они говорят: ничего, что за церемонии между старыми приятелями.

– Гм... Между старыми приятелями... – повторил граф Стоцкий. – Если так, то проси.

– Слушаю-с.

Лакей вышел и затем, снова отворив дверь

кабинета, произнес:

– Пожалуйте...

Николай Герасимович вошел.

– Очень рад, очень рад, – встал и пошел ему навстречу граф Сигизмунд Владиславович.

– Извините, что побеспокоил так рано... Хотелось застать дома, – начал Савин.

– Помилуйте... Что за церемонии...

– Между старыми приятелями, – заметил Николай Герасимович. – Действительно, я хочу, но никак не могу признать в вас друга моей юности, графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

– Я самый и есть.

– Знаю, вы, да не вы... Нельзя так измениться... Он был совсем не похож на вас...

– Значит, это был другой, – деланно спокойным тоном отвечал граф.

– Не мог быть и другой, так как он был последний в роде. У меня есть его портрет. Кирхоф уверял меня, что он похож на его покойного брата, и даже в Париже переснял для себя.

– Я слышал от Кирхофа эту историю... Быть

может, он был по другой линии.

– Странно, странно... Но не в этом дело... Что мне до того, похожи ли вы, или нет на моего друга... Не правда ли?

Николай Герасимович пристально посмотрел на Сигизмунда Владиславовича.

– Собственно говоря... Конечно... – неуверенно произнес он.

– Важно то, что я знаю это, а остальное в моих руках... Не так ли?

– Я вас не понимаю, – смущенно заметил граф Стоцкий.

– И не надо... Быть может, вам и не придется меня понимать, чего я от души желаю. Я к вам, собственно, по делу.

– Чем могу служить?

– Так как вы такой полный тезка моего старого друга, полнее какого и быть не может, то мне почему-то думается, что вы не откажетесь оказать мне небольшую услугу.

– Вы друг моего друга Кирхофа, а друзья моих друзей мои друзья... – любезно отвечал граф Стоцкий.

– В таком случае, все обстоит благополучно, и вы окажете мне просимую услугу...

– Все, что в силах и средствах...

«Уж не думает ли он, что я явился потребовать от него отступного за молчание?» – мелькнуло в голове Николая Герасимовича, и он поспешил заметить вслух:

– В силах вы будете, а средств тут никаких не надо...

Из груди Сигизмунда Владиславовича вырвался невольно облегченный вздох, что подтвердило красноречиво предположение Савина:

– Я весь внимание...

– Заставьте молодого Алфимова сознаться в произведенной им растрате...

Видимо, не ожидавший ничего подобного и застигнутый совершенно врасплох, граф Сигизмунд Владиславович смертельно побледнел и даже откинулся на спинку кресла.

– Я... извините... ничего... не понимаю... – с расстановкой, дрожащим голосом, после довольно продолжительной паузы проговорил он.

– Полноте, граф... Не играйте со мной в темную, мы с вами с глазу на глаз, нас, надеюсь, никто не подслушивает, а потому мы мо-

жем говорить начистоту... Ведь то, что я вас даже наедине называю «граф», что-нибудь да стоит.

– Чего же вы от меня хотите?

– Вы слышали...

– Но я уверяю вас, что знаю это дело только по газетам и рассказам потерпевших...

– Вы хотите убедить меня в том, в чем убедить меня нельзя. Но ваша настойчивость доказывает, что вы не желаете исполнить мою просьбу... До свиданья... Пеняйте на себя... Я все равно, так или иначе, раскрою это дело, а заодно и много других...

Николай Герасимович встал.

– Позвольте, позвольте, куда же вы?! – вскричал и граф Стоцкий.

– Мне некогда терять время в пустых разговорах...

– Но какой вам интерес в раскрытии этого дела?

– Это до вас не касается... Я прошу, и этого достаточно...

– Вы знаете этого Сиротинина?

– Может быть... Но это все не относится к делу... Угодно вам исполнить мою просьбу?

– Да вы присядьте...

– Я спрашиваю...

– Но если я этого не в силах?

– Повторяю вам, что меня вам не обморочить... Молодой Алфимов пижон, глядящий из рук отца... Под вашим просвещенным руководством он вкусил от всех благ жизни, от вина, карт и женщин, это ему понравилось и он запустил свою лапу в отцовскую кассу... Это ясно и естественно... Сиротинин, в которого влюблена Дубянская, ему мешал, так как юноша тоже в нее влюбился, старый друг посоветовал ему оказывать кассиру доверие и давать иногда ключ от кассы, чтобы свалить при раскрытии растраты на него вину и устранить его с дороги к сердцу понравившейся молодой девушки... Это также, я думаю, и естественно, и ясно...

– Нет, последнего я ему не советовал, по крайней мере, в такой форме, – заявил Сигизмунд Владиславович, которого поразили имеющиеся в распоряжении Савина сведения.

– Вот так-то лучше, – улыбнулся Николай Герасимович и сел.

Сел и граф Стоцкий.

– В какой же форме советовали вы ему?

– Я узнал все уже в день ревизии кассы...

Ключ он давал без моего совета.

– Собственным умом дошел... Из молодых, да ранних, – заметил Савин. – Но это все равно... Необходимо, чтобы он сознался и невиновность Сиротинина была доказана... Вы это сделаете.

– Если смогу, извольте.

– Вы должны это сделать.

– Поймите, наконец, что если вы и правы, и я подал ему некоторые советы в этом деле, но ведь они клонились в его пользу, а не в ущерб. Человек склонен следовать таким советам, вы же желаете, чтобы я заставил его накинуть себе петлю на шею, не могу же ручаться я, что он согласится.

– Особенной петли я для него не вижу... Без желания отца он не будет даже привлечен к ответственности.

– Отец-то у него особенный... Он может и пожелать.

– Не думаю... Впрочем, ведь и он у вас в руках.

– Положим... – уже перестал отрицать граф

Сигизмунд Владиславович.

– Значит, все обстоит благополучно.

– Как знать...

– Я вам это предсказываю заранее... Но пусть будет по-вашему... Я вхожу в ваше положение, вам не хочется потерять ни одного из пижонов: ни отца, ни сына...

Граф Стоцкий сделал было жест протеста.

– Не возражайте, это так, будем разговаривать по душе... Можно сделать так, что вы не потеряете ни одного... Мне нет расчета вводить вас в убытки, а судьба Алфимовых для меня безразлична.

– Если это так, я к вашим услугам... – просиял Сигизмунд Владиславович.

– Ну, вот видите... Вы должны согласиться, что я знаю жизнь и людей...

– Приходится согласиться.

– Вам, понятно, неудобно предложить молодому Алфимову разрушить то самое здание, которое построено им при вашем содействии... Это вызовет с его стороны вопросы недоумения и, наконец, у него возникнет подозрение в вашей искренности, и он даже, сделав по вашему – не сделать он не посмеет,

у вас есть средство его заставить...

– Какое?

– Припугнуть навести на эту мысль отца...

– А-а...

– Но повторяю, тогда ваши отношения к нему будут окончательно испорчены, а между тем у него еще и после катастрофы останутся деньги, и большие деньги, которые всегда не минуют ваших рук.

– Позвольте... – вспыхнул было граф Стоцкий.

– Мы говорим по душе... – успокоил его Николай Герасимович.

– Это другое дело...

– Это вам невыгодно, и я это понимаю... Но есть другое средство, при котором вы останетесь по-прежнему его другом, наставником, покровителем, и даже он и его капитал будут всецело в ваших руках.

– Какое же средство?

– Не спешите... Я сейчас сообщу его вам...

Вы друг и его отца?

– Да, мы хорошие...

– Вас связывают с ним некоторые его старческие грешки... Вы не будете отрицать это-

го?

– Нет.

– При таких отношениях вы можете ему по-дружески намекнуть, что поведение его сына внушает вам опасение даже за его личное состояние и, между прочим, вскользь заметить, что и недавняя растрата дело рук его сына, а не Сиротинина... При этом вы возьмете с него честное слово, что это останется между вами... При ваших отношениях он просто побоится нарушить это данное вам слово.

– Но где же доказательства?

– Чудак вы человек! Я не хочу думать, чтобы вы не понимали, вы притворяетесь...

– Клянусь, не понимаю.

– Кто теперь заведует кассой?

– Сын...

– И она теперь вся в целости и сохранности?

– Не знаю...

– Полноте... Очень хорошо знаете... Ведь жизнь требует денег, а откуда же взять их молодому Алфимову, которому скряга-отец не дает даже распоряжаться его собственным капиталом, как не из кассы конторы.

– Он делает займы...

– Но их приходится покрывать... За них приходится платить проценты.

– Это верно... Что же дальше?

– Шепните старику, чтобы он теперь проверил кассу... Когда обнаружится, что кассир-сын также не из аккуратных, то старик, вследствие истории с ключем, поймет, кто виновник и первой растраты и, конечно, сейчас же подаст заявление следователю...

– Но Иван не сознается в первой растрате...

– Вот тут-то и будет ваше дело по-дружески объяснить ему, что семь бед – один ответ, да и что ответа-то для него никакого не будет...

– Отец его выгонит...

– Но отдаст его капитал, за вычетом растроченного.

– Это, действительно, мысль.

– Вот видите, вместо того, чтобы вы сделали мне одолжение, я оказываю вам услугу... Вам выгодно будет исполнить мою просьбу, притом вы приобретете во мне друга юности, который громко везде будет именовать вас графом Стоцким.

– Приобрести такого друга, как вы, прият-

но при всех обстоятельствах, выгодных и невыгодных... – любезно, но уклончиво сказал граф Сигизмунд Владиславович.

– Значит, по рукам... – протянул ему руку Николай Герасимович.

– Я согласен и сделаю все, как вы проектировали.

– Только поскорее... Надо начать с сегодняшнего дня...

– С сегодняшнего дня?

– Непременно... Вы, может быть, не сидели в этом милом здании на Шпалерной, а я сидел и должен вам сказать, что там очень скучно...

Савин засмеялся.

– Думаю, что невесело...

– Так значит, там скучно и Сиротинину, и надо поскорее его оттуда вызволить...

– Хорошо, я сделаю это сегодня же.

– Отлично, вот так-то мирком, да ладком, по старой дружбе... А пока честь имею кланяться.

Савин стал прощаться.

– До свиданья, до приятного свиданья... – крепко пожал ему руку граф Стоцкий и про-

водил его до передней.

Когда Николай Герасимович ушел, Сигизмунд Владиславович возвратился к себе в кабинет, весело потирая руки. План Савина понравился ему самому.

## XIV

### На место

**И**ван Корнильевич Алфимов был сам накануне сознания во всем своему отцу.

Тяжелые дни переживал этот, еще в сущности неиспорченный, безвольный, запутавшийся в расставленных ему жизненных сетях молодой человек.

Все, казалось, сошло с рук так, как предсказал граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий. Подозрение в растрате не коснулось его, виновник был найден, признан за такового общественным мнением и сидел в тюрьме.

Отец оказывал ему полное доверие и зачастую даже не делал вечерних проверок кассы.

Он мог черпать из нее широкою рукою и черпал действительно.

Все, казалось, по выражению его друга и

руководителя графа Стоцкого, «обстояло благополучно», а между тем сам Иван Корнильевич ходил, как приговоренный к смерти, и только при отце и посторонних деланно бодрился, чтобы не выдать себя с головою.

Впрочем, от ястребиных глаз Корнилия Потаповича не скрылось угнетенное состояние его сына.

– Что ты стал, словно мокрая курица? – заметил ему он. – Втюрился, что ли, в какую бабу, так скажи, мигом обвенчаю, если мало-мальски подходящая, для нас с тобой этот товар не заказан, дорогих нет, всяких купим.

– Нет, я ничего, папа, так, вся эта истовия подействовала на меня неприятно...

– Это с Сиротининым-то?.. История, действительно, неприятная... Но зато урок, родному отцу сыну верить нельзя... Вот какие времена переживаем... Вот что...

Корнилий Потапович вышел из помещения кассы, где происходил этот разговор.

Это было как раз на другой день после того, как молодой Алфимов виделся с Елизаветой Петровной Дубянской у Селезневых.

Иван Корнильевич не помнил, как он вы-

шел из их квартиры. В глазах у него было темно, ноги подкашивались.

Он с трудом уселся в ожидавшую его у подъезда пролетку.

– Домой! – как-то машинально сказал он кучеру, хотя ему было необходимо в тот вечер заехать в несколько мест.

«Вот как она его любит... В Сибирь за ним идти готова, – неслось в его голове. – Не верит в его виновность и считает виновным... меня...»

Невыносимой болью сжалось его сердце.

Чтобы забыться, чтобы уйти от этих преследующих его видений, он начал пить и проводить бессонные ночи за игорным столом, а для этого необходимы были деньги – они были под рукой, в кассе конторы.

Рука протягивалась – деньги брались, не давая забвения, а лишь все глубже и глубже засасывая молодого человека в жизненный омут.

С вечно тяжелой, отуманенной головою он, однако, не мог отделаться от преследующих его видений. Дубянская и Сиротинин стояли перед ним, и на устах обоих он с дрожью

читал страшное слово: «Вор!»

Деньги были необходимы несчастному не на одни кутежи и игру. Граф Стоцкий требовал от него периодически большие суммы, чтобы, как он выражался, заткнуть горло ненасытной Клавдии – этой, как, вероятно, помнит читатель, приманки для молодого Алфимова, отысканной с непосредственной помощью полковницы Усовой.

Чтобы дать первые две тысячи рублей, и было совершено Иваном Корнильевичем первое заимствование из кассы конторы, начало растраты, за которую сидел теперь Сиротинин в доме предварительного заключения.

Граф, по его собственным словам, спас от нее своего друга, удалив ее в Москву и пообещав от лица молодого Алфимова ей золотые горы.

– Такая упорная девчонка, – заметил Сигизмунд Владиславович, – насилу уломал, может наделать больших бед.

С этого времени начались периодические требования Клавдии Васильевны Дроздовой денег через графа Стоцкого.

Последний пугал молодого Алфимова пер-

спективной скандала, и деньги давались ему для пересылки «ненасытной акуле», как называл граф молодую девушку.

Надо ли говорить, что ни одной копейки из этих денег не получила Клавдия Васильева Дроздова?

Граф Стоцкий ограничился сообщением Капитолине Андреевне, что Клавдия надоела Ивану Корнильевичу и было бы удобнее, если бы ее она к себе не принимала.

– Он влюбился, ему не до нее и даже теперь будет неприятно с нею встречаться, – заметил он, – это и к лучшему, он будет играть.

Полковница Усова, получавшая процент с выигрыша, ничего не имела против изменившихся вкусов молодого человека, тем более, что ей все равно было: тем или другим способом получать прибыль.

Белокурая Клодина была бесцеремонно удалена и более не появлялась в гостиных Капитолины Андреевны.

Между тем молодая девушка действительно серьезно привязалась к Ивану Корнильевичу и заскучала в разлуке с ним, но женская гордость не позволяла ей искать свидания со

своим бывшим обожателем.

К тому же над бедной девушкой разразилась вскоре и другая беда, а именно, ее мать умерла от разрыва сердца.

Клавдия Васильевна осталась одна.

За несколько дней до рокового открытия, сделанного Иваном Корнильевичем Алфимовым, что любимая девушка любит другого и, несмотря на обвинения этого другого в позорном преступлении, остается верна своему чувству, в другом конце Петербурга, на дальней окраине Васильевского острова происходило начало эпилога драмы, действующим лицом которого явилась действительно полюбившая молодого Алфимова девушка.

В доме самого отталкивающего, запущенного вида, в комнате, способной внушить отвращение самому невзыскательному человеку, сидели у окна и оживленно беседовали две женщины уже не первой молодости.

Одна из них по неряшеству вполне подходила к окружающей обстановке.

Другая, казавшаяся гостьей, напротив, была одета очень роскошно, хотя пестро и безвкусно.

– Ну, что? Как дела? – спрашивала гостья.

– Что? Разве вы меня не знаете, милая Матильда Карловна? Разумеется, я устроила все великолепно. Бросилась она после смерти матери – ведь ни синь пороха не получила от нее, незаконная – работы искать и нашла было – сидит день и ночь, не разгибаясь! Ну, работает на дневное пропитание и довольна. Нет, думаю, ты из таких натур, как я на тебя посмотрю, которых не уломаешь, пока у них хоть одна корка черствого хлеба есть! С тобою по иному надо. Выждала, пока она во второй раз кончила работу, да и говорю: «Вы устали? Давайте, я отнесу, мне по дороге». Она согласилась, даже еще благодарить принялась. Ну, а я – не будь плоха – взяла ее работу да хорошенько поизмяла, перепачкала, перепортила и отнесла в магазин. Там просто на дыбы встали! Пришла она к ним на другой день за работой, а они ее выгнали... Теперь носится по всему городу, работы ищет! Совсем до крайности дошла!

– Молодец вы, Мила Ивановна! Умная женщина!

– Ну, да за ум, да за расторопность и день-

ги берутся... Вы, милая Матильда Карловна, так и знайте, что за эту я дешевле ста рублей не возьму.

– Да побойтесь вы Бога! Ведь мне же ее везти надо, одеть.

– Ну, как знаете. Да вот и она! Даете сто?

– Дам, дам!.. Вот...

Вошла Клавдия Васильевна. Она была худая, бледная и печальная, но все еще очень хороша.

– Ну, что, нашли работу? – спросила ее Мила Ивановна.

– Нет, – отвечала она грустно. – Вы уж повремените... Завтра я наверно достану работу и через несколько дней с вами расплачусь.

– Полноте вам горевать! – добродушно заговорила Мила Ивановна. – Вот эта госпожа хочет взять вас к себе в Москву на постоянное место и жалованье положить хорошее и обещает, что если будете вами довольны, то и мне за вас уплатит.

– Я очень рада, – воскликнула молодая девушка. – Поверьте, вы мною будете довольны. Работать я умею и люблю. Но что же мне придется у вас делать?

– Видите ли, – отвечала Матильда Карловна, несколько смущенно, – я содержу нечто, вроде ресторана... У меня бывает много господ... Так вот, вам придется с несколькими другими девицами присматривать за порядком, прислуживать...

– Едва ли я могу, – проговорила печально Клавдия Васильевна. – Для этого нужны и ловкость и уменье...

– О, все это приобретется весьма быстро при самом деле, – возразила Матильда Карловна. – Так поедемте сейчас ко мне в гостиницу... Вы после хлопот, вероятно, голодны, покушаем, и вечером же со скорым поездом умчимся в Москву.

На другой день скорый поезд примчал их в Москву.

Был двенадцатый час утра, когда Матильда Карловна с Клавдией Васильевной ехали по неизвестным последней улицам Белокаменной.

На этих улицах господствовало оживление, сновали пешеходы, обгоняли друг друга экипажи.

Но когда пролетка, на которой они ехали,

повернула в один из переулков, находящихся между Грачевкой и Сретенкой, Клавдию Васильевну поразило какое-то вдруг сменившее жизнь большого города запустение.

В переулке не было ни души.

В одноэтажных и двухэтажных домах, большею частью деревянных, в нижних этажах закрыты были ставни, а в верхних опущены шторы.

Изредка из некоторых окон как бы всполошенные звуками колес единственного въехавшего экипажа повысунулись женские фигуры в растрепанных прическах, с помятыми лицами и сонными глазами.

Иные были в ночных кофтах, а иные в еще более откровенных костюмах.

Все это очень поразило молодую девушку.

Пролетка остановилась по указанию Матильды Карловны у одного из двухэтажных домов.

Дом был каменный, с вычурными украшениями из алебаstra и с выдающимся подъездом, с зонта которого спускался большой фонарь с разноцветными стеклами.

Заспанный лакей в одной жилетке отво-

рил на звонок Матильды Карловны дверь.

Она с Клавдией Васильевной прошла на второй этаж и провела ее в отдельную, хорошо убранную комнату.

– Вот здесь вы и поселитесь, – сказала она. – Сегодня выходить на работу вам не нужно. Лучше отдохните, я сейчас вам пришлю кофе и завтрак.

Вскоре после ее ухода к Клавдии Васильевне вошла прехорошенькая и пресимпатичная брюнетка и принесла кофе и очень вкусный завтрак.

Девушки разговорились.

Клодина передала ей свою печальную историю.

– Ну, теперь все это миновало для вас раз навсегда, – утешала ее новая подруга. – Здесь житье привольное, – ешь, спи, наряжайся, а каждый вечер музыка, гости... А чтобы вам легче было привыкать, я вам сразу найду такого поклонника, который озолотит вас.

– Ах, что вы мне такое говорите... Мне этого вовсе не нужно... Я хочу делать свое дело... служить... работать...

– Эх, вы, горемычная! – продолжала брю-

нетка не то с жалостью, не то с презрением. – Ничего, я вижу, вы здешнего не понимаете. Ну, да ложитесь спать с дороги, – сказала она, увидав, что молодая девушка окончила завтрак и уже выпила кофе. – Вечером я зайду, там будет видно.

Постель была роскошна. В пружинном матраце она, как показалось ей, утонула. Свежесть постельного белья, пропитанного духами, приятно щекотало нервы.

Молодая девушка вскоре заснула, как убитая.

Спала она долго.

Когда она проснулась, в комнате было уже темно, а снизу слышалась музыка и какой-то неясный шум. Кто-то играл на фортепиано с аккомпаниментом скрипки.

В комнату вошла та же самая брюнетка со свечою в руках, одетая по-бальному. В этом костюме ее красота выделялась еще более.

Клавдия Васильевна положительно загляделась на нее.

Вслед за брюнеткой явилась горничная. Небрежно поклонившись сидевшей на кровати Клавдии, она зажгла розовый фонарь, ви-

севший в комнате, и свечи у изящного туалета.

– Ну, что, отдохнули? – спросила брюнетка.

– Совершенно... Я, кажется, спала очень долго...

– Да, – улыбнулась брюнетка, – почти двенадцать часов, теперь уже двенадцатый час ночи...

– Что вы говорите?..

– Ничего... Здесь только с этого времени начинается работа... Если не хотите больше спать, давайте я помогу вам переодеться и спустимся вниз... Там уже собрались гости... Слышите, какой содом пошел... Вот и увидите здешние порядки... Ведь и я была когда-то такая, как и вы...

– Хорошо, пойдёмте... Спать я больше не хочу... – согласилась Клавдия Васильевна.

– Я сейчас вернусь, – сказала брюнетка и вышла.

## XV

### «Нечто, вроде ресторана»

Содержимое в Москве Матильдой Карловной учреждение, которое она скромно назвала Клавдии Ивановне «нечто, вроде ресторана», было одним из шикарных московских «веселых притонов».

Недаром еще со времен Грибоедова известно, что «на всем московском лежит особый отпечаток».

Сорок сороков церквей московских с их на все музыкальные тона звучащими колоколами, с их золотыми и пестрыми куполами, указывают на набожность коренного московского населения, и, действительно, полные всегда молящимися храмы Божии до сих пор удовлетворяют эту беспримерную для других русских городов набожность московских обывателей.

Но наряду с этим, сохранившимся почти с основания этого векового исторического города «древним благочестием», нигде также не умел и не умеет погулять народ, как в той же

Москве. В ней во все времена давался простор широкой русской натуре, на ней всецело оправдалось изречение святого князя Владимира: «Руси есть веселие пити».

Так, повторяем, наряду с сохранившимся «древним московским благочестием», выросли в Москве богато украшенные «храмы греха», обжорства, пьянства и разгула. В них всецело проявлялась московская широкая натура, не знающая пределов своим желаниям и удержу при гульбе.

Ряд улиц, целый квартал, выражаясь прежним полицейским языком деления города, отведен в Москве для ночного разгула.

Днем эта местность погружена в сон, и лишь с вечерними огнями начинается в ней жизнь, та жизнь, которая боится дневного света, солнца, этой эмблемы добродетели.

В этой-то местности и находилось «нечто, вроде ресторана» Матильды Карловны.

Через несколько минут новая подруга Клавдии Васильевны вернулась с платьем и начала преобразовывать молодую девушку в нарядно, но слишком смело одетую барышню.

За этим занятием их застала вошедшая хозяйка.

– Ну, вот и хорошо, ну, вот и отлично! – ласково заговорила она. – Люблю людей, которые с охотой берутся за дело!.. Жаль только, что лиф у тебя маловато вырезан. Ну, да ничего, зато руки у тебя прелестны, шея и грудь.

Это рассматривание ее фигуры, будто бы она была лошадь, до глубины души оскорбляло Клавдию Васильевну, но она, скрепя сердце, покорилась и была очень рада, когда Матильда Карловна, окончив оценку, повела ее вниз.

Обстановка нижних комнат, по некоторым из которых Клавдия Васильевна проходила утром по приезде, совершенно изменилась теперь, и молодая девушка была поражена богатством и роскошью, бьющими ей в глаза.

Целые снопы газового света лились со всех сторон и освещали анфилады больших и блестящих золотой мебелью, громадными зеркалами и пестрыми коврами комнат.

На стенах, оклеенных дорогими обоями, и в некоторых комнатах, обитых шелковой материей, висели картины, заставившие молодую

девушку опустить глаза.

Женское голое тело, искусно освещенное, так и било в глаза со стен.

Средняя комната с прекрасно вылощенным паркетом была больше всех.

По стене стояли маленькие золоченые стулья, между которыми там и сям находились мраморные столики на золоченых ножках.

В широких простенках шести окон висели громадные зеркала в золоченых рамах, а в углу стоял великолепный рояль, на котором играл какой-то господин, а за его стулом стоял другой, со скрипкой.

Десятка два таких же, как Клавдия Васильевна, нарядно и откровенно одетых девиц сидели у столиков или ходили парочками по залу.

Было в зале несколько мужчин.

Стоял невообразимый гул голосов, шел оживленный разговор, но не общий, а в отдельных группах, и сразу ничего нельзя было понять, так как слышались всевозможные языки: французский, немецкий, польский, итальянский, словом, происходило нечто, напоминающее в миниатюре вавилонское стол-

потворение.

– Новенькая, новенькая... – пронесся по залу шепот, а Матильда Карловна, слегка подтолкнув под локоть Клодину, втокнула ее в оживленную особенно группу девушек и мужчин, а сама удалилась в маленькую гостиную, смежную с залой, и важно уселась в кресло с каким-то вязаньем в руках.

Не прошло и десяти минут, как молодая девушка выбежала из толпы, как обожженная, и бросилась бежать по анфиладам комнат наверх.

Очутившись в отведенной ей комнате, она бросилась в постель и зарыдала, но тотчас быстро вскочила и направилась к двери.

– Это куда? – грубо окликнула ее, столкнувшись с нею на пороге, Матильда Карловна. – Никак бежать? Ловко! Это в моей-то хорошей одежде! Нет, ты мне прежде заплати за то, что ты пила, ела, да и платье надевала...

Клавдия Васильевна стояла перед ней, как приговоренная к смерти, и молчала.

Углы ее губ нервно подергивались.

– Скажите пожалуйста, – продолжала между тем Матильда Карловна, – чуть под забо-

ром с голоду не умерла, а туда же... да вздор все это!.. Сейчас же ступай вниз! Тебя гости ждут! Слышишь ты?..

Молодая девушка бессмысленно смотрела на нее пылающими, но сухими глазами.

– Слышишь ты? – повторила Матильда Карловна и схватила ее за руку.

Клавдия Васильевна с силою рванулась от нее и вскрикнула.

– Ишь ты какая!..

Бог весть, что было бы с ней, если бы за нее не вступилась прибежавшая на крик брюнетка.

– Оставьте ее, мадам! – сказала она. – Пусть она привыкнет, подумается, завтра ей легче будет. Ведь и со мной то же было.

Матильда Карловна поворчала несколько минут, но потом, махнув рукой, ушла вскоре вместе с брюнеткой.

Клавдия Васильевна мгновенно переоделась в свое собственное платье, тихо проскользнула по лестнице в самый низ и очутилась в сенях подъезда.

В это время швейцар впускал новую оживленную компанию гостей.

Молодая девушка воспользовалась этой суматохой и отбежала уже далеко от ужасного дома прежде, чем швейцар успел сообразить, в чем дело.

Достойный и верный слуга Матильды Карловны тотчас же погнался за ее несчастною жертвою.

– Помогите! Спасите! – кричала Клавдия Васильевна, видя, что он ее настигает.

Но люди, проходившие в это время по переулку, слишком заняты были мыслью о предстоящих удовольствиях.

– Эге! Одна убегает! – смеясь, говорили они.

– Ничего, потом привыкнет, – умозаключили другие.

Выбежав из переулка и не видя другого спасения, молодая девушка бросилась в ворота первого дома, шмыгнула в первую дверь и по лестнице побежала наверх.

Через несколько минут она была уже на чердаке трехэтажного дома.

На чердаке было совершенно темно, и только после нескольких минут пребывания там глаза привыкли к окружающему мраку, и несчастная девушка различала полосы еле

пробивавшегося света, отражаемого уличными фонарями.

В первую минуту Клавдия Васильевна облегченно вздохнула полной грудью, сочтя себя в безопасности от преследования грозного швейцара своеобразного ресторана.

Но это сравнительное спокойствие было непродолжительным.

До чуткого уха все еще бывшей настороже молодой девушки донеслись звуки нескольких человеческих голосов со двора.

Видимо, швейцар видел, куда она скрылась, и призывал на помощь дворников дома.

Клавдия Васильевна пошла, или лучше сказать, поползла, так как приходилось идти в некоторых местах на четвереньках, на одну из полос света.

Вскоре она очутилась у слухового окна, выходящего на улицу. Небольшое усилие со стороны молодой девушки, и одиночная рама слухового окна подалась и отворилась.

Теперь ей были ясны доносившиеся от ворот двора крики.

– Сюда прошмыгнула, сюда! – кричал грубый голос.

Клавдия Васильевна догадалась, что этот голос принадлежит преследовавшему ее швейцару.

– Иди ты к лешему! На ночь глядя увидел ты, куда кто прошмыгнул. Может, тебе с пьяных глаз померещилось.

– Говорю тебе, перед самым моим носом прошмыгнула, еще минута, и я бы ее за шиворот схватил.

– Да что, она у тебя украла что ли что?..

– Ничего не украла. Сбежала...

– От кого?

– От Матильды Карловны.

– И поделом крашеной кукле. Так зачем же она сюда побежит, сбежала если, так дала стрекача к воздахтору, обыкновенное дело... – продолжал убеждать швейцара другой сиплый голос.

– Какой такой воздахтор. Она не здешняя.

– Ну...

– Сегодня по утра мадам из Питера привезла.

– Проворонили. Что же за такой заморской птицей плохо глядели...

– Между рук из подъезда выскользнула, –

продолжал сетовать швейцар. – Да ты не зубо-  
скаль и не прохлаждайся, – вдруг переменял  
он тон. – Поискать надо. Магарыч получишь.  
Матильда Карловна не постоит. Да я завтра  
утречком пива поставлю. Потому, мне беда, я  
в ответе. Будь миляга, душевный ты человек,  
отец-благодетель...

– Так пару пива? Сейчас фонарь зажгу. По-  
шукаем на дворе. Выхода нет.

– Я здесь посторожу...

– Ладно, а я фонарь зажгу, подручного  
кликну, он у ворот постоит, и мы вместе по-  
шукаем.

– Будь милый человек...

– Коли же на дворе нет, может, на чердак  
стреканула, у нас дверь открыта, просто...

Это донесшееся до Клавдии Васильевны со-  
ображение дворника заставило ее вздрогнуть  
и присесть на пол у самого слухового окна.

Ей казалось, что ее сейчас увидят с улицы.

Вся дрожа от страха, без мысли в голове си-  
дела она на корточках, продолжая чутко при-  
слушиваться к происходившему внизу.

Прошло, как показалось, по крайней мере,  
ей, очень много времени.

На дворе продолжали раздаваться голоса, которых было уже несколько.

Но чу! Тяжелые шаги раздались на лестнице, ведущей в ее убежище – чердак.

Через несколько минут в нем появилась бородатая фигура дворника с фонарем в руках, а за ним шел ее преследователь, швейцар.

Вне себя от страха, Клавдия Васильевна распахнула окно, быстро юркнула в него и, скатившись по крутой железной крыше, полетела на мостовую.

– Ишь, подлая, выбросилась! – мог только ахнуть швейцар, когда снизу донеслось до него и дворника падение чего-то тяжелого и нечеловеческий крик.

Крик раздался один раз, а затем все смолкло. Собралась мгновенно толпа прохожих, явилась полиция.

У упавшей девушки оказался разбитым череп.

Она была мертва.

Труп был уложен на извозчика и отвезен в мертвецкую ближайшей полицейской части.

Дворник дома быстро затушил фонарь и

вместе со швейцаром Матильды Карловны вышел за ворота и смешался с толпою любопытных.

Швейцар вскоре незаметно удалился к своему посту.

## XVI

### Старая газета

«Однако же и умница этот Савин! Приятно иметь дело с таким человеком!» – думал граф Сигизмунд Владиславович, занимаясь своим туалетом и решив, действительно, в этот же день открыть глаза старику Алфимову и спасти кассира Сиротинина.

«Какой, поистине, гениальный план он придумал... Оказать услугу старику, сделать самостоятельным сына и обоих иметь в руках, да к тому же оказать услугу человеку, который, ох, как может повредить мне... Это великолепно!»

Граф прыснул на себя духами из маленького пульверизатора, бросая последний взгляд на себя в зеркало, и, приказав находившемуся тут же, в его спальне, лакею подать

себе шляпу и перчатки, вышел через кабинет и залу в переднюю.

– Экипаж подан?

– Так точно, ваше сиятельство!

Граф Стоцкий вышел, спустился с лестницы, сел в карету и крикнул кучеру:

– На Невский, в контору Алфимова.

Через какие-нибудь четверть часа карета остановилась у банкирской конторы.

Прежде всего Сигизмунд Владиславович зашел в помещение кассы к молодому Алфимову.

Иван Корнильевич не заметил вошедшего к нему графа Стоцкого.

Он сидел над полу разорванной и смятой газетой и, казалось, впился глазами в печатные строки.

– Жан, что с тобой? – должен был дотронуться до его плеча граф Сигизмунд Владиславович.

Молодой человек вздрогнул.

– А! Что?! Это ты, Сигизмунд... На, читай, это ужасно!

– Что такое?

– Ведь ты говорил мне совсем не то...

– Да скажи толком, ничего не понимаю...

– Читай...

Граф Стоцкий был до того поражен видом молодого Алфимова, что сразу и не обратил внимания, что он совал ему в руки разорванную газету.

Он и теперь, взяв ее из рук Ивана Корнильевича, продолжал смотреть только на него.

Смертная бледность молодого человека сменилась легкою краской, глаза его вдруг замигали и наполнились слезами.

– Ты плачешь... Над старой газетой... Чудно!..

– Прочти, это ужасно... Несчастливая...

– Кто?

– Прочти...

Граф Сигизмунд Владиславович перевел глаза на газету. Она оказалась старым номером «Московского Листка», как можно было видеть из до половины оторванного заголовка.

– Откуда у тебя эта газета?

– Принесли завернутые деньги... Я случайно бросил взгляд и прочел... Да прочти сам. Вот здесь...

Иван Корнильевич указал графу на довольно большую заметку под рубрикой «Московская жизнь», заглавие которой гласило: «Жертва веселого притона».

В заметке этой подробно и витиевато было рассказано о самоубийстве колпинской мещанки Клавдии Васильевны Дроздовой, бросившейся на мостовую с чердака дома на Грачевке и поднятой уже мертвой.

Причиной самоубийства выставлен обманый привоз молодой девушки в Москву из Петербурга содержательницей одного из московских веселых притонов под видом доставления места, побег молодой девушки, преследование со стороны швейцара притона, окончившееся роковым прыжком несчастной на острые камни мостовой.

Репортер придал заметке романтический колорит и описал в общих чертах внешность самоубийцы, назвав ее чрезвычайно хорошенькой, грациозной молодой девушкой.

«Вскрытие трупа обнаружило, – добавлял он, – что покойная была безусловно честная, непорочная девушка. Против содержательницы веселого притона возбуждено судебное

преследование».

Видно было, что, несмотря на то, что швейцар и дворник быстро стушевались, полиция сумела напасть на след несчастной и заставила их быть разговорчивыми.

Граф Сигизмунд Владиславович невольно побледнел и задрожал во время чтения этой заметки.

– Это ужасно! – воскликнул он, бросив газету. – К сожалению, случается во всех столицах мира.

– Но ведь это Клодина... – перебил его с дрожью в голосе молодой Алфимов.

– Кто?

– Клодина... Белокурая Клодина, которая живет в Москве и которой ты переводишь от меня деньги, чтобы, как ты говоришь, избежать с ее стороны скандала...

Граф Стоцкий уже настолько умел совладать с собой, что неподдельно расхохотался.

– Ты с ума сошел... Клодина и... эта несчастная честная девушка.

Граф продолжал неудержимо хохотать.

– Чего же ты хохочешь?.. Разве это не она?..  
Клавдия Васильевна Дроздова из Петербур-

га... Конечно же она...

– Ой, перестань, не мори ты меня окончательно со смеху... – не переставая хохотать, проговорил граф Сигизмунд Владиславович.

– Я ничего не понимаю...

– Вот с этим я с тобой совершенно согласен, – перестав смеяться, заметил граф Стоцкий.

Иван Корнильевич смотрел на него широко открытыми глазами.

– Ты должен благодарить Бога, что я хохочу, так как я мог бы на тебя серьезно рассердиться. Ведь вывод из всего того, что ты мне здесь нагородил, один... Это то, что я тебя обманул и обманываю, что я клал и кладу в карман те деньги, которые брал и беру для пересылки твоей любовнице.

– Она не была моей любовницей.

– Толкуй больной с подлекарем.

– Клянусь тебе!

– Это безразлично и ничуть не изменяет дела, ну, женщина, которая выдает себя за твою любовницу. Значит, я у тебя крал эти деньги.

– Я этого не говорил, – смутился молодой

Алфимов.

– То есть, ты не сказал мне прямо в глаза, что я вор, но сказал это, заявив, что несчастная девушка, окончившая так печально свою молодую жизнь в Москве, и твоя Клодина одно и то же лицо...

– Меня поразило совпадение имени, отчества и фамилии.

– Какие такие у них имена, отчества и фамилии, у крестьян и мещан... Дроздовых в России тысячи, среди них найдутся сотни Васильев, у десятка из которых дочери Клавдии... Я сам знал одну крестьянскую семью, где было семь сыновей и все Ивановы, а по отцу Степановичи, по прозвищу Куликовы. Вот тебе и твое совпадение. Поройся-ка в адресном столе, может, в Петербурге найдешь несколько Иванов Корнильевичей Алфимовых, а по всей России сыщешь их, наверное, десяток...

– Благодарю тебя, ты меня успокоил, значит, это не она... – сказал молодой Алфимов, не поняв или не захотев понять намек своего сиятельного друга на его плебейское происхождение.

– Конечно же, не она... Успокойся, жива

она тебе на радость... Можешь даже взять ее в супруги.

– Оставь шутки...

– Впрочем, виноват, опоздал... По моим последним сведениям, она из Москвы уехала с каким-то греком в Одессу и жуирует там... Сына же твоего...

– Какого моего сына? – вскрикнул Иван Корнильевич.

– Ну, все равно, ребенка, которого она выдает за твоего, она оставила в Москве, в одном семействе, на воспитании.

– Вот как!

– А то видишь ли... Будет она тебе бросаться с крыши, чтобы сохранить свою честь... Не тому она училась у нашей полковницы.

– Ты прав, а я не сообразил... О, сколько я пережил страшных минут...

– Глуп ты, молод, поэтому-то я над тобой расхохотался и ничуть на тебя не обиделся...

– Прости, Сигизмунд... – пожал ему руку Иван Корнильевич.

– Полно, в другой раз только не глупи... Ну, что твое дело с Дубянской?

Молодой Алфимов сделал отчаянный жест

рукой.

– Все кончено!.. Она оттолкнула меня, как скоро оттолкнут и все...

– Уж и все...

– Ведь недочет в кассе снова откроется.

– Мой совет тебе – выделиться.

– То есть как выделиться?

– Потребовать от отца свой капитал, и шабаш...

– Это невозможно!

– Но ты сам говоришь, что долго скрывать недочета будет нельзя... И, кроме того, знаешь русскую поговорку: «Как веревку не вить, а все концу быть».

– Так-то так... Но я на это не решусь... Будь, что будет... Авось...

– Ну, как знаешь...

В это время у окошка кассы появились посторонние лица.

Иван Корнильевич занялся с ними.

Граф Сигизмунд Владиславович вышел из кассы и отправился в кабинет «самого», как звали в конторе Корнилия Потаповича Алфимова.

– А, вашему сиятельству поклон и почте-

нье... – весело встретил старик Алфимов графа Стоцкого. – Садитесь, гостем будете.

– Здравствуйте, здравствуйте, почтеннейший Корнилий Потапович, – сказал, усаживаясь в кресло, граф Сигизмунд Владиславович.

– А вечерок-то у нашей почтеннейшей Капитолины Андреевны не удался...

– То есть как не удался?

– Верочка-то оказалась барышней с душком, да с характерцем...

– Н-да... Но ведь это достоинство...

– Как для кого, для вас, молодых, жаждущих победить, пожалуй, ну, а для нас, стариков, которая покорливее, та и лучше...

– Пустяки, для вас не может быть непокорных... У вас в руках современная сила – золото...

– Мало из молоденьких-то это понимают... – усмехнулся Корнилий Потапович.

– А мать-то на что... Внушить...

– Так-то оно так... А все же, как она вчера к этому молодцу прильнула, водой не разольешь... Кто это такой?.. В первый раз его видел...

– Это Савин... Мой хороший друг...

– Савин... Савин... Это самозванец?..

– Да, пожалуй... Современный, если хотите...

– Позвольте, позвольте... Припоминаю...

И перед стариком Алфимовым пронеслись картины прошлого, он вспомнил «крашеную куклу» – Аркадия Александровича Колесина, Мардарьева, его жену, разорванный вексель и нажитые на этом векселе и на хлопотах о высылке Савина из Петербурга деньги.

Он не знал Николая Герасимовича, и Николай Герасимович не знал его.

Неужели теперь он, как бы в возмездие за сделанное ему зло, отобьет от него Веру Семеновну Усову, от которой старик пришел вчера положительно в телячий восторг?

– Так это Савин?..

– Да, Савин...

– Он ей голову как раз свернет...

– Едва ли... Мать зорка, не допустит...

– Что мать с девкой поделает, как взбесится... А хороша! Славный, преаппетитный кусочек...

– Что говорить, султанский...

– Султанский, это правильно...

У старика у углов губ показались даже слюнки.

Графу Сигизмунду Владиславовичу даже стало противно.

Он переменял разговор.

– Что с вашим Иваном? – спросил граф.

– А что?..

– Точно его кто в воду за последнее время опустил, я сегодня был у него, сидит, точно его завтра вешать собираются...

– Уж не говорите... Сам вижу, как малый сохнет; уж я пытал его, не влюблен ли?..

– Что же он?

– Говорит, нет... Может вам, ваше сиятельство, по дружбе проговорился.

– Я-то знаю, да не то это...

– Знаете... В кого же?

– В Дубянскую он влюблен, в Елизавету Петровну...

– Она кто же такая?

– Бывшая компаньонка Селезневой.

– А... Так ее фамилия Дубянская...

– Да...

– Дубянская... Дубянская... А ее мать, урожденная она не Алфимовская?..

– Уж этого я не знаю, – удивленно вскинул на него глаза граф Стоцкий.

– Так, так, это разузнать надо, – как бы про себя пробормотал старик. – Что же, если она хорошая девушка, я не прочь, – сказал он графу.

– Да она-то прочь...

– С чего это? Кажись, Иван тоже красивый парень, богат и сам, и мой наследник...

– Не тем тут пахнет!.. Влюблена она...

– Блажь...

– То-то, что не блажь... Жених у ней...

– Это другое дело... Богатый?

– Нет, не богат, да к тому же теперь он в тюрьме...

– Кто в тюрьме?

– Жених ее.

– Хорошего гуся подстрелила... Острожника, – презрительно заметил Корнилий Потапович.

– Ведь не все виновные в тюрьму попадают...

– Толкуй там...

– Верно, чай, знаете поговорку: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

– Кто же он?

– Ваш бывший кассир, Сиротинин.

Корнилий Потапович вытаращил глаза, растопырил руки и так и остался у своего стола, вопросительно глядя на графа Сигизмунда Владиславовича.

## XVII

### Отклики прошлого

— Сиротинин? – после довольно продолжительной паузы спросил старик Алфимов.

– Да, Сиротинин...

– К чему же вы, ваше сиятельство, прибавили, что в тюрьме сидят и невинные люди... Это вы, значит, о Сиротинине?..

– Может быть, и о нем...

Корнилий Потапович побледнел.

– Так не шутят...

– Я и не шучу... Но дайте мне слово, что все, что скажу вам, останется между нами.

– Извольте, даю.

– Я буду говорить с вами, как друг...

– Я вас давно считаю сам своим другом...

– И надеюсь, эта дружба не без доказательств. История с Ольгой Ивановной поставила меня во внутреннюю борьбу между моим другом графом Петром и вами, и вы знаете, что я в этом деле на вашей стороне...

– Знаю, знаю, – смутился старик, – и я не буду неблагодарен.

– Не об этом речь... Теперь эта история всплыла снова... Графиня, ваша дочь, откуда-то узнала, что проделал ее муж с ее подругой, семейное счастье графа разрушено... Я мог одним моим словом восстановить его и...

Граф Сигизмунд Владиславович остановился.

– И вы?.. – с дрожью в голосе спросил Корнилий Потапович.

– И я не сказал этого слова...

– Благодарю вас... – облегченно вздохнул старик Алфимов.

– В настоящее время я попал опять в тяжелую борьбу с самим собою... Я друг вашего сына, и вместе с тем, ваш друг...

– Моего сына?.. – вопросительно повторил Корнилий Потапович.

– Дружба к нему обязывает меня молчать,

дружба к вам обязывает меня говорить... Я снова доказываю вам искренность моей дружбы и... скажу... Но я не желаю, чтобы ваш сын считал меня предателем, потому-то я и требую сохранения полной тайны...

– Да, поверьте мне, что я в этом случае буду могилой...

– Верю...

– Он грустен и ходит, как приговоренный к смерти. Причиной этого не одна несчастная любовь. В наше время от этого не вешают долго носа.

– Какая же причина?

– Он за последнее время, несмотря на мои советы, ведет большую игру, проигрывает по несколько тысяч за вечер; одна особа тут, кроме того, стоит ему дорого... У него много долгов, за которые он платит страшные проценты... У него есть свое состояние, но если так пойдет дело, то я боюсь и за ваше.

– Что вы хотите сказать?..

– Ревизия кассы показала вам сорок тысяч недочета, – продолжал граф Стоцкий, не обратив внимания на вопрос Корнилия Потаповича.

– Так вы думаете?.. – вскочил старик, задыхаясь, но снова сел.

– Я ничего не думаю, я только напоминаю вам факты... Теперь он заведует кассой один?

– Один... – упавшим голосом сказал старик.

– Так вот, если вы теперь неожиданно ревизуете кассу, то снова откроется недочет и еще более значительный...

– Что вы говорите!.. Значит Сиротинин – жених Дубянской – страдает невинно... Боже великий!..

– Проверьте кассу – более ничего я не могу вам сказать... Но главное, что это умрет между нами... Помните, вы дали слово.

– О, конечно, конечно... Но Боже великий! Это возмездие...

Граф Сигизмунд Владиславович простился с Корнилием Потаповичем и вышел.

До выхода из конторы он зашел к Ивану Корнильевичу.

– Что отец? – спросил тот. – Ты был у него?

– Он что-то очень мрачен...

– С чего бы это? Утром он был в духе.

– Уж не знаю... Будешь сегодня у Гемпеля?

– Не знаю.

– Прощай... Сегодня будет интересная и большая игра.

– Мне за последнее время чертовски не везет.

– У вас с шурином одна напасть... Очень вас любят бабы...

– Только не меня...

– Рассказывай... Так приезжай.

– Хорошо, приеду...

Граф Стоцкий вышел, сел в экипаж и велел ехать кучеру к Кюба.

«Ну, заварил кашу... Авось буду устами Савина мед пить».

Корнилий Потапович Алфимов сидел между тем в своем кабинете, облокотившись обеими руками на стол и опустив на них голову.

Он думал тяжелую думу.

Перед ним проносилось его далекое темное прошлое.

Созерцая эти картины, он иногда вдруг вздрагивал всем телом, как бы от физической боли.

– Дубянская... Дубянская... – повторял он. – Несомненно, она их дочь. Елизавета Петровна... Да, его звали Петром.

Он вспомнил своего барина Анатолия Викторовича Алфимовского и его красавицу-дочь Татьяну Анатольевну.

Вспомнил Алфимов, как вместе с этим барином, ровесником ему по летам, неутешным вдовцом после молодой жены, он вырастил эту дочь, боготворимую отцом.

Он, будучи крепостным, вырос с барином вместе, был товарищем его игр и скорее другом, нежели слугою.

Припомнилось ему, как расцветала и расцвела Татьяна Анатольевна и вдруг исчезла из родительского дома, захватив из шифоньерки отца сто пятнадцать тысяч.

Отец, ослепленный любовью к дочери, не замечал домашнего романа с приходящим учителем Петром Сергеевичем Дубянским, окончившийся бегством влюбленной парочки, но зоркий Корнилий, тогда еще не Потапович, следил за влюбленными.

Он погнался за ними, догнал их на одной из ближайших станций от Петербурга и под угрозой воротить дочь отцу и предать суду учителя, отобрал капитал, оставив влюбленным пятнадцать тысяч, с которыми они и

уехали за границу, где и обвенчались...

Старик Алфимов вздрогнул.

Он вспомнил вынесенную им борьбу с искушением, отдать ли отцу отобранные деньги или не отдавать.

Грех попутал его – он не отдал денег, и они послужили основой его настоящего колоссального богатства.

Вернувшись в Петербург, он передал своему барину-другу о бегстве его дочери с учителем и неудачной будто бы погоне за ними его, Корнилия.

Барин умер после двухкратно, одного за другим повторившегося удара.

После его смерти в его письменном столе нашли вольную на имя Корнилия.

Корнилий, уже сделавшийся Корнилием Потаповичем, стал свободным человеком и богачем.

До него доходили слухи и о беглецах.

Он слышал, что Дубянский выиграл в рулетку целый капитал, на который купил имение под Петербургом, да кроме того дочь получила наследство от отца, шестьдесят тысяч, не взятых ею из шифоньерки, и два имения.

Выигрыш в рулетку погубил Петра Сергеевича Дубянского.

Он пристрастился к игре и в конце концов проиграл и свой выигрыш, и состояние жены, которая умерла в чахотке.

Он решил кончить жизнь самоубийством, обобранный и обыгранный окончательно шулером Алферовым, который недавно судился и был оправдан присяжными заседателями.

Дубянская Елизавета Петровна, несомненно, дочь Петра Сергеевича Дубянского и дочери его, Корнилия Потаповича, барина-друга.

Все это разом пришло на ум старику Алфимову, который в водовороте светской и деловой жизни как-то и не думал о прошлом и пропускал мимо ушей доходившие до него известия.

Теперь лишь он, сгруппировав их вместе, понял всю подавляющую душу связь настоящего с прошедшим.

Он украл капитал у дочери своего барина, оставив ее с мужем почти без средств, вследствие чего, быть может, Дубянский попытался игрой составить себе состояние, но, как всегда бывает с игроками, игра, обогатив его

вначале, в конце концов погубила его жену, самого его и сделала то, что его дочь принуждена была жить в чужих людях.

Сын его жены, Иван Корнильевич, влюбленный в эту девушку и сам растративший деньги, сваливает, умышленно отдавая ключ кассиру Сиротину, вину на него, жениха Елизаветы Петровны Дубянской.

Все это представляет такую непроницаемую сеть жизни!

«Надо расчесться со старым долгом... На душе будет легче... – решил Корнилий Потапович. – Куда беречь, к чему?.. Хватит на все и на всех... По завещанию откажу все Надежде, та тоже будет в конце концов нищая... Ее муж игрок...»

«И Иван игрок...» – припомнился ему только что происходивший разговор с графом Стоцким.

«Да и этот-то не лучше их... Все одна шайка... Но граф мне нужен... Он много знает... Он опасен. А этот Савин. Ведь это тоже связь с прошлым... Это возмездие...» – несло в голове старика Алфимова.

Но решение рассчитаться со старым дол-

гом как будто облегчило его душу.

Он поднял голову и даже стал просматривать лежащие по столу бумаги.

«Я отправлю его на несколько дней в Варшаву, благо есть дело, и проверю кассу без него... Если, действительно, там недостача, я знаю, что делать».

Внутренний голос говорил ему, что нечего сомневаться в том, что растратил не Сиротинин, а его сын Иван.

Корнилий Потапович позвонил.

– Попросите ко мне Ивана Корнильевича... – приказал он явившемуся служителю.

Через несколько минут молодой Алфимов вошел в кабинет Корнилия Потаповича.

Старик пристально через очки посмотрел на него.

Молодой человек имел чрезвычайно расстроенный вид и, видимо, не мог скрыть, при всех производимых над собой усилиях, своего смущения.

То, что за час перед этим казалось для старика Алфимова загадкой, теперь только явилось подтверждением страшных подозрений.

– Вы меня звали?..

– Да... Садись, дело есть...

Иван Корнильевич сел.

– У нас все благополучно?.. – вдруг спросил его Корнилий Потапович.

– Кажется... все... благополучно... – заикаясь, ответил не ожидавший или, быть может, очень ожидавший этого вопроса молодой Алфимов.

– Разве может в денежных делах казаться... – деланно шутливо заметил Корнилий Потапович, – ты еще сам капиталист, горе ты, а не капиталист...

Молодой человек вздохнул несколько свободнее.

– Все благополучно, – отвечал он уже совершенно твердо.

– Благополучно, так благополучно, и слава Богу... Тебе надо будет сегодня вечером уехать.

– Куда?.. – побледнел снова Иван Корнильевич.

– В Варшаву, на несколько дней... Надо переговорить и столкнуться вот по этому делу...

Корнилий Потапович взял со стола бумагу

и подал Ивану Корнильевичу.

– А как же... касса?.. – с трудом произнес он, взяв бумагу.

– Касса, что касса?.. Касса останется кассой... Артельщик под моим наблюдением будет вести эти несколько дней ежедневные расчеты...

– Прикажете сдать?..

– За сегодняшний день сделаем обыкновенную дневную проверку... Не ревизовать же тебя... Ведь ты сам хозяин, не наемный кассир, не Сиротинин...

Иван Корнильевич вздрогнул.

Это, как и все его смущение, не ускользнуло от зоркого глаза Корнилия Потаповича.

Ему теперь не надо было и ревизии.

Он знал заранее, что найдет в кассе в отсутствие сына.

Не знал только суммы недочета, но сумма в этом случае была безразлична.

Не надо думать, что происходило это безразличное отношение к сумме со стороны старика Алфимова в силу перевеса нравственных соображений, – нет, он даже теперь, решившийся расквитаться со старыми долга-

ми, далеко не был таким человеком.

Не надо забывать, что у Ивана Корнильевича в деле был свой капитал, и Корнилий Потапович был уверен, что недочет, и прошлый, и настоящий, не превысит его, такой недочет не мог бы остаться незамеченным им.

Значит, деньги Корнилия Потаповича были целы.

Что же касается до решения сквитаться со старыми долгами, то взятые им у дочери своего барина сто тысяч рублей, принадлежащие по праву Елизавете Петровне Дубянской, даже со всеми процентами составляли небольшую сумму для богача Алфимова, и душевное спокойствие, которое делается необходимым самому жестокому и бессердечному человеку под старость, купленное этой суммой, составило для Корнилия Потаповича сравнительно недорогое удовольствие.

Он имел возможность себе его доставить.

– Так сегодня поезжай с курьерским... – сказал старик Алфимов.

– Слушаюсь-с.

Корнилий Потапович начал объяснять подробно суть поручения, даваемого им Ивану

Корнильевичу, и давать некоторые советы, как вести себя и что говорить при тех или других оборотах дела.

Иван Корнильевич внимательно слушал.

Наконец старик кончил и взглянул на часы.

– Однако, мне пора по делу... Так сегодня, с курьерским...

– Слушаюсь-с.

Корнилий Потапович и Иван Корнильевич вдвоем вышли из кабинета.

Первый уехал из конторы, а второй вернулся в кассу.

## XXVIII

### Очная ставка

Подозрения, высказанные графом Сигизмундом Владиславовичем и подтвердившиеся для Корнилия Потаповича при последней беседе с сыном, – оправдались.

При произведенной единолично стариком Алфимовым во время отсутствия сына проверке кассы обнаружился недочет в семьдесят восемь тысяч рублей.

«Вовремя надоумил граф, спасибо ему...» – подумал Корнилий Потапович, окончив тщательную проверку и убедившись, что цифра недочета именно такая, ни больше, ни меньше.

«Ведь времени-то прошло со дня его заведывания всего ничего... Эдак он годика в два и себя, и меня бы в трубу выпустил... А теперь не беда... Пополню кассу из его денег... сто двадцать тысяч, значит, вычту, а остальные пусть получает, а затем вот Бог, а вот порог... На домашнего вора не напасешься...»

«Но нет, этого мало... – продолжал рассуж-

дать сам с собою, сидя в кабинете после произведенной поверки кассы и посадив в нее артельщика, Корнилий Потапович, – надо его проучить, чтобы помнил...»

Он провел рукою по лбу, как бы сосредоточиваясь в мыслях. «Надо освободить и вознаградить Сиротинина...» Вдруг он вскочил и быстро, особенно для его лет, заходил по кабинету.

– Да, так и сделаю... – сказал он вслух, вышел из кабинета а затем и из конторы.

Он прямо поехал к судебному следователю, производившему дело о растрате в его конторе.

Следователь в это время доканчивал допрос вызванных свидетелей.

Старику Алфимову пришлось подождать около часу, несмотря на посланную им визитную карточку.

Наконец его пригласили в камеру судебного следователя.

– Чем могу служить? – спросил сухо последний.

Бывший весь на стороне Дмитрия Павловича Сиротинина, он инстинктивно недруже-

любно относился к этим «мнимо потерпевшим» от преступления кассира.

– Я к вам по важному, экстренному делу...

– Прошу садиться...

Корнилий Потапович сел на стул.

– Видите ли что...

– Опять растрата?.. – перебил его судебный следователь.

– Да... Нет... – смешался старик... – Совсем не то... У меня есть к вам большая просьба.

– Какая?

– Вызовите меня и моего сына для очной ставки с Сиротининым.

– Это зачем?.. – вскинул через золотые очки удивленный взгляд на Алфимова судебный следователь.

– Это необходимо...

– Но...

– Без всяких «но». Арестант Сиротинин категорически отказался заявлять на кого-либо подозрение в краже денег из кассы, признал, что действительно получал от вашего сына ключ от нее, следовательно, ни в каких очных ставках надобности не предвидится...

– Но я говорю вам, что это необходимо...

– А я попрошу вас не вмешиваться в производимое мною следствие.

– Но Сиротинин не виновен...

– Что-о-о?! Как вы сказали?.. – воскликнул следователь.

– Я сказал, что Сиротинин не виновен...

– Вы открыли вора?..

– Да... – чуть слышно произнес Корнилий Потапович.

– И он?..

– Мой сын...

– Он сознался?

– Нет, но он сознается при вас, и при мне, и при Сиротинине, здесь, на очной ставке... У меня в руках доказательства...

– И вы хотите начать дело против него?

– Нет... Я хочу, чтобы урок для него был памятен...

– Это другое дело... Хорошо... Ваш сын в Петербурге?

– Нет, он в Варшаве, но будет здесь послезавтра.

– В таком случае, я вызову вас повестками через два дня...

– Благодарю вас.

Корнилий Потапович простился со следователем, который на этот раз любезно протянул ему руку и очень ласково сказал:

– До свидания!..

– Повестки вы пришлете ранее?

– Повестки вы получите завтра.

Старик Алфимов вышел.

«Надеюсь, это будет ему уроком... Несчастному еще сидеть три дня... Ну, да ничего... Упал – больно, встал – здоров... Чутье, однако, не обмануло меня, Сиротинин не виновен... То-то обрадуется его невеста, эта милая девушка», – думал между тем судебный следователь, когда за Алфимовым захлопнулась дверь его камеры.

Вернувшись к сыну старик Алфимов не сказал ни слова по поводу обнаруженного им недочета в кассе, подробно расспросил о поездке и исполнении поручения и даже похвалил.

У Ивана Корнильевича, во все время поездки страшно боящегося, что его отцу придет на ум в его отсутствие считать кассу, при виде спокойствия Корнилия Потаповича отлегло от сердца.

– Там следователь прислал повестки... – небрежно уронил старик в конце разговора.

– Следователь?.. – побледнел Иван Корнильевич.

– Да, и меня, и тебя вызывает, – подтвердил старик, от которого не ускользнуло смущение сына.

– Когда?

– На завтра.

Разговор происходил дома, вечером, вскоре по приезде молодого Алфимова с Варшавского вокзала.

Выйдя из кабинета отца, Иван Корнильевич прошел в свои комнаты, но ему, несмотря на некоторую усталость с дороги, не сиделось дома.

Мысль о завтрашнем допросе у следователя, об этой пытке, которой ему представлялся этот допрос, не давала ему покоя.

«Необходимо повидаться с Сигизмундом, – решил он. – Но где его сыскать?»

Иван Корнильевич позвонил и приказал явившемуся на звонок лакею заложить коляску.

– Слушаю-с, – стереотипно отвечал лакей и

удалился.

«Он дома или у Асланбекова, или у Усовой, у Гемпеля он был недавно, часто он у него не бывает, – продолжал соображать молодой Алфимов. – А видеть его мне нужно до зарезу...»

Он в волнении ходил по своему кабинету и каждую минуту поглядывал на часы.

Наконец, в дверях появился лакей.

– Лошади поданы, – заявил он.

– Наконец-то! – с облегчением воскликнул молодой человек, взял шляпу, перчатки и вышел в переднюю.

– Отец дома? – спросил он на ходу лакея.

– Никак нет-с, они уехали...

Иван Корнильевич вышел из подъезда, сел в коляску и приказал ехать на Большую Конюшенную.

На его счастье граф Стоцкий оказался дома. У него были гости... Баловались «по маленькой», как выражался Сигизмунд Владиславович, хотя эта «маленькая» кончалась иногда несколькими тысячами рублей.

– Вот не ожидал! Вот одолжил-то! Ты когда же вернулся? – встретил с распростертыми объятиями граф молодого Алфимова.

- Два часа тому назад.
- Ты настоящий друг. Спасибо... А мы тут бражничаем и перекидываемся в картишки...
- Я к тебе по делу.
- Дело не медведь, в лес не убежит... Да что такое?.. Ты расстроен?..
- Завтра опять вызывают...
- Туда?..
- Да...
- Хорошо, вот когда все разойдутся, потолкуем... Теперь не ловко...

Последний диалог был произнесен шепотом.

– Милости прошу к нашему шалашу, – сказал граф громко указывая на открытый ломберный стол, на котором лежали пачки кредиток, между тем, как молодой Алфимов здоровался с общим знакомыми.

С одним лишь незнакомым ему блондином он церемонно поклонился.

– Савин, Николай Герасимович, Алфимов, Иван Корнилович, – представил их граф Сигизмунд Владиславович, – а мне из ума вон, что вы не знакомы.

– Очень рад...

– Очень приятно...

Алфимов и Савин пожали друг другу руки.

Прерванная игра возобновилась.

Метал банк Сигизмунд Владиславович и по обыкновению выигрывал, только карты Савина почти всегда брали, но он и ставил на них сравнительно незначительные куши.

По окончании игры, после легкой закуски гости стали прощаться и разъехались.

Граф Стоцкий и Алфимов остались одни.

– В чем дело? – спросил Сигизмунд Владиславович, забравшись с ногами на диван и раскуривая потухшую сигару.

– Завтра вызывает следователь...

– Так что ж из этого?

– Но ведь это пытка...

– Что делать! На то и следствие.

– Зачем я ему?

– Я этого не знаю... Ведь я не следователь...

– А что, если он меня сведет с ним?..

– С Сиротининым?

– Да.

– Очень может быть... К этому надо готовиться...

– Что же мне говорить?

– То же, что говорил... «Да», «нет», «не знаю», «не помню».

– Я ужасно боюсь...

– Пустяки... Ну, как съездил? – переменял граф Стоцкий разговор.

– Ничего, съездил, все устроил благополучно...

– А здесь?

– Здесь все по-старому...

– Старик не нюхал в кассе?

– Нет, видимо, не проверял.

– Это хорошо.

– Ну, а как же насчет завтрашнего дня? Что ты мне посоветуешь?

– Станный ты человек... Ну, что мне тебе советовать?.. Будь мужчиной и не волнуйся...

– Как не волноваться?..

– Да так. Ведь это все одна пустая формальность, все эти допросы.

– Вызывают и отца...

– Вот видишь... Поезжай-ка спать. Утро вечера мудренее.

– И то правда... Уж поздно...

Молодой Алфимов простился и уехал.

«Странно... – думал, раздеваясь и ложась»

спать, граф Сигизмунд Владиславович. – Что бы это все значило? Неужели он заявил на него следователю и хочет предать суду за растрату?.. Не может быть... Впрочем, о чем думать? Все это узнаем завтра вечером...»

Иван Корнильевич между тем не спал всю ночь. Нервы его были страшно напряжены.

Лакей, пришедший его будить по приказанию в десять часов утра, уже застал его на ногах.

– Корнилий Потапович уже спрашивал, готовы ли вы? – сказал лакей.

Молодой Алфимов быстро умылся, оделся и вышел в столовую, где его отец уже допивал третий стакан чаю.

Иван Корнильевич с трудом выпил один, давась и обжигаясь. Старик зорко следил за ним из-под очков.

– Пора, – сказал он, взглянув на часы. – Без четверти одиннадцать... Едем.

– Едемте... – вздрогнул сын и послушно отправился за отцом в переднюю.

Через десять минут они были уже в здании окружного суда. Судебный следователь находился в своей камере. Их тотчас же про-

вели туда.

– Введите арестанта Сиротинина, – сделал распоряжение следователь, предложив обоим Алфимовым сесть на стоявшие у стола следователя стулья.

Через несколько минут, в сопровождении двух солдат с ружьями, вошел Дмитрий Павлович Сиротинин.

– Стража может удалиться, – сказал судебный следователь. Солдаты браво повернулись и, стуча сапогами, вышли из камеры.

– Я вызвал вас, господин Сиротинин, чтобы в последний раз в присутствии обоих потерпевших спросить вас, признаете ли вы себя виновным в совершении растраты в их конторе?

– Нет, не признаю, – твердым голосом ответил Дмитрий Павлович.

– И не имеете ни на кого подозрения?

– Нет...

– Из дела видно, что иногда, проверяя кассу, Иван Корнильевич Алфимов отсылал вас по поручениям, не предполагали ли вы...

Сиротинин не дал кончить судебному следователю.

– Я уже имел честь объяснить вам, господин судебный следователь, что подобное чудовищное предположение никогда не приходило, не приходит и не может прийти мне в голову... Я стольким обязан Корнилию Потаповичу и Ивану Корнильевичу.

– Несчастный! – тихо сказал старик Алфимов.

Иван Корнильевич сидел бледный, как смерть, потупя глаза в землю.

Ему казалось легче умереть, нежели посмотреть на Сиротинина.

– Вы видите, он упорно не сознается, господа, – обратился судебный следователь к обоим потерпевшим.

– И не мудрено, – вдруг почти громким, кричащим голосом сказал Корнилий Потапович, – ведь так вы, пожалуй, господин судебный следователь, захотите, чтобы он сознался и в растрате семидесяти восьми тысяч рублей, обнаруженной мною два дня тому назад и произведенной уже тогда, когда господин Сиротинин сидел в тюрьме, и сидел совершенно невинно... Не обвинить ли его, кстати, и в этой растрате? Как ты думаешь об этом,

Иван?

Молодой Алфимов уже с самого начала понял, к чему ведет речь его отец, и дрожал всем телом.

При обращении же к нему вопросу он как-то машинально скользнул со стула и упал к ногам Корнилия Потаповича.

– Батюшка!

– Ты сознаешься в обеих растратах?

– Сознаюсь, батюшка...

– Я не отец тебе, – воскликнул старик Алфимов, – да ты и не виноват передо мной, ты крал у себя самого, ты заплатишь мне из своих денег сто двадцать тысяч с процентами, а остальные восемьсот восемьдесят тысяч можешь получить завтра из государственного банка, я дам тебе чек, и иди с ними на все четыре стороны.

– Батюшка!

– Ползай на коленях и проси прощенья не у меня, а у этого честного человека, которого ты безвинно заставил вынести позор ареста и содержания в тюрьме... Которого ты лишил свободы и хотел лишить чести. Вымаливай прощенья у него... Если он простит тебя, то я

ограничусь изгнанием твоим из моего дома и не буду возбуждать дела, если же нет, то и ты попробуешь тюрьмы, в которую с таким легким сердцем бросил преданного мне и тебе человека...

– Я прощаю его! – сказал растроганный Сиротинин.

## ХІХ

### Освобождение

– Я прощаю его! – повторил Дмитрий Павлович, и слезы ручьем полились из его глаз.

Это были, если можно так выразиться, двойственные слезы.

С одной стороны, ему было бесконечно жаль несчастного Ивана Корнильевича, выносившего пытку нравственного унижения, а, с другой, то, что через несколько часов он будет свободен, а главное, что его честь будет восстановлена, привело его в необычайное волнение, разразившееся слезами.

– Встань... – между тем строгим голосом говорил сыну Корнилий Потапович. –

Встань... Меня ты не разжалобишь, я в своем слове кремень.

– Батюшка...

– Встань, говорю тебе... Этот честный и благородный человек простил тебя, и кара закона не обрушится на твою голову, но внутри себя ты до конца жизни сохранишь презрение к самому себе... Прошу вас, господин следователь, составить протокол о признании моего сына в растрате сорока двух тысяч рублей – относительно последней растраты я не заявлял вам официально – добавив, что я не возбуждаю против него преследования...

Судебный следователь, не дожидаясь обращения к нему старика Алфимова, уже писал постановление.

– Он должен подписать его... – сказал он, тотчас подписав написанное.

– Встань и подпиши... – почти крикнул на сына, все еще рыдавшего у его ног, Корнилий Потапович.

Тот встал, отер слезы, и взяв поданное ему судебным следователем перо, дрожащей рукой подписал свое звание, имя, отчество и фамилию.

– Этого признания, надеюсь, достаточно для освобождения из-под стражи неповинно осужденного мною человека, перед которым я всю жизнь останусь в долгу? – спросил Корнилий Потапович.

– Совершенно достаточно, – ответил судебный следователь, начавший снова что-то писать. – Я сейчас кончу постановление о прекращении следствия и освобождении его из-под ареста.

– Иван Алфимов вам более не нужен?

– Нет.

– Иди отсюда... Не оскверняй своим присутствием общество честных людей... Сегодня же выезжай из моего дома и не показывайся мне на глаза... Чек на твой капитал, за вычетом растраченных тобою денег, получишь завтра в кассе.

– Батюш... – начал было Иван Корнильевич, но старик не дал ему договорить этих слов.

– Иди и не заставляй меня еще раз повторить тебе, что я тебе не отец... Иди.

Молодой Алфимов вышел, низко опустив голову. Один Сиротинин проводил его сочув-

ственным взглядом.

– Как мне жаль его, – чуть слышно прошептал он.

Судебный следователь окончил постановление и прочитал его Дмитрию Павловичу.

– Подпишите, господин Сиротинин.

Дрожащей от волнения рукой подписал он этот освобождающий и возвращающий ему честь документ.

– Позвольте мне искренно поздравить вас с таким оборотом дела, предчувствие не обмануло меня, я был давно убежден в вашей невинности... Вы вели себя не только как несомненно честный человек, но как рыцарь...

Следователь протянул Дмитрию Павловичу руку, которую он пожал с чувством.

– Благодарю вас... Я всю жизнь сохраню о вас светлое воспоминание.

– Это случается очень редко, как редки и такие обвиняемые, – улыбнулся судебный следователь.

– Я сейчас же напишу отношение к начальнику дома предварительного заключения о вашем немедленном освобождении.

Присядьте, – добавил он. – Вы свободны господин Алфимов, – обратился он к Корнилию Потаповичу.

– Нет, господин судебный следователь, позвольте мне при вас испросить прощение у Дмитрия Павловича. Он простил моего сына, но простит ли он меня?.. Мои лета должны были научить меня знанию людей, а в данном случае я жестоко ошибся и нанес господину Сиротину тяжелое оскорбление. Простите меня, Дмитрий Павлович!

В голосе старика слышались слезы, быть может, первые слезы в его жизни.

– От души прощаю вас, Корнилий Потапович, вы были введены в заблуждение... Я сам наедине с собою, в своей камере размышлял об этом деле и понимаю, что будь я на вашем месте, я бы никого не обвинил, кроме меня... Сознавая свою невинность, я сам обвинял себя, объективно рассматривая дело... От всей души, повторяю, прощаю вас и забываю...

– Благодарю вас, благодарю...

Корнилий Потапович протянул Дмитрию Павловичу обе руки, которые тот с чувством пожал.

– А в доказательство вашего искреннего прощенья у меня будет до вас одна просьба...

– Я весь к вашим услугам...

– Позвольте мне приехать сюда в дом предварительного заключения, и после вашего освобождения самому доставить вас к вашей матери и невесте...

– Невесте!.. Вы почему знаете?..

– Я не только знаю, но даже, как кажется, я перед ее матерью в большом долгу... Я нянчил ее мать когда-то на руках.

– Едва ли это удобно, сегодня...

– Нет, именно мне хотелось бы самому внести радость в тот дом, куда я внес печаль и горе... Не откажите...

– Извольте... Ваши соображения и чувства, лежащие в их основе, не позволяют мне не согласиться...

– Вот за это большое спасибо, но человек никогда не бывает доволен... Есть еще просьба...

– Еще?

– Да, еще... С завтрашнего дня я прошу вас занять ваше место в кассе моей банкирской конторы с двойным против прежнего окла-

дом жалованья. Этим вы окончательно примирите меня с самим собою.

– Но...

– Никаких «но». Я сделаю объявление в газетах о возвращении вашем на прежнюю должность кассира конторы одновременно с уведомлением о выходе из фирмы Ивана Алфимова.

– Это жестоко относительно вашего сына, – запротестовал Дмитрий Павлович.

– Это только справедливо.

– Я не имею права отказаться и от этого вашего предложения, так как, действительно, это совершенно восстановит мою честь в глазах общественного мнения, которое было настроено всецело против меня.

– Это и есть моя цель. Значит, вы согласны?

– Да.

– Ну, теперь я спокоен... Еще расквитаться с одним старым долгом, и на душе моей будет легче... Позвольте мне, старику, обнять вас.

И Корнилий Потапович заключил Сиротина в свои объятия. Судебный следователь тем временем кончил писать бумагу, запеча-

тал ее в конверт, надписал адрес и позвонил.

– Стражу! – приказал он вошедшему курьеру.

Это приказание резнуло было ухо Дмитрия Павловича, но вспомнив, что это последний раз, он радостно улыбнулся. Судебный следователь угадал его мысль.

– Вам придется совершить эту последнюю тяжелую формальность.

– Я понимаю.

Одному из вошедших конвойных следователь вручил пакет, с приказанием немедленно передать его начальнику дома предварительного заключения.

– Экстра, – добавил он.

– Слушаюсь-с, ваше высочорodie, – отвечал солдатик. Сиротинин в сопровождении конвойных внутренним ходом отправился в дом предварительного заключения.

– До скорого свиданья, – сказал ему Корнилий Потапович.

– До свиданья...

Когда Сиротинин ушел, Корнилий Потапович простился с судебным следователем, поблагодарив его от души за исполнение его

просьбы.

– Это вполне соответствует моим обязанностям, – сказал тот, – притом же разъяснение этого дела меня самого крайне интересовало... Я с самого начала видел в нем нечто загадочное, но обстоятельства сложились так, что я был бессилён что-либо сделать для обвиняемого.

– Но теперь, слава Богу, все разъяснилось... Для моего сына это, быть может, послужит уроком.

– Дай Бог...

Корнилий Потапович вышел из камеры следователя, спустился вниз и, сев у подъезда в пролетку, приказал ехать на Шпалерную.

Остановившись, к великому изумлению кучера, у дома предварительного заключения, он был беспрепятственно впущен в контору.

В ней он застал смотрителя, который уже получил бумагу судебного следователя относительно освобождения арестанта Сиротинина.

Корнилий Потапович отрекомендовался.

Имя известного петербургского богача и

финансиста было знакомо зрителю, и тот рассыпался в любезностях и сам подвинул стул Алфимову.

– Мы мигом устроим все и долго вас не задержим... А как мы рады все, что наконец Сиротина освобождена! Поверьте, что здесь, в доме, начиная с меня и кончая последним сторожем, все были убеждены, что он сидит вследствие какой-то ошибки... Значит оно так и вышло?

– Да, произошла ошибка... – уклончиво ответил Алфимов.

– Скажите, какой случай!

Зритель ушел сделать нужные распоряжения.

Через несколько минут он вернулся с Дмитрием Павловичем Сиротининым.

В минуту были соблюдены все формальности, и Корнилий Потапович с Дмитрием Павловичем вышли за ворота дома, куда ни тот, ни другой не пожелали бы возвратиться.

Они уселись в пролетку, и Алфимов обратился к своему спутнику:

– Кажется, на Гагаринскую?

– Да.

– Пошел на Гагаринскую! – крикнул он кучеру. Пролетка покатила.

Странные чувства овладели Дмитрием Павловичем.

Ему казалось, что он едет по незнакомому ему городу, и он с любопытством рассматривал Литейную, Сергиевскую и даже Гагаринскую улицы, которые знал очень хорошо, постоянно живя в этих местах.

Заключение в одиночной камере точно заставило его все забыть.

Арестанты дома предварительного заключения лишены даже удовольствия пройтись из тюрьмы в камеры судебных следователей по городу, так как камеры эти помещаются в здании суда, а между последним и «домом предварительного заключения» существует внутренний ход.

В квартире Анны Александровны Сиротиной не только не знали об освобождении Дмитрия Павловича из-под ареста, но даже не предполагали такой быстрой возможности этого, скажем более, почти перестали на это рассчитывать.

Это бывает всегда с людьми, чего-нибудь

сильно желающими и особенно твердо на желаемое надеющимися, даже уверенными в исполнении. Из малейшей отсрочки у них наступает реакция, и надежду снова вытесняет сомнение.

Некоторое промедление вследствие просьбы Кирхофа, допущенное в деле, привело в пессимистическое настроение сперва Анну Александровну, а затем это настроение передалось Елизавете Петровне.

Последняя, впрочем, боролась с возникающей в ее сердце безнадежностью и старалась утешить себя, что такие дела не делаются вдруг, но вчерашнее сообщение Сиротининой окончательно встревожило ее.

Анна Александровна вернулась со свидания с сыном совершенно расстроенной.

– Все кончено!.. – вошла она в гостиную и бессильно опустилась на диван.

– Что кончено? – с тревогой в голосе спросила молодая девушка.

– Завтра его опять вызывают к следователю...

– Что ж из этого?

– Он говорит, что это, вероятно, для заклю-

чения следствия, после чего передадут дело в суд для составления обвинительного акта, и всему конец.

Дмитрий Павлович действительно полагал, что вызов к следователю имеет эту цель, так как, известно читателю, не придавал никакого значения хлопотам своей матери и невесты, хотя и не говорил им этого.

«Пусть себе утешаются... Легче таким образом свыкнуться с горем», – думал он.

– Ужели все кончено?.. Это он так сказал?

– Нет, он не сказал... Это я от себя... Что ж тут себя утешать, ведь, конечно, все кончено... Присяжные обвинят...

– Это еще неизвестно... Куда же запропастился Савин?

– Куда запропастился... – с горечью сказала Сиротинина. – Никуда не запропастился, а поделать ничего не может...

– Я завтра же поеду к Долинскому, а через него разыщу Николая Герасимовича.

– Все по-пустому...

– Как знать!

– Да уж чует мое сердце материнское, быть беде... Утешались мы с тобою, моя горемыч-

ная, как малые дети...

На другой день утром Елизавета Петровна Дубьянская, однако, все-таки поехала к Сергею Павловичу, но не застала его дома. Ей сказали, что он будет не ранее шести часов вечера. С этой вестью она вернулась домой.

– Это ужасно, как на зло, куда-то уехал с самого утра, – волновалась молодая девушка.

– Э, матушка, у него не одно наше дело... Да и дело-то какое, безнадежное... – с отчаянием махнула рукой старушка.

Они обе сидели в кабинете Дмитрия Павловича.

– А я все-таки вечером съезжу...

– Поезжай.

В это время в передней раздался сильный звонок. Обе женщины вздрогнули.

## Старый должник

— Матушка-барыня, матушка-барышня, молодой барин... — как сумасшедшая вбежала в кабинет прислуга.

— Что ты плетешь?.. Какой молодой барин?.. — воскликнула Елизавета Петровна.

Пораженная известием Анна Александровна молчала.

— Барин, молодой барин, Дмитрий Павлович... Со стариком каким-то!.. — воскликнула прислуга и выбежала из комнаты.

— Верно, опять обыск... — с отчаянием заметила Сиротинина. Обе женщины, однако, поспешили в гостиную.

— Мама... Лиза... — бросился к ним с радостной улыбкой Дмитрий Павлович.

— Митя... Дмитрий!.. Ты! Ты!.. — в один голос вскрикнули Сиротинина и Дубянская.

— Я, мои дорогие, я... опять около вас... дома...

— Свободен?

— Свободен.

– Митя, голубчик... – пошатнулась и чуть было не упала Анна Александровна.

Сын поддержал ее и бережно довел до кресла. Старушка неудержимо рыдала.

– Мама, что с тобой, мама?..

Анна Александровна перестала плакать.

– Ничего, родной, ничего, это с радости... Не выдержала... Поцелуй свою невесту...

– Лиза, дорогая...

– Дмитрий...

Молодые люди упали друг другу в объятия.

Корнилий Потапович стоял вблизи двери и смотрел на эту сцену. В первый раз в его жизни в его сердце зашевелилось человеческое чувство – чувство умиления.

Когда первые волнения встречи прошли, он выступил вперед.

– Позвольте и мне принять участие в вашей семейной радости, – сказал он неподдельно растроганным голосом.

– Корнилий Потапович, батюшка!.. – воскликнула Сиротинина.

– Извините, взволновавшись, мы вас и не заметили, – спохватилась Елизавета Петровна.

– Что за извинения?.. Когда тут замечать было... Не до меня вам... Я знаю...

– Садитесь, – предложила Дубьянская. Старик Алфимов сел.

Елизавета Петровна и Дмитрий Павлович тоже присели на диван.

– По моей страшной вине, сын ваш был оторван от вас, – обратился Корнилий Потапович к Сиротининой, – мне самому и хотелось вам возвратить его... Честным человеком вошел он в тюрьму и еще честнее вышел оттуда... У меня нет сына, но позвольте мне в нем видеть другого.

– Как нет сына? – воскликнула Анна Александровна.

– Так, нет... Иван оказался вором, за которого пострадал неповинно Дмитрий Павлович.

– Что вы!

– Он сегодня сознался у следователя... Я немедленно выдам ему капитал и поведу один мою банкирскую контору, сын ваш мне будет главным помощником и кассиром, он уже согласился на это...

– Да простите вы сына-то... Молод ведь он...

Его вовлекли, быть может, – заступилась Сиротинина.

– Несомненно, вовлекли, – подтвердила Елизавета Петровна.

– Нет, я его не прощу... Я в своем слове крепень... Достаточно того, что его простил Дмитрий Павлович.

– Он простил его?

– Ты простил его?

Оба эти восклицания Сиротининой и Дубянской были обращены к Сиротинину.

В глазах обеих женщин сияло восторженное поклонение Дмитрию Павловичу.

Последний скромно наклонил голову в знак подтверждения.

– Простите и вы его, – сказала Елизавета Петровна.

– Нет, не просите... Его я не прощу, – тоном бесповоротной решимости заявил Алфимов. – А вот до вас, барышня, у меня есть маленькое дельце...

– До меня? – с недоумением спросила Елизавета Петровна.

– Да, до вас... Матушка ваша не Алфимовская была урожденная?

– Да, Алфимовская.

– Татьяна Анатольевна?

– Да... Вы ее знали?

– Она, она!.. – как бы про себя прошептал Корнилий Потапович. – Знал ли я ее?.. Как еще знал, с колыбели на моих руках она и выросла... Мы с покойным барином почитай ее сами выкормили.

– С покойным барином? – повторила вопросительно Дубянская.

– И в долгу у ней, у покойницы, в долгу, ну, все равно, с дочкой рассчитаюсь, ведь вы единственная...

– Да, я одна... Был брат, но тот умер ребенком.

– Так-с, значит вы одна и наследница капитала.

– Капитала?.. Я не понимаю.

– Поймете, барышня, все вам расскажу на чистоту, душу свою облегчу... Пусть и близкие вам люди слушают... В старом грехе буду каяться, ох, в старом... Не зазорно... Может, меня Господь Бог за это уже многим наказал, не смотрите, что богат я, порой на сердце, ох, как тяжело... От греха... По слабости человеческой

грехом грех и забываешь... Цепь целая, вериги греховные, жизнь-то наша человеческая...

Алфимов тяжело вздохнул. Все молчали с любопытством.

– Выросла ваша матушка, дай Бог ей царство небесное, красавицей-раскрасавицей... Вы несколько на нее похожи, но, не скрою, красивее вас она была...

– Моя мать была до самой смерти красавица...

– Пошел ей восемнадцатый годок... Мы с баринком на нее не нарадуемся...

Елизавета Петровна снова при слове «баринком» вопросительно взглянула на Корнилия Потаповича.

– Удивляетесь вы, что я дедушку вашего баринком величаю, так объясню я вам сперва и это... Крепостным я был его – Алфимовского-то... Вырос с ним и был по смерть его слуга... Вот оно что... Поняли?

– Поняла...

– Гувернантки при ней были... Учителя разные ходили, всем наукам обучали, а среди учителей один был, молодец из себя, по фамилии Дубянский – вот он и есть ваш батюшка...

Влюбилась в него Татьяна Анатольевна и убежала из родительского дома...

Старик Алфимов остановился.

Ему предстоял вопрос, говорить ли дочери о преступлении матери, или же скрыть, чтобы не потревожить память умершей. Он решил на последнее.

– Дедушка-то ваш, как узнал об этом, так и обмер... Удар с ним в ту пору случился... Несколько оправившись, призывает меня к себе и говорит: «Поезжай и разыщи их, вот тут сто тысяч, в банковых билетах, отдай им...» – сунул он мне пачки этих билетов и прибавил: «Но чтобы они мне на глаза не показывались...» – вскрикнул он последнее-то слово не своим голосом и упал на подушки постели... Второй удар с ним случился... Не приходя в себя, Богу душу отдал...

Он снова остановился и несколько минут молчал.

– Умер барин-то... Вольную на мое имя в столе нашли, в шифоньерке шестьдесят тысяч деньгами... Два имения после него богатейших остались... В моем же кармане сто тысяч... Капитал, ох, какой, по тому времени,

мне капитал-то казался... Гора... Попутал бес, взял я вольную, да и ушел с деньгами-то... Думаю, и дочке бариновой хватит... Богачкой ведь сделалась... Вот в чем грех мой... Простите...

Корнилий Потапович неожиданно для всех присутствовавших сполз с кресла, опустился на колени и до земли поклонился Дубянской.

Та вскочила.

– Встаньте, Корнилий Потапович, что вы...

Алфимов встал.

– Ничего, барышня, ничего, голубушка, от лишнего поклона меня не убудет... За все уже сразу прощенья прошу, и за себя, за грех мой, и за жениха вашего, что огорчил я вас, его заподозрив в бесчестном поступке... Так простите Христа ради...

– Прощаю, прощаю... Дело прошлое...

– Так вот я какой старый должник ваш... Теперь сделал я вчера выкладку и присчитал и проценты, приходится вам получить ровно сто пятьдесят тысяч... Извольте...

Корнилий Потапович вынул из кармана громадный бумажник, вынул из него подпи-

санный чек и положил перед Елизаветой Петровной.

– Во всякое время получить можете в государственном банке.

– Это мне?

– Вам-с... Вам, кому же, как не вам.

– Но...

– Какие же тут «но»... У вашей матушки взял, дочери отдаю... наследнице... Вот вам и приданое... За такого молодца выходить бесприданнице не полагается... Возьмите, спрячьте, ведь целый капитал...

Елизавета Петровна сидела молча и глядела то на Корнилия Потаповича, то на лежавший перед ней чек, эту маленькую бумажку, на самом деле заключавшую в себе целый капитал.

– Не хотите, видно, простить меня, старика... – после некоторой паузы, грустно сказал Алфимов.

– Нет, не то, Корнилий Потапович, не то... – встрепенулась Дубьянская. – Я думала совсем о другом.

– О чем же?

– Я думаю, что Бог допускает иногда и пре-

ступления на благо тех, против которых они совершены... Если бы вы не утаили этих денег, они пошли бы, как и все состояние моих родителей, на удовлетворение роковой страсти моего отца... Моя мать, умирая, сокрушалась лишь о том, что я буду нищая... Она знала несчастную склонность своего мужа к игре, доведшей ее до преждевременной смерти, а его до самоубийства... а Бог, Бог позаботился о его дочери... И вот вы возвращаете мне то, что принадлежало моей матери... Не только я, но и Бог простит вас за ваш грех прошлого.

Корнилий Потапович схватил руку молодой девушки и поцеловал ее.

– Еще более облегчили вы душу мою этими словами вашими... Коли простили меня совсем, и даже поселили в сердце моем надежду на милость Божию, так позвольте мне и благословить вас к венцу... И поверьте, что старый слуга вашего дедушки благословит вас искренно, от всей души.

– От этого не отказываются, благодарю вас...

Старик Алфимов снова поймал руку Елизаветы Петровны и почтительно поцеловал.

– А теперь до свиданья... Не буду мешать вам проводить первый день свиданья... Дай Бог, чтобы вся ваша жизнь прошла в таких же радостях, какие принес вам сегодняшний день.

Он стал прощаться и снова почтительно поцеловал руки у Дубянской и Сиротининой.

– Вас я жду завтра в конторе, – сказал он, крепко пожимая руку Дмитрию Павловичу.

– Я буду, как всегда, аккуратен.

По его уходе Сиротинин, по настоянию матери и невесты, подробно рассказал все происшествия сегодняшнего утра.

Волнуясь, почти со слезами на глазах, рассказывал Дмитрий Павлович о признании, совершенном молодым Алфимовым.

– Он был совершенно уничтожен, на него было жаль смотреть.

– Бедняжка! – воскликнула Анна Александровна.

– Действительно, бедняжка... И большой у него капитал? – спросила Дубянская.

– Осталось более восьмисот тысяч.

– Боже мой, какая уйма денег! – сказала Сиротинина.

– И поверьте, все пойдет прахом... Он игрок! – заметила Елизавета Петровна.

– Несчастный!

Затем Сиротинин рассказал о предложении, сделанном ему Корнилием Потаповичем, снова занять место кассира в его банкирской конторе с двойным против прежнего окладом содержания.

– Что же ты? – спросили в один голос мать и Дубянская.

– Я согласился, так как это единственный способ восстановить мою репутацию... Он обещал об этом опубликовать в газетах, одновременно с уведомлением о выходе из фирмы его сына.

– Ну, что я говорила тебе, что все кончится благополучно! – торжествующе воскликнула Елизавета Петровна. – Не права я?

– Права, права, моя милая... – привлек он ее к себе. Молодые люди крепко расцеловались.

– И все это устроила она, она одна... Она спасла тебе честь... – сказала Анна Александровна. – Люби и цени ее.

– Едва ли кто может любить и когда-ни-

будь любил так женщину, как люблю ее я! – воскликнул Дмитрий Павлович, взяв за руку Дубянскую и нежно смотря на свою невесту.

– Мы обязаны всем этим Долинскому и Савину, – сказала Елизавета Петровна. – Несомненно, что Николай Герасимович устроил, что настоящий виновник сознался.

– Я останусь всю жизнь им благодарен, – с чувством сказал Сиротинин. – Долинского я съезжу сам поблагодарить, а Савина я не знаю, но ты меня, конечно, с ним познакомишь.

– Непременно.

День прошел незаметно.

## XXI

### Публикация

На другой день во всех петербургских газетах на первой странице, на самом видном месте, появилась следующая публикация, напечатанная жирным шрифтом:

*«Сим имею честь уведомить моих многочисленных клиентов, что сын мой Иван Корнильевич Алфимов выбыл из торговой фирмы „Алфимов и сын“ и никакого участия в банковской конторе моей отныне не принимает. Главноуправляющим этой конторой, принадлежащей мне единолично, и старшим кассиром мною вновь приглашен дворянин Дмитрий Павлович Сиротинин, которому мною и будет выдана полная доверенность. Кроме того, имею честь присовокупить, что ни по каким обязательствам сына моего, Ивана Корнильевича Алфимова, я уплат производить не буду.*

*С почтением*

*Корнилий Алфимов».*

Публикация эта произвела большую сенсацию в финансовом мире.

Корнилий Потапович достиг цели – честь Сиротинина была совершенно восстановлена, а между строк этой публикации читалось обвинение Ивана Корнильевича.

Так все и поняли.

– Жестокий старик! – сказала Елизавета Петровна Дубянская, прочитав Анне Александровне эту публикацию за чайным столом, когда они ожидали одевавшегося у себя в кабинете, чтобы ехать в контору, Дмитрия Павловича.

– В этом случае он справедлив, если бы он покрыл сына, то тень на Дмитрие все-таки бы осталась, – заметила Сиротинина.

– Так-то, так. Но жаль и молодого человека, тем более, что я уверена, что он действовал под влиянием негодяев... Теперь он окончательно погиб... Ведь у него почти миллион, они набросятся на него, как коршуны.

– Может, остепенится... Тяжелый урок...

– Слабохарактерен он, тряпка... Где ему

устоять...

– Может начать свое дело...

– Какое там дело... Все растащут, все проиграет... И в конторе-то отца, как говорил Дмитрий, он почти не занимался делом, ни во что не вникал и не хотел вникать...

– Ну, тогда, конечно, проку из него не будет, – согласилась Анна Александровна. – Почеловечески его жалеть действительно надо, но нам-то он, ох, какое зло сделал, ты только сообрази, легко ли было Мите вынести весь этот позор, легко ли было сидеть в тюрьме неповинному... Он перед нами-то спокойным прикидывался, а вчера я посмотрела, у него на висках-то седина... Это в тридцать лет-то... Не сладки эти дни-то ему показались, а все из-за кого...

– Да, конечно, – вздохнула Дубянская. – Но теперь за это он наказан...

– Так и пусть сумеет сам вынести пользу себе из этого наказания... Не маленький, понимать должен... Если же сам в петлю полезет, туда ему и дорога... Худая трава из поля вон, – раздражительно сказала старушка.

Елизавета Петровна вздохнула.

– Вы правы, – с грустью сказала она.

В это время в столовую вошел Сиротинин, поцеловал руку у матери и невесты и присел к столу.

– В контору?

– Да, я обещал быть сегодня же. Корнилий Потапович очень вчера настаивал. Быть может, я все-таки заставлю его несколько смягчиться к сыну.

Через какие-нибудь полчаса, когда Дмитрий Павлович, наскоро выпив стакан чаю, вышел из дому и подъезжал к конторе, ему еще раз пришлось убедиться, что старик Алфимов «спешит».

Над конторой, несмотря на то, что вся катастрофа случилась лишь накануне, красовалась новая вывеска, на которой вместо слов «Банкирская контора Алфимов и сын» было написано: «Банкирская контора К. П. Алфимова».

Корнилий Потапович, несмотря на то, что был только одиннадцатый час в начале, был уже в конторе.

Видимо, относительно Дмитрия Павловича им были отданы соответствующие распо-

ряжения.

Об этом догадался, не без внутренней улыбки, Дмитрий Павлович по торжественной почтительности, с которою встретил его швейцар.

При появлении его в конторе все служащие встали почтительно со своих мест, что прежде делали лишь при появлении «самого» и его сына Ивана Корнильевича.

Дмитрий Павлович по-прежнему по-товарищески поздоровался со всеми.

Артельщик забежал вперед и отворил дверь в кассу.

На письменном столе Сиротинин нашел два ордера для записи в расход выданных чеков на государственный банк, один на имя купеческого сына Ивана Корнильевича Алфимова в восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей, а другой – дворянки Елизаветы Петровны Дубянской на сто пятьдесят тысяч рублей.

Ордера были написаны рукой самого Корнилия Потаповича.

Задумчиво смотрел на эти лежавшие перед ним бумаги Дмитрий Павлович Сироти-

нин, и, казалось, в бездушных цифрах, выведенных старинным, но твердым почерком полуграмотного богача, читалась ему повесть двух русских семей, семьи Алфимовских, отпрыск которой сделалась госпожей Дубянской, и семьи Алфимовых, странной сводной семьи, историю которой знал понаслышке Дмитрий Павлович.

Раскрытая книга, в которую надо было вносить цифры расхода, лежала перед ним, а он медлил, казалось с благоговением, приступить к этому, в сущности, обыденному для него акту.

Впервые мысль, что каждая цифра приходной и расходной книги банка имеет тесную связь с жизнью человека, его семейных и близких, поразила его с особой ясностью.

Цифра; касающаяся купеческого сына Ивана Корнильевича Алфимова, казалась ему цифрой его гибели.

Цифра Дубянской, напротив, независимо от того, что это была любимая им девушка, его невеста, представлялась ему цифрой светлого будущего.

За обоими цифрами рисовалась страшная

картина смерти и преступления.

В этих размышлениях его застал артельщик, заведываващй разменной кассой, на обязанности которого было выдавать жалованье служащим.

Он принес пачку денег и книгу, в которой служащие расписывались в получении.

– Что вам? – спросил Сиротинин.

– Извольте получить жалованье, по приказанию Корнилия Потаповича.

И снова в книге Сиротинин увидел почерк «самого».

На странице, отведенной для него, Дмитрия Павловича, выписано было жалованье за все время отсутствия его в конторе в удвоенном размере.

Сиротинин, не входя в объяснения с артельщиком, расписался, взял деньги и положил их в карман.

Артельщик вышел с почтительным поклоном.

Дмитрий Павлович вписал в расход, просмотрел и проверил книги, оказавшиеся в порядке, наличность сумм, в присутствии состоявшего при нем артельщика, запер шкафы,

взял ключ и собрался уже идти в кабинет «самого», как вошел служитель с приглашением от Корнилия Потаповича.

– Просят в кабинет! – сказал он.

– Он один?

– Никак нет-с, там от нотариуса господин...

– А...

В кабинете Корнилия Потаповича Сиротинин действительно застал чиновника от нотариуса, привезшего доверенность и уже прощавшегося с хозяином.

Старик Алфимов приветливо поздоровался с вошедшим Дмитрием Павловичем, как здоровался обыкновенно до ареста его пообвинению в растрате. Казалось, будто бы ничего не случилось и даже не было перерыва в служебной деятельности Сиротинина.

– Я вверяю вам управление конторою, вот доверенность, написанная в этом смысле с самыми широкими полномочиями...

Он передал бумагу Дмитрию Павловичу.

Тот взял её.

Чиновник от нотариуса вышел.

– Не будет никаких приказаний? – спросил Сиротинин.

– Нет... У вас все там в порядке?

– Все...

– Когда ваша свадьба?

– Недели через две, через три...

– Напомните вашей невесте ее обещание.

– Она его помнит...

Алфимов замолчал.

Дмитрий Павлович догадался, что ему можно выходить, и тотчас вышел.

Корнилий Потапович его не задержал. Сиротинин возвратился в кассу.

Работа вошла в свою колею. Ему самому даже стало казаться, что он и вчера, и третьего дня работал в кассе и что все происшедшее было сном.

Лишь открывая книгу расхода, когда взгляд его упал на записанные им сегодня две злосчастные цифры, он возвращался к действительности.

По уходе Дмитрия Павловича Сиротинина из дому Елизавета Петровна тоже оделась и уехала, захватив с собой данный ей Корнилием Потаповичем чек.

Прежде всего она решила заехать к Сергею Павловичу Долинскому.

Это был его приемный час, но, на ее счастье, в его кабинете сидел только один клиент.

Когда он вышел, она попросила доложить о себе.

Сергей Павлович сам вышел к ней в приемную.

– Пожалуйста... Пожалуйста... Поздравляю, – весело встретил он ее.

Они прошли в кабинет.

– Разве вы знаете? Я пришла поблагодарить вас от души.

– Полноте, полноте, за что, что я сделал?.. Вы говорите, знаю ли я?.. Подробностей нет, но читал публикацию... Да вот сейчас ушел от меня тоже один банковый деятель, так говорил, что весь финансовый мир только и говорит об этом... Это со стороны Алфимова благородно, но относительно сына жестоко...

– Я тоже этого мнения...

– Но вместе с тем, им это и заслужено... Но как все это случилось? Садитесь и рассказывайте.

Он усадил ее в кресло около письменного стола и сам сел напротив.

Елизавета Петровна начала подробный рассказ. Сперва, со слов Дмитрия Павловича, она описала подробно сцену у следователя, а затем уже, как очевидица, и возвращение Сиротинина в свою квартиру в сопровождении Корнилия Потаповича. Передала она Долинскому и исповедь старика Алфимова относительно его поступка с ее матерью, причем показала выданный им чек.

– Это совершенный роман! – воскликнул Сергей Павлович, когда Дубянская кончила свой рассказ. – Таким образом, вы богатая невеста человека с упроченным навсегда положением в финансовом мире... Молодец Савин!

– Поразительно быстро это он устроил.

– Я говорил вам, что это он один сумеет...

– Но каким образом?..

– Этого я сам не знаю, потому что за последние дни его не видал и, признаться, стал даже в нем сомневаться...

– Где он живет?

– В «Европейской».

– Мы с Дмитрием заедем к нему поблагодарить.

– Следует...

Наступила небольшая пауза, которую прервала Елизавета Петровна.

– Я приехала, кроме того, чтобы принести вам искреннюю мою благодарность, еще и попросить вас помочь мне в денежных делах... Что мне делать с этими деньгами?

– Вот несовременный вопрос, – улыбнулся Долинский. – Что делать? У вас жених – банковый деятель...

– Мне неловко обращаться к нему, он очень щепетилен в этих вопросах...

– Тогда поедemте в банк, получите деньги, купите прочные и выгодные бумаги, положите их на хранение – вот и все.

– Но с условием, что вы мне позволите вас поблагодарить.

– От души, словами, да...

– Но я отнимаю у вас время...

– Вам я его не продам, хотите взять даром...

Иначе я отказываюсь...

В голосе его прозвучали строгие, решительные ноты.

– Что ж я с вами поделаю... Еще раз благодарю вас.

Она подала ему руку и крепко, по-дружески пожалала ее. Они вместе поехали в государственный банк.

Процедура финансовой операции заняла два часа. Получив деньги, они поехали в контору Юнкера, купили бумаги и снова вернулись в банк и положили их на хранение.

– Ну, вот вы и прошли сегодня мытарства капиталиста, – пошутил Сергей Павлович. – В благодарность позвольте мне вас проводить до дому.

## XXII

### Новый роман

**И**сполнив поручение Долинского и узнав от графа Сигизмунда Владиславовича, что начертанный им план освобождения Сиротина из тюрьмы приведен в исполнение, Николай Герасимович, действительно, больше не появлялся у Сергея Павловича.

Савину было не до того.

В его жизни снова начинался роковой переворот.

Жизнь людей с пылким, увлекающимся

темпераментом, которым природа в такой большой дозе наградила нашего героя, периодически посещается бурями. Это зависит от них самих, они ищут таких бурь. Тихая пристань – домашний очаг, регулярная жизнь, постоянство любящей женщины – все это не создано для них. К ним всецело могут быть применены слова поэта:

Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой,  
А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в буре есть покой?

То же самое сейчас происходило и с Николаем Герасимовичем Савиным.

Отношения к Мадлен де Межен, независимо от того, что были, как мы знаем, отравлены им же самим созданными подозрениями, сделались за последнее время так монотонно ровны, тем более, что пикантная француженка совершенно исчезла в любящей женщине.

Будь на месте Савина другой человек, более благоразумный, более думающий о будущем, он понял бы, что именно около этой женщины он может найти тихую пристань, после со столькими крушениями предприня-

того им плавание по бурному житейскому морю.

Он женился бы на ней и на крохи своего когда-то громадного состояния создал бы дело, которое привело бы его, если не к богатству, то к довольству у тихого домашнего очага.

Но не таков был Николай Герасимович.

Это «мещанское счастье», как называл он тихую семейную жизнь, не привлекало его.

Изменившаяся Мадлен де Межен, всецело отдавшаяся своему искреннему чувству к нему, не интересовавшаяся нарядами, не искавшая удовольствий, с каждым днем производила на него впечатление «скучной женщины», эпитет, которым с его стороны был подписан приговор всякому чувству.

Случайная встреча с Верой Семеновной Усовой, роль, которую Николай Герасимович сыграл относительно этой девочки-ребенка на вечере у ее матери, плохо скрытое едва вышедшей из подростка девочкой увлечение им, ее спасителем от этих наглых светских хлыщей разного возраста – все это создало в уме Савина целую перспективу нового рома-

на, героиня которого была наделена им всеми возможными и невозможными для женщины качествами.

Николай Герасимович из Веры Семеновны создал себе идеал.

Вырвать эту трепещущую чистую голубку из когтей бездушного коршуна – ее матери – лаской и нежностью заставить впервые забиться страстью юное сердечко, возвратить земле это неземное существо, но не грубым способом Капитолины Андреевны, не приказанием, не толчками в грязный жизненный омут, а артистическим пробуждением в ребенке – женщины.

Вот увлекательная задача, и сколько блаженства сулит она ее разрешившему.

Эту задачу поставил себе Николай Герасимович.

Так быстро, почти без хлопот устроившееся дело Сиротинина не могло отвлечь мыслей Савина от разрабатываемого им плана, напротив, сблизившись вследствие этого дела с Гемпелем, Кирхофом и графом Стоцким, Николай Герасимович нашел, особенно в последнем, усердного помощника в осуществле-

нии этого плана.

Бессознательно помогала этому и сама Капитолина Андреевна: раздраженная упорством молодой девушки, она настойчиво требовала от нее приветливости и кокетства по адресу тех или других указанных ею избранников; на чем свет стоит поносившая Савина, которому не могла простить вмешательства между ней и ее дочерью в первый вечер, и на которого всецело сваливала неудачу первого дебюта, в роли дорогого приза, ее дочери.

Последняя, как это всегда бывает с женщинами вообще, а с молоденькими девушками в особенности, чем более слышала дурного от своей матери о «спасителе», тем в более ярких чертах создавала в себе его образ, и Капитолина Андреевна добилась совершенно противоположных результатов: симпатия, внушенная молодой девушке «авантюристом Савиным» – как называла его Усова – день ото дня увеличивалась, и Вера Семеновна кончила тем, что влюбилась по уши в героя стольких приключений.

Граф Сигизмунд Владиславович, бывший уже совершенно «своим человеком» у полков-

ницы Усовой, взялся быть «почтальоном любви» и уже на вторую записку Савина принес ему ответ от Веры Семеновны.

Завязалась деятельная переписка, в которой Николай Герасимович с искусством опытного ловеласа раскалял воображение девочки, рисовал ей, с одной стороны, мрачные картины будущего, если она останется при матери, а с другой – чудную перспективу любви, утеху и наслаждение.

Капитолина Андреевна уважала графа Стоцкого и всецело доверяла ему, даже очень обрадовалась, что он ей «покорил», как она выражалась, дочь.

Вера не только перестала его дичиться, но с охотою беседовала с ним по целым часам.

Она и не подозревала, что ее «сиятельный друг», как она называла графа Стоцкого, заодно с ее врагами и хочет лишить ее «честного заработка», естественного, по ее мнению, результата ее забот и хлопот относительно дочери.

– И в кого она такая удалась? – рассуждала Усова, – Катенька вот сразу пришла в настоящее понятие и сообразила, в чем дело, а эта,

вишь, какая упористая.

А между тем этот вопрос решался очень просто.

Старшая дочь Капитолины Андреевны получила домашнее воспитание, и ее нравственная порча происходила постепенно, так что, действительно, к шестнадцати годам она могла «прийти в настоящее понятие и сообразить, в чем дело». Вера же, по настоянию «высокопоставленного благодетеля», имя которого произносилось даже полковницей Усовой не иначе, как шепотом, была отдана в полный пансион в одно из женских учебных заведений Петербурга – «благодетель» желал иметь «образованную игрушку».

Другой мир, мир создания идеалов вместе с подругами, развернулся перед девочкой, и хотя Капитолина Андреевна, ввиду того, что «благодетель» попал в руки одной «пройдохи-танцовщицы», стал менее горячо относиться к приготавливаемому ему лакомому куску, и не дала Вере Семеновне кончить курс, но «иной мир» уже возымел свое действие на душу молодой девушки, и обломать ее на свой образец и подвести под своеобразные

рамки ее дома для Каоитолины Андреевны представлялось довольно затруднительно, особенно потому, что она не догадывалась о причине упорства и начала выбивать «дурь» из головы девчонки строгостью и своим авторитетом матери.

Авторитет этот был далеко не силен, а строгость вбила «дурь» только еще глубже, а не выбила наружу. Настойчивость и поспешность со стороны Усовой повела лишь к тому, что Вера Семеновна на одно из писем Савина, предлагавшего бежать к нему, ответила согласием отдаться под его покровительство.

Поручив первую часть плана графу Стоцкому, он взял себе вторую – расчистку себе дороги к «неземному божеству» устранением препятствий.

Таким препятствием являлась Мадлен де Межен.

Чутким сердцем любящей женщины поняла она, что с ее «Nicolas» творится что-то неладное.

Он стал раздражителен, почти груб с нею, умышленно оставлял ее одну, говорил о тяжелых условиях жизни, а между тем на ее пред-

ложение ехать попытать счастье в Америку, как они предполагали ранее в Брюсселе, разражался злобным смехом.

– Ты сошла с ума, – сказал он, – ты не понимаешь, что говоришь... Я русский, я люблю Россию, а ты предлагаешь мне навсегда расстаться с моей родиной!

– Зачем навсегда?.. – возражала Мадлен.

– Конечно, навсегда... Для увеселительной поездки в Америку у нас с тобой нет средств, а ехать туда работать, вложив в какое-нибудь дело оставшиеся крохи капитала, надо уже совершенно эмигрировать, а кто знает, не надуют ли нас благородные янки, и мы с тобой в лучшем виде прогорим и останемся на мостовой без куска хлеба...

– Там есть много моих соотечественниц.

– Твоих соотечественниц... – с явной насмешкой проговорил Савин. – Тебя-то, пожалуй, и возьмут на содержание, а я сделаюсь чистильщиком сапог... впрочем, ты красивая женщина, ты можешь там сделать себе карьеру... Там много миллионеров...

– Nicolas, за что же оскорблять?! – со слезами в голосе проговорила молодая женщина.

Николай Герасимович был ошеломлен, и уже с языка его готовы были сорваться слова извинения, но Мадлен де Межен продолжала:

– Я могу, наконец, получить ангажемент...

Это его окончательно взорвало.

– На сцену!.. Ну, видишь ли, разве я не прав, что ты можешь себе создать там карьеру, но мне-то не улыбается перспектива жить на содержании у артистки – женщины, составляющей общее достояние...

– Да что ты, разве все артистки таковы? – с упреком посмотрела на него молодая женщина.

– Все! – резко и безапелляционно ответил он и вышел из комнаты, хлопнув дверь.

Савин уехал из дому.

Привыкшая за последнее время к подобным сценам Мадлен не придавала и описанной нами особого значения и, решив написать письмо к своей кузине во Францию, прошла в кабинет Николая Герасимовича за бумагой.

Около письменного стола она заметила валявшуюся записку.

Она подняла ее и не была бы, конечно, женщиной, если бы не любопытствовала

взглянуть на ее содержание.

Это было одно из писем Веры Усовой, в котором неопытная девушка доверчиво и восторженно отвечала на признание в любви Савина.

Мадлен де Межен прочла и первую минуту страшно побледнела.

Несколько времени она стояла, как окаменелая, держа в руках роковую записку.

– Начало конца! – прошептала она. – Не надо дожидаться конца, – добавила она громко и вдруг выпрямилась.

Вся гордость любящей женщины, сознающей еще свою красоту и таящуюся в ней силу, поднялась в ее душе. Она положила записку под чернильницу, взяла нужную ей бумагу и начала писать письмо.

Николай Герасимович приехал только поздно вечером. Мадлен де Межен уже спала.

Савин не ложился долго. Он ходил по кабинету и думал. Его тревожил и мучал вопрос: «Что ему делать с Мадлен?»

Он понимал, что дальнейшая совместная жизнь будет пыткой, для них обоих, а между тем сказать это в глаза этой, когда-то страст-

но любимой им женщине, столько для него сделавшей и стольким для него пожертвовавшей, у него не хватало духу.

«Она до сих пор любит меня! – думал он. – Что же мне делать? Что делать?»

Он осторожно вошел в спальню.

Молодая женщина крепко спала.

«Бедная! Какое пробуждение ждет тебя...» – посмотрел он на нее.

Он тихо разделся и лег, но вопрос: «Что делать?» – все продолжал неотвязно преследовать его.

Он не мог его решить, не мог и заснуть.

Ему и не могло прийти на мысль, что молодая женщина спала так крепко только потому, что она решила в этот день этот же мучивший его теперь вопрос: «Что делать?»

Николай Герасимович заснул, так и не решив его.

К утреннему чаю Мадлен де Межен вышла совершенно спокойная, почти веселая.

Савин между тем был мрачен и сосредоточен.

– Нам на некоторое время придется расстаться, – сказала молодая женщина.

Николай Герасимович удивленно посмотрел на нее.

– Почему?

– Я вчера получила письмо от моей кузины из Дижона. Тетя очень больна и непременно желает меня видеть.

– И ты хочешь ехать? – спросил Савин.

В тоне этого вопроса сквозила плохо скрываемая радость. Молодая женщина горько улыбнулась.

– Непременно, и сегодня же с курьерским... На Москву...

– На Москву... Что за фантазия?..

– Ты забыл, что мы спешили и я не успела взять у Леперсье мою шляпку. Ту самую, которую, помнишь, я выписала из Парижа для заседания брюссельской судебной палаты.

– Узнаю женщину, – улыбнулся Николай Герасимович.

Он совершенно преобразился и не мог даже скрыть этого. Продолжавший мучать его вопрос: «Что делать», – разрешился так просто и так благоприятно.

«Я напишу ей... Это легче», – неслось в его голове.

– Я, к сожалению, не могу проводить тебя даже до Москвы, – смущенно сказал вслух Савин, – у меня тут дела...

– И не надо, голубчик, доеду одна, не маленькая...

– В таком случае, я поеду хлопотать о деньгах... Куда сделать тебе перевод?

– Перевода делать не надо... Я возьму деньги так...

Это удивило Николая Герасимовича, но, боясь, чтобы Мадлен де Межен не раздумала уезжать, он не стал задавать вопросов.

– Я дам тебе, кроме денег на дорогу, еще пятнадцать тысяч. Это половина моего капитала.

– Зачем так много?

– Мало ли, что может случиться, – уклончиво ответил Николай Герасимович, – и, наконец, у тебя они будут целее.

– А, хорошо... Прощай, я пойду укладывать-ся...

Савин поцеловал ей руку, но не посмотрел ей в лицо.

Он боялся и хорошо сделал, так как увидел бы, что глаза молодой женщины были полны

слез.

Она быстро вышла.

«Как кстати эта болезнь тетки», – весело подумал Николай Герасимович Савин.

Отъезд Мадлен де Межен накануне того дня, когда назначено было похищение Веры Семеновны Усовой, так хорошо все устраивал, что Савин не обратил внимания на отказ молодой женщины от перевода денег за границу и от других подозрительных сторон ее решения уехать.

Она уезжала – это было ему надо, а до остального ему было безразлично.

Он оделся и поехал устраивать денежные дела.

С курьерским поездом железной дороги он проводил когда-то любимую им женщину.

Когда поезд ушел, Николай Герасимович облегченно вздохнул полной грудью.

## Под крылом друга

«Э то, положительно, несчастное отделение, – думал Савин, возвращаясь с Николаевского вокзала в „Европейскую“ гостиницу, – Сегодня же прикажу себе отвести с завтрашнего дня другое...»

Несмотря на то, что перед ним в радужных красках разворачивалась перспектива обладания «неземным созданием», этой девушкой-ребенком, далекой от греха страсти, – последняя, впрочем, он был убежден, таилась в глубине ее нетронутого сердца, – разлука с Мадлен и ее последние слова: «Adieu, Nicolas», – как-то странно, казалось ему, прозвучавшие, оставили невольную горечь в его сердце.

Ему почудилось, что с отъездом этой женщины внутри его что-то порвалось, но его живой, подвижной характер не дал ему долго останавливаться на этом впечатлении, и оно, так сказать, вырвалось наружу лишь в мелькнувшей у Николая Герасимовича мысли:

«Это, положительно, несчастное отделение...»

По приезде в гостиницу он тотчас же отправился в контору и, на его счастье, оказалось, что утром только что очистилось отделение, хотя несколько менее занимаемого им, но зато уютнее и свежее меблированное. Так, по крайней мере, объяснил ему управляющий гостиницы.

Приказав с завтрашнего же утра считать освободившееся отделение за собою и утром перенести все вещи из занимаемых им комнат, Николай Герасимович поднялся наверх.

Лакей отпер занимаемое им помещение, зажег лампу перед диванным столом гостиной и удалился.

Николай Герасимович остался один. Впечатление какой-то странной пустоты производило на него это, в сущности, тоже уютное и роскошно меблированное отделение.

Это впечатление наблюдается тогда, когда возвращаются в квартиру, из которой только что вынесли покойника, близкие ему люди.

Все, кажется, стоит на своем месте, ни одной вещью не убавилось, а, в общем, чего-то

нет, чего-то такого, что, независимо от присутствия вещей, казалось, наполняло все помещение.

Нет человека.

Это сравнение своего положения с положением человека, возвратившегося с кладбища, пришло в голову Савина под нахлынувшим на него впечатлением окружающей его пустоты.

С Мадлен де Межен он больше никогда не увидится. Ему вдруг стало как-то особенно жаль ее.

Он прошел в комнату, служившую ей будуаром. Там, хотя все было прибрано расторопными слугами образцовой гостиницы, не взгляды Савина как раз упал на лежавший на ковре обрывок голубой ленточки.

Он вспомнил, как замечательно шел Мадлен де Межен голубой цвет.

Ее образ, блестящий, обаятельный, предстал перед ним. Она, как живая, сидела перед ним здесь, на этом самом кресле, около которого валялся этот обрывок ленты, но не та Мадлен, какой она была за последнее время, а та, которую он помнит в Париже, и от одного

присутствия которой у него кружилась голова, мутилось в глазах.

Он не понимал, что она осталась такою же, а изменился он сам, его взгляд на нее, и теперь восторженно вспоминал о той, разлуке с которой был рад несколько часов тому назад, как освобождению из душной тюрьмы.

Сердце его сжималось чисто физической болью.

Он поднял обрывок ленты и как-то совершенно неожиданно для себя самого стал покрывать его поцелуями.

Это, впрочем, продолжалось лишь несколько минут.

«Что за ребячество!» – остановил он самого себя, подошел к окну, раскрыл форточку и бросил ленточку на улицу, а сам все-таки несколько времени простоял около этой открытой форточки, тяжело дыша, как бы набираясь воздухом.

«Боже, как, однако, я распустил свои нервы», – подумал он и стал ходить по комнате.

Перед ним снова начали проноситься картины прошлого, связанные именно с этим отделением «Европейской гостиницы».

Он вспомнил Маргариту Гранпа.

Кстати ему пришел на память разговор о ней, слышанный им у графа Стоцкого. Он и теперь, как тогда, почувствовал, как больно сжалось его сердце. Думал ли он, что девушка, на которую он положительно молился, будет когда-нибудь предметом такого разговора?

«И все женщины таковы, – мелькнуло у него в голове. – И Вера...»

Он постарался остановить эту мысль.

«Завтра она будет со мною, это нежное, эфирное создание, все сотканное из мечты. Завтра я осыплю ее страстными поцелуями, завтра она, робкая, трепещущая, будет в моих объятиях, ее маленькое сердечко будет биться около моего сердца».

Эта перспектива близкого блаженства заставила забыть Николая Герасимовича и прошлое, навеянное этим отделением гостиницы, с Маргаритою Гранпа в его центре и уехавшею Мадлен.

«Мне еще сегодня надо к графу, окончательно условиться», – спохватился он и позволил.

Явившемуся лакею он приказал дать себе пальто и шляпу.

– Постели мне в кабинете, – приказал он и вышел.

Мысль провести ночь в спальне, где кровать Мадлен была бы перед его глазами, как надгробный памятник погибшей любви, все же была ему неприятна.

«Завтра все пройдет!» – успокоил он себя.

Граф Сигизмунд Владиславович был дома.

Он сидел у себя в кабинете и с легкой усмешкой наблюдал за Иваном Корнильевичем Алфимовым, нервною походкой ходившим по комнате.

Николай Герасимович Савин оказался положительным пророком в начертанном им плане.

Граф Стоцкий действительно убил разом двух, и очень крупных, зайцев, оказав услугу Алфимову-отцу и не возбудив ни малейших подозрений в Алфимове-сыне, который оказался всецело в его руках.

Прямо от судебного следователя Иван Корнильевич поехал к графу Стоцкому.

Тот только что встал, когда резкий, непре-

рывающийся электрический звонок, раздавшийся в квартире, заставил его воскликнуть:

– Кого это черт несет спозаранку?

Через минуту это недоразумение разрешилось. Перед ним стоял бледный, с блуждающим взором воспаленных, заплаканных глаз молодой Алфимов.

– Что с тобой? – воскликнул, казалось, с неподдельным испугом граф Сигизмунд Владиславович.

– Все кончено, – скорее упал, нежели сел в кресло Иван Корнильевич и, закрыв лицо руками, зарыдал.

– Что такое? Что такое? Расскажи! В толк не возьму...

– Все кончено... Я сознался...

– Кому? В чем?

– Следователю.

– Следователю? Ужели отец... Корнилий Потапович...

– Он меня выгнал.

– Значит, он не жаловался?

– Нет.

– А капитал?

– На него я получу чек.

– И сколько у тебя?

– Восемьсот с чем-то тысяч.

Граф Сигизмунд Владиславович энергично плюнул.

– Дурак!

Это далеко не лестное обращение по его адресу заставило молодого Алфимова поднять голову.

– Что такое, дурак...

– Дурак, значит дурак! – со смехом отвечал граф Стоцкий.

– Я не понимаю...

– И не мудрено, потому что ты дурак...

– Объяснись.

– Чего тут объяснять... У него состояние почти в миллион, он распустил нюни... Я думал, что он, по крайней мере, прижмет тебя и заставит отдать половину, чтобы не возбуждать дело... И отдал бы...

– Отдал бы... – как эхо повторил Иван Корнильевич.

– То-то и оно-то... А тут все-таки благополучно кончилось, а он ревет...

– Хорошо благополучно, на мне тяготеет проклятие матери...

– Бабы сказки...

Уверенный тон графа Сигизмунда Владиславовича, с которым он разбивал все доводы молодого Алфимова, подействовал на последнего ободряюще, и он начал обсуждать свое будущее.

– Ну куда же мне деваться?

– Как куда?

– Отец приказал сегодня же выехать из его дома.

– Эка невидаль... У тебя теперь деньги есть?

– Тысячи четыре найдется.

– Так о чем же думать... Против меня дверь об дверь освободилась на днях квартира, сними и переезжай.

– Вот это хорошо, очень хорошо. Но как же без мебели?

– О, ты, простота... Мебель поставит мебельщик. Я сам это тебе устрою, а ты поезжай домой, забирай свои собственные пожитки и переезжай пока ко мне. Завтра квартира будет готова, и мы справим такое новоселье, что чертям тошно будет... Не забудь заехать за чеком... А теперь... пойди умойся, а то лицо

заплаканное... точно у бабы, а я прикажу позвать старшего дворника.

Граф позвонил и отдал явившемуся слуге распоряжение, а Иван Корнильевич последовал совету своего ментора и, умывшись, вместе с ним вошел в кабинет.

С явившимся старшим дворником дело было сделано в пять минут, он получил плату за месяц вперед и объяснил, что квартира вся вычищена и приведена в порядок.

– Хоть сегодня извольте переезжать, – сказал старший дворник.

– Сегодня и переедут, – заметил граф Стоцкий.

Дворник ушел.

– Ну, теперь поезжай домой, заезжай за чем и переезжай ко мне, а я оденусь и пойду к мебельщику... Ты полагаешься на мой вкус? В грязь лицом не ударю.

– Конечно, полагаюсь... У тебя бездна вкуса, я это знаю.

– Почему же ты знаешь?

– По твоей обстановке.

– А-а...

Иван Корнильевич простился и уехал.

Лакей молодого Алфимова положительно вытаращил глаза, когда получил от возвратившегося барина приказание укладывать платье, белье и вещи.

Он стоял даже некоторое время в недоумении.

– Слышишь, я сегодня же переезжаю... Надо нанять ломового... Вот адрес...

Он вынул из кармана адрес графа Стоцкого и подал его лакею.

– Сегодня-с? – переспросил слуга.

– Да, сегодня, сейчас.

– Слушаю-с.

Укладка вещей заняла часа два. Иван Корнильевич нервно ходил по своему кабинету и спальне.

В его уме вертелась фраза графа Сигизмунда Владиславовича: «Заезжай за чеком».

Он несколько раз даже решался ехать в контору, но в последнюю минуту отказывался от этого решения.

Ведь чек надо получить от отца лично, а видеться с ним, по крайней мере сегодня, он положительно не мог.

Нервы его были слишком возбуждены.

Глаза то и дело наполнялись слезами, когда он смотрел на за несколько лет привычную для него обстановку дома человека, которого он, по завещанию матери, называл отцом.

«Выгоняют, как... вора...» – с трудом даже мысленно произносил он это страшное слово.

«Вор... и... клеветник...» – продолжал он бичевать самого себя.

«Не легче ли было бы, – думалось ему, – если бы отец совсем не отдал бы денег? Если бы я остался нищим, пошел бы работать и в этом нашел бы себе наказание. Наказание примиряет. А то еще было бы мне лучше, если бы меня посадили в тюрьму, судили и осудили бы».

Такие отрывочные, странные мысли бродили у него в голове в то время, как Василий – так звали его лакея – запаковывав вещи, укладывая в сундук и чемодан белье и платье.

Изредка он задавал молодому барину вопросы, которые отвлекали Ивана Корнильевича от его тяжелых дум, и он отвечал на них.

Когда все было уложено и упаковано и Ва-

силий отправился за извозчиком, до кабинета молодого Алфимова донесся какой-то шум, шаги.

Он догадался, что это вернулся отец, и даже сел в кресло закрыл глаза.

«Вот сейчас придет сюда... Опять объяснения, упреки», – пронеслось в его уме.

В соседней комнате, действительно, минут через десять послышалась чья-то тяжелая походка.

Кто-то вошел в кабинет.

Иван Корнильевич продолжал сидеть с закрытыми глазами. Вошедший почтительно кашлянул.

«Это не отец», – мысленно решил молодой Алфимов и открыл глаза.

Перед ним стоял камердинер его отца – Игнат – и на подносе подал ему конверт без всякой надписи.

– От Корнилия Потаповича.

– Хорошо, – сдавленным шепотом произнес Иван Корнильевич и взял конверт.

Игнат удалился.

Молодой Алфимов разорвал конверт.

В нем оказался чек на государственный

банк на восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей.

Он облегченно вздохнул.

Чаша свиданья с отцом, по крайней мере на сегодняшний день, миновала.

Возвратившийся Василий стал выносить вещи.

Иван Корнильевич, бросив последний взгляд на свои комнаты, вышел.

Лакей в передней и швейцар в подъезде проводили его с почтительным удивлением.

Они уже знали от Василия, что молодой барин переезжает из дома родителя, но причина такого внезапного переезда была для них неведома, и они положительно недоумевали.

С деньгами, действительно, в Петербурге можно сделать почти мгновенно все.

К вечеру уже квартира Ивана Корнильевича была обмоблирована и имела совершенно комфортабельный вид.

Новая обстановка и новизна положения изменили к лучшему состояние духа молодого человека.

Устроившись в своем новом помещении, хотя и не совсем разобравшись, он весело по-

ужинал с графом Стоцким у Контана и, вернувшись домой, сладко заснул.

Не успел он проснуться на другой день, как к нему пришли от Сигизмунда Владиславовича.

– Его сиятельство вас просят к себе кушать кофе.

– Хорошо, сейчас.

Сделав наскоро свой туалет, Иван Корнильевич поспешил к графу, которого застал в кабинете с газетою «Новости» в руках.

– Однако, твой тятенька рассвирепел.

– А что? – дрогнувшим голосом спросил молодой Алфимов.

– Полюбуйся.

Граф передал ему газету.

Иван Корнильевич прочел объявление Корнилия Потаповича и побледнел.

– Это ужасно! – воскликнул он.

– Положим, особенно ужасного ничего нет.

– Как так?! Он меня опозорил.

– Разве ты хочешь открывать банкирскую контору?

– Нет.

– В таком случае, какое тебе дело, какого о

тебе мнения господ финансовые деятели? Поймут это объявление только одни они.

– А общество?

– Общество подумает, что ты кутил, отдавая дань молодости, а деспот-отец принял одну из мер, практикуемую среди купечества для обуздания непокорных детищ... Впрочем, общество завтра позабудет эту публикацию.

– Так-то оно так, но...

Иван Корнильевич не договорил и задумался.

Несмотря на утешение своего ментора-друга, публикация произвела на него ошеломляющее впечатление.

Он снова поддался унынию, и никакие меры, принимаемые графом Стоцким, не достигали цели и не могли заставить его вернуться к прежней веселой жизни.

Молодой Алфимов или сидел дома, или же был в квартире Сигизмунда Владиславовича, ходя, как маятник, из угла в угол и действуя на нервы его сиятельству.

Последний решил везти его за границу, куда он собирался с графом Вельским, Гемпелем и Кирхофом.

В тот вечер, когда к графу Сигизмунду Владиславовичу должен был заехать Савин, он первый раз заговорил о заграничной поездке с молодым Алфимовым.

Тот ухватился за эту мысль.

– Но, говорят, что эту публикацию поместили и в иностранных газетах, – заметил Иван Корнильевич.

– Пфу... Не думаешь ли ты, что Европе только и дела, что читать помещаемые о тебе публикации? Русским языком тебе твержу, что и здесь все ее забыли.

В передней раздался звонок.

– Это, наверно, Савин... По делу, – заметил граф Стоцкий.

– Я уйду к себе черным ходом, – заторопился Алфимов.

– Хорошо. Я зайду потом к тебе, поедем ужинать.

– Пожалуй.

– Ну, слава Тебе, Господи! Умнеть начал! – воскликнул Сигизмунд Владиславович.

## XXIV

### Беглянка

Назначенный на другой день вечер у полковницы Усовой был чрезвычайно оживлен.

Вера Семеновна была в каком-то возбужденно веселом настроении и вызывала шепот восторга собравшихся ценителей женской красоты.

Капитолина Андреевна была довольна и вечером, и младшей дочерью.

У Екатерины Семеновны была на этот вечер тоже серьезная миссия, порученная ее матерью и графом Стоцким – серьезно увлечь Ивана Корнильевича Алфимова, которого граф Сигизмунд Владиславович всеми правдами и неправдами успел затащить на вечер к полковнице.

Он передал Капитолине Андреевне о попавшем в полное распоряжение молодого человека громадном капитале, а у ней уже текли слюнки в предвкушении знатной добычи.

Она рассыпалась перед графом Стоцким в

благодарностями за рекомендацию клиентов и в особенности за дочь, которая, по ее мнению, была близка к осуществлению возлагаемых на нее любящею матерью надежд.

– Век не забуду вам этого, ваше сиятельство, – говорила полковница, – вы положительный волшебник, ведь как вдруг под вашим влиянием развернулась девчонка, любо-дорого глядеть.

Они стояли в глубине залы, из одного угла которой доносился до них громкий смех Веры Семеновны.

Для более наблюдательного и внимательного слушателя в этом смехе было что-то историческое, но обрадованная поведением дочери мать не заметила этого.

– Погодите хвалить, захвалите. Конец венчает дело... – полушутя, полусерьезно отвечал граф Сигизмунд Владиславович.

– Нет, уж не говорите, вы молодец... Благодарю! Благодарю.

– И мой птенец, кажется, развернулся, – заметил граф Стоцкий, указывая глазами на проходившую парочку: Ивана Корнильевича и нежно опиравшуюся на его руку Екатерину

Семеновну.

– Об этом не беспокойтесь... Катя маху не даст... Не таких к рукам прибирала и с руки на руку перебрасывала, – с материнской гордостью заметила Капитолина Андреевна и отошла от графа.

Он посмотрел на часы, затем оглянулся кругом.

Был двенадцатый час в начале, вечер был в полном разгаре.

– Пора! – шепнул он незаметно Вере Семеновне, проходя мимо нее, и отправился в гостиную, где снова уселся около полковницы и начал занимать ее разговором о способе поживиться на счет молодого Алфимова.

Та слушала с восторгом, и перспектива наживы в радужных красках витала перед ее глазами.

Вера Семеновна между тем незаметно вышла из зала, прошла через кухню в сени, где ожидала ее горничная, подкупленная графом Сигизмундом Владиславовичем, которая накинула ей на голову платок, а на плечи тальму и проводила по двору до ворот.

Выйдя из калитки, молодая девушка робко

остановилась и огляделась кругом себя.

– Вера Семеновна... вы? – раздался над ее ухом голос.

– Я...

– Едемте...

Она подала Николаю Герасимовичу Савину – то был он – дрожащую руку, и он подвел ее к стоявшей у ворот карете, отпер дверцу, посадил ее в экипаж, впрыгнул в него сам и крикнул кучеру:

– Пошел!

Карета покатилась.

– Ты со мной!.. Со мной!.. Моя... Навеки... Дорогая моя!.. – взял ее за руки Савин.

– Ты меня защитишь от них, от всех?.. – прошептала она, прижимаясь к нему.

– Тебя добудут они только через мой труп! – отвечал он, наклоняясь к ней ближе.

– Милый!..

– Божество мое!..

В карете раздался звук поцелуя.

– Куда мы едем?

– Ко мне...

– К тебе!..

Карета остановилась у подъезда «Европей-

ской» гостиницы.

Лакей отпер и распахнул дверь занятого утром Николаем Герасимовичем нового помещения.

Оно было все освещено.

В первой же комнате был накрыт стол на два прибора, уставленный всевозможными закусками и деликатесами, в серебряных вазах стояли вина, дно серебряного кофейника лизало синеватое пламя спирта.

Лакей, сняв с прибывших верхнее платье, вышел.

– Ты живешь здесь?.. Как хорошо!.. – с наивным восторгом воскликнула молодая девушка.

– Мы будем жить здесь, – поправил он ее.

– Мы, – повторила она и вдруг обняла его за шею и крепко поцеловала.

Он было схватил ее в свои объятия, но она выскользнула из его рук и бегом побежала в другую комнату, то был ее будуар... Глаза у нее разбежались от туалетных принадлежностей, которые были установлены на изящный столик из перламутра с большим зеркалом в такой же раме; платяной шкаф был отворен,

В нем висело несколько изящных платьев и среди них выдавался великолепный пеньюар.

– Это чьи же платья? – наивно спросила она.

– Твои.

– Мои?

– Да, они сделаны совершенно по мерке...

Граф Сигизмунд Владиславович недаром спрашивал у тебя адрес твоей портнихи.

– А, помню, так вот для чего... Она стала рассматривать платья.

– А дальше еще комната?

– Да.

– Какая?

– Спальня.

– Спальня?

– Но пойдем, дорогая моя, чего-нибудь покушать, выпить...

– Я ничего не хочу...

– Ну, для меня...

– Для тебя, изволь...

Он снова повел ее в первую комнату, они сели рядом.

Через каких-нибудь пять минут, несмотря на то, что она заявила, что ничего не хочет,

Вера Семеновна с аппетитом пробовала все поставленные блюда и пила второй бокал шампанского.

Николай Герасимович был на седьмом небе.

Все дороги ведут в Рим, и все подобные свиданья кончаются одинаково.

Вернемся в квартиру матери влюбленной беглянки.

Исчезновение молодой девушки очень скоро обратило на себя общее внимание.

– Куда скрылась божественная Вера Семеновна?

– Куда исчезла наша царица бала?

– Куда закатилось наше красное солнышко?

Эти сетования дошли до Капитолины Андреевны, занятой разговором с графом Сигизмундом Владиславовичем.

Окончив разговор, она встала и прошлась по залам и гостиным. Граф сопровождал ее.

– На самом деле, куда девалась Вера? – с недоумением сказала она, ни к кому собственно не обращаясь.

– Мы сами недоумеваем... – отвечали ей

некоторые из мужчин.

– Вера Семеновна жаловалась мне на головную боль, – заметил граф Стоцкий, – быть может, она прошла к себе.

– Опять за свое принялась... – раздражительно сказала Капитолина Андреевна. – Дурь нашла... каприз... Погодите, я сейчас приведу ее к вам, господа...

Полковница быстро направилась во внутренние комнаты. Граф Стоцкий нагнал ее в коридоре.

– Капитолина Андреевна, на два слова.

– Что такое?

Она проходила мимо желтого кабинета, того самого, в котором граф Стоцкий имел неприятное первое свидание с Кирхофом, тогда еще бывшим Кировым.

– Зайдем сюда...

Капитолина Андреевна и граф Сигизмунд Владиславович вошли в кабинет.

Последний плотно притворил дверь и запер ее на ключ.

– Что такое? Что это значит? – воскликнула полковница.

– Садитесь и выслушайте.

Капитолина Андреевна села, с тревогой смотря на своего собеседника.

Сел и граф.

– Необходимо, чтобы вы вернулись в залу, не заходя к Вере Семеновне, и объявили гостям, что она внезапно заболела.

– Это почему? – воскликнула полковница. – Я ее, мерзкую, заставлю выйти.

– Это невозможно.

– Почему?

– Очень просто, потому что ее здесь нет.

– Как здесь нет? Где же она?

– Это я вам скажу тогда, когда вы дадите мне ее бумаги.

– Вы с ума сошли!

– Как хотите... Идите тогда, ищите ее по дому, объявляйте всем о бегстве вашей дочери... Заявляйте полиции... Впрочем, последнего, я вам делать не советую, для вас полиция нож обоюдоострый. А я, я уйду...

Он двинулся было к двери.

Она вскочила и загородила ему дорогу.

– Отдайте мне дочь! – крикнула она.

– Потихе, потихе, могут услышать... Меня вы не запугаете.

Он взял ее за руки и почти бросил обратно в кресло.

– Угодно меня слушать или я ухожу?.. – спросил он ее.

– Я слушаю... – покорно отвечала она.

– Ваша дочь, при моем содействии, бежала из дому с одним из моих друзей, в которого она влюблена.

– Это с Савиным!.. – взвизгнула Капитолина Андреевна.

– Хотя бы с Савиным... Это безразлично...

– Но он гол, как сокол... У него французенка содержанка!

– Гол не гол, а денег у него теперь осталось немного... Что касается французенки, то они разошлись, и она уехала вчера из Петербурга.

– Моя дочь ее заменила... Несчастливая! – мелодраматично воскликнула полковница.

– Не увлекайтесь материнским чувством, – с иронической улыбкой заметил граф Стоцкий, – ведь вы же и готовили ее, чтобы она кого-нибудь при ком-нибудь заменила, так как ваши избранники все люди пожилые и, конечно, не живут без женщин... Дело только в том, что ее судьбой распорядились не вы, а

я... Вы меня не раз называли другом.

– Хорош друг...

– Вы измените ваше мнение, когда дослушаете до конца. Савину она очень понравилась... По моим с ним отношениям я не мог отказать ему в содействии соединить их любящие сердца... Долго их связь не продолжится, а между тем он лучше всякого другого сделает из нее львицу полусвета, и я ручаюсь вам, что старик Алфимов убьет в нее все состояние, из которого, конечно, значительная толика перепадет и нам с вами... С финансовой точки зрения вы не в убытке. Зачем же поднимать скандал...

По мере того, как он говорил, лицо Капитолины Андреевны приобретало постепенно прежнее спокойное выражение, и наконец она даже сказала:

– Если бы это было так...

– Это так и будет... Мы не первый год работаем вместе, и, кажется, никогда мои советы не были вам в ущерб.

– Я и не говорю этого... С первого раза меня это поразило и взволновало... Если вы говорите, что этот ее роман долго не продолжится,

то пусть ее позабавится, поиграет в любовь, я ничего не имею, но все же сделаю вид, что сержусь на нее... Когда она вернется, то будет послушнее.

– Умные речи приятно слушать... Значит, давайте мне бумаги и объявите гостям, что она нездорова.

– Ох, боюсь я, как бы она совсем не пропала для меня, ведь мать я, сколько заботы с нею было, расходов...

– Покроем сторицей, говорю вам.

– Я вам верю...

Граф отпер дверь. Они вышли.

Капитолина Андреевна прошла в спальню и через несколько минут вынесла дожидавшемуся ее в коридоре графу Сигизмунду Владиславовичу метрическое свидетельство Веры Семеновны.

– Извините мою девочку... Она и верно расхворалась... Жар, озноб... – объявила через минуту в зале и гостиной полковница.

Все выражали искреннее сожаление.

На другой день утром граф Стоцкий послал Николаю Герасимовичу метрическое свидетельство его новой подруги жизни.

В описываемое нами время метрическое свидетельство заменяло для несовершеннолетних девушек вид на жительство, и полиция свободно прописывала их.

Это только и было нужно Савину для избежания недоразумений с администрацией гостиницы.

## XXV

### Современная перикола

Время летело со своею ледяною бесстрастностью, не обращая никакого внимания ни на комедии, ни на трагедии, ни на трагикомедии, совершающиеся среди людей, ни на их печали и радости.

Через месяц после возвращения Дмитрия Павловича Сиротинина в банкирскую контору Алфимова в почетном звании главного управляющего состоялась его свадьба с Елизаветой Петровной Дубянской.

Свадьба была более, чем скромная.

Венчание происходило в церкви святого Пантелеймона, а оттуда немногочисленные приглашенные, в числе которых были Арка-

дий Семенович, Екатерина Николаевна и Сергей Аркадьевич Селезнев, Долинский, Савин и Ястребов с женой, приехали в квартиру молодых, где, выпив шампанского и поздравив новобрачных, провели вечер в дружеской беседе и разошлись довольно рано, после легкой закуски.

Сиротинин переехал в том же доме на Гагаринской улице, но только занял квартиру в бельэтаже, более просторную и удобную, с парадным подъездом с улицы.

Его мать, по настоянию невесты и сына, осталась жить с ними.

Корнилий Потапович, по праву посаженного отца, подарил невесте великолепный изумрудный парюр, осыпанный крупными бриллиантами, стоимостью в несколько тысяч.

Шаферами у невесты был молодой Селезнев, а у жениха – Сергей Павлович Долинский.

Когда гости разъехались и молодые остались одни в гостиной – Анна Александровна занялась с прислугой приведением в порядок столовой – Елизавета Петровна подошла к му-

жу и, положив ему руки на плечи, склонилась головой ему на грудь и вдруг заплакала.

– Что с тобой, Лиза, дорогая, милая?.. – тревожно заговорил Дмитрий Павлович.

– Ничего, Митя, ничего... Это так, хорошо, хорошо...

– Что же тут хорошего – плакать?

– Не говори, молчи. Дай поплакать, это слезы счастья... Ведь всего месяц назад я не могла думать, что все так хорошо, скоро и счастливо устроится... Ведь сколько я пережила за время твоего ареста, один Бог знает это, я напрягала все свои душевные силы, чтобы казаться спокойной... Мне нужно было это спокойствие, чтобы обдумать план твоего спасения, но все-таки сомнение в исходе моих хлопот грызло мне душу... А теперь, теперь все кончено, ты мой...

Елизавета Петровна подняла голову, обвинила голову мужа своими руками и впиалась в него счастливым взглядом любящей женщины.

На глазах ее еще были слезы, напоминавшие капли летней росы на цветах, освещенных ярким летним утренним солнцем.

– Сокровище мое, как я люблю тебя...  
Сколько счастья ты уже дала мне и сколько  
дашь впереди...

Об обнял ее.

Губы их слились в нежном, чистом, святом  
поцелуе.

– Едва ли в Петербурге, что я говорю, во  
всем мире сыщется пара людей счастливее  
нас! – восторженно воскликнул он.

– Не говори так... Не сглазь... – с суеверной  
тревогой проговорила она.

– Такое счастье нельзя сглазить... Оно ле-  
жит не вне нас, оно не зависит ни от людей,  
ни от обстоятельств, оно – внутри нас, в на-  
шем чувстве, и это счастье взаимной любви  
может кончиться только смертью...

Как бы подтверждая слова своего мужа,  
Елизавета Петровна снова склонила голову к  
нему на грудь и крепко прижалась к нему.

В квартире было тихо.

Разъехавшиеся из квартиры Сиротини-  
ных, из этого вновь свитого гнездышка, гости  
были все под тем же впечатлением будущего  
счастья молодых, счастья, уверенность в ко-  
тором, как мы видели, жила в сердцах ново-

брачных.

Все уехали домой в прекрасном расположении духа, подышав этой атмосферой чистого чувства, царившего в квартире Сиротининых, и лишь в сердце Николая Герасимовича Савина нет-нет да и закипало горькое чувство.

Сердце его было, кроме того, переполнено каким-то тяжелым предчувствием.

Он не сознался бы в этом самому себе, но ему была завидна эта перспектива тихого счастья, развертывавшегося перед Сиротиниными; его, Савина, горизонт между тем заволакивался грозными тучами.

Он с грустью думал о будущем.

Ослепленные страстью глаза прозрели. Он увидал, что его новая подруга жизни из «неземного созданья» обратилась в обыкновенную хорошенькую молоденькую женщину, пустую и бессердечную (последними свойствами отличаются, за единичными исключениями, все очень хорошенькие женщины), да к тому же еще всецело подпавшую под влияние своей матери.

Капитолина Андреевна Усова через

несколько дней после побега дочери явилась в «Европейскую» гостиницу, заключила в свои материнские объятия сперва свою «шалунью-дочь», как она назвала ее, а затем и Савина и благословила их на совместную жизнь.

– И молодец он у тебя, люблю таких, сразу полонил тебя, – обратилась она к сперва смущенной ее появлением, а затем обрадовавшейся дочке, – с ним не пропадешь.

Полковница осталась с «детьми», как она назвала их, пить кофе и уехала, обещая навещать и пригласив к себе.

С этого и началось.

Насколько молодая девушка была, по выражению Капитолины Андреевны, «упориста» относительно ее, настолько молодая женщина стала в руках интриганки-матери мягка, как воск.

Это видел Николай Герасимович, но был бессилён бороться с тлетворным влиянием Усовой, которую вдруг почему-то со всею силою дочерних чувств полюбила Вера Семеновна.

– Милая, добрая мама, она простила ме-

ня, – твердила молодая Усова, – как она меня любит, как была она права, говоря, что желает мне добра.

И это убеждение в высоких нравственных качествах матери было невозможно выбить из юной головки.

Влияние Капитолины Андреевны вскоре сказалось. Молодая женщина стала мотать деньги направо и налево, как бы с затаенной целью вконец разорить своего обожателя.

К чести Веры Семеновны надо сказать, что у нее самой такой цели не было, она была лишь исполнительницей ловких наущений своей матери.

Оставшиеся у Савина пятнадцать тысяч приходили к концу, и он с горечью в сердце чувствовал, что ему вскоре придется отказывать своей «Верусе», как звал он Веру Семеновну, в тех или других тратах.

Первый пыл страсти миновал, а восставший денежный вопрос способный, как известно, парализовать и последние вспышки этой страсти, заставил поневоле Николая Герасимовича делать невыгодное для Веры Семеновны сравнение с Мадлен де Межен.

Савин подчас тяжело вздыхал при этом воспоминании.

Последний поступок любящей француженки окончательно доконал его, и вместе с тем, еще более возвысил в его глазах так недавно близкую ему женщину.

В первые дни восторгов любви Николай Герасимович совершенно позабыл о своем намерении написать Мадлен де Межен об окончательном с ним разрыве.

В минуты даже кажущегося счастья человек не хочет вспоминать о тяжелых обязанностях жизни, он старается отдалить их.

Так было и с Николаем Герасимовичем, писать письмо о разрыве когда-то безумно любимой им женщине было именно этою тяжелою обязанностью.

Мадлен де Межен его предупредила, как предупредила и в вопросе о своем отъезде из Петербурга.

Через неделю после того, как он проводил ее на Николаевский вокзал, на его имя было получено заказное письмо с русским адресом, написанное писарскою рукою.

Он распечатал конверт и в письме узнал

почерк Мадлен.

В письмо вложен был перевод на государственный банк в пятнадцать тысяч рублей на его имя.

Николай Герасимович побледнел при виде этой бумажки.

Он понял, что Мадлен де Межен возвращает ему его деньги.

С жадностью он стал читать письмо.

В нем молодая женщина, видимо, хладнокровно сообщала ему, что обстоятельства ее жизни изменились, что она не уезжает во Францию, а остается в России и едет в день написания письма в Одессу, где получила очень выгодный ангажемент в опереточную труппу. Деньги она возвращает, думая, что ему они понадобятся скорее, чем ей, так как она в настоящее время совершенно обеспечена.

«Возврат к прошлому, – между прочим говорилось в письме, – невозможен, так как если воспоминание об моей артистической деятельности в Петербурге, которую я предприняла исключительно для тебя, вызывало в тебе сомнения, омрачившие последние дни на-

шей жизни, а между тем я была относительно тебя чиста и безупречна, то о настоящем времени я в будущем уже не буду иметь право сказать этого».

«Дай Бог, – заканчивалось письмо молодой женщины, – чтобы т-ле Вера дала тебе больше счастья, нежели могла дать я, хотя искренно этого хотела. Прощай».

Письмо выпало из рук Николая Герасимовича, он откинулся на спинку кресла, стоявшего у письменного стола, за которым он сидел, и несколько минут находился в состоянии беспамятства, как бы ошеломленный ударом грома.

«Она все узнала... Теперь я понимаю ее отъезд... Но как?..» – мелькнуло у него в голове, когда он очнулся.

Он вспомнил найденное им под чернильницей письмо Веры.

«Она прочла его...» – догадался он.

Теперь только, по прочтении письма молодой женщины, он с ужасом почувствовал, что в его сердце, действительно, таилась надежда снова вернуть ее себе.

Теперь все кончено. Последние строки ро-

кового письма – это прозрачное признание – вырыло между ним и ею непроходимую пропасть.

Взгляд его упал на валявшийся на столе перевод.

Он выдвинул ящик письменного стола и бросил его туда.

Он решил узнать адрес Мадлен и вернуть ей ее деньги.

«Я напишу ей, – с наболевшею злобою подумал он, – что если она берет плату за настоящее, то что же мешает ей взять эту плату и за прошлое... Пятнадцать тысяч хороша плата даже для „артистки“».

Он с яростью подчеркнул мысленно последнее слово.

Но, увы, все возраставший аппетит «Веруси» к нарядам и драгоценностям заставил его вскоре изменить решение.

По переводу были получены деньги, и ко дню свадьбы Сиротинина с Дубянской от них оставалось всего около четырех тысяч рублей.

Окончательное безденежье стояло перед Савиным близким грозным призраком.

Все, что было им за последнее время пережито и переживаемо, сделало то, что, возвращаясь из квартиры молодых Сиротининых, этого гнездышка безмятежного счастья, Николай Герасимович, повторяем, чувствовал зависть, и это чувство страшною горечью наполняло его сердце.

«Разве я не мог бы точно так же быть счастливым с Мадлен?» – пронеслось в его голове.

На счастье с Верой Семеновной он и не рассчитывал.

Он понимал, что связь их основана на извлекаемых этой женщиной – так скоро преобразившейся в «петербургскую львицу-акулу» – из него выгодах, и что с последней вынужтой им из кармана сотенной бумажкой все здание их «любви» – он мысленно с иронией произнес это слово – вдруг рушится, как картонный домик.

За последнее время предчувствие этой катастрофы с его «зданием любви» все чаще и чаще посещало его сердце.

При возвращении от Сиротининых последнее как-то особенно было полно этим пред-

чувствием. Сердце не обмануло Николая Герасимовича.

Возвратившись в гостиницу, он был удивлен, что встретивший его лакей подал ему ключ от его отделения.

Савин вздрогнул.

– А где же барыня? – сдавленным голосом спросил он.

– Барыня уехали, за ними приехала их машина, они уложили вещи...

– Хорошо, ты мне не нужен... – не дал ему договорить Николай Герасимович.

Он сам отпер дверь и вошел.

– Там вам письмо... – успел доложить ему вдогонку слуга.

На письменном столе Савин увидел лежавшее на нем письмо Веры Семеновны.

Николай Герасимович дрожащей рукой распечатал его. В письме было лишь несколько строк:

*«Прости, что я уезжаю от тебя, не объяснившись. Объяснения повели бы лишь к ссоре.*

*Ты сам приучил меня к роскоши и исполнению всех моих прихотей. Отвыкнуть от это-*

го я не могу, да и не хочу.

*Я молода. У тебя же, я это знаю достоверно, нет больше средств для продолжения такой жизни, какую мы вели. Иначе же я жить не могу, а потому и приняла предложение Корнилия Потаповича Алфимова и переехала в купленный им для меня дом.*

*Ты, надеюсь, меня не осудишь. Человек ищет, где лучше, а рыба – где глубже.*

*Вера».*

В этом письме сказалась и мать, и дочь.

Оно произвело на Савина впечатление удара по лицу, но вместе с оскорблением, нанесенным ему этою женщиною циническим признанием, что она жила с ним исключительно из-за денег, он почувствовал, что письмо вызвало в нем отвращение к писавшей его, хотя бы под диктовку мегеры-матери.

Глубоко вздохнув, как человек освободившийся от тяжести, он разорвал в мелкие клочки прочтенное письмо и стал ходить по комнате.

Постепенно к нему возвращалось спокой-

ствие.

«Не гнаться же за ней... Ее дорога известная... Я взял от нее лучшее, и теперь, бросив ее в толпу, оплатил этой толпе за свою разбитую жизнь... О, Мадлен, на кого я променял тебя!..»

Он не спал всю ночь, обдумывая свое будущее. Планы за планами роились в его голове.

На другой день с почтовым поездом Николаевской железной дороги он уехал из Петербурга, решив никогда не возвращаться в этот город каменных домов и каменных сердец.

## XXVI

### Две смерти

**В**ладимир Игнатьевич Неелов перенес ампутацию блистательно, а механическая фальшивая нога, выпишенная из Парижа, давала ему возможность ходить, почти как здоровому.

Любовь Аркадьевна была для него самой внимательной сиделкой, но как только опасность миновала, она стала избегать его.

Он сам почувствовал, насколько его обще-

ство тягостно для нее, и решился оставить ее одну в имении.

– Здесь ты можешь жить, как тебе угодно, а я не стану отравлять твое существование своим присутствием. Поеду искать наслаждений, которые еще доступны калеке. Но если ты вздумаешь вызвать меня, то я явлюсь, – сказал он ей.

Она ничего не ответила на это.

Он уехал на другой день после этого заявления. Имение, вследствие безалаберности графа Вельского и небрежности Неелова, было запущено.

Лучшие из старых служащих, недовольные новыми порядками, разошлись.

Любовь Аркадьевна тосковала, и чтобы заглушить горе, поставила себе целью восстановить порядок в именье и принялась за хозяйство.

Владимир Игнатьевич отправился в Москву и поселился там.

Анна Павловна Меншова содержала в Белокаменной совершенно такой же тайный увеселительный и игорный дом, как полковница Усова в Петербурге, с тою только разни-

цею, что в виду щепетильности москвичей доступ к ней был гораздо труднее.

Она жила в одном из первых построенных в описываемое нами время на петербургский образец домов, так называемых Петровских линиях, занимая громадную и роскошную квартиру на третьем этаже.

Неелов, обжившись в Москве, был с нею в хороших отношениях и даже успел войти в соглашение относительно известного процента с выигранного им рубля, за что ему предоставлялось доставлять карты.

В описываемый нами вечер он был, по-видимому, особенно в духе, врал, болтал разный вздор и согласился метать банк только по усиленной просьбе молодого Лудова.

Данила Иванович Лудов был одним из полированных отпрысков старого московского купечества.

Едва достигнув совершеннолетия, он остался один распорядителем миллионов своего умершего ударом в Сандуновских банях тятеньки. Маменьку Господь прибрал, по его выражению, годом ранее.

Вырвавшись из ежовых тятенькиных ру-

кавиц, молодой Лудов тотчас же поехал за границу, людей посмотреть и себя показать.

Об его заграничном житье-бытье ходило после по Москве множество анекдотов.

Рассказывали, например, что он несколько дней подряд хотел поехать на конке в местность Парижа, где он не бывал, в «Комплет».

Вскакивал на конки, где была эта надпись, но был выпроваживаем кондуктором, с одним из которых он вступил в драку и попал в полицию.

Там ему только разъяснили, что надпись на конке «Комплет» (Complet), которую он принял за неизвестную ему местность Парижа, куда отправляется вагон, означала, что конка «полна» и что мест более нет.

В том же Париже, по приезде, он в ресторане обратился к лакею за разъяснением, что такое омары – при жизни у тятеньки он не имел понятия ни о каких заморских кушаньях.

– Это род раков, – отвечал слуга.

– Дай-ка мне дюжину.

– Дюжину!.. – повторил удивленно гарсон,

но пошел исполнять приказание.

Через некоторое время Лудову принесли двенадцать омаров, на двенадцати блюдах.

Лудов затем совершил кругосветное путешествие, но это не помешало ему вернуться в Москву таким же купеческим обломом, каким он уехал, лишь всегда одетым по последней европейской моде.

Впрочем, он привез с собою прирученного тигра, который долгое время служил предметом толков досужих москвичей.

Этот-то Данила Иванович Лудов в описываемое нами время прожигал уже в родной Москве тятенькины капиталы.

Кроме Лудова был еще обрусевший англичанин мистер Пенн, приятель Данилы Ивановича и тоже большой оригинал, всегда ходивший с хлыстом, как отличительным знаком знатока лошадей и охотничьих собак.

На собачьих выставках в московском манеже мистер Пенн был постоянным экспертом.

Было и еще несколько человек из представителей «веселящейся Москвы».

Игра завязалась легкая, веселая, ставка бы-

ла скромная.

Только Лудов и Пенн заметно волновались и сосредоточенно следили за игрой.

– Дама бита шесть раз... Ставь на даму, – шепнул Даниле Ивановичу мистер Пенн.

– Дама пять тысяч! – крикнул Лудов.

– Ого... – проговорил Неелов, принимаясь изящно и, непринужденно метать карты. – Десятка – туз, осмерка – валет, тройка – семерка, дама... бита... Ну, вам огорчатся этим, Данила Иванович, нечего. Никакой даме против вас долго не устоять... Ставьте еще.

– Дама – пять тысяч!

– К чему ты горячишься?.. – заметил ему мистер Пени. – При таких условиях игра перестанет быть забавой.

– Владимир Игнатьевич, мечите, – упрямо отрезал Лудов.

Дама была бита.

– Дама десять тысяч! – отчеканил Данила Иванович. Кругом поднялся ропот, но Лудов настоял на своем. Неелов стал метать.

Дама опять была бита.

– Дама – двадцать тысяч! – проговорил Лудов, почти с бешенством.

– Послушай, оставь... – начал было мистер Пенн.

– Если ты намерен мне мешать, то убирайся отсюда! – крикнул Данила Иванович.

– Нет, мистер Пенн прав... Это безумие, – подтвердили другие.

– Я никого и ничего знать не хочу! – кричал Данила Иванович в иступлении. – Владимир Игнатьевич, мечите. Дама – двадцать тысяч!

Неелов притих, пожал плечами и стал метать. Дама опять была бита.

Мистер Пенн проиграл тоже около трех тысяч рублей. Он поставил последние бывшие у него в кармане пятьсот рублей.

Карта была бита.

Вдруг мистер Пенн вскрикнул:

– Карты меченые! Я сейчас только увидал это, как увидал и то, что вы передернули.

Неелов вскочил и быстро, вместо ответа, стал собирать со стола выигранные деньги.

– Ах, ты мерзавец! – заревел рассвирепевший англичанин и стал бить Неелова бывшим в его руках хлыстом.

В зале поднялся шум.

Владимиру Игнатьевичу удалось добраться до лестницы, но здесь он остутился со своею искусственною ногой, кубарем скатился вниз и остался без движения на асфальтовом полу швейцарской с разбитой головой.

С помощью призванных дворников и городского несчастного подняли, уложили в извозничьи сани и повезли в ближайшую Ново-Екатерининскую больницу, но он дорогою, не приходя в сознание, умер.

Газеты отметили этот факт под заглавием «Несчастный случай», каким и представили это дело местной полиции, не знавшей закулисных сторон дела.

Заметка эта прошла незамеченной, тем более, что в этот же день московские газеты поместили обширное описание самоубийства купеческого сына Ивана Корнильевича Алфинова в одном из веселых притонов Москвы.

Репортеры в этом случае не придали этому самоубийству романтического характера в погоне за традиционным пяточком; происшествие само по себе действительно имело этот характер.

В заметке рассказывалось, что молодой че-

ловек покончил с собой выстрелом из револьвера в том самом притоне, откуда год тому назад бежала завлеченная обманом жертва Клавдия Васильевна Дроздова и из боязни быть вновь возвращенной в притон бросилась с чердака трехэтажного дома на Грачевке и была поднята с булыжной мостовой без признаков жизни.

Самоубийство Алфимова ставили в ближайшую связь с этим происшествием, так как покойная Дроздова была девушка, которую он любил и на которой ему не разрешил жениться его отец, известный петербургский финансовый деятель и миллионер.

Последнее, как известно нашим читателям, несколько расходилось с истиной, но в общем связь между самоубийством Дроздовой и молодым Алфимовым существовала.

Читатель, вероятно, помнит, какое страшное впечатление произвела на Ивана Корнильевича случайно прочтенная им заметка о самоубийстве Клавдии Васильевны Дроздовой.

Граф Стоцкий, с присущим ему апломбом, успел убедить его, что дело шло о самоубий-

стве тезки и однофамилицы Клодины.

Находясь, видимо, под влиянием своего сильного друга, молодой Алфимов поверил и успокоился.

Он снова окунулся в водоворот веселой петербургской жизни, особенно после происшедшей с ним катастрофы, когда он принужден был признаться в произведенной им растрате и был изгнан отцом из дома с наследованным после матери капиталом.

Капитолина Андреевна оказалась права относительно способностей своей старшей дочери Кати и не таких, как молодой Алфимов, не только забирать в руки, а с руки на руку перекидывать.

Иван Корнильевич вскоре сильно привязался к молодой девушке и ходил отуманенный ее ласками, часто перемешанными с капризами.

Он совершенно позабыл не только о Клодине, но и о своей последней, казалось ему, безумной любви к Елизавете Петровне Дубянской, ставшей госпожой Сиротининой.

Проектированная графом Сигизмундом Владиславовичем заграничная поездка состо-

ялась. С ним вместе отправились граф Вельский, барон Гемпель, Кирхоф и молодой Алфимов, а с последним ставшая с ним неразлучной Екатерина Семеновна Усова.

Граф Стоцкий первое время восстал против проекта своего молодого друга взять с собою Катю, доказывая ему, что ехать за границу с женщиной все равно, что отправиться в Тулу со своим самоваром.

Но Иван Корнильевич стоял на своем, и граф, скрепя сердце, согласился.

Какое-то предчувствие говорило ему, что эта «баба ему дело испортит».

Он утешался, впрочем, одним, что Екатерина Семеновна была тоже в его руках и не посмеет отступить от даваемых ей им инструкций.

Предчувствие, однако, не обмануло его в этот раз, хотя порча дела произошла со стороны, совершенно не ожидаемой для графа Стоцкого.

Как-то раз оставшись вдвоем – они жили в одном из лучших отелей Ниццы – Екатерина Семеновна совершенно случайно вспомнила увлечение своего возлюбленного белокурой

Клодиной.

– Она некрасиво поступила со мной... – заметил Иван Корнильевич.

– Ну, что поминать лихом покойную, – отвчала Екатерина Семеновна.

– Как покойную? – дрожащим голосом спросил Алфимов.

– Разве ты не знаешь, что она покончила жизнь самоубийством в Москве?

И Екатерина Семеновна, ничего не подозревая, рассказала историю жизни Клодины за последние дни в Петербурге, об увозе ее в Москву и описанном в газетах смертельном прыжке молодой девушки с чердака трехэтажного дома на мостовую.

– Так это была она? – сказал весь бледный Иван Корнильевич, но тотчас оправился и не произнес более ни одного лишнего слова.

На другой день он исчез из Ниццы, бросив своим товарищам по путешествию свою подругу жизни.

Он с утренним поездом поехал в Россию и через несколько дней был уже в Москве.

В Белокаменной он принялся за тщательные розыски и с помощью денег вскоре разуз-

нал всю историю бросившейся на мостовую «жертвы веселого притона», памятную для местной полиции.

Матильда Карловна, хотя по суду и была лишена права быть хозяйкой учреждения, которое она скромно именовала «нечто, вроде ресторана», но сумела передать его фиктивно своей бедной родственнице, оставшись негласной его хозяйкой.

Молодой Алфимов поехал туда.

Из рассказов «пансионерок» Матильды Карловны, которых он в этот вечер положительно залил шампанским, Иван Корнильевич узнал все подробности самоубийства Клодины, а Ядвига, как звали брюнетку, с первых шагов Клавдии Васильевны в «притоне» принявшая в ней участие – показала ему даже фотографическую карточку, оставшуюся в узелке несчастной, которую молодая девушка до сих пор без слез не могла вспомнить.

Карточку эту, как память о покойной, Ядвига хранила у себя в комод.

Сомнения не было.

Клодина была верна ему, Алфимову, до самой смерти.

Он пригласил Ядвигу распить с ним наедине бутылку шампанского и после того, как бутылка была опорожнена, удалил молодую девушку под каким-то предлогом из кабинета.

Вернувшись, Ядвига застала тароватого гостя распростертого на ковре кабинета с простреленным черепом.

## XXVII

### «Суженого конем не объедешь»

Прошло полгода.

Судебное дело о самоубийстве Ивана Корнильевича Алфимова окончилось утверждением в правах наследства после него его сестры, графини Надежды Корнильевны Вельской.

Наследственное имущество составляло капитал в шестьсот тысяч рублей, хранившийся в государственном банке под именной распиской отделения вкладов на хранение, найденной в кармане самоубийцы.

Более двухсот тысяч рублей он уже успел прожить – или, лучше сказать, ими успели поживиться граф Сигизмунд Владиславович

Стоцкий и его сподвижники.

Получение наследства графиней спасло ее почти от нищеты или, в лучшем случае, от зависимости от Корнилия Потаповича, потому что все ее состояние, составлявшее ее приданое, было проиграно и прожито графом Петром Васильевичем, который ухитрился спустить и большое наследство, полученное им после смерти его отца, графа Василия Сергеевича Вельского.

Дом в Петербурге, где жила графиня, оказался обремененным двумя закладными, кроме долга кредитного общества, и к этому времени закладные были просрочены, и бедная графиня могла лишиться последнего собственного крова.

Быть может, и полученные ею шестьсот тысяч пошли бы на безумную страсть ее мужа, бесстыдно эксплуатируемого его «другом» графом Стоцким, так как графиня Надежда Корнильевна, по чисто женской логике, отказывая своему мужу в любви и уважении, не решалась отказывать ему в средствах, передав ему все свое состояние.

Ей казалось, что этим она успокаивает

свою совесть, возмущенную ложной клятвой, данной перед алтарем по принуждению ее названного отца.

Но, увы, через несколько дней после получения ею известия о доставшемся ей наследстве после покончившего с собою самоубийством ее брата в петербургских газетах появилось сообщение из Монте-Карло о самоубийстве в залах казино графа Петра Васильевича Вельского, широко перед этим жившего в Париже и Ницце, ведшего большую игру и проигравшего свои последние деньги в рулетку.

Надежда Корнильевна, нельзя сказать, чтобы встретила спокойно известие о трагической смерти ее мужа.

Ее верная горничная Наташа нашла ее без чувств в будуаре, а около нее валялась прочитанная ею газета.

Произошло ли это от того, что она все же привыкла считать графа близким себе человеком, или же от расстройства нервов, чем графиня особенно стала страдать после смерти своего сына, родившегося больным и хилым ввиду перенесенных во время беременности нравственных страданий матери и

умершего на третьем месяце после своего рождения – вопрос этот решить было трудно.

Испугавшаяся Наташа бросилась за доктором и почему-то фатально вспомнила о Федоре Осиповиче Неволине.

Он оказался дома и через полчаса уже всеми доступными его науке средствами приводил в чувство безумно любимую им женщину.

Обморок продолжался более часу.

Наконец Надежда Корнильевна пришла в себя и в наклонившемся над ее постелью человеке узнала Неволину.

– Вы здесь, зачем? – вскрикнула она.

– Я здесь как врач около больной, – спокойно, настолько, насколько это было возможно в его положении, отвечал Федор Осипович, хотя это «зачем» больно резануло его по сердцу.

– А... – произнесла больная и закрыла глаза.

Тяжелый вздох против воли вырвался из груди Федора Осиповича.

Он отдал некоторые распоряжения относительно ухода за больной присутствовавшей в

спальне Наташе и вышел с грустно наклоненной головой.

Чувствительная девушка проводила его сочувственным взглядом и даже метнула взгляд укоризны на лежавшую с закрытыми глазами больную графиню Надежду Корнильевну.

На другой день вечером Федор Осипович снова заехал к графине Вельской.

– Как здоровье графини? – спросил он у отворившего ему дверь лакея.

– Их сиятельство сегодня встали и чувствуют себя, как кажется, лучше.

– Доложи, что приехал доктор. Не пожелает ли графиня меня принять?

– Слушаюсь-с, – сказал лакей и удалился, оставив доктора Неволина в зале.

Мы уже говорили, что Федор Осипович был почему-то твердо уверен, что безумная любовь, питаемая им к подруге своего детства и разделяемая ею не только в прошлом, но и в настоящем, должна увенчаться браком.

Смерть графа Вельского, о которой он узнал тоже из газет даже ранее Надежды Корнильевны, нисколько не поразила его.

Эта смерть – так сложилось его внутреннее убеждение – была неизбежна, она устраняла последнее препятствие к соединению любящих сердец.

Как-то особенно сладко было ощущать Неволину висевший у него на груди медальон графини Вельской.

Он, как сумасшедший, стремглав помчался на призыв Наташи к почувствовавшей себя дурно графине Надежде Корнильевне и вдруг...

Холодное, почти тоном упрека сказанное вчера молодой женщиной «зачем» леденило мозг Федора Осиповича.

«Ужели она теперь не примет меня, – неслось в его голове, в ожидании возвращения лакея, – меня, который любит ее всем сердцем, жизнь которого не полна без нее, и для которой я готов ежеминутно пожертвовать этой жизнью?»

Федору Осиповичу казалось, что лакей не возвращался целую вечность.

Наконец он появился и почтительно произнес:

– Ее сиятельство вас просит.

Неволин облегченно вздохнул.

Графиня Надежда Корнильевна встретила его весьма приветливо.

Она была еще бледна после вчерашнего обморока, но в общем состояние ее здоровья оказалось удовлетворительным.

Не будучи в состоянии забыть вчерашнее роковое «зачем», Неволин вел себя более, чем сдержанно, и начал беседу с графиней только как с пациенткой.

Она, видимо, поняла это сама и перевела разговор на более общие темы.

– Я только сегодня получила официальное уведомление о смерти моего мужа и о том, что он уже и похоронен там, – между прочим сказала графиня.

Федор Осипович молчал, опустив голову.

– Я и не знаю, перевозить ли его тело сюда, или же не тревожить его праха?

– У него здесь в Петербурге не осталось после смерти отца никаких близких, кроме вас, – сказал Неволин, с трудом произнося последние слова.

– Да, он последний в роде, родственников у него нет... Может быть, впрочем, дальние...

Я не знаю... Вы говорите: «Кроме меня»... Это и составляет для меня вопрос. Если я не перевезу его тело, меня осудит общество, если же я исполню всю эту печальную церемонию, то должна буду лицемерить... Я вам как старому другу должна признаться, что известие о его смерти поразило меня лишь неожиданностью... Успокоившись теперь, я не нахожу в сердце к нему жалости, несмотря на то, что он был отец моего милого крошки, которому Бог так мало определил пожить на этом свете... Я не любила графа, выходя за него; он не сумел даже заставить меня к нему привыкнуть... Притворяться убитой горем на его похоронах я не была бы в силах.

Она остановилась.

Федор Осипович продолжал сидеть молча.

– Вам может показаться с моей стороны бессердечным, что я так говорю все это на другой день по получении известия о смерти мужа, да еще такой страшной, трагической смерти, но что делать, если он сам сделал меня по отношению к нему такой бессердечной...

– Я полагаю, графиня, что в Петербурге ни-

кого не найдется, кто бы решился вас осудить за это... Слишком хорошо знали вашу жизнь с графом или, лучше сказать, слишком хорошо знали его жизнь...

– Как знать... Но если и осудят меня, Бог с ними... Я была так далека от них всех и останусь далека... Друзья же мои, их немного, меня знают... – она как-то невольно протянула руку Федору Осиповичу.

Тот почтительно поцеловал эту руку, хотя ему стоило больших усилий эта почтительность.

С этого дня доктор Неволин стал довольно частым гостем графини Вельской.

Он оказался правым.

Общество не осудило графиню Надежду Корнильевну за бессердечность к своему мужу, оставленному ею лежать в чужой земле.

Покойный граф слишком уже бравировал своим презрительным отношением к разоренной им жене, чтобы на самом деле мог найтись человек, в котором смерть его вызвала бы сожаление, а хладнокровное отношение к ней вдовы – порицание.

– Он не знал о получении графиней на-

следства после брата, иначе он повременил бы годок разбивать свою пустую голову, – сказало даже одно почтенное в петербургском свете лицо, хотя и отличавшееся ядовитой злобою, но, быть может, этому самому обязанное своим авторитетом в петербургском обществе.

С его мнением почти всегда соглашались. Согласились и в данном случае.

Частые посещения доктора Неволина, уже успевшего сделаться «петербургской знаменитостью», вызвали было некоторые пересуды.

Злые языки заработали, но не надолго.

Через год после смерти в Монте-Карло графа Вельского Надежда Корнильевна вышла замуж за доктора Неволина.

Свадьба была очень скромная, хотя венчание происходило в церкви пажеского корпуса.

Сергей Павлович женился на Любови Аркадьевне Нееловой, урожденной Селезневой.

Судьбе главного нашего героя Николая Герасимовича Савина мы посвятим следующую, последнюю главу нашего правдивого

## XXVIII

### В Сибирь!

**В** марте 1889 года в гостинице «Принц Вильгельм» в Берлине остановился отставной корнет Николай Герасимович Савин с женой, прибывший накануне из Москвы.

Савин привел с собою шестерку лошадей, которых поместил в конюшнях Бретшнейдера.

Здесь, в татерсале, он познакомился с барышником, евреем Зингером.

Новому знакомцу он заявил, что в Москве на конюшнях его матери стоят еще десять прекрасных рысаков, и жена его, оказавшаяся госпожой Мейеркот, подтвердила слова мужа и добавила, что она неоднократно каталась на этих рысаках и даже сама правила.

Зингер польстился на дешевую покупку и купил у Савина 16 лошадей – шесть, находившихся в Берлине, и десять в Москве – за 16 000 марок.

Для того, чтобы дать Савину возможность

привезти лошадей из Москвы, Зингер дал ему 6000 марок.

К величайшему удивлению своему, он встретил Савина через несколько дней на улице.

– Разве вы не уехали? – спросил.

В ответ на это Савин объяснил ему, что «жена» его, она же госпожа Мейеркорт, ужасно расточительна и растратила все деньги на покупки, но если Зингер выдаст ему еще 2000 марок, то он, Савин, сейчас выедет в Москву.

Зингер согласился, но для того, чтобы жена не отняла снова у Савина деньги, Зингер хотел вручить ему их на вокзале перед отходом поезда.

Поезд ушел в положенный час, но не увез Савина, не явившегося на вокзал.

Зингер бросился в гостиницу, но оказалось, что Савин покинул гостиницу, забыв заплатить по счету 249 марок и возвратить швейцару взятые у него 600 марок, оставив на память о себе сундук с двумя старыми книгами.

Госпожа Мейеркорт, кроме номера в гостинице «Принц Вильгельм», занимала еще но-

мер в «Центральной» гостинице и потому могла «выехать» еще с большою легкостью.

Савин намеревался покинуть не только гостиницу, но и Берлин, но был арестован вместе со своею сожительницею.

Не чувствуя за собой никакой вины, Савин ужасно оскорбился арестом и так убедительно сумел доказать свою невиновность, что был освобожден.

Так как при нем было найдено 2800 марок (правда, не в кармане, а в чулке, но все-таки при нем), то он и мог доказать, что не имел никакой надобности скрываться, имея возможность уплатить все по счету.

Первым делом освобожденного Савина было обратиться к редакциям газет с требованием поместить опровержение известий, «позорящих» его честь.

Некоторые редакции не согласились, и тогда он явился туда лично и обещал прислать к редакторам своих секундантов.

Но пока Савин восстанавливал свою опороченную репутацию, берлинская полиция снеслась с полицией других европейских столиц и сочла себя вынужденною, на основа-

нии добытых сведений, арестовать Савина и его сожительницу вторично.

На этот раз их не освободили, и они 26 августа (7 сентября) 1889 года предстали перед судом Берлинского ландгерихта.

Савин обвинялся во многократных обманах, в попытках к мошенничеству, в угрозах к редакторам газет и, наконец, в нарушении таможенных правил, так как в Ахене он заявил таможене, что везет свою шестерку лошадей в Париж.

Госпожа Мейеркорт обвинялась в содействии Савину в его мошенничествах.

Выдаваемая Савиным за его жену госпожа Мейеркорт, урожденная Швелдрун, была опереточною певицей и вышла замуж за московского «банкира», а в настоящее время, когда муж в Америке, является «невестой» Савина, за которого, конечно, выйдет замуж, когда брак с мужем будет расторгнут.

Госпожа Мейеркорт, высокая, стройная блондинка, с замечательно бледным лицом, возбуждала среди мужчин еще больший интерес, чем Савин среди дам.

На вопрос президента суда был ли Савин

осужден раньше за обманы в Брюсселе и Париже, Николай Герасимович заявил, что это неправда.

Действительно, он осужден был в Брюсселе, но только за то, что оскорбил должностных лиц, а в Париже был арестован по подозрению в сношениях с нигилистами.

Франция должна была выдать его России, но он в дороге бежал, «что в России делают все арестованные».

Бежав в Дуйсбург, он направился в Пешт, оттуда в Венецию, где посетил своего «друга» Дон-Карлоса, испанского претендента.

В то время из Болгарии ушел Баттенберг, и Савин заявил своему «другу», что он намерен отправиться в Болгарию и поработать там для России. Дон-Карлос одобрил этот план и дал ему 10 000 франков.

С французским паспортом на имя графа Тулуза де Лотрека Савин прибыл в Софию и заявил министрам, что вследствие своей «близости» с французскими капиталистами, он может добыть для Болгарии миллионы.

– Разве вы могли добыть денег? – спросил его президент.

– Нет, но в интересах России, я хотел сделаться претендентом на болгарский престол и надеялся, что русское правительство наградит меня за это.

В Софии Стамбулов с товарищами признали его «претендентом», и он в качестве такового отправился в Константинополь.

В Константинополе у него было столкновение с обер-полицей-мейстером, которого он вынужден был «побить»; если бы этого случая не было, «то Болгария принадлежала бы теперь России». Он русский патриот и никогда не был нигилистом.

Таковы объяснения, которые дал Савин в берлинском суде.

Что касается последнего обвинения, Николай Герасимович не признал себя виновным. Зингер – еврей, ему верить нельзя, «у нас в России им не верят».

Он получил с него вовсе не 6000 тысяч марок, а всего четыре тысячи, швейцара в гостинице он тоже не обманывал, и долг образовался оттого, что швейцар уплачивал за него, Савина, мелкие расходы.

Один из свидетелей подтвердил действи-

тельно, что Зингер выплатил Савину не 6000 тысяч марок, а только четыре тысячи.

В последнем своем слове Савин сказал:

– Перед судом я всегда говорю правду, но не считаю обязанностью говорить правду полиции, которая впутывается в дела, которые ее совсем не касаются.

В публике при этих словах раздался смех.

– Какое дело полиции до моих споров с Зингером? У нас в России это гораздо лучше: там дадут полиции на водку, и дело в шляпе.

Зал заседания охватывает гомерический хохот.

Савин чрезвычайно доволен своим спичем, очень хорошо зная, что чем более он будет клеветать на свое отечество, тем снисходительнее к нему отнесется немецкий суд.

Еще лучше, чем Савин, отличился его защитник Фридман.

По его мнению, прокурор неверно охарактеризовал подсудимого.

Савин не мошенник, это просто легкомысленный, заносчивый славянин, малообразованный, некультурный полуазиат, отправляющийся в Болгарию, чтобы сделаться претен-

дентом, и наделяющий турецких пашей затрещинами просто для удовольствия.

Такую «скобелевскую натуру» нельзя считать простым обманщиком.

Он ни в чем не виноват и его следует оправдать.

Подсудимый – только человек, который думал, что с помощью затрещины и давания на водку можно прожить век и возвратиться в отечество с большим запасом опыта.

Суд действительно оправдал обоих подсудимых, но Савина не освободил от ареста, а передал в распоряжение полиции для выдачи русскому правительству.

Доставленный из-за границы этапным порядком в Москву, Савин вскоре предстал там перед судом по обвинению в целом ряде мошенничеств.

Присяжные заседатели вынесли ему обвинительный вердикт, и по приговору московского окружного суда он был сослан в Томскую губернию, где местом его жительства был назначен Нарымский округ.

Очувившись в глухой деревне, Савин ходатайствовал о разрешении ему проживать в

Томске, где бы он мог подыскать себе подходящие занятия.

В этой просьбе ему было отказано.

В Москве он поручил господину Наумову продажу своего движимого имущества и взыскание денег с разных лиц, но их не получил и решился отправиться в Москву за деньгами, чтобы вернуться обратно и открыть на эти деньги какое-нибудь торговое предприятие.

По дороге в Москву, в вагоне Савин познакомился с купцом Жилиевым, ведущим в Козлове и Ельце крупную торговлю хлебом.

На вопрос Жилиева, с кем он «имеет честь говорить», Савин назвал себя Морозовым и заявил, что едет в Ряжск, где думает закупить на козловской ярмарке лошадей для продажи их за границей.

Жилиев предложил ему ехать с ним в Козлов на ярмарку, где у него много знакомых барышников, у которых можно выгодно купить лошадей, о деньгах же он не советовал ему особенно беспокоиться, так как он может их ему ссудить.

Савин отправился с Жилиевым на ярмарку

в город Козлов, где взяв у последнего 920 рублей, начал скупать лошадей, которых отдавал на прокормление.

Оставив себе из взятых у Жилиева денег 280 рублей, он отправился в Рязск, где, выдавая себя за Морозова, занимался коммерческим оборотом.

В это время до сведения администрации дошли слухи, что Савин бежал из Сибири и проживает в Рязске.

Тотчас же были приняты все меры к розыску его, и он был арестован.

Рязанский окружной суд, в котором последний раз судили нашего героя, после продолжительного совещания вынес приговор, по которому Савин в мошенничествах был оправдан, в побеге же из места ссылки был признан виновным и приговорен к заключению в тюрьме на 3 месяца, а по отбытии этого наказания должен быть возвращен на место ссылки.

Эти и подобные вести о похождениях корнета Савина, имя которого стало чуть ли не нарицательным как «ловкого мошенника», доходили по газетам до его петербургских

знакомых, среди которых семья Ястребовых, Долинских и Сиротининых сохранили о нем хорошую память.

Дальнейшая жизнь «Героя конца века» и «Современного самозванца» могла служить, действительно, обвинительным материалом лишь для составленных против него обвинительных актов, – некоторые из них были очень обширны, – но не для романа, который мы и заканчиваем этими строками.

В его мошеннических проделках, преимущественно на почве имущественных прав, совершенных им вследствие наступившего безденежья и сознания полной своей неспособности и неподготовленности к какому-либо труду в борьбе за свое жалкое существование, не было ничего романтического.

Появлявшиеся около него женщины были уже далеко не героинями романов, а, выражаясь языком тех же обвинительных актов, лишь «пособницами в преступлениях».

Нельзя, впрочем, не сказать, что в Савине погибла недюжинная русская натура, извращенная с малых лет почти беспочвенным воспитанием, которое давали своим детям

представители нашего богатого офранцуженного старого барства.

# Примечания

1

Хвала, слава, спасибо.

[^^^]

Часть сада, участок.

[^^^]

А ну, давай, ну-ка.

[^^^]